СЕРИЯ

Неизвестный XX век

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

З. Н. ГИППИУС

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ I

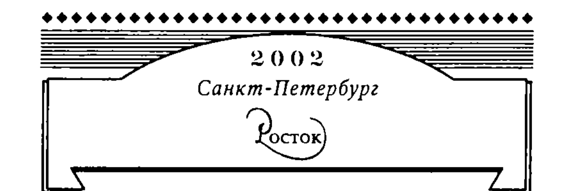
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


2002
Санкт-Петербург
Росток

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

З. Н. ГИППИУС

МЕЧТЫ И КОШМАР



ББК 83.3Р
Г50

*Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и связям с общественностью
Санкт-Петербурга*

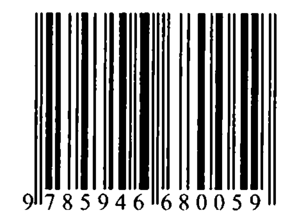
Под общей редакцией
доктора филологических наук
А. Н. Николюкина

Г50 **Гиппиус З. Н.** Мечты и кошмар (1920—1925) / Сост., вступ. статья, коммент. А. Н. Николюкина. — СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2002. — 560 с.

Проза З. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

ISBN 5—94668—005—6



ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

Любовь и ненависть — два главных чувства в поэзии и прозе Зинаиды Гиппиус. Знавший ее более полувека и оставивший о ней проникновенные воспоминания, Сергей Маковский считал, что «среди русских поэтов XX века по силе и глубине переживания вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть?» [1]

Ответ на этот главный вопрос жизни и творчества Гиппиус, о которой другой человек, тоже хорошо ее знавший многие десятилетия, сказал: «Неистовая душа» [2], следует искать в истоках ее личной и писательской судьбы. Когда все еще только начиналось, она написала в своем стихотворении:

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

Литература русской эмиграции, крупнейшими представителями которой были Д. С. Мережковский и его жена З. Н. Гип-

[1] *Маковский С.* Портреты современников. На Парнасе «Серебряного века». Художественная критика. Стихи. М.: Аграф, 2000. С. 342.

[2] *Злобин В. А.* Неистовая душа // Возрождение. 1955. № 47.

пиус, начиналась в России. Определяющим было не местонахождение писателя – в России или за ее пределами, а восприятие того, что творилось в стране. Через три дня после большевистского переворота 25 октября 1917 года Гиппиус написала первые эмигрантские стихи, хотя жила еще в Петрограде:

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил – засек кнутом?

Два года – 1918 и 1919 – провели Мережковские в большевистском Петрограде, когда почти все уже бежали или были расстреляны. Это было страшное время. После убийства председателя петроградского ЧК Моисея Урицкого в августе 1918 года правитель красного Петрограда Г. Зиновьев предложил, чтобы рабочие расправлялись с интеллигенцией прямо на улицах, раскрыв тем самым подлинное отношение советской власти к культуре и ее носителям.

Статьи Гиппиус об этом времени, написанные уже после того, как она вместе с мужем, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным бежала в конце декабря 1919 года за границу, – одно из немногих свидетельств, голос убитых и замученных, кто не смог ничего рассказать. Она стала живой памятью тех, кто бессловесно ушел в вечное безмолвие.

Она видела то, о продолжении чего в годы сталинского террора Анна Ахматова сказала в «Реквиеме»:

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград...
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Как будто Ахматова писала о Петрограде времен Гиппиус, задавленном под сапогами чекистов, расправлявшихся со всеми петербуржцами, со всеми сословиями — дворянами, военными, духовенством, купцами, интеллигенцией, студентами, — всеми, кому была неприемлема большевистская власть с ее практикой расстрела заложников, как в оккупированном городе.

В своем «Символе веры» («Profession de foi»), написанном уже в Париже, Гиппиус ставит вопрос о причине «победы» большевиков над Россией. «Октябрьская удача большевиков, — результат совокупности многих факторов — в ней разберется история. Несомненно одно: переворот совершился не только не по воле русского народа в его целом, но против его воли. В крайнем случае — при попустительстве главной, темной массы населения — армии, стихийно обрушившейся на тыл... Лишь на третий год своего царства большевики, введя, до мелочей, в жизнь все формы внешнего принуждения, закрыв выезд, взяв остатки вымирающего городского населения "на учет", могли дать такую внешнюю картину: "Недобитая интеллигенция и буржуи, убедившись в крепости Советской власти, ныне все у нее на службе. Но мы не должны успокаиваться на этой победе. Необходимо следить самым бдительным образом за столь контрреволюционными элементами". Как можно видеть — большевики сами понимали, что это лишь внешняя картина, — внешняя победа. Все, что могло быть уничтожено насильственным путем — действительно уничтожилось. Не стало делений на классы. Осталось лишь одно внешнее разделение: *правящие* и *служащие*»[1].

Через четыре страшных зимы после большевистского переворота, в ноябре 1921 года, Гиппиус писала в статье «Опять о ней» о жажде перемен в России: «Но все ли знают, сколько нужно человеку сил, чтобы ждать? И ждать не просто, а пла-

[1] Новый журнал. Нью-Йорк, 1975. № 121. С. 130—131 (Публ. Т. А. Пахмусс).

менно, свято, страстно, ждать, сидя в глубине преисподней, ждать, ждать? Много сил нужно для этого...».

Гиппиус не знала, что ждать предстоит еще более полувека, что она, как и вся первая эмиграция, не доживет до тех дней, что им предназначено историей, как Меншикову в Березове, читать Библию и ждать. Еще много страшных, голодных и расстрельных зим. Кое-кто еще помнит людей в сталинские 30-е и 40-е, в послесталинские годы, кто умел ждать и верить, что настанет конец этому режиму, что дети и внуки тех, о ком писала Гиппиус, дождутся дня освобождения.

Очерки Гиппиус отразили изменяющуюся ситуацию в жизни России в послереволюционные годы. Перед нами картина жизни в стране, в Петрограде, когда сначала спорные вопросы решались расстрелом несогласных, а затем те, кто расстреливал, пытались поставить культуру и литературу на службу большевистского жизнеустройства.

Факты, приведенные Гиппиус в ее дневниках, изданных у нас впервые полностью только в 1999 году, в очерках и статьях, звучат для современного читателя подчас невероятно, особенно если он еще привык связывать с Октябрем какие-то возвышенные идеи социальной справедливости. Не только Гиппиус, но все, выжившие в большевистской всероссийской мясорубке, могли бы свидетельствовать: «Убивают, что называется, походя, почти не замечая, одного за другим, так, кто под руку попал. Не то, что личность перестала иметь цену, нет, больше: всякая жизнь вообще обесценилась» («Лекция в Минске». 1920).

Зато появилось «окаянство в лицах», о чем писала Гиппиус в статье «Там, в России» (1921). Это «окаянство в лицах» проходит через всю трагическую историю России XX века. В дни «празднования» 70-летия большевистской революции в 1987 году старый дружинник с Замоскворечья с гордостью вспоминал, выступая по радо, как он «клал» юнкеров у Никитских ворот в ноябре 1917 года. «Окаянство в мыслях» не проходит и через семь десятилетий, так же как святость тех рус-

ских мальчиков-юнкеров, что были похоронены тогда на Братском кладбище у Сокола, снесенном в годы советской власти.

Со временем большевизм в культуре стал более «приспособительным», даже как бы обращался к национальному наследию (соответственно интерпретировавшемся), но за всем этим было то же стремление подчинить духовный мир человека, писателя своим целям. Разница была лишь в том, что во времена Гиппиус все эти тенденции проявлялись открыто и прямо, а с годами стали окрашиваться в цвета «человечности».

Исходя из идей петербургского Религиозно-Философского Общества, Гиппиус попыталась создать в эмиграции «Союз непримиримых», чтобы бороться с влиянием большевизма. Собирались у Мережковских. Программа была религиозной и в то же время, как всегда у Гиппиус, политической. 13 июля 1923 года она писала Н. А. Бердяеву, что политика, подобно невидимому газу, пронизывает всю жизнь. В статье «Третий путь» (1927) утверждала, что должно быть «абсолютное и всестороннее отрицание большевизма, в какой бы форме и где он ни проявлялся. Только такое отрицание может подвинуть на борьбу с большевизмом, но только при полном, четко определенном и открытом утверждении ценностей свободы, права и личности можно находить те, соответствующие моменту, конкретные формы борьбы».

В архиве Гиппиус сохранилась черновая рукопись 1939 года, озаглавленная «История интеллигентской эмиграции: Схема 4-х пятилеток» [1]. Историю парижской эмиграции писательница делит на четыре периода, отмечая собрания и вечера различных обществ и союзов, дискуссии и конфликты того времени, а также важнейшие периодические издания, издательства и проч.

В первый период (1920—1925) старое поколение и молодые эмигранты-политики, писатели и все другие были тесно объ-

---

[1] *Pachmuss T.* Zinaida Hippius: An Intellectual profile. Carbondale; Edwardsville: Southern university press, 1971. P. 177—178.

единены против общего врага — большевизма. «Понимая, что у нас общая мать и она в опасности, мы чувствовали в других — братьев, — писала она в статье «Любовь не помогает...». — Близкие делались еще ближе, далекие раньше — сближались. Мало того: мы с доверием шли навстречу людям и чужой страны (говорю о Франции, но то же было, кажется, и в иных местах). Все это не стоило нам никаких усилий: нас соединило одно несчастье, но в нем горела и одна надежда. Единочувственные — мы верили и в человеческое единодействие».

Этот период, продолжает Гиппиус, был также началом русских газет и журналов в эмиграции — «Общее Дело» В. Л. Бурцева, «Последние Новости», «Современные Записки», «Иллюстрированная Россия», «Окно». Писатели-эмигранты часто печатались в «Mercure de France» и других французских изданиях.

Особенность русской эмиграции Гиппиус усматривала в том, что раскол произошел продольный, а не поперечный, как бывало в истории, когда откалывалась верхушка народа. Здесь же отколовшийся кусок заключает в себе не те или другие элементы народной жизни, но все сверху донизу: родовая знать, государственные служащие, торговые люди, мелкая и крупная буржуазия, духовенство, интеллигенция, армия, трудовой люд — представители всех классов, сословий, положений и состояний нескольких поколений.

Второй период (1925—1930) русской эмиграции характеризуется активной деятельностью старшего и младшего поколений. Выходят газета (затем журнал) «Звено» М. М. Винавера, журналы «Новый Дом» и «Новый Корабль», «Дни» А. Ф. Керенского (с В. Ходасевичем как соиздателем), «Версты», «Числа», проводятся воскресенья у Мережковских, заседания «Зеленой Лампы», возникает литературная группа «Перекресток».

В третьем периоде (1931—1935) Гиппиус видит постепенное угасание журналистской деятельности и надежд на скорое возрождение России. Особенно поучительно, считает Т. Пахмусс, ее описание четвертого периода (1935—1939), когда в мире на-

растал конфликт между Сталиным и Гитлером: растущее равнодушие «молодых» писателей к социальным и политическим проблемам дня, скептицизм и «литературная пассивность», бегство С. Я. Эфрона (муж Марины Цветаевой) в Москву, появление литературного юношества и альманаха «Круг» (руководимого И. И. Фондаминским), в котором участвовали Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, Е. Ю. Скобцова (мать Мария), К. В. Мочульский. Вместо заседаний обществ и союзов все чаще проводились «Вечера поэзии», на которых множество поэтов декламировали свои стихи (Гиппиус даже написала пародию на литературный вечер «Зеленой Лампы»). Старшее поколение не высказывало своих взглядов и не доверяло никому, из-за чего было невозможно образовать какую-либо новую литературную или философскую группу. Каждый укрывался в личной жизни. Никто не хотел писать, поскольку литературный труд считался бессмысленной и бесполезной тратой времени. Гитлер и Сталин угнетали мысль русских эмигрантов, парализуя их желание и волю творить.

В эмиграции Гиппиус оставалась последовательно верна эстетической и метафизической системе мышления, сложившейся у нее в предреволюционные годы, особенно в результате участия в Религиозно-Философском Собрании, преобразованном позднее в Религиозно-Философское Общество. Эта система полагалась на идеях свободы, верности и любви, вознесенной до Бога, до Небес, до Христа.

В 1925 году в Праге вышла книга «литературных портретов», проникновенно воссозданных Гиппиус, — «Живые лица». В 1927 году Мережковские организовали литературное и философское общество «Зеленая Лампа», президентом которого стал Г. В. Иванов, а секретарем В. А. Злобин. Мережковские хотели создать нечто вроде «инкубатора идей», род тайного общества, где все были бы между собой в согласии относительно важнейших вопросов.

В сентябре 1928 года Мережковские приняли участие в Первом зарубежном съезде русских писателей и журналистов в

Белграде. При Сербской академии наук была создана издательская комиссия, которая выпустила «Русскую библиотеку». В нее вошли книги русских писателей в эмиграции: Бунина, Куприна, Мережковского, Гиппиус, Шмелева, Ремизова, Бальмонта, Амфитеатрова, Тэффи, Северянина и других. Гиппиус была представлена «Синей книгой» — петербургским дневником 1914—1917 годов, рукопись которого считалась погибшей, но которую неожиданно в 1927 году привез из Ленинграда друг В. Злобина. Гиппиус была поражена ее содержанием, когда стала перечитывать: «Читать собственный отчет о событиях (и каких!), собственный, но десять лет не виденный — это не часто доводится. И хорошо, пожалуй, что не часто... Если ничего не забывать, так и жить было бы нельзя... Да, забвение нам послано как милосердие».

Свобода — одна из ценностей наиболее бесспорных, считала Гиппиус. Большинство эмигрантов, любящих Россию, ненавидели революцию, ибо она большевистская, ненавидели все «левое», ибо из левых — большевики, и поэтому боролись за Россию, все равно какую, лучше за старую, когда не было большевиков. Гиппиус пытается понять и оценить смысл этой непримиримости. Ее доводы изложены в статье «Способным к рассуждению» (1925).

Царский режим не имел в себе и не мог иметь той меры свободы, которая необходима для жизни, для движения вперед. Поэтому желание вернуть России царя — «знак незрячей любви к России». Ныне, считает Гиппиус, усилия монархистов успеха иметь не могут. Ни свергнуть большевиков, ни бороться с ними под самодержавным знаменем нельзя. Ибо нельзя великому угнетению большевизма противопоставлять угнетение, только меньшее, каким было российское самодержавие. Бессмысленно противопоставлять неограниченной власти — подобную же, только менее бесчеловечную. «Большевики — новое самодержавие. Они — сегодняшний день самодержавия, монархия — вчерашний». При этом Гиппиус добавляет: «Я не говорю, что отныне и довека не будет монархии: я этого не знаю».

Жизнь с ее высшей по времени мерой свободы осуществима только в условиях правового и демократического государственного устройства. «Реально противопоставить большевизму мы можем лишь триаду: право – свобода – всенародность». Именно такой жизни Россия никогда еще не имела. Под всяким другим знаменем борьба бессмысленна, полагала Гиппиус.

Эмигрантские массы ненавидят «всякую» революцию, подразумевая, чувством, большевиков. Революция – такой же закон истории, как эволюция, и нет народа, который не пережил бы, так или иначе, революционного момента. Однако судьбы и методы исполнения революции бывают различны. «Мы помним, – продолжает Гиппиус, – с какой беспрепятственностью совершали большевики, приехавшие "на готовенькое", первую работу по "использованию" революции: им нужно было для овладения революцией – и через нее страной – прежде всего перегородить революцию в бунт».

Большевики действовали всегда как ярко выраженные антиреволюционеры. Элементы бунта имеются во всякой революции. Дело революционное – доводить эти элементы до минимума, дело антиреволюционное – довести их до максимума. Дело людей революции – закончить революцию, а не перманентно продолжать ее, как предлагали Троцкий и Ленин, введя в жизнь, вкрепив в нее то, что можно и нужно ввести из внесенного революционной волной. Тогда жизнь страны, закончившей революцию, непременно окажется полнее и богаче. «Но антиреволюционеры приканчивают революцию; превращенную в бунт, ее нетрудно затем подавить голой силой – террором; террора, однако, ослаблять уже нельзя: и он делается перманентным, охватывает, как обручем, стиснутую и замершую страну. Вот в чем истинный смысл «перманентной революции», провозглашенной Троцким и осуществленной последующими лидерами большевизма.

По собственному «скромному» подсчету ЧК к 1925 году было убито 1 526 197 человек. Только в ЧК, без погибших в

гражданской войне. Это жертвы не революции. Они истреблены убийцами революции при подавлении уже «использованного» бунта.

Слепая любовь к России бесплодна, слепая ненависть к большевикам — бессильна, заключает Гиппиус. Память сливает революцию с большевиками. И шли против большевиков и против революции. За Россию. Но революция-то была русская, от России неотделимая. Если б не так — большевики, овладев ею, не могли бы овладеть Россией. Поэтому Гиппиус утверждает неизбежность русской революции на пути России к свободе и вместе с тем отчетливо понимает сущность так называемого интернационализма большевиков, его несовместимость с духом личной и общественной свободы.

В статье «Оправдание Свободы» (1924) Гиппиус полемизировала с Н. А. Бердяевым по поводу его определения идеи «революции», данного в книге «Философия неравенства». Развивая высказанную еще в начале XX века В. В. Розановым мысль, что идее революции, террору и всему, что случилось с Россией, причастна русская общественность, начиная с декабристов, и литература, вскрывавшая язвы российской жизни, Бердяев утверждал, что близоруко и несправедливо винить во всем большевиков. Виновные — это народники, социалисты, анархисты, русские просветители, происходящие от Белинского. Это они низвергли Россию в темную бездну. Большевики лишь сделали последний вывод, показав наглядно, к чему ведут «освободительные идеи».

И Гиппиус приводит бердяевские определения революции: «Революция никогда не была и никогда не может быть религиозной. Революция, всякая революция по природе своей антирелигиозна, и низки все религиозные ее оправдания». «На всякой революции лежит печать богооставленности и проклятия...». «Революционизм есть утверждение смерти и тления вместо вечной жизни». «Революция не духовна по своей природе. Революция статична. Русская революция есть тяжелая расплата за грехи».

Приводя утверждения Бердяева, что всякая революция, везде и во все времена, достойна проклятия, что воля к революции — дьявольская воля, что желать революции — грех, Гиппиус решается задать ему искусительный вопрос: «Ну, а представим себе (это очень представимо), что сегодня, завтра совершается революция в России. Она будет именно такая же, как всякая, во имя свободы и ради новой жизни, против "существующей власти"... которую Бердяев, согласно со мною, считает реакционнейшей из всех, доныне возникавших, и отлично знает, что никогда большевики "революционерами" не были, да и большевицкой революции — не было. Что же, скажет Бердяев завтрашней русской революции — "нет"? Проклянет ее? Осудит волю к ней как греховную?».

«Культура, — говорила Гиппиус, — дочь свободы». Культура там, где есть «свободный вздох». В статье «Земля и Свобода» (1926) она утверждала, что «русская культура — не Пушкин, не Чаадаев, не декабристы, не западники, не славянофилы, не литература, не философия... она все это вместе, все эти (и еще многие другие) вместе: она в Пушкине — и в декабристах; в Белинском — и Вл. Соловьеве; в Герцене — и в Аксакове; в реформах Александра II — и в раскольничьем сыне Егоре Сазонове; в Петре (особенно Петре!) — и в начале февральской революции... Она — некая цельность, струна, свитая из множества нитей, которые тянутся отовсюду, от всех сторон жизни». Основа, корень, суть культуры — память. История русской культуры — это цепь побед свободного дыханья. «Враги, лишившие Россию свободного дыхания, стремятся уничтожить в народе и память, корни культуры. "Нам в прошлом ничего не жалко!" — возглашает один советский поэт, а другой прибавляет: "Довольно провозились с покойницей, / Наконец-то ее угробили...". Торжество преждевременное. Конечно, стоило бы вырастить 3—4 поколения беспамятных, чтобы культуре пришла смерть. Но, к счастью, это невозможно». Эмиграция должна осознать свой долг перед русской культурой, ибо эмигранты — целый народ по количеству, — никогда не знавшие совершенно

свободного дыхания, очутившись в условиях свободы, могут свободе учиться. И верить, что она наступит и в России, ибо Россия «не умерла, но спит».

Если в начале 20-х годов парижская эмиграция жила вся как бы одной жизнью, то между 1925 и 1930 годами происходит «смена эпох». Гиппиус вспоминала в 1938 году, что тогда, в 1922—1923 году, «все постоянно встречались, делали что-то вместе, выступали на одних и тех же собраниях. Не было разрыва между интеллигенцией так называемой политической и просто культурной; писатели писали во всех новых изданиях; и мало того, поддерживали связь с французским обществом. Так было не только в среде старших интеллигентов и писателей одного старшего поколения, но к ним же примыкали и молодые... Так было, а описывать, как оно есть — почти не стоит: взять только бывшее наоборот, а картина получится ясная».

Разъединение коснулось всей эмиграции: устав от занятий «политикой», отдельные деятели исчезали на годы «сажать картофель» или заниматься чем-то подобным. От старых «обществ» уцелели лишь имена. Гиппиус пишет о созданном ею с Мережковским обществе «Зеленая Лампа»: «Достаточно сравнить его теперешние (крайне редкие) собрания с прежними, чтобы увидеть всю разницу. Когда-то там выступали люди, ныне разъединенные, трактовались равно вопросы и политические, и литературные, возникали живые споры о "миссии" эмиграции... Теперь, в другой атмосфере, на недавнем, хотя бы, заседании, — как все чинно, равнодушно, — холодно!».

В эмиграции были весьма непростые условия печатания. Ограничения во всех сферах — политической, личностной, даже любовной — были совершенно явны. В 1935 году Гиппиус писала по этому поводу: «Всякий знает, как трудно, по нынешним временам, русскому литератору — просто что-нибудь напечатать. Журналов нет, газет — почти, в каждой свои постоянные сотрудники, давно приспособившиеся или во всех отношениях совпавшие с обликом данной газеты; литератору — просто, как я говорю, особенно давнему, привыкшему к извест-

ной свободе в старой России, надо сначала пораскинуть умом: скажешь что-нибудь, хотя бы устами героя, что может показаться не вполне совпадающим со взглядами газеты, и пропала работа. Или выйдет на несколько строк больше определенного их количества — тоже пропал случай заработать. Вот и прикидываешь заранее, чтобы и размер — по условиям, и содержание как можно безобиднее; но и тут большое внимание требуется и большое усилие выдумки — сузить до явной безобидности».

В рассказе «Агата», появившемся в «Иллюстрированной России», пятнадцатилетний Вадим лежит в высокой густой траве меж кустов и вдруг слышит шепот разговора, узнает голос отца. «Узнал — и не узнавал: такая была в нем горячая, дерзкая настойчивость, и еще что-то... Слова Вадим не различал, да и нужды не было, они и так угадывались. Другой голос, испуганный и нежный, произнес что-то и вдруг оборвался на тихом вскрике». Так осторожно Гиппиус описывает сцену соблазнения Агаты, девушки, служащей у отца. И затем неопределенная концовка повествования: «Шорох, легкие, убегающие шаги, но за ними другие, быстрые, твердые... И все кончилось». Это был предел, о чем можно было писать в эмиграции.

В сборнике «Лунные муравьи» (1912) Гиппиус в рассказе «Женское» описывает, как с молодым барином накануне свадьбы «случилась история». Невеста Оля на два дня с отцом уехала в Петербург за покупками. К барину в комнату вошла горничная, которую тоже звали Оля, и принесла свежее белье и «тут же стала, наклонившись, укладывать в комод. Я смотрел молча на ее белокурый затылок, — повествует рассказчик, — на нежную загорелую шею с капельками пота у волос. Смотрел, смотрел... И мне стало казаться до уверенности, до убеждения, что это Оля пришла ко мне, что мы уже обвенчаны... Я встал и поцеловал Олю в затылок. Она вздрогнула, выронила белье... Я стал ее целовать крепче и грубее. "Да нет... Что это... Да нет..." — шептала Оля, слабо отстраняя меня. Я уже знал, что значит "нет". И тут же, на некрашеном полу, у комода и совершилось все; и было просто, забавно и безумно весело. Она убежала,

оставив на полу белье и незадвинутый комод, а я долго еще про себя смеялся, без единой мысли, и медленно успокаивался».

Перепечатывая этот рассказ в 1932 году в парижской газете «Последние Новости» (под названием «Только две»), Гиппиус была вынуждена ради благопристойного эмигрантского читателя сократить эту сцену, которая стала намного невиннее. Рассказчик начал целовать прислуживавшую ему молодуху, но она сразу убежала, оставив на полу белье и незадвинутый комод.

Вообще в эмиграции Гиппиус нередко перепечатывала свои дореволюционные рассказы, давая им иное название. Так, рассказ «Не занимаются» из пятой книги рассказов «Черное по белому» (1908) появился в «Последних Новостях» (1932. 8 мая) под заглавием «Весенний монастырь». Иногда рассказы перепечатывались и под тем же названием: рассказ «В четверг» из четвертой книги рассказов «Алый меч» (1906) напечатан в «Последних Новостях» (1927. 21 апреля), рассказ «Он – белый» из шестой книги рассказов «Лунные муравьи» (1912) вновь возник в «Последних Новостях» (1927. 27 мая). Жизнь в эмиграции была нелегкой и приходилось перепечатывать старое, иногда несколько изменив его.

До революции Гиппиус выпустила шесть сборников рассказов. В них она часто выступает от имени мужчины, что в России, а затем и в русской эмиграции объясняли ее гермафродитизмом, бисексуальностью, андрогинией. Это, однако, было вызвано, скорее, ее ощущением своего превосходства над мужчиной, силой характера, волевым началом. Понимал это А. Блок, видевший в ней сильную и волевую женщину, а не Антона Крайнего (один из наиболее известных псевдонимов писательницы). «Женщина, безумная гордячка», – обратился он к ней в 1918 году в своем послании.

Героини рассказов Гиппиус – натуры цельные и сильные, в противоположность мужчинам. «Слабый убивает сильного», – пишет она в ранней повести «Златоцвет» о самой близкой к себе по духу героине Валентине Сергеевне, которую из мучи-

тельной любви убивает бездарный литератор, поклонник только что вошедшего в моду Оскара Уайлда. Героини Гиппиус – мисс Май, Марта, Маргарита – не находят счастья, хотя упорно ищут его на путях к нетрадиционному Богу Третьего Завета как воплощению высшей духовности, единственно способной спасти.

Вереница созданных в рассказах и романах («Без талисмана», «Победители», «Чертова кукла», «Роман-царевич») образов многообразна. Ее персонажи представляют все слои общества: от барина до прислуги, от холодных и непорочных «наяд» до проституток, лощеных правоведов, молодых профессоров, студентов, крестьян, литераторов (особенно ей неприятных), филеров, террористов и, конечно же, детей всех возрастов. Все они несчастны по-своему. Столь модные в те годы «новые люди» под ее пером скучны, лишены духовной почвы. Это очень странные люди, изображенные в иронической манере, которой так великолепно владела Гиппиус. Герой рассказа «Смирение» вызывает на любовное свидание девушку Олю только затем, чтобы сказать ей: «Ольга Александровна, я совсем не хочу, чтобы вы любили меня; я сам не люблю вас так сильно, чтобы жениться на вас; мне неприятно, если вы будете страдать из-за меня». В рассказах Гиппиус прочно поселяется скука, съедающая чеховских героев, бесприютность и отчужденность. Если «двое» встречаются, один из них неизменно оказывается несостоятельным в исходе духовного поединка.

Рассказы Гиппиус, созданные в эмиграции, продолжают темы ее прежней новеллистики. Ряд рассказов посвящен изображению детей, их наивности, вере в существование истины и правды. Таковы «Дочки», «Тайна», «Игра», «Несправедливость», «Ваня и Мари», «Надя (Записки младенца)» и др. В рассказе «Открытие» девочка доверчиво ждет, когда вылетит из фотоаппарата птичка. Но птичка не вылетела. «Я хорошо смотрела, – нет, не вылетела. Вместо того господин закрыл трубу и стал с мамой разговаривать... Я не понимала о птичке. Никак не понимала. Может, и мама не понимает? "Мама, – го-

ворю, наконец, — а птичка не вылетела?". — "Какая птичка?" — "Про какую он сказал!". Мама рассмеялась: "Это он нарочно, чтобы ты смирно сидела. Карточку с тебя снимал, вот какие в альбоме". Но карточки меня не заняли: "Мама, а птичка где же?". — "Ах, какая ты глупенькая! Птички и вовсе не было". — "Да он же сказал — вылетит. Значит, была?"». С тех пор девочка стала во всем сомневаться. Птички нет, а можно сказать есть. «Уж если люди, да еще большие, вдруг говорят — есть, чего нет... Как же тогда узнавать, что есть, а что нарочно?».

Многоликая жизнь русской эмиграции, бытовая, семейная, любовная возникает в большинстве рассказов этого периода: «Вопрос», «Японочка», «Неподходящая», «Деньги», «Я простил», «Голубые глаза», «Мотивы», «Так случилось», «Ради Машечки», «Нежность», «Превращение» и многие-многие другие.

Воспоминания о прошлом России и размышления о новой, большевистской стране стали темами рассказов «Барышня и девчонки», «Обыкновенность счастья», «Прошу вас...». Особенно впечатляет рассказ «Приехала» (1936), как бы вариация на тему Шарикова из «Собачьего сердца» М. Булгакова. В состоятельную семью русских эмигрантов в Париже приезжает из Москвы их бывшая гувернантка-француженка Дениз, приобретшая за прошедшие годы вполне «советский» внешний и внутренний облик. От французского языка она отвыкла, ибо «запрещается у нас. Нехорошо на это смотрится». Московские представления о жилищном вопросе она привезла с собой. Войдя в квартиру своих бывших хозяев, она изумляется: «Какая жильплощадь! Все ваше?». Ванну она сразу сочла удобнейшим местом для своих постирушек. С кухаркой у нее начались свары. Однажды хозяин нашел ящик своего стола выдвинутым — пачка конвертов, перо и чернильница унесены. Дениз искренне удивилась претензиям к ней, ибо вздумала написать в Москву, спросить, почем нынче жир на базаре. Ее рассуждения об общей собственности вполне в духе Шарикова: «Ведь они живут здесь на общих началах, разве Дениз "все-

ленная" какая-нибудь? Раз никто не вселен, как же иначе?». Хотя комнату ее в Москве «заселили», но можно достать другую, Дениз через несколько месяцев решает вернуться в Россию, там «с умом — ничего, всего достает, кто с умом». И ее отвозят на вокзал, а Марья Павловна, ее бывшая хозяйка, говорит: «Не понимаю, что ее могло так... Ну точно подменить. Чужая совсем. Люди молодые, там выросшие, другое дело. А она старая, да и по крови чистая француженка. И вдруг — ни следа...».

Еще более выразительна повесть Гиппиус «Прошу вас...». Это рассказ о молодом белом офицере в Париже, питавшем органическое отвращение к насилию, который получает волшебный дар воздействия на людей, произнося слова «Прошу вас...». Свой чудесный дар он решает использовать для освобождения России, едет с группой иностранцев в Ленинград (для Гиппиус он остается Петербургом), заходит к своей знакомой, та приходит в ужас при виде его: «Леня, ты нелегально, ты белый; ты погубить нас пришел? Уйди, сумасшедший, проклятый. Уйди». Женщина, живущая в коммунальной квартире, озиралась и продолжала шептать: «Илья Абрамович партийный. Да чистка будет. А теперь, что будет? В заграничном пальто его спрашивали... Все в коридоре видели, донесут, донесут... О-о!». В этих немногих словах весь образ мыслей человека, живущего под страхом репрессий. По приезде в Москву Леонид благодаря своему дару проходит через все коридоры в Кремль, в кабинет «черноусого» и успевает выкрикнуть: «Я прошу вас... Товарищ Сталин... уйдите! Я прошу вас уйти. Прошу вас уйти от...». И Сталин ушел, вернее, убежал из комнаты, после чего Леонид потерял сознание от тяжелого удара по голове... Как и положено в фантастическом рассказе, герой остается жив и даже возвращается в Париж.

Среди лучших рассказов Гиппиус — «Мальчик в пелеринке» и «До воскресенья». Это золотой фонд русской новеллистики XX века, который до сих пор не был известен отечественному читателю.

В эмиграции Гиппиус написала два романа. Роман «Чужая любовь» печатался летом 1929 года в газете «Возрождение» и повествует о том, как молодой француз влюбился в русскую барышню-эмигрантку, служившую в его семье горничной. «Тема самая невинная, – вспоминала через десятилетие Гиппиус, — там даже не было сказано, "что из этой любви вышло", а лишь что могло или не могло выйти... В наши дни эта тема довольно опасна, и вопроса о "смешанных" лучше не подымать».

В основе многих рассказов Гиппиус — горечь утраты. Любовной – в таких рассказах, как «Кольцо молчания», «Я простил», или духовной, общечеловеческой, как в рассказе «Мальчик в пелеринке»: небывалого таланта мальчик Део, поразивший своими литературными знаниями и чувствами маститых петербургских писателей, гибнет в огне братоубийственной гражданской войны на Кавказе. И никто об истинных виновниках, бросивших Россию в разорение ради утопических планов преобразования народа и страны, ничего не сказал.

Ностальгия по ушедшей России преобладает во втором романе Гиппиус, созданном в эмиграции в 1927–1934 годы. Он печатался в виде рассказов в газете «Звено» и в журналах «Иллюстрированная Россия», «Числа». Рассказчик Иван Леонидович Мартынов повествует о своем детстве, юности и годах возмужания. В рассказе «Сашенька» он гимназистом испытывает платоническую любовь к студенту Сашеньке. «Скандал» посвящен тому, как стареющая женщина пытается соблазнить его, он грубо обрывает ее, но потом хитро выворачивается от угрозы дамы обвинить его в попытке насилия над ней. В рассказе «Смирение» Мартынов рассказывает о первой близости с женщиной, которая оказывается проституткой. В рассказе «Ты — ты» красивый молодой француз в Ницце становится его интимным другом, «единственным "ты" во всем мире». В пятой новелле «Что это такое?» действие переносится в Петербург, где Мартынов помолвлен с Анной, дочерью университетского профессора, но заводит роман с ее матерью. «Ложь, в любви, по-

слана как милосердие, как одежда для прикрытия слишком жестокой и непостижимой правды Любви».

В повести «Перламутровая трость» Мартынов в Сицилии в окружении гомосексуальной молодежи. Его близкий друг Франц фон Галлен влюблен в графа Отто, живущего в Берлине с женой. Юные сицилийцы Нино и Джиованне связаны близкими отношениями с Францем, к чему причастен и Мартынов. А бедная девушка Клара тщетно стремится иметь ребенка от Франца. Весь этот сложный клубок любовных отношений писательница имела возможность наблюдать во время посещения Сицилии (Таормина) в 1896 году.

Один из поэтичных рассказов из «Мемуаров Мартынова» — «Горный кизил», — повествует о том, как Мартынов, поссорившись со своей любовницей в Ялте, уехал на горный курорт, где благородно отказался от соблазнения девушки, которую «доверил» ему робкий приятель на время своего отъезда. «Сама любовь такая не "средняя вещь", — говорит Мартынов, — что чуть она где хоть перышком коснулась — все делается особенным. Тогда, если верить Владимиру Соловьеву, за каждым человеком начинают внимательно следить "и небеса, и преисподняя". И выясняется лицо человеческое, его собственное, какого другого нет». Вот почему щеголеватый петербургский студент Мартынов, целуя под кизиловыми кустами невинные и алые, как солнечный кизил, девичьи губы, не соблазнил Соничку, обещавшую его «так любить...».



Вскоре после первых постановлений правящей большевистской партии по вопросам литературы Гиппиус писала (в статье «О "Верстах" и о прочем», 1926), что партийное руководство и художественное творчество несовместимы: «И в какой мере власть над литературой и писателями реально осуществляется — в той же мере перестает существовать искусство».

С этих принципиальных позиций она рассматривала современную литературу, сопоставляя ее с великой русской класси-

кой. В эмиграции появились люди, которые говорили о русском народе почти одно и то же: «Русский народ только теперь показал свой настоящий "лик". И это не лик, а звериная харя. Русский народ не способен ни к какому человеческому развитию, культуре, просвещению. Его нужно запереть, ему нужно совершенное рабство, железная палка». М. Горький, попав в эмиграцию, заявил, что он «ненавидит русский народ» (крестьянство), «этих низколобых, недостойных называться людьми».

Гиппиус противопоставила горьковскому отрицанию крестьянства книгу И. Бунина «Деревня». «Вопрос о русском народе, о его сущности, о его лице, – старый вопрос, – отмечала она в статье «Бесстрашная любовь (Русский народ и Ив. Бунин)». – Мы не разрешим его. Но такой новой болью терзает он теперь сердца, что не должен ли всякий, по мере сил, сызнова подойти к нему, пытаться увидеть хоть малую часть правды и осветить ее. Для этого... нам нужна помощь художника... Нам нужен художник самый близкий, наш современник, и самый точный, самый правдивый. Такой художник у нас есть. Это – Ив. Бунин... Каким же видели зоркие очи Бунина русский народ вчера, – видят сегодня? И пусть он нам не рассказывает о народе, а показывает его. Мы сами отличим лицо человеческое от хари звериной».

Писательница всматривается в страшную картину, нарисованную Буниным. Бесстрашен в правде Бунин. Не боится показать: «Воры, пьяницы, мошенники, убийцы, да такие бесстыжие, что друг другу не верят». И что же мы скажем, вопрошает Гиппиус. «Скажем только самое несомненное, самое бесспорное. И на первый, страшный вопрос: кто – русский народ? Кто – русский мужик? Человек или зверь? – мы должны ответить раз и навсегда, и ответить – просто уничтожением вопроса. До какого отчаяния нужно довести человека, чтобы он ставил себе этот вопрос, или до какой постыдной потери личности, чтобы он ответил на него, как Горький: "Они недостойны называться людьми!".

Нет, мы знаем; — знают в темной глубине души и отчаявшиеся: русский народ — люди, подобно всем другим народам. Но как у других — есть у него свое собственное лицо, единственное, особенное. Вместе с Буниным мы еще раз, еще ближе, всмотрелись в него, — и в жизнь народа, вековую, — вчерашнюю. Великое томление увидели мы». Однако жизнь России, жизнь русского народа, по мнению писательницы, только у начала.

Творчество Бунина издавна привлекало Гиппиус. Она была современницей его «тихой и действительной славы». В статье «Тайна зеркала (Иван Бунин)» она вспоминает: «С начала 90-х годов, когда Бунин впервые появился на литературном горизонте, русская литература пережила много судорог, метаний, взлетов, провалов; много имен выскакивало на поверхность — и мгновенно исчезало навсегда. Шумели скороспелые славы. Строился картонный трон Л. Андрееву. Тут же объявлялись "новые течения" и рождались хрупкие "школы"... Бунин тихо шел рядом, ко всему приглядываясь и прислушиваясь, никуда не бросаясь с головой, не оставляя собственного крепкого пути».

Гиппиус пишет, что Бунин связан с русской землей, с народной Россией той таинственной внутренней связью, которая позволяет ему чувствовать боль ее как свою боль. «Бунин при этом зорок. Он видит, — ни один, может быть, писатель не обладает столь острыми глазами, — и рассказывает то, что видит. Острота зрения у Бунина — это первое, что поражает читателя». Теперь, когда после захвата власти большевиками, Россия стала «отрицательной величиной», имя Бунина вселяло уверенность: «Россия есть, была и будет, Россия вечна. Не только потому, конечно, что у нее была такая литература и такие люди, ее создавшие; но, между прочим, и потому, что эта литература и эти люди есть».

Гиппиус-критик писала о всех крупнейших писателях своего времени — Андрее Белом, А. Блоке, В. Брюсове, Вяч. Иванове, Георгии Иванове, С. Есенине, М. Кузмине, В. Розанове, И. Се-

верянине, Ф. Сологубе, В. Ходасевиче и, конечно, о Л. Н. Толстом, к которому Мережковские ездили в Ясную Поляну в мае 1904 года. Всех писателей конца XIX и начала XX века, с кем была знакома Гиппиус и о ком она вспоминала в своих очерках, трудно перечислить. И к каждому она прикладывала, как говорила, «лакмусовую бумажку», нелицеприятную оценку. К. Бальмонта, например, она проверяла на «аполитичность». «Если прежде еще можно было горделиво бросить: "Я занимаюсь искусством, мне наплевать на форму правительства", то повторить это теперь, сказать: "Я занимаюсь искусством и глубоко плюю на то, что мой народ дошел до людоедства" — согласитесь, это звучит уже не весьма гордо. Испытание лакмусовой бумажкой дало нам, и продолжает давать, массу неожиданностей. В частности, между писателями "нелюдьми" оказались многие, которых мы никак в этом не смели подозревать... А вот поэт, которому, казалось, Богом самим назначено жить вне "политики", самый напевный, самый природный, самый соловьиный, — Бальмонт, — оказался настоящим человеком» (статья «Бальмонт»).

Поэзию Сергея Есенина Гиппиус не приняла по вполне политическим причинам: «Хотя это звучит парадоксом, разве многие тысячи Есениных, в свою очередь, не помогали и не помогли самим большевикам превратить их возможности — в действительность?». Политическая «лакмусовая бумажка» Гиппиус оказалась сильнее, чем ее понимание и чувство поэзии. Подобные «накладки» случались у писательницы, редко, но случались. Из живших в Советском Союзе, она высоко ценила Анну Ахматову, Михаила Булгакова; Бориса Пастернака упрекала в нарочитой сложности его стиха, и конечно, высмеивала большевистский запал Владимира Маяковского.

Отношение Гиппиус к фашистской Германии было довольно сложным. С одной стороны, для нее был неприемлем любой вид деспотизма; с другой, против большевиков она готова была сотрудничать хоть с дьяволом. В этом отношении она приближалась к беспринципности «классовой морали» большевиков-

ленинцев. В письме В. Злобину 26 октября 1936 года она называла Гитлера «идиотом с мышью под носом», но не исключала, что он поможет сокрушить большевизм в России.

И все же, несмотря на страстное желание видеть родину свободной, Гиппиус никогда не сотрудничала с гитлеровцами во время войны (как и Мережковский, хотя и выступивший в сентябре 1941 года с речью по радио «Большевизм и человечество», опубликованной у нас в его книге «Царство Антихриста». СПб., 2001).

Ю. Терапиано, близко знавший Гиппиус, подчеркивал, что она всегда была подлинно русской патриоткой, глубоко любящей свою родину. В отличие от Ленина и Маяковского, желавшего жить «без Россий, без Латвий» (чудовищные слова в устах как бы русского поэта!), Мережковские любили Россию и русский народ, ждали его освобождения от власти коммунистов, что произошло лишь через полвека после их смерти.

Гиппиус размышляла о причинах второй мировой войны и уже после ее начала писала 19 декабря 1939 года своей близкой подруге Грете Герелль, что следовало бы давно понять — без большевиков в России и их чудовищной деятельности не появился бы ни этот «сумасшедший Гитлер», ни эта ужасная мировая война. Ведь после гибели «этого сумасшедшего» главный европейский Сатана — большевизм — останется цел и невредим. Так оно и случилось.

На протяжении многих десятилетий у русской эмиграции было сомненье: возможно ли подлинное художественное творчество в отрыве от родной почвы? Иные утверждали: «Невозможно». И. А. Бунин решительно возражал: раз из родного уезда уехал, то, пиши, пропал человек? У Гиппиус этот вопрос приобрел иной аспект: как могло случиться, что после десяти лет, в которые рушилось полмира, и все, казалось, погибло для эмигрантов, люди продолжали писать в Париже так же и о том же, что и раньше.

Зинаида Гиппиус — одна из центральных фигур поэзии и прозы Серебряного века, религиозного Возрождения начала

века и литературы русского зарубежья, чьи наиболее интересные произведения появились именно в эмиграции. Как и многие другие писатели-эмигранты, вышедшие из символизма, она отвергала позитивизм и приложение материализма к проблемам искусства и литературы. Отклоняя социологизированное понимание искусства, идущее от Чернышевского, Михайловского, Плеханова, она проявляла глубокое уважение к общечеловеческой культуре, противополагая идеи свободы утвердившемуся в советской России тоталитаризму и партийной литературе.

А. Николюкин

РАССКАЗЫ

ПЕСТРЫЙ ПЛАТОЧЕК



то неинтересно. Никаких нет приключений, вовсе это не рассказ.

А просто ехали мы, во втором классе, через всю Россию, на юг.

Ехали всей семьей: с дедушкой, с тетей, с ее кошкой, с двумя маленькими моими братьями, с бонной, с чайниками и со всякими пожитками. Потому что мы переселялись в южный город, где жил мой дядя, мамин единственный брат — он ее и уговорил в этот город переселиться.

Я был мальчик хрупкий и нежный, — минуло мне тогда шестнадцать лет, — а в южном городе климат хороший, и мне легче будет учиться. Переведут прямо в шестой класс тамошней гимназии.

Ужасно хорошо мы ехали, — это ведь было очень давно. Поезд шел тихонько, часто останавливался на солнечных, веселых станциях, где были деревья кругом, высокие, в бледно-зеленых майских кудрях. Я выбегал на каждой станции, и каждая мне казалась такой счастливой, что я бы рад был на ней остаться жить.

В вагоне — точно маленькая наша комнатка: и дедушку тетя поит молоком, — всегда кошке отливает в черепушку, — и мама книжку читает, и дети, Миша и Тиша, в окна глядят и болтают

с фрейлейн. Как ехать интересно! А что-то там будет, в Т*? Какой дядя, какая тетя? Я их едва помню, видел, когда совсем маленький был.

У меня есть и кузина Таня, дядина и тетина дочка. Как сквозь сон я и ее помню. Крошечной девочкой-толстушкой у няни на руках. И сам-то я тогда не очень тверд был на ногах, хотя и стремился бегать, — скучно ходить.

Кузина Таня меня очень интересует. Стараюсь вообразить ее, но ничего не выходит. Знакомых барышень гимназисток у меня много, но это ведь не знакомая барышня, это родная, как бы сестра. Сестры у меня никогда не было.

Так мы ехали два, а может быть, и три дня. И все становилось интереснее, а ожиданье нового все больше захватывало. Ведь все, все будет новое, и уж, конечно, радостное, веселое и счастливое.

К концу последнего дня мама сказала:

— Мы приедем около 9 часов вечера, но через полчаса будет станция, куда нас тетя Маня выехала встретить. Боится, чтоб мы в незнакомом городе ночью не растерялись.

Эти полчаса мне показались очень длинными. Едва-едва прошли. Однако прошли. И только что поезд остановился (а уж темнело) в наш вагон вошла быстро полная дама с седеющими волнистыми волосами и бросилась маме на шею.

Это и была тетя Маня. Дедушка заплакал, обнимаясь с ней, а за ним и другая тетя, наша, которая ехала с нами и везла кошку.

Тетя Маня со всеми нами познакомилась, перецеловалась и села в мамин уголок, на серую скамеечку. Поезд пошел, и тетя, наклонясь к маме (оне сидели друг против друга) стала с ней разговаривать.

Тетя мне тогда казалась уже старой, но теперь, вспоминая, вижу, что она была довольно молода, хотя и не молодилась; она мне сразу понравилась.

Говорили оне с мамой о том, конечно, как в новом городе устроиться, квартиру подыскать, и все такое. Квартиру уже с

осени, потому что сейчас мы все остановимся у них, — у них просторно! а потом поедем вместе на дачу, в отличное место, где они всегда живут, и дача уже нанята, большая.

Я весь замирал от восторга, и от нового города, и от дачи, и от тети. Только про Таню тетя ничего не говорила, а я не смел спросить, и чем больше хотел, тем больше не смел.

А станции мелькали, уж совсем синие, в желтых огнях. Предпоследняя... Последняя... У нас все собрано, увязано, кошка изредка мяучит в корзинке, дети сонные капризничают.

— Смотри в окно, Валя, — говорит мне тетя Маня. — Теперь минут через десять приедем. Наши будут на вокзале, ты дай им знак...

— Я, ведь, тетя... — начинаю я робко. — Я, ведь, пожалуй, не смогу их... угадать...

Тетя засмеялась.

— Ах, правда, я и забыла! Ведь ты их не знаешь! Ну, смотри, хорошенько: у Тани на шляпке пестренький платочек. Как увидишь пестренький платочек — значит, Таня. А дядя с ней.

Я от окна больше не отрывался, хотя за окном пока еще бежала только темно-синяя душистая теплота, и эти десять минут совсем мне показались нескончаемыми, длиннее гораздо всех трех дней.

Но и они стали проходить и прошли.

Поезд свистит и тихо двигается вдоль еще пустынной платформы, к огням. Под огнями люди чернеют, люди, люди, — но все не те, ненужные.

И вдруг как-то сразу, очень ко мне близко, под огнями, я увидал черную соломенную шляпку с пестреньким платочком. Поезд, точно нарочно, тут же и остановился. Я, может быть, крикнул что-то, может быть, нет, но только на меня прямо глянули, из-под шляпки с пестрым платочком, узнающие темно-карие глаза, полудетские, полудевичьи.

Радость в том, что они были узнающие, узнавшие меня; радость в том, что они были новые, никогда мной невиданные, а все-таки для меня свои, родные.

Я помню еще свежий холодок Таниной смуглой, румяной щеки, когда я ее в первый раз, там, на вокзале, поцеловал. Потом мы пошли вместе, рядом, и так как я был выше нее ростом, то я все время видел этот ее, красиво на шляпке смятый, пестрый платочек, да иногда, из-под черных полей, милый взор ее, смущенный, веселый и родной.

Ну вот, больше ничего. Да больше ничего и не нужно, потому что тут уже — все. Другое дело, если бы выдумывать: можно бы выдумать, что я влюбился в Таню, любил ее всю жизнь, а она меня не любила, или, наоборот, что она меня всю жизнь любила, а я разлюбил... мало ли! Однако ничего этого не случилось, а было необыкновенно просто. Даже до удивительности просто.

Я Таню полюбил не сразу, начал медленно, потихоньку; зато любовь росла, не переставая. Росла, как люди растут, незаметно. Как мы с ней росли, и большими людьми выросли, но расти не перестали, и с нами росла наша любовь — так же незаметно.

Мы были такие разные, а в любви нашей братской, человеческой, до такой степени было одно, что нам и слова не очень были надобны. Сразу как-то взглянешь — и все уже есть.

Жили мы вместе, потом в разных городах, потом опять вместе; и опять расставались, и опять виделись. У каждого из нас была своя жизнь, но это не разделяло нас, и не могло разделить.

Таня вышла замуж. Удивительная, совсем особенная, жена; совсем особенная мать, я таких не видал, да и не слыхал о таких никогда. Но я не буду говорить об ее удивительности: нельзя рассказать, да и совсем уж будет неинтересно. Я только о пестром платочке скажу, вот тогда, на вокзале...

Были мы с Таней, в наших двух жизнях, и счастливы очень, и несчастны очень. Как многие. Каюсь, при всей моей любви,

завидовал я ей часто, главное — силе, которая у нее была во всем, к чему она ни касалась: сила тихая, человечная ужасно — и не совсем человеческая.

Тихости этой силы, дающей бесстрашие, я и завидовал.

Так годы шли, длинные... Я видел Таню в последний раз в тот роковой год... когда в мире что-то переломилось; когда началась война.

Почти десять лет.

Таня пережила за эти десять лет все, что могла пережить русская женщина. Жизнь разорвала нас — но не разорвала нашей связи. Я знал о ней все, она — обо мне. И редкие письма наши — точно мы и не расставались никогда, и почти слов не надо, — душа к душе.

Но я все не о том!

Таня умерла. Светло, тихо, просто. Ушла. А я остался.

Таня умерла. Около нее были дети, муж. Они знали ее, любили ее, как только можно любить. Знали больше меня, — ведь она всегда была с ними.

Но есть что-то, было что-то у здешней Тани, — мелочи, не мелочи, — которые знаю только я. Один я на всем свете! И когда умру я — их, значит, совсем не будет?

Вот хотя бы пестрого платочка... Не будет? Муж Тани о нем не знает. И дети не знают. И никто. Куда же девается пестрый платочек?

Велика, скажут, потеря. Да пусть его пропадает. Таких вещей, пропавших, и сосчитать нельзя. Куда девается бывшее, в душу человечью попавшее, душой сохраненное, никому никогда не сказанное, и даже ни в каких словах невыразимое — куда же ему деваться, если человек умрет? Пропадает.

И теперь уже от пестрого платочка осталась только половина; он был наш с Таней, наш общий, и только наш. Ее половинка пропала, — я храню свой кусочек... пока...

Нет. Пусть так думают те, у кого не бывало никогда ни малейшего пестрого платочка. Они могут. А я не могу, даже если бы и захотел. Я знаю (все мы знаем, у кого есть свой «пестрый платочек»), что бесследным пропадом пропадает только чистая материя, каждый ее лик. Где настоящий, реальный пестрый платочек с Таниной шляпки? Он и не может существовать; он должен был или пропасть, или — сохраниться, — чуть-чуть изменив существо, — между мной и Таней: в нашей любви.

Стоит кольцу любви замкнуть что-нибудь в себя — и вот, оно неистребимо. Большое, малое, пестренький платочек и то, для чего слова нет — все цело, какое бы ни было его количество неисчислимое, все — у Бога. У него и слово для бессловного найдется; кто же не слыхал, что *«слово было у Бога»*. И пестренький платочек у Бога; в сущности я о нем и не беспокоюсь.

Ах, вот как! Это значит — «на том свете»?

Полноте, пожалуйста. Никакого «того света» нет. Есть только один — этот. И Бог в нем же, и все тут же. Но как увидеть? Мы еще в хаосе; мы — в движении материи. Это ничего, это материя делится; и надо время, чтобы она разделилась: чему, в кольцо любви заключившись, сохраниться, а чему, не попав в него, провалиться. Надо время, чтобы «последний враг был побежден — Смерть».

ВАНЯ И МАРИ

Барский дом спит.

Очень большой, белый. Сзади. Выше него, чернеют пышные, огромные деревья парка. Двор — зелено-тусклый на луне, — круглый луг.

Ни в одном окне не видно света. Стекла поблескивают чернью. Тихо. Дом от луны кажется неприятно-мертвым.

Впрочем, не мертвый. Если прислушаться — заглушенное, задушенное пиликанье гармоники. Точно из-под земли. Это — в обширных подвалах, где кухня, прачечная, всякие комнаты и

переходы. Там, при тщательно закрытых низких окнах, танцуют.

Гости — кавалеры и «барышни» из деревни, что за рекой. Гармонист оттуда же. А хозяева — летние обитатели барского дома... т. е. подвального его этажа: кухарка Анна Ниловна, прачка Степанида Петровна, три горничных — Катя, Таня, Мари и, наконец, молодой Иван, — Ваня — Пугачов.

Это у них часто — бал. Гости — кавалеры, хоть и деревенские парни, народ не серый: такая местность. Кругом фабрики, и по зимам все деревни уходят туда работать. Деревенские «барышни» днем, в поле, щеголяют в сарафанах, а вечером умеют принарядиться не плоше петербургских Кати и Тани, да и знают всякие танцы и всякое обхожденье.

Очень весело в подвале, хотя и пол негладкий, а две лампочки не ярки. Танцуют кадриль и «лансье». Тяжеловатая Катя с увлечением вертится вокруг парня в синей рубашке. Кокетничает. На широком, веселом носу у нее капельки пота. Таня пониже ростом, побледнее, тоже с «манерами». У востробородой старой Степаниды-прачки больные ноги, лысина завязана черной косынкой, но танцует и Степанида.

Однако на бельевом катке, у стены, сидит «барышня», которая не желает танцовать. У нее кругленькое, как яичко, лицо, немножко подпудренное, и черные глаза. Смотрит презрительно и пожимает плечами.

Около катка, неотходно, — высоченный и рябоватый Ваня. Он отчаянно влюблен в черноглазую. Любовь в буквальном смысле отчаянная: она не выразима.

Дело в том, что владычица Ваниного сердца — француженка, Мари. Ваня давно тайком приобрел самоучитель, не расстается с ним, кое-что вызубрил; но сам чувствует, что не может сказать того, чем полна его душа.

— Так, значит, решительно не ве па дансе?* — говорит Ваня.

* Не хотите танцевать? (*фр.*).

Черноглазая пожимает плечами и болтает что-то по-своему, что-то нетерпеливое, и глядит в Ванино грустно-дурацкое лицо.

Она — чужестранка, зовут ее не Катя или Дуня, а Marie-Louise, она здесь на все фыркает, все считает грубым, — и, конечно, это-то и заполонило сердце Вани. Непонятность ее была пленительна.

— Си не дансе, аллонь *, — говорит с усилием Ваня. И на ее вопросительный взгляд — куда «allons?» — прибавляет:

— На улицу аллонь, наружу, промне... У двери на лавочке посидим. Компрене? На свежем воздухе, иси... **

Ваня помогает себе руками, чуть не носом. Но Мари поняла. Она, конечно, знает больше русских слов, — за два-то месяца! — чем хочет показать.

Слезла с катка. Очень ей нужно смотреть на эти «лансье»! С Ваней она держит себя королевой: такой стиль кокетства.

Вышли на тусклую луну, на луговой двор, сели на лавочке узенькой. Тихо. За припертой дверью и музыка из подвала едва слышна.

Ваня, от переполнявшей его любви, окончательно онемел. Да будь это Дуня или Катя — никакие слова не понадобились бы: облапить и кончено. А тут не то.

С невероятным усилием памяти он выговорил, наконец:

— Же ву зем ***.

Мари дернула плечом и захохотала.

— Ah, zut! Pas de bêtises! Chantez plutôt votre «moguila» ****.

Ваня хочет сказать, что боится, что в доме все спят. Но вместо этого потихоньку затягивает: «Пускай могила меня накажет...».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Если не танцуете, пойдемте (*фр.*).

** Понимаете... здесь... (*фр.*).

*** Я вас люблю (*фр.*).

**** Вот еще! Без глупостей! Спойте лучше вашу «могила» (*фр.*).

Песня глупая, городская; но ее любят и Таня, и Катя, — петербургские штучки. У местных деревенских «барышен» — другие песни. Как оне их распевают, возвращаясь с поля! Дивно, что старые русские песни сохранились здесь, что нет частушек, какие горланит вся деревенская Россия.

Мари к песням равнодушна, у нее нет ни музыкальности, ни любознательности: снисходит лишь к Ваниной «могиле»; нравится, должно быть, что тут что-то сантиментальное о любви и «tombeau» *. Но главным образом — Мари занята собой, своим превосходством. Ванино поклонение принимает, как должное, и очень серьезно держит себя королевой.

А гордиться ей, казалось бы, и нечем. Отец, прачечник парижского banlieu **, вместе с мачехой бил ее с утра до ночи; потом она бегала по всему Парижу с бельем; всего случалось, пока не пристроили на место. Потом на другое, на третье... наконец сердобольная лавочница рекомендовала ее к иностранцам. Русской барыне понравилась ее смазливость. Ну, и взяли ее «на год» в Россию: «пусть на стол подает, при ней свободнее разговаривать». О, конечно, только на год! Парижская улица в крови у Мари, и никакие жасмины не заменят ей веселых ароматов любого quartier *** на берегах Сены. Пока — она считает, что «путешествует по варварской стране». Не варварская — Франция (т. е. Париж), и отсюда ее неистребимое чувство превосходства.

«Национальный» вопрос потрясает людскую и кухню с самого приезда Мари. Как они там объяснялись — Бог их знает; но крик и гул шел непрерывно. Мари бесцеремонно и грубо передразнивала товарок: вот как едят, вот как подолом шлепают... Те входили в раж. Особенно неистовствовала Степанида-прачка. Лезла драться, Мари готовилась дать сдачи.

* «могила» (*фр.*).

** пригород (*фр.*).

*** квартал (*фр.*).

— Qu'elle est bête! Qu'elle est bête! *

— Слышите? — вопила Степанида. — Всячески ругается! Кулебякой ругается! Да я ее, толстомордую... Да я ее...

Ваня разрывался, вторая горничная, худенькая Танюша, неглупая и переимчивая, тоже лепетала какие-то полуфранцузские примирительные слова... Наступало затишье. Ненадолго. До новой свары, до новых насмешек и «ругательств» Мари.

Быть может, и нельзя было назвать эту войну в подвальном этаже — «национальной». По крайней мере Степанида и все другие русские обитательницы людской обижались на Мари просто как на «толстомордую наглянку», каждая за себя, и только. Что она француженка, и говорит, что Франция лучше России — им до этого как-то не было дела, и «за Россию» обижаться — в голову не приходило. Ни о какой Франции оне не думали и думать не желали... (а, может быть, и о России тоже?).

Мари — лентяйка, лживая и глупая девушка; но, как ни странно, она все-таки ближе к «национальному вопросу», чем другие. Пусть и для нее Франция, — родина, — только Париж. Но все-таки она какой-то «родиной» кичится и за ее превосходство (и свое, конечно) — кидается в бой. Танюша куда умнее Мари, но и она, понимая, что сама-то Мари не много стоит, готова с ней дружить и нисколько не защищает свои порядки: что, мол, пожалуй, и правда, — там за границей у них шикарнее.

О Ване и говорить нечего. Мари ему казалась особым, нездешней прелести, существом.

Теперь, сидя с ней на лавочке, он горел и потел от блаженства. А ночь была свежая.

— J'ai froid **, — сказала Мари и повела плечами.

Ваня понял. И — сам не ожидал! — сделал движенье, чтобы обнять ее: Мари увернулась и даже дала ему, полукокетливо, пощечину.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Какая она скотина! Какая она скотина! (*фр.*).

** Мне холодно (*фр.*).

— Же ве... — начал, смутившись, Ваня. — Понимаете, не что-нибудь! А марье*. Понимаешь?

Мари фыркнула. Да и было к чему. Да и сам Ваня понимал, что сморозил глупость. Ни кола ни двора у него; да еще на призыв идти осенью. И не в том дело: а как это — жениться на Мари? Еще вот — на луне бы жениться!

Со злобой поглядел на луну: она стояла высоко, маленькая, зелененькая. Не жениться, а вот уедет Мари в свой Париж, а ему, Ване, лоб забреют...

Солдатчина и «разлука навек» с Мари соединялись для Вани в один узел горя и преисполнили его жгучей к себе самому жалостью.

Махнул рукой и проговорил первое попавшееся:

— Эх, жизнь! Лучше бы помереть.

Потом вскочил и, поясняя жестами, зашептал:

— Письмо напишу... Леттр... А ву... Хорошо? Леттр...

Зашагал по двору в луне и скрылся. Мари с удивлением поглядела ему вслед. Не понимала, почему этот громадный варвар, при первом ее отпоре, так размяк. И зачем письмо?..

Письмо он писал всю неделю. Не длинное, но обстоятельное. Он, Ваня, любит по гроб жизни (tombeau de vie), а ему идти в солдаты. Если не удастся отвертеться — лучше умереть, к тому же вечная разлука с Мари. Пусть она придет вечером в липовую аллею, на дальнюю скамейку.

Танюша была посвящена в это дело. Ваню ей было жаль, а, главное, любопытничала, и в аллею оне побежали вместе с Мари, когда смеркнулось. Ненадолго, пока чай не подавать.

Да и о чем говорить долго? Выяснились, однако, удивительные вещи: Мари презирает тех, кто не хочет идти в военную службу. Во Франции всякий за честь считает быть солдатом.

Ваня, уразумев это (помогала Танюша) — растерялся. Вот так так! Ну, хорошо. Ну, положим, он пойдет. А вечная-то разлука?

* Я хочу... жениться (*фр.*).

Оказывается, если он не пойдет, вечная разлука совсем неизбежна. Во-первых — Мари его будет презирать, а во-вторых — ведь она все равно уедет в Париж (тут уж и Таня помогла выяснению дела, махала головой и рукой, повторяя «Париж, Париж...»).

Небо еще не вовсе погасло, еще зеленела его хрупкая высота, но под липами, в аллее, было так черно, что даже казалось душно. Мари и Танюша сидели рядком на скамейке. Ваня, длинный и нескладный, переминался с ноги на ногу. Помолчав, произнес:

— Так. Много благодарны. Ну, значит, повешусь.

— Ах, не надо! — сказала жалостливая Танюша. — Слышишь, Мари, вот дурак, правда — дурак? Ваня, ты не дури, и ведь врешь все, ты лучше поучись у нее по-французски, она тебя хочет учить, уроки давать, она мне объясняла. Тогда, говорит...

Старческий, но пронзительный голос Степаниды прервал ее:

— Таня-а! Ванюшка-а! Танька!

— Бежать надо, зовут, — зашептала Таня, схватываясь со скамейки. Я вперед, а вы за мной, а то будет нам всем...

Ускользнула неслышно. Мари тоже встала. Ваня увидел, при свете неба, что она улыбается. Что-то говорит негромко, не разобрать — что, однако, не сердится. Верно, об уроках... Почему-то эти уроки, хотя они ничего не решали и не спасали, необыкновенно Ваню подбодрили. В голове у него просветлело. И через минуту, из хаоса обрывочных мыслей, вдруг явилась одна — гениальная. Мари хочет, чтоб он служил... А если ему пойти — в моряки? Эскадру пошлют во Францию... Обязательно пошлют! А во Франции — Мари. Вот оно к чему все! В восторге он схватил Мари за плечи, он только боялся, что не сумеет рассказать ей, объяснить этот блестящий план. Но недаром он сидел неделю над самоучителем. Путал, заикался, но — она поняла! Marine, soldat, marin, France, escadre... Je... à vous... *

* Флот, солдат, матрос, Франция, эскадра... Я... вам... (*фр.*).

Поняла, и ободрительно качает головой:

— C'est très beau... d'être un marin...*

Ваня так стиснул ее в могучих объятиях, что она вскрикнула. Но вырвалась только после первого, долгого поцелуя... когда, впрочем, Ваня и сам ее больше не держал.

Остался под липами один, ошалелый от блаженства.

Степанида опять где-то вопила:

— Ванюшка-а! Ваня-а!

Он не двинулся, — кричи, сколько влезет, и подождешь, мол, не лопнешь! — Сидел на скамейке, в мечтах... Потом стал опоминаться. Понемногу.

— Да. Идти, значит, служить. В морском экипаже вообще легче. Потом эскадра... Конечно, только еще когда это все будет... А служить — не миновать...

Глядел на свою судьбу, гадал. И все пристальнее думал о службе:

— Хорошо. Ладно. Эскадра и прочее. Ну, а если да вдруг — война?

Даже вслух это — о войне — сказал, хотя никогда раньше о войне не думал.

— Если да вдруг, не дай Боже, — война?

Было это в 13-м году. Война застала Ваню Пугачова в Кронштадте, матросом. Воевать ему, однако, пришлось не на немецком, а на русском фронте, при второй революции...

Но что нам до судьбы Вани Пугачова? Он долго помнил уехавшую Мари; а эскадры никакой не вышло, Франции он не увидал...

Разлука-то и вправду оказалась — навечная.

* Это очень хорошо... быть моряком (*фр.*).

КОЛЬЦО МОЛЧАНИЯ

Молодой приват-доцент Райвич ехал верхом в соседнюю усадьбу Коврово — свататься.

Это было... все равно когда, вероятно, давно: еще существовали приват-доценты, верховые лошади, леса вдоль реки; теперь она обмелела, леса свели и сожгли Коврово.

Но нам теперешнее безразлично; мы рассказываем о далеком предвечернем дне, когда ехал приват-доцент Райвич лесом в Коврово свататься.

Маша ему во всех отношениях — пара. К нему очень мила, и никаких нет оснований думать, что она откажет. Дядя и тетка, у которых в имении нынче гостил Райвич, давно решили про себя, что он непременно на Маше женится, и только удивлялись, что так медлит с предложением. Быть может, удивлялись и Машины родители...

Райвич все это прекрасно знал. Он мог бы посвататься два месяца тому назад, когда темноглазая, веселая Маша только очень ему нравилась. Думал тогда часто, как она улыбнется, скажет ему «да», как они повенчаются, как устроятся... И казалось просто, приятно и мило.

Но потом — странно! — чем сильнее он в Машу влюблялся — тем дальше отступали эти приятные мысли. И свадьба, и жизнь вместе, все это отходило в туман; стал думать об одном: любит она или не любит? Стал волноваться, сомневаться, бояться: а вдруг не любит? Никаких причин для такого страха не было, а он все-таки боялся, и чем дальше, тем больше, потому что чем дальше — тем важнее ему было знать, одно: что она любит.

Знать важно, а спросить страшно. И молчал.

Он бы и сегодня не поехал. Но вышло как-то, что уж нельзя; выплыла опять необходимость сделать Маше «предложение». Его вызывают в Петербург. Лучше кончить до отъезда.

В каком-то двойном волнении он едет, знает, что «свататься» едет, а не думает об этом, о Маше и любви своей думает

тихо и странно. Странным кажется ему день этот; а лес знакомый — точно он в первый раз увидал его.

Сегодня шестое августа, суббота. Предвечерне, и уж немного осенне. Дожди были, а сегодня сразу ясно, стеклянная, желтоватая ясность, и под закат — терпкий холодок стал в лесу.

По мягкой дороге, по самой опушке высокого тихого леса едет Райвич шагом. Негулко по земле мшистой ступают копыта. Так тихо в желтом полном свете, ни шороха, ни голоса птичьего, только порою — беззвучный звук удил, когда лошадь мотнет головой. Да вот еще: далекий, тонкий звон сельского колокола за невидной рекой. Субботний колокол... Почему он тоже как будто желтый, под цвет свету предвечернему и тишине?

Райвичу кажется, что он продолжает думать о своем, но он уже почти не думает; или какие-то неидущие мысли: вспомнил, что в детстве суббота ему всегда представлялась желтой, закатной и веселой, как этот вечер и этот дальний звон.

Да и праздник сегодняшний, Преображение, яблочный Спас, — ведь и он тоже, в детстве, был желтый и веселый.

Ну и пусть. Впрочем то, что теперь, не веселье: теперь наплывает радость или что-то вроде радости, непонятно-милое, бессловно поднимающее...

Откуда оно? От чего? Может быть, вот, от этого летучего запаха гари, тоже полуосеннего, полувечернего, дымка паутинного с прелью лесной?

Зазеленела дорога вниз, в лощинку, и с обеих сторон обступили ее отемневшие деревья. Холодок нежнее, сырее обнял, в лицо пахуче дохнул. И чем ниже, тем глуше, тем тише...

А звон желтый, тонкий, частый, все плывет, но и он — тишина.

«Верно, любит...» — подумал Райвич, но уже ни одного слова не было в этой мысли: ни «верно», ни «любит». Слово, даже подуманное, все-таки звук. А если душа недоуменно и крылато

радостна — она тиха. Пожалуй, бессловные мысли и не мысли вовсе: так, само дыханье души.

Любовь, лучей желтых низ, папоротниковые лапы меж стволами, запах дымка и прели, плывучий звон воздушный, любовь... В одном кольце, в одном объятии — молчанья.

Кажется, лучше не будет никогда.

Или нет: будет. Ведь радость все нарастает. Самая волшебная из радостей — радость ожиданья.

Вздрогнула, было, остановилась, когда угас звон. Но тотчас около выпавшего звона опять сомкнулись волны радости, и опять стали расти и подыматься.

Волшебная и нежданная — она не удивляла. Не она ли только и была родная, а все, что не она, все, что было до нее, не сон ли чужой?

За лощинкой, за холмом кончится лес; будет поле, будет поворот в усадьбу... Но до поворота еще, — и есть ли поворот? есть ли усадьба? — Райвич увидел Машу.

Она тихо шла, не навстречу, а впереди, по самому краю лесной дороги, под самыми ветвями низкими. На голове у нее желтоватый шарф, — длинные концы прозрачные.

Не могла она тут не идти. Не мог он ее не встретить. К этой встрече и вела его ожидающая радость.

Остановился, легко соскочил с лошади, бросил поводья. Остановилась и Маша, глядела, темноглазая, на него без улыбки. Без улыбки — и без слова. Да и как иначе? Ведь это была не та Маша, веселая барышня, на которой хорошо жениться, приятно устроившись; но Маша здешняя, лесная, закатная, в закате розовеющая, как уже зарозовел воздух и стволы дерев.

Тихо и просто она стояла, и он подошел и, едва касаясь, обнял ее плечи.

Может быть, так слышалось, а, может быть, и снова запели, тонкие поплыли звоны вечерние по розовым небесам, углубляя тишину, замыкая в кольцо молчаний любовь, лес, душистую сырость, любовь.

Там в кольце, – мир крылатой радости. Там не удивляло ничто. Не один ли он. Этот мир, – родной, и не все ли, что около него, вокруг него, все, что было, что будет, – как сновиденье чужое?

Есть ли время в нем? Может быть, да, а вернее – нет. Еще розовость дерев не погасла, еще туман ложбинный не дотянулся до ветвей, – а Маша снова идет одна, легко, вперед, по лесной дороге, по которой обратно идет Райвич – и теперь уже наверное знает:

И не надо, чтоб было лучше.
И, вообще, больше не надо ничего.

Так молодой приват-доцент Райвич ездил свататься в предвечерний, предвесенний день; а почему из этого сватовства ничего не вышло – осталось для всех непонятным.

Райвич и Маша, если сами и понимали, ничего никому не сказали. Да и как бы могли они? В кольце любви, в кольце молчания – нет слов.

МАЛЬЧИК В ПЕЛЕРИНКЕ

(*Встреча*)

I

Когда я вспоминаю о петербургских предреволюционных и даже предвоенных годах – передо мною часто встают юные лица тогдашней литературной молодежи. И даже не только литературной, и не только молодые: помню лица и совсем детские. Мне тогда казалось, что не они, юноши и девушки, уже вошедшие в жизнь, не молодые поэты, уже коснувшиеся литературы, – наша настоящая надежда. Не они смогут дать нам настоящее новое, потому что не их глаза увидят новую жизнь,

а вот эти полудетские глаза мальчиков и девочек, что ходят еще в коротких платьицах.

Что ж, догадка оправдалась... ужасно оправдалась! Ах, так, сказала Жизнь, — и преподнесла нам кровавую гримасу.

Лучше бы и не вспоминать об этих догадках и упованиях, если б не одна мысль: может быть, и нет никакой гримасы; может быть, сегодняшняя действующая юность — вовсе не те, полудети *тогда*. Сегодняшние — не лежали ли они тогда в колыбели? А мои, вчерашние, тогдашние — просто погибли.

Оттого и были у некоторых такие серьезные, удивляющие глаза. Мы видели в них Судьбу, но прочитать ее не могли. Хотели думать, что написано — «жизнь», а это была — «смерть».

О гибели многих я знаю наверно. О других не знаю ничего, и это тоже, почти наверно, означает гибель. Мы слышали бы о «спасшихся», хотя бы о ком-нибудь из тех, кто ранее тянулся к литературе. Никого из них нет среди «Звезд» совдепской неолитературы.

Я хочу рассказать беглую встречу с одним странным полуребенком, таким странным, что до сих пор некоторых в нем вещей я не могу себе объяснить, они кажутся чудесными.

Это было в Кисловодске, летом 17-го года.

После потрясающей зимы и весны этого года в Петербурге, один из нас, трех старых литераторов, живших тогда вместе (и во всех смыслах близко стоявших к событиям) — заболел. Мы не обманывали себя, не закрывали глаз на серьезность общего положения и на опасность путешествия через всю Россию в данный момент; однако, решили рискнуть и поехать на несколько недель в Кисловодск.

Кстати, там друзья, — мы туда постоянно ездили раньше.

В Кисловодске все уже встряхнулось, — не то кипело — не то разлагалось. Как везде — внизу разлагалось, разваливалось, вверху как будто кипело.

Особенно кипело среди молодежи, самой зеленой, в наиболее интеллигентных слоях.

Ну, провинциальная молодежь очень все-таки разнилась от петербургской, — посерее, позахолустнее. Но имелось у меня и там несколько приятелей, с которыми весело дружить; отрадно и поболтать — и серьезно поговорить.

Я не чувствую в себе никаких способностей к педагогике, а потому разговоры мои с молодежью сами как-то выходили вне учительства и ученичества. Во мне просто был громадный интерес к ним (они это чувствовали) к тому, что они думают, как им что кажется, и подчас мы принимались серьезно спорить на самых равных правах.

Особенно дружили мы с двумя девочками. Сестры, — но такие разные, хотя обе очень интересные и талантливые. Старшей, математичке и «философке», живой, энергичной, было 16 лет. Младшей — 14. Эта — замкнутая, часто печальная, тихая; она писала стихи, недурные, еще детские; ей еще нужны были технические уроки (не Петербург, все-таки), но она быстро их схватывала.

Конечно, появились и всякие новые «свободные» журнальчики, листовки; один, быстро сгасший, журнальчик, даже «молодой», в чем сомневаюсь: печаталась там какая-то пропагандистская дрянь по «новой» орфографии.

Мои девочки, хотя происходили совсем не из демократической семьи, были, конечно, полны взволнованного восторга перед революцией, точно все эти три пятилетия своей жизни оне только ее и ждали. Теперь-то, — казалось им, да и окружающей юности, — должна начаться настоящая работа. Всякий, кто как умеет, как может, — за работу!

Пока что — решили начать свой журнальчик под названием «Грядущее».

Маня (старшая) взяла на себя технику, летала каждый день в Пятигорск в типографию, с подручным гимназистом, который потом, ночью, еще отвозил исправленные корректуры.

Младшая, Оля, не такая подвижная, устроила на своем балконе редакторские приемы: туда должны были приносить рукописи (или присылать) сотрудники со стороны.

Столбы Кисловодска закрасили объявлениями о «Грядущем».

В списке сотрудников мы, трое петербургских писателей, не значились. Но как сотрудники «случайные» — мы там, конечно, писали, да и молодой «технике» нашим опытом посильно помогали.

Оля была завалена «материалом», и стихотворным, и прозаическим.

По вечерам «редакция», в полном или неполном составе, прибегала к нам (мы жили напротив). Приносились и «материалы» на проверку положенных резолюций.

Было бы глупо, начни я со строгостью судить этот «материал». Все — относительно.

И, вот, я терпеливо читаю рассказы и стихотворения — с Олиными пометками, которые, в общем, нахожу правильными. Есть стихи (много) совсем невозможные; что ж делать! Другие есть, зато, свежие, хотя ребяческие; вроде Олиных, немножко хуже — ничего. Все-таки их напечатаем.

И вдруг, в этой куче, среди всех «ничего» — я вижу строки, словно другими чернилами написанные. Трудно это объяснить (а стихотворение не помню), но впечатление получалось определенное: между милыми пробами сил, этими провинциальными «надеждами» и короткими строчками *готового* поэта — нет ничего общего. Отнюдь даже не в яркости неизвестного «таланта» было дело. Нет, лежало передо мною, присланное в Олину редакцию, законченное, умело сделанное, оригинальное стихотворение.

Конечно, спрашиваю Олю на другой день:

— Чье это стихотворение, вы не знаете? Псевдоним такой странный... Кто может под ним скрываться?

Признаюсь, у меня мелькнуло подозрение, — ни на чем, впрочем, не основанное, кроме отличия автора от другой молодежи, — что он не так молод.

Оказывается, Оля знает. Оля его видела. Он сам принес рукопись, ни слова не сказал, сейчас же убежал. Но Оля вернула

его и, как настоящий редактор, попросила написать на рукописи фамилию и адрес.

Фамилия – армянская, трудно запоминаемая. Из нее, по звукам, можно сделать его псевдоним. А, все-таки, взять псевдоним «*Део*» как будто смело. – Совсем молодой, говорит Оля. Правда, хорошее стихотворение?

Она *разницы* с другими не могла почувствовать, а что «хорошее» – очень поняла.

Но мне хочется видеть Део. Понемногу и Маней, и всей «редакцией» овладевает это желание.

– Мы его позовем, – решают девочки. – И вы все приходите. Не в редакцию, а к нам, на общий балкон, чай пить. Хорошо?

II

На широкой веранде, затененной зеленью, не за столом, где накрыт чай, а у маленького столика в противоположном углу, – неловко ютился Део. Но скоро и мы, с чашками, перекочевали в его угол, сдвинув соломенные кресла.

Это маленький, тоненький, черненький мальчик в черной пелерине. Узкое, бледное личико, черты мелкие, совсем ничего армянского, даже глаза не армянские, хотя и темные.

Он то вскакивает, то садится. Должно быть, нервно-застенчив. Во всем его облике – какая-то хрупкость.

– Сколько вам лет? – спрашиваю.

– Мне... будет семнадцать... – робко говорит Део.

Впрочем, все больше и больше оправляется. Мы узнаем, что он родился и живет в Шуше, и вот теперь только в первый раз в жизни из Шуши выехал, на один месяц, с кем-то из родных; на днях опять уезжает домой. Отец его армянин, мать – русская. Отец что-то вроде «коммерсанта», мать, кажется, бывшая учительница. Язык в семье – армянский. (Део по-русски говорит без малейшего акцента.)

Чтобы понятнее (или непонятнее) было дальнейшее, нужно вспомнить, что такое родная Део Шуша. Это дальний го-

родок Закавказья, прилепленное к скалам «Орлиное гнездо». Не только нет к нему железной дороги, но почти нет и колесной: туда долгий, трудный путь; ездят чаще всего верхом. Что там делается — почти никто и не знает; известно, впрочем, что издавна идет там какая-то перманентная «революция» (теперь сказали бы мы более точно: вечная «гражданская война»).

Део о своей родине не распространяется. Скользит. Он ничего не описывает, ничего не рассказывает. Отвечает только на вопросы. Но мы сами не останавливаемся на расспросах о Шуше.

— Вы давно пишете стихи? Вы где-нибудь печатались? Куда-нибудь посылали? Кого-нибудь знаете из поэтов? Вот у вас оказалось стихотворение, посвященное мне. Вы что-нибудь читали мое?

Део кротко, но снисходительно улыбается. С этого момента и началось наше удивление.

Део никогда не печатался, никуда не только не посылал своих стихов, но даже никому их и не читал. У него есть небольшая тетрадка; если я хочу — он мне их все перепишет в другую тетрадку и принесет. С современными поэтами и писателями он никогда в непосредственные отношения не вступал (и уж, конечно, ни одного в глаза не видел), но он *знает все*, что они когда-либо писали.

— То есть, как это все? — не без улыбки спрашиваю.

— Все, что они печатали и печатают. В книгах у меня даже все издания каждого, в журналах, в газетах разных... Я все сейчас же знаю.

Шутя, мимоходом, спрашиваю:

— А мое стихотворение — «Петроград» — наверно не знаете?

— Как же. Оно было напечатано в «Речи», вот теперь, после революции, хотя написано давно, как вы объясняете в вашей статье.

У Део есть несколько любимцев: он знает не только их каждую сторону; он имеет даже все, что писалось и о них, — до малейшей рецензии газетной.

— Каким образом? Откуда?

— Да, я просто выписываю через конторы... магазины петербургские и московские... Заказываю... Это уж теперь налажено у меня. Также и с портретами писателей. Если новый выходит — мне сейчас посылают.

Мы невольно задаем ему несколько «проверочных» вопросов, мы, петербургские журналисты, литературные критики... Признаюсь, вопросы были иногда нарочно «спутывающие»... Но они его не спутали и ни в чем не могли «уличить». Да, он как будто и впрямь знает, — все знает.

— Ваш отец — состоятельный человек, вероятно? Ведь вы должны иметь порядочную библиотеку?

— Библиотека у меня — да, есть, правда. Но отец мой не... не касается этого. У нас большая семья, мы живем стесненно. Я в реальном училище. Но я с третьего класса... даю уроки. Репетирую, и так, частные уроки. И все, что зарабатываю — уже, как известно, все это идет у меня на мои занятия, на выписывание книг.

Мало-помалу, с оценки знаний Део, мы переходим к его оценкам писателей.

Нашему удивлению перед шушинским реалистом суждено было все возрастать — медленно, но верно. Не помню, чтобы приходилось мне слышать от кого-нибудь более тонкие, меткие отзывы о книгах, отдельных писателях и о современных литературных течениях.

Разговор давно шел только между нами и Део. Остальные присутствующие стушевались, и даже сама редакция «Грядущего», — Маня и Оля, — только жадно слушала наш разговор, не вставляя уже ни слова.

Део не оратор; говорит, немного запинаясь, ища точных слов, и — без тени самомнения или даже — такой обычной у

молодых, — нервной заносчивости. Она в нем должна быть, иначе серьезность его звучала бы старчеством; но старчества нет: в суде его, даже в осуждении того, что ему не нравится, слышно юное благоговение перед всей литературой и такая удивительная любовь к ней — больше, чем к самому себе.

Футуристы (знает всех отлично, лучше нас) пугают его; на наше замечание, что не так уж они страшны и скоро сами провалятся, Део задумчиво сказал:

— Да... Может быть... Только они — разрушители слова. Я не умею этого сказать, но слово — как цветок, наверху. Оборвать его сначала, — а потом можно и за стебель, потом за корни... Нет, так нельзя.

О модном Игоре Северянине (им, нечего греха таить, и наша «редакция» под сурдинку увлекалась) Део отозвался со снисхождением: показательное явление, но какой же это стихотворец?

И вдруг, перейдя к общему, стал одушевленно доказывать, что река русской поэзии ныне, и с давних пор, разбита на два русла. Он видит очень ясно два отдельных течения: *тютчевское* и *фетовское*. Несмотря на кажущуюся отдаленность некоторых современных поэтов, и от Тютчева и от Фета, — все, непременно, наследники или того, или другого.

— Сологуб — наследник Тютчева, Брюсов — Фета.... Ну, это уж очень просто, положим... А вот я скажу, что Блок, если не брать поверхностно и если не считать, что в него и от Фета нечто попало, — ведь он на странном перегибе стоит — и он — от Тютчева. Футуристы, с Игорем Северяниным на придачу, непременно от Фета. Если, вы говорите, они не страшны — ну так сами себя только разрушат, а течение очистится...

Парадоксальная или нет — мысль тоненького мальчика в черной пелерине показалась нам интересной и новой. Он совсем воодушевился. Заговорил уже прямо о Тютчеве и о Фете, опять с неожиданной тонкостью проводя между ними грань.

Один из нас сказал тогда, почти с беспокойством:

— Позвольте, мы о современных писателях говорили, о современной нашей литературе, которую вы, нет спора, прекрасно знаете. Но теперь мы переходим уже на историю. Тут вы не можете быть компетентным...

Но как раз тут нас и ждало самое невероятное.

Объяснить не берусь, но утверждаю, находясь в твердой памяти, — факт: Део *знал*, с тою же полнотой и отчетливостью, как современную, — всю русскую литературу вообще. И, мало того, что он свободно разбирался в старых писателях, не забывая даже мелких: он знал их окружение, знал эпоху, и совсем естественно выходил, при этом, из узких рамок только литературы. И так же естественно к ней возвращался. Даже к своей любимой мысли «Тютчев—Фет» возвращался, определяя Аполлона Григорьева, как «пре-фетовца», — что видно не только по стихам, довольно слабым, даже для своего времени, но и по критике, и по всему его облику.

— Я, ведь, не потому беру Тютчева и Фета, что считаю их столпами русской поэзии, а для более ясного определения духа, как он в ней раздвоен. Вот Баратынский, я его люблю, пожалуй, как Тютчева, но говорю — «пре-тютчевец», потому что Тютчев самый характерный для определения. Конечно, конечно, это один из детальных вопросов, и если мы возьмем... ну, историю эпохи во всей сложности...

Но тут его перебил седеющий критик, знаток не литературных одних, но общих течений русской мысли девятнадцатого века.

Перебил он резко; его изумление дошло, очевидно, до раздражительной досады, как всегда перед непонятным. Кинулся на Део уже с откровенно «экзаменационными» целями и даже с откровенным желанием «подсидеть» шушинского реалиста.

И «подсидел» бы, вероятно, т. е. нашел бы какие-нибудь «зияющие пробелы» (ведь не чудо же, все-таки, этот мальчик из «Орлиного гнезда»?). Но был критик слишком раздражен, сыпал зря вопросами, и хотя самыми «подковыристыми» — Део выдержал испытание прямо с блеском.

Приходилось сознаться: не нам его учить. Кое-чем еще у него можно позаимствоваться. Он был знаком не только с произведениями всех русских писателей всех эпох, он знал и всю мемуарную литературу, успел проштудировать издания даже самых последних, военных годов — Письма Белинского, Архив Воейковых и другие. Как он мог успеть?

Вот, однако: «проштудировать» слово неверное. Именно «studio» не было в Део. Он *живо* прочел эти книги, как *живо* читает современников, о современниках. Но сказывалась ли его юность, для которой близкое и далекое прошлое — разны, умершие и не умершие милые — равно живы?

Да, юность... А, может быть, и стоял этот мальчик под особым знаком, стирающим времена.

III

Сказать, что Део влек к себе, восхищал или даже нравился — я не могу. Что-то жуткое в нем было; хотелось жалеть его, — но за что?

Маня, после этого свиданья и разговора, погрузилась в полный завистнический транс:

— Что же это? — говорила, задыхаясь. — Почему же Део все знает, все может, — а я ничего не знаю? Мне почти столько же лет, сколько ему. Я в Финляндии родилась, я в Петербурге была, даже за границей (маленькая, правда), мне все было предоставлено, все дано — а я что сделала? Что узнала? Читала зря, без системы... Разве я знаю историю? Знаю литературу? Что я знаю?

Мы ее успокаивали. Все, мол, придет, у вас время есть... Но она не слушала.

— Мне год остался до Део. Я должна обещать себе, что в этот год я узнаю и прочту все, что он!

Слава Богу, потом экзальтация ее поутихла.

Део мы видели еще раза два.

Один раз он принес мне, вечером, какие-то странные листки, не то его записки, не то просто рассуждения. Совсем не о литературе: цепь неожиданных отвлеченностей, полумистических-полуфилософских. Если б вникнуть, а потом внимательно поговорить с ним, можно бы понять, куда еще простирается этот неспокойный дух, и каких слов в этой новой области ищет — и пока не находит.

Однако поговорить не пришлось. Он забежал второй раз спеша, перед самым своим отъездом. Попросил листки назад (и всего-то было два—три), сказал, что не стоит, что чепуха, что он потом яснее напишет и пришлет в Петербург.

Принес мне, для меня переписанные, все свои стихи. Небольшая белая тетрадочка, сшитая из стопки обыкновенной почтовой бумаги. Круглый, старательный. Немного детский почерк.

Повторил обещание писать в Петербург и, заторопившись, ушел. Еще вижу, как уходил — в черной свой пелерине, маленький, черноголовый, хрупкий.

И опять жуткий, — безвременный. Белая тетрадочка не раз была мною перечитана; и там — и дома, в Петербурге.

Что такое — его стихи?

Потрясающей яркости таланта, — бесспорного, такого, какой и судить не хочется — не было. Мне даже казалось в иные минуты, что это — тончайшая амальгама и непомерности всего, что он впитал в себя. Такая тонкая, что и определить ее, уловить ее — нельзя. Были стихи, помеченные 12-м, даже 11-м годом. И странно! — они почти не разнились от позднейших, даже по форме, отнюдь не ребяческой.

Нет, нет, все-таки не амальгама. Жила в этих строчках и трепетная душа. Вглядываясь, вдумываясь, можно было увидеть и детскую ее недовершенность. Детский порыв, взлет —

И звенит над миром сонным
Юность гордая моя! —

потом снова — недетская печаль, безысходная, безвременная.

Как жалко, что нет (и не будет) у меня в руках этой тетрадки. И что ни одного стихотворения я не помню (никаких не помню стихов, даже своих).

Вот несколько оборванных строчек из очень раннего стихотворения, когда Део было, вероятно, лет 12—13.

Мы не умеем слышать. Мы не умеем видеть.
Мы видим только злые и грубые черты.
В обычности – ее мы привыкли ненавидеть, –
Есть много хрупких знаков (бесцельной) красоты.
. . . . непонятны.
Трава ль застонет нежно под топчущей ногой —
Не видим мы, не слышим. И диво ль, что невнятны
Слова земных молитв, и беден мир земной?..

Я выписываю эти строки не потому, что они лучшие, а потому, что они единственные, уцелевшие в памяти.

Вот и все.

Мы вернулись в Петербург. И наступил «октябрь». Какие могли мы получать письма — из далекой, горной Шуши?

Тянулись дни нашего Петроградского (уже не Петербургского — еще не Ленинградского) пленения.

Потом — холодное, снежное бегство (словно через тайгу сибирскую) и — бездомная воля.

«Одни погибли, другие изменили...» Сколько лет пленение длилось? На сколько лет — бездомная воля?

Были вести о друзьях-девочках; странные какие-то вести, противоречивые, немножко сумасшедшие... Что ж чем страннее, — тем вернее.

И вот, наконец, краткая весть о Део, первая со дня последней встречи:

«Део убит на Кавказе, в гражданской войне, на стороне красных».

МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Н. М. Д.

I

...Зачем выдумывать? Невыдуманное, настоящее, только на первый взгляд кажется бледнее выдумки, да и то не всегда. А уж если поглубже посмотреть, так всякому станет ясно, что наши надстройки над жизнью весьма бесполезны.

Моя первая любовь... впрочем, она первая лишь потому, что первая *сознательная;* если же придерживаться формального счета, то она вторая, а самая первая — в Саратове: это черноволосая молодая гостья с бархаткой на шее. Я ее помню, как вчера, а было мне тогда четыре года. Но в четыре или сорок четыре года — влюбленность одна, и ее ни с чем не спутаешь: она дает два огромных и неразрывно связанных ощущения — *блаженства* и *тайны.* Это, конечно, лишь основа; но в моей предпервой любви, в четыре года, ничего осложняющего любовь быть и не могло; зато «блаженство и тайна» овладели мною повелительно. Насчет «тайны» у меня до такой степени не было сомнений, что как раз это-то и предуготовало любви роковой исход.

Взрослые поразительно ничего не знают о детях. Забывают, что ли? Самая любящая мать, помимо всего прочего, не знает даже и того, что ребенок, до какого-то возраста (5, 6, иногда 7 лет; это индивидуальность), остается *не отделенным* от нее; т. е. он не делает еще различия между нею и собою, и сам не замечает, думает ли про себя; или говорит с нею. Он и она, для него, — совершенно искренно — одно. И совсем другое, — это свидетельство — всё окружающее и все окружающие. Я не могу вспомнить, например, когда и каким образом тайна моей любви стала известна маме, хотя она, очевидно, узнала ее от меня: узнала — и ничего не поняла, т. е. самого главного: *Тайны.* Как могло мне прийти в голову сказать: «Мамочка, это великая тайна?» Если б могло, то раньше должно бы прийти в голову,

что мама — другой, не я; и тайна просто не была бы открыта: ведь она такова, что *другому* ее открыть нельзя; действительно нельзя, никому, без всякого исключения.

Мама поняла, что я эту гостью очень люблю, вот и все.

Сижу как-то на стуле в гостиной, спиной к окнам, с няней. Напротив меня, за столом с бархатной скатертью мама, а рядом, на кресле — «она». И вдруг слышу, как мама говорит с ней — обо мне. Указывает на меня, улыбается: «Вот как вас ужасно любят...»

И «она» улыбается, оборачивается ко мне, спрашивает:

— Да? Ты меня любишь?

Я и теперь не могу описать всей сложности ужаса, негодования и отчаяния, меня обуявших. Что-то побежало по спине и завязалось на затылке. От блаженства не осталось и следа. Вообще — все погибло. Однако мой долг был для меня ясен. «Тайну» надо спасать, хранить до конца.

И на этот бездонно-грубый вопрос:

— Ты меня любишь? (с улыбкой) — я, сдвинув брови, серьезно отвечаю:

— Нет. Не люблю. — И прибавляю, чтоб крепче было, как умею:

— Нет. Тьфу... Дрянь...

После этого ярко помню, как в мезонине, у бабушки, мама меня бранила, говорила, что так нельзя отвечать, что надо просить извинения...

— Слышишь? Слышишь?

Мое молчание ее еще больше сердило. Бабушка гладила меня по головке и примирительно повторяла, что я «больше не буду...». Буду или не буду — я молчу, да, кажется, и не слушаю, да, кажется, и не понимаю, за что сердится мама. Вероятно (так я думаю теперь), во мне впервые проснулось тогда смутное чувство моей окончательной отдельности и первого одиночества, и даже чуть-чуть презрения к непониманию «других»... всех, не исключая и той, к которой была любовь.

Любовь предпервая... Ведь все-таки несознательная. А по-настоящему первая — гораздо позже.

II

— Ты придешь.

— Не знаю. Может быть.

Я, конечно, приду. У меня дух захватило от счастья, что я могу к ней прийти. Но я отвечаю небрежно, чтобы «она» не подумала... Чего? Что я задыхаюсь от счастья? Ну, конечно. Ведь опять «тайна», это главное... Кроме того, я знаю, что «она» меня «не любит»: я уже знаю и муки ревности.

Когда это все случилось? Думал — не услежу начала. А длится... очень долго. Нет, не смейтесь; действительно долго: ведь когда мы познакомились, мне едва минуло одиннадцать лет; потом было двенадцать; и вот уже тринадцать...

Мне-то кажутся эти годы долгими лишь потому, что в тринадцать лет время бесконечно длинно: месяц — год, год — век. А вообще я ни минуты не сомневаюсь, что любовь моя на всю жизнь.

Над этим тоже могут смеяться только безнадежно «взрослые», т. е. люди, уже все забывшие и еще ничего не понявшие (большинство так и умирает; забыв и ничего не поняв). Однако и я, в тринадцать лет, уже не имею младенческой несложности. Я умею смотреть на себя со стороны и даже умею прикрывать свою «тайну» перед собою иронией и насмешкой. Это плохо, но что делать! Я — боюсь «сантиментальности». В какие-нибудь десять лет со дня любви той, предпервой; жизнь меня необыкновенно усложнила и, пожалуй, подпортила.

Мы живем в Москве (куда переехали после смерти отца) в Зачатиевском переулке на Остоженке, у Воскресенья. Из моей узенькой комнаты, из окна, видны зимой сугробы снега в палисаднике, а над забором невысокая желтая колокольня церкви Воскресенья, крест в сером небе. «Она», моя любовь, — моя кузина Наташа, живет тоже в двух шагах от церкви, по другую

ее сторону, на самой Остоженке, в старом деревянном доме с мезонином, «собственном». В этом сереньком доме она и родилась.

Наши семейные отношения не просты. Есть что-то от Монтекки и Капулетти. У нас одна и та же бабушка (вернее — «Grand'maman»). Живет в особой квартире, и, как нарочно между нами, прямо против церкви Воскресенья. Это — мать моего отца и «ее» матери, давно умершей. Обе девочки — погодки (моя — младшая) отошли, со смертью матери к семье отца, которую наша Grand'maman почему-то ненавидела. Когда, вскоре, оне совсем осиротели (умер и отец), с ними поселились их бабушка, отцовская мать и брат, тот «дядя», что их воспитал, не женился ради них, а о Grand'maman слышать не мог. Он и к моей матери, которая была ни при чем, даже ко мне, относился недружелюбно и подозрительно, хотя нас и не знал вовсе: но мы были Монтекки...

Не всегда «барышни» и говорили ему, что идут к нам в гости. Против меня дядя, конечно, протестовать открыто не мог, только был неприветлив. Но мать моя очень редко заходила к новым своим «племянницам».

А оне полюбили ее, особенно младшая; оне никогда не знали, что такое мать. Приходили часто... ну вот тут и началась моя любовь.

Такие оне были непохожие на меня, чуждые, хотя и родные; чуждые по всему, по жизни, по тому, что оне москвички (а мне уже довелось порядком попутешествовать), потому, что оне выросли без матери и без отца, потому, что оне живут во «враждебном лагере». И, наконец, по возрасту... ведь оне уже давно были взрослые барышни...

Младшую в семье звали как-то непривычно: Таша. Нам это не нравилось, у нас ее звали Наташа. Она некрасива. Гладкие, светло-русые волосы; светло-голубые близорукие глаза, бледное лицо с узким подбородком... Да что я ее описываю! Точно дело в красоте! И точно можно сказать что-нибудь словами!

Она была — она; ее улыбка, ее голос, ее манера говорить, ее кругленькие золотые сережки в ушах, ее платьице табачного цвета, даже безобразный серый платок, повязанный сверх шапочки зимою, — все это была *она*, о чем же еще говорить?

Впрочем, не я только чувствую ее очарование, ее тихое сияние: к ней влекутся все, начиная с моей матери и кончая моими маленькими сестрами. Я подозреваю, что оне влюблены в нее, как я когда-то, в мою гостью с бархаткой на шее.

Отлично вижу, что Юля (старшая сестра) прехорошенькая: розовая, стройная, с красивыми пушистыми бровями. А наружности Наташи я *не вижу:* я ее люблю.

Вот она сидит у нас, в уголку, разговаривает с мамой и тихо-тихо смеется. У меня ноет сердце от блаженства, тайны — и безысходности. Господи! Ведь я буду ее любить так всю жизнь! Но что же делать? Ведь это же ничем, ничем не может кончиться!

В дневнике (я его веду со страстью и со злобой) — я грубо записываю: «влюбиться без взаимности и смешно, и глупо; постараюсь скорее кончить начатую глупость...» И тут же, маленькими-маленькими буквами, тайком от себя, прибавляю: «Неправда! Вечно буду любить, и вечно хочу любить ее!».

III

Моя бурность, резкость, порывистость неудержимо влеклась к ее тишине, но от нее же и страдала.

До одиннадцати лет отец позволял мне читать, кроме Жюля Верна, только Гоголя; это хорошо, может быть, потому что Гоголь так мне врезался в душу, что ни одна его строчка не забудется. Но через три года после смерти отца — голова моя была наполнена всей русской литературой, и, признаться, этот поток меня ошеломил. Разобраться сил не было, действительность и книги для меня смешались, и в душе шла какая-то постоянная борьба: для выраженья ее слов не имелось, да и кому о ней говорить? Не ей же. Наташе? Тут у меня — никакого

смешенья, Наташа действительность, и ни одна любовь в книгах не похожа на мою: моя — единственная.

Меня терзала совершенно безумная ревность: и сейчасная, и будущая. Сейчасная — это ее двоюродная сестра Анюта (не моя, только ее, по отцу). Анюта спокойно приходит к ней, когда хочет, даже ночевать у них остается. И Наташа говорит о ней с лаской и нежностью. Да, да, Анюта... Ну хорошо, пускай Анюта. А вдруг... ведь это же бывает? Вдруг Наташе кто-нибудь сделает предложение, и она согласится? Тогда что?

Меня обливает таким холодом это чудовищное предположение, что я зажмуриваюсь и не хочу дальше думать.

Тоска, гордость и тайна заставляли меня иногда делать глупости: ходить взад и вперед по тротуару мимо серого домика и заглядывать в окна: а вдруг Наташа меня увидит в окно и... позовет? Прохожу случайно, захожу случайно... тут ничего такого нет...

Раз это удалось: меня и вправду позвали. Вечер исключительного счастья, незабвенный вечер: дяди не было дома, и почему-то мы с Наташей, вдвоем, сидели в его комнате. Дядина комната без печки, на дворе мороз, у меня зуб на зуб не попадал, Наташа куталась в пуховый платок... не знаю, о чем мы говорили, говорили тихо, близко, и... ну, словом, я не помню вечера блаженнее.

Мы виделись в церкви. У Воскресенья, на всенощной. Становились рядом. К кресту потом шли прикладываться, или к образу, — я сейчас за ней. А под большие праздники, когда миром мажут, — я норовлю так, чтобы, кисточка священника коснулась меня тотчас после нее. Смутно что-то: уж не грех ли? Господи, какой грех, так хорошо: «Слава Тебе, показавшему свет!».

В пасхальную ночь на тумбах у церкви горят и чадят плошки, а сама церковь полным-полна, не протолкаться. Но мы стоим впереди, рано забрались, Юля и Наташа — коренные прихожанки. Вот этот старенький священник и крестил ее,

мою милую.... Меня тогда здесь, на свете, не было... Улетаю куда-то мыслями, воображаю, как она меня утешала, уходя «оттуда», обещала, что встретимся... Значит, она меня «там» любила? А что, если и здесь она меня любит, и только здесь — «об этом» не говорят?

Взглядываю украдкой на ее серьезное бледное личико, снизу освещенное свечкой. Уже был крестный ход, уже поют «Христос Воскресе»; кажется — поют каждую минуту, прерывают священника этим криком — пением радостным... У меня бьется сердце; даже не от любви только, а от общего какого-то блаженства. Решаю, что похристосуюсь с ней первой; а чтобы никто с ней раньше меня не поцеловался — надо сейчас же, едва начнут гасить свечи...

Так резко оборачиваюсь, что она вздрагивает, но потом понимает, улыбается, и мы целуемся. «Как там, как там», — повторяю я в бессмысленном упоении, однако. Едва мы выходим из церкви, и прощаемся (барышни идут разговляться домой, дядя ждет!) — я опоминаюсь и уже иронизирую над собой: вот глупости, вот сантименты! Что это за выдумки, что она меня любит? И не любит, и не надо, и так ладно — проживем...

Но на улице трепещут веселые огни иллюминации, пахнет весной, темно-прозрачный воздух ночной Москвы весь дрожит от колокольного звона — и мне опять хорошо, опять просто радость. Завтра днем Наташа придет к нам. Не хочу ни о чем думать, только о том, как она придет и как мы еще раз поцелуемся...

IV

Есть русская икона Божьей Матери, которая называется «Нечаянная Радость». Не знаю почему — таилось для меня в этих двух словах особое очарованье. Было оно, для полудетской души, словно широкий, и все расширяющийся, радужный круг. Нечаянная радость — это вовсе не то, чтобы внезапно, нежданно-негаданно свалилось тебе на голову какое-нибудь

удовольствие. Нет, нет; это если твое желание, такое тайное и несказанное, что и себе самому оно ни разу не выговорено, и даже в мысль не допущено, а лежит лишь *около* мысли, — вдруг исполнится; вдруг победно войдет в жизнь и ослепит сиянием, от которого только зажмуришься. Вот что такое «нечаянная радость».

В имении под Москвой в селе Воскресенском, мы проводили каждое лето. Три лета подряд. Какой рай было это Воскресенское! Какая еловая аллея вела вниз, к желтой каменной беседке, к пруду, где качалась, у плотика, белая лодка! А сиреневые кусты какие стояли лиловые, как пахло! Ничего на свете нет, конечно, лучше Воскресенского (самое обыкновенное подмосковное имение, скажу в скобках). Жизнь моя там проходила в постоянном, хотя и беспокойном, блаженстве, которому очень помогла любовь.

Мы были с «нею» в разлуке, долгой (три месяца!) и совершенно безнадежной: Наташа с сестрой уезжала каждое лето гостить в семью Анюты, — предмету моей ревности. О том, чтобы дядя отпустил Наташу к нам, хоть на один день, не могло быть и речи. Мы, и она, и я, это знали. Между тем увидеть ее здесь, в парке, в сиренях — и было моим невыговоренным себе, около мысли лежащим желанием.

Мама часто уезжала в город. вечером возвращалась. От станции — семь верст; к вечернему поезду высылали экипаж. У меня привычка, — сбежать к пруду, чтобы на лодке подъехать к мосту; экипаж не мог его миновать; с моста дорога подымалась, огибая церковь и парк, — к дому.

Июньский вечер. Еду на белой моей лодочке, острой и шаткой. Тих тинистый пруд. Тих зеленый и розовый, еще совсем светлый, закат. Тихо опускаю и поднимаю длинные, белые весла. Некуда торопиться, успею, под мостом подожду. Где-то далеко бабы песни кричат... вот замолкли. Я уже у самого моста. С поднятых весел тихо каплет вода, чуть покачивается лодка... Но отчего, так странно сердце бьется? Или беспокоюсь, что

мама не приедет? Нет, она сказала, что приедет. И рано еще, совсем рано...

Не рано; вот чуть слышный, мягкий стук колес. Я узнаю, это не телега, это наверное наш экипаж. Это мама. Отчего так бьется сердце?

Встаю в лодке, бросив весла, смотрю наверх на дорогу, на мост... Сейчас из-за ветел покажется коляска и проедет мимо меня по мосту.

Она показалась. В ней, рядом с мамой, ближе ко мне, сидела Наташа.

Увидев меня, что-то крикнули — и проехали.

Никакого удивления. Только ослепление — вот этим исполнившимся, сразу открывшимся, желанием. Ослепление радостью: она, — теперь кажется — и не могла не быть, и все-таки пришла — нечаянная.

Духу почти не хватало. Весла глубоко врезались в воду, острая лодка так и подлетела к пристани, гремит цепь, и духу совсем, совсем не хватает, пока я бегу, спотыкаясь, в гору, к дому. Какая бесконечная аллея! Я не добегу, я почти не двигаюсь, в груди больно и сухо... Ничего. Сейчас.

Господи! И за что нам такое счастье — жить на свете?

Здесь я обрываю правдивую историю моей первой любви. Во первых — потому, что могу еще говорить о ней без конца, а во-вторых — я не знаю ее конца. Она кончилась... вероятно, но когда? Неуловим конец. До такой степени неуловим, что, говоря об этой «первой» любви, я не могу вспомнить какую-нибудь «вторую», назвать какую-нибудь «второй».

Мы с Наташей вскоре расстались, чтобы никогда уже больше не жить в одном городе. Но куда бы ни заносила меня судьба — наша разлука непременно кончалась встречей, все равно длинной, короткой, или мгновенной... И так было все долгие годы жизни. Годы текли, а около нее в Москве, как будто не

менялось ничто, ни она сама. Умерла (в молодости) ее сестра Юля; умер дядя; сломали серенький домик... А сижу я с Наташей в новой квартирке ее, тоже в деревянном домике против Зачатиевского монастыря, у самого Воскресенья, — и кажется мне, что ничто не двинулось, что выйдет сейчас и прошаркает туфлями дядя... И что не в Петербург или за границу уеду я завтра, а пойду в свой переулок и буду вечером учить уроки.

Мы уже говорим «обо всем». Впрочем, что можно сказать о любви? Ничего о ней никогда сказать нельзя. Я знаю, что Наташа «и тогда» любила меня, — но как? О моей любви — она знает; но что она знает? Что и я-то, в конце концов, знаю?

У нас такая разная жизнь. Так мы сами разны. Так давно все это было. А смотрит она на меня, худенькая, сухонькая, попрежнему сияет ее улыбка, и не могу я понять, хочется мне плакать или смеяться.

— Ты — поэзия моей жизни, — говорит она ужасно просто без всякой «сантиментальности». — Уедешь — приедешь, и всегда я знаю, что ты где-то со мной.

Опять пролетели годы. Последние, страшные сначала — глухие потом. Где же ты, Наташа?

«Из равнодушных уст я слышу смерти весть...» и странно ей внимаю, тихо, без удивления. Как всем вестям таким теперь.

Умерла давно, уже два года тому назад. Умерла в нищете, даже не в родной Москве — а в Муроме, у дальней племянницы, которая приняла ее из милости «в старухи».

Ну, что ж. Пришла сюда раньше меня, ушла раньше меня. Она терпеливая, она подождет... следующей встречи. Ведь и здесь она знала, когда мы расставались, что мы непременно еще увидимся; и что пока не видимся — я все равно «где-то с ней».

А первая любовь — она, говорят, на небе у ангелов записана. Есть такие у них для этого книги.

НАДЯ

(*Записки младенца*)

Я очень устал. Целое послезавтрака опять строил хижину, или шалаш, или келью... Это у меня такая длинная игра... я о ней расскажу потом. Мне после завтрака, до обеда, не позволяют заниматься тем, что я сейчас люблю больше всего на свете, – говорят, жарко. Да я сам, впрочем, не хочу; я жду вечера. В шесть часов лучше... Но об этом тоже потом.

Хижину, сколько ни строй, никогда не выстроишь так, как хочется и представляется. Сижу, усталый, в тополевой аллее, смотрю на свои голые коленки: парусиновый костюмчик я ужасно измазал; на правой штанишке дыра. И хотя неприятно, – я думаю не о дыре, а вот почему нельзя ничего так сделать, чтобы уж совсем, совсем хорошо было?

Рядом сидит нянька Устинья с моей маленькой сестрой на руках и тонким, чистеньким голоском выводит:

Сива зозуля ховается
Пид капустный пид листочек...

Нянька Устинья ужасная песенница, никогда не помолчит. Особенно любит эту «зозулю».

Нянька не моя, ко мне не имеет никакого отношения. Я живу на полной свободе. Да и смешно было бы: я благоразумный и самостоятельный мальчик, к тому же большой не по годам: мне никто не дает меньше восьми лет, а иные – даже девять! Я уж и молчу, хотя твердо знаю, что мне только через сколько-то недель исполнится семь.

Сива зозуля ховается
Пид капустный пид листочек...

Ну хорошо, зозуля, только почему кукушка в капусте, и что она все прячется? Нянька петь может, а сказать песню словами никогда не может. Такая смешная. И носик у нее смешной,

плоскенький, как у маленькой уточки. Вся маленькая, темный очипок тоже гладенький, маленький.

У меня зимой была — не нянька, а фрейлейн; но, сказать правду, я ее выжил. Зачем мне фрейлейн, и зачем немецкий язык — когда я все равно буду монахом? Да, да, это решено: монахом. Мама не знает: поговаривает, что зимой возьмет мне француженку или англичанку. Посмотрим. Никто мне не нужен; что мне нужно — знаю я сам, да немножко бабушка.

Славно как на даче. За тополями малинник, а там вишенье... Когда жарко — клей на солнце блестит, а что вкуснее клея? Заберусь, вгрызусь в серое деревцо зубами, и откушу клей. Мягкий. Тянется за зубами, и лучше конфеты пахнет.

Потом огород. Гарбузы полосатые, надутые, и темненькие кавунчики, кругленькие, еще маленькие, — совсем ребячьи головки. Лежат — валяются прямо на земле, в листьях, а сами растут и полнеют, теплые от солнца.

За огородом уж видно... Нет, еще не скажу, что видно за огородом. Я на полянку, за огород, пойду после обеда...

— Панычу, да што вы каки смутны? — спрашивает нянька. — Притомились?

Она со мной старается говорить не по-малороссийски, не знаю почему: я все понимаю и даже не замечаю по-какому мне говорят. Конечно, папа и мама говорят не так, как Гапка, Василиса и Дмитро; но ведь Дмитро и Василиса не умеют читать, а мы с папой-мамой умеем, ну и говорим, как в книгах.

Можно ли монаху сгрызать вишневый клей? Как будто можно, ведь клей постный! Однако ни в одном житии ничего не сказано про клей, — вдруг это грех?

Я всегда читаю бабушке «Жития Святых» — толстая такая книга в бледно-зеленом переплете, — и уж каждого святого великолепно знаю. Прежде я сказки читал, — вот скука! Все выдумка, а это настоящее, как было, и потому самое интересное.

Я люблю, чтобы все было очень понятно. Прежде, когда мы не читали с бабушкой жития святых, мне многое казалось не-

понятным и даже страшным. Но в книге все объяснено. На свете бывает много неприятного; чтобы прошло — надо сейчас же помолиться. Или чего-нибудь захочешь: тоже надо помолиться, и будет. Если очень большое — дается чудо. Конечно, следует внимательно следить за своими грехами: не накапливать, скорее каяться. Лучше всего быть святым. Если не придумаешь сразу, как стать святым — просто идти в монахи: все монахи святые.

Вот только насчет греха у меня, с недавних пор, начались сомнения. И началось так: я приставал с грехом к бабушке, она сначала говорила глупости, что мои грехи — капризы, да когда я не слушаюсь, — ну всякий вздор; а потом сказала, что у меня вовсе нет грехов; кому нет семи лет, тот младенец, и я могу причащаться так.

Могу? Нет, не могу. Я сам лучше знаю, могу или не могу. Я уж давно, уж две недели, чувствую в себе грех.

Грех мой — в Наде. Что я, ненавижу ее? Или завидую ей? Или так завидую, что ненавижу? Решительно не знаю. А что грех, и что он где-то около Нади — это я знаю.

Ну вот, зовут обедать. Нянька давно ушла. И я встал. Не бегу, а тихо иду по дорожке, размышляя.

Чего мне хочется? Чтобы Надя — что? Зла ей что ли хочу? Нет. Где же грех? Ничего не понимаю.

За обедом дядя Миша, как всегда, надоедал. У него черные-черные усы и белые-белые зубы. И дразнится.

— Сережа такой громадный, а неловкий. Вечно падает. Очень стыдно. Мы его скоро не женим, нет!

Я мог бы сказать, что хотя я и большой, но летами маленький, а жены не хочу даже когда мне будет и много лет. Но я знаю, что всего лучше на эти глупости молчать, потому молчу.

— Ты надулся, Сережа? Не дуйся. Воспарять-то, наверно, захочешь вечером, а? А будешь дуться — воспарение тю-тю, не пустят.

Он называет «воспарением» вот это самое, что я сейчас больше всего на свете люблю, чего жду с утра до вечера. А это — гигантские шаги.

Бегать на гигантских шагах — вовсе не бегать: тут главное — летать. Летать, воспарять, как в бабушкиной книге про летанье говорится, и сам же я сказал это, когда понял о гигантских шагах. А понял сразу. Еще когда был на полянке маленький серый столб с веревочными петлями; я первый раз сел, полетел, упал — но понял.

Мама сказала, что столб гадкий, опасный и гнилой — шатается. Но увидела, что мне все равно, не послушаюсь. Обещала, что будет новый.

Его привезли — белый, толстый, внизу для крепости осмоленный. Врыли на месте старого, — ух, как глубоко! А он все же оказался вдвое выше старого. Веревки длинные — с клеенчатыми сиденьями. Вверху — широкая звезда в четыре крючка — и как она, ох, как она поет — скрипит жалобно, мерно, тонко, когда крутится, когда мы на веревках летаем! Точно зовет к себе, — вот бы до нее!

Я не люблю один, да и нельзя: только закрутишься вокруг столба. Хорошо, что есть дядя Миша, он тоже любит, а главное — Надя. Да, вот тут-то все и соединилось!

Дядя Миша бежит за мной (у меня петелька чуть покороче), против него всегда Надя, а против меня который-нибудь из Надиных братьев, — киевских семинаристов.

Господи, как мы летаем! Я всех меньше, все-таки, и потому как сяду — так и лечу, одна беда — не успеваю ногами оттолкнуться с силой, летаю невысоко. Дядя Миша высоко, и семинарист ничего, но как Надя — этого нельзя вообразить, это явное чудо. Я все вижу, я лечу прямо за ней. Чуть дотронется земли желтыми туфельками — и вверх, веревка натянется, Надина стриженая голова выше клуни, я сам видел: сто раз перекручусь, уж совсем низко над песком несет меня, а ее голова опять над клуней, а на зеленом небе выделяется. Дядя Миша нагоняет меня, кричит:

— Ну, опять повез по земле!

А я везу, действительно, потому что загляделся, и злюсь. Хоть бы раз упала, хоть бы единый раз! Все падали, и семинаристы, и даже дядя Миша два раза «вез», только не она.

— Надежа — как кошка, — говорят братья. — Откуда ни летит — а на лапки станет.

И дядя Миша удивляется:

— Вот бегаете! И сильная же вы!

Надя хохочет, встряхнет кудрями, опять готова:

— А ну-те, а ну-те, давайте! Раз... три!..

Мама часто сидит на лавочке, смотрит. И говорит:

— Сережа, тебе довольно. Иди ко мне. Видишь, измазался. Отдохни.

На мою петлю садится Левко, другой брат, а я смотрю жадно, как летит вверх, к звезде крючковатой, Надя и... хочу, чтоб она упала. Хочу или не хочу? Если она хоть раз упадет, ведь уж этого чуда в ней не будет?.. Жалко чуда; и жалко, что чудо есть. Я ничего не понимаю и вдруг начинаю реветь.

Мама испугалась.

— Ты болен, Сережа? Ушибся? Вот эти гигантские шаги! Миша, бросьте! Довольно! Никогда я тебе, детка, не позволю с ними!

Тут я испугался сам, и от ужаса смеюсь — притворяюсь, что ничего, что мне весело. Надя, после взлета, как вкопанная останавливается подле нас (брат перелетел, завертелся, забрыкал каблуками и сел у столба). Надя — ей нипочем: она до утра может летать. Смеется, спрашивает, что со мной: издевается! Я ее ненавижу. Никогда она не будет святой. Ни одна святая так не летала. Святые вообще не бегали на гигантских шагах. Или когда им было меньше десяти лет, как мне. А Наде гораздо больше! Ей, наверно, четырнадцать или шестнадцать лет.

Надя прощается и уходит с братьями домой. Дядя Миша идет их провожать. Уж темно, только небо, как вода, и на нем клуня черная. Я смотрю вслед: идут по широкому-широкому

двору, по темной траве, уж совсем стали маленькие, а Надю я все различаю, она и по траве идет, как летит, – очень удивительная.

Сейчас бабушка меня положит спать. Я сплю в старой кроватке, хотя она мне мала, но стеку с нее давно сняли, я сплю, как другие. И всегда теперь вижу во сне, что летаю. Выше Нади. Она тоже летит, но я выше. Зато когда проснусь утром, вспомню все, и опять хочется реветь.

— Бабушка! Почему я не святой? Почему Надя может, а я не могу? Это грех, бабушка?

— Вставай, вставай, миленький, какие у тебя грехи, ты еще младенчик!

Эту неправду я никогда не могу выдержать и окончательно реву.

Хижина, которую я с таким усилием каждый день строю из пустых снопов, — заветная; кажется — на что она? Ведь тут же за амбарами, в длинной траве, – пустая белая хатка. В ней печь, лавки, стол, все как следует, все довольно маленькое. И пахнет в ней, как в хате, нежилой, правда, но настоящей. Не знаю, зачем она тут, — но мне позволено в ней играть. Кругом — густая бузина, крылечко заросло крапивой.

Но для игры моей необходимы оба: и этот домик – и другой, что строился за бузинными кустами. Еще нужны несколько, ну хоть два маленьких кавунчика. Я их утаскивал тихонько с огорода. Кавунчики я обтягивал мамиными носовыми платками и крепко завязывал внизу веревочкой. Получалась шейка. Я ее прятал в сложенную вдоль небольшую подушку, — ее тоже скручивал веревкой, — тельце. Потом пеленал ребеночка с твердой головкой в шаль или полотенце. Нарисовать на платке глаза и губы коричневой краской – пустяки. И вот – два ребеночка, легкие, но с тяжелыми, круглыми, кавуньими головками.

Тут и начиналась игра, — если хижина хоть сколько-нибудь была готова, хоть немножко. Хижина, впрочем, могла достраиваться и во время игры.

Я будто давно большой. Живу в этом доме, — (хатке) — хожу на работу. Вечером возвращаюсь ужинать. У меня жена, очень непослушная, и эти два ребенка. (Жены не было, я ее воображал, но это ведь все равно.) Жена случалась у меня разная: то вроде пололки Горпины, то вроде няньки Устиньи, а в последнее время — вроде Нади; непослушание же ее, главное, было в том, что она — жена, да еще с этими двумя младенцами. Выходило, значит, что она все равно виновата, и мне мешает. Мы с ней «сердимся» (как иногда папа с мамой «сердятся» и говорят между собой непонятное). Мы тоже говорим громко и долго непонятное, т. е. я говорю, и за жену, и за себя. Потом я ухожу, хлопнув дверью, и скрываюсь в бузинных кустах. Там я начинаю строить шалаш, — тайно от жены: впрочем, ей некогда за мной подсматривать, она в это время прячет от меня детей с круглыми головками, одного, скажем, за печку, другого хоть куда-нибудь под лавку, в угол. Жена — хитрая (особенно когда она — Надя) и знает, что пока у нее эти пеленашки, я не могу исполнить своего намерения. Намерение всегда одно, простое: уйти спасаться в леса (в бузину), затвориться в выстроенной келье и сделаться святым. Надя же не хочет быть святой (недаром жена) и меня не пускает.

Но я тверд. Я знаю, что надо быть твердым и претерпеть до конца. Келья не совсем готова (крышу очень трудно сделать), да ничего, потом. Я иду в хату, тяжело ступая (так надо) со сложенными на груди руками. Я ищу за печкой, нахожу первого ребенка, шарю в углу, вытаскиваю другого. Жена в ужасе; но видя мою твердость, не смеет приступиться. А я, размахнувшись, изо всей силы хватаю сначала одного ребенка о притолку головой, а потом и другого. Кавуньи головки трескаются, течет белый сок. Иногда совсем отпадают головки, катятся под стол.

Если дети очень удаются, и я войду в игру особенно, — мне их бывает жаль. Но что ж, с ними нельзя спастись, нельзя в затвор. Надя, конечно, в слезах, но она уже бессильна, и бессильно падает на пол. А я, с пением хвалы Богу, иду мерным шагом в бузинные кусты, лезу в келью и закрываю отверстие последним, нарочно оставленным, снопом. Я — в затворе.

Конечно, не всякий раз все одинаково; бывают разные приключения и затруднения; но головки всегда трещат, и Надя всегда падает. А раз упала — я уж о ней больше не забочусь.

Это — игра; она кончается, я бегу в дом обедать, и тут уж наступают другие заботы, настоящие. И гигантские шаги, и настоящая Надя, которая так чудесно никогда не падает и так меня ужасно этим мучит.

Она упадет, если помолиться. Но вот в чем горе: я определенно чувствую себя в грехе (в каком неизвестно) и потому не смею молиться. Что делать?

— Бабушка, ты куда? В церковь? Да разве воскресенье?

— А я говею, милый, Успенский пост. А здесь церковь-то близко. Завтра утречком исповедуюсь и приобщусь.

Она ушла, а я сейчас понял, что — надо. Надо завтра и мне исповедоваться. Исповедоваться — это значит батюшка в церкви чем-то тебя накроет и простит грехи, и будешь без греха. И о чем ни помолишься — исполнится.

Пусть мне не говорят опять, что я младенец, потому что рожденье еще на будущей неделе, семь лет не стукнуло, греха, мол, нет. Я сам лучше знаю. Я тверд, надо все претерпеть, а своего достигнуть.

Папе с мамой ничего не скажу, а бабушку обману, — ее, ведь, не вразумишь. Потихоньку встану завтра, с ней пойду, скажу — у меня усердие, а рожденье уже было; она старенькая, где ей все помнить! Да и не посмеет противоречить, когда увидит, как я тверд. Она меня часто зовет «упиром» и «сампрандером». И завтра я буду уж вправду, уж наверно без греха.

Мы по росе побежали. То есть я бежал, а бабушка отставала.

Согласилась-таки! А то, — я сказал, — я весь дом перебужу. Поверила, что было рожденье, а что говеть с ней — у меня усердие. Вот мы и вышли потихоньку.

Бабушка — наряженная, в кружевном чепчике, а я тоже потребовал новый костюмчик, белый пикейный.

Ох, как хорошо! Травка по двору блестит, вся мокрая. Солнце еще ниже груш. И только Дмитро лошадей вывел. Надо ведь до обедни, до ранней, поспеть.

— Бабушка, скорее иди. Без этого страшно.

Мне и вправду страшно. Как это — накроет, и грех улетит?

Церковь на горке, за селом. Мы вовремя поспели.

Я причащался-то недавно, весной в городе. Да это что! Тогда я о грехах не думал. А теперь все объяснится.

Объяснилось. Только очень как-то все вышло скоро. Были в церкви бабы, девки в красных запасках, мальчики даже поменьше меня, — всякие люди. Вдруг вышел батюшка, вдруг накрыл всех сразу и что-то сказал, что «прощается», и потом начал служить, и все пошли в конце причащаться. В ограде встретили Надину маму, — толстая такая, — она стала бабушку поздравлять, и меня, а бабушка говорит:

— Это у вас всегда — общая исповедь?

А Надина мама отвечает:

— Большею частью.

Мне потом объяснила бабушка, что общая исповедь — это когда всем сразу все решительно грехи прощены.

И правда: все стало другое, еще гораздо лучше, хотя роса высохла и на небе поплыли белые облака. Но я прыгал, и мне было все все равно: никакого греха, и я, и бабушка — святые! За обедней я уж обо всем помолился, но решил, что потом еще помолюсь, уйду в бузину, играть сегодня не стану, а помолюсь всеми словами.

Дома нас поздравляли: я боялся, как бы бабушка не стала говорить, что мне тоже прощали грехи, но она ничего не сказала.

А вечером, после бузины, после обеда... Но лучше по порядку.

Облака прошли, небо стало прохладное, на площадке дядя Миша забранился, что песок взрыт: наверно, говорит, тут дворовые ребятишки шалили. Надя пришла в голубом платье. Я посмотрел на нее спокойно и твердо. И ничего. Она хохотала, дергала веревки. Потом мы побежали. Надино голубое платье веялось впереди меня, и опять все выше, все выше. Опять над клуней, где небо, как вода. Я изо всех сил не крутился, летел прямо, чтобы все время видеть голубое платье.

Никогда еще так высоко она не летала. Звезда наверху стонала часто-часто. Мне уж опять начало делаться страшно и чудесно, уж точно какая-то, вместо Нади, синяя птица мелькает, а я устал, и боюсь, и вот не хватит духу, упаду сейчас на песок, весь перекрутясь. Как это – боюсь? Чего еще боюсь? Нечего бояться!

И только сказал себе, что не могу бояться, как и случилось: голубая птица чиркнула в сторону, я перекрутился, но перекрутился над ней, через нее, однако не упал, а где-то далеко на кругу встал на ноги, взрыв песок. Пыль и на той стороне поднялась целым облаком, я сначала ничего не видел. Только дядю Мишу и Левко; все остановилось, звезда замолчала; дядя и Левко из петель выпрыгнули, а я пошел, куда шли они, с петлей.

Надя не лежала, — сидела на земле, в пыли, еще держась за веревку. Дядя Миша протягивал ей руку.

— Вы не ушиблись? Что с вами?

Надя не взяла руки, сидела, удивленная. Потом сказала медленно:

— Чего там, ушиблась. Упала. Вот чудеса. Не троньте, дайте опомниться. Вот-то чудеса.

От пыли платье у нее было серое. Уж не на синюю птицу была похожа, а на ту сивую зозулю, что прячется в капусте, по нянькиной песне. Даже кудри у нее стали какие-то сивые.

Никто не смеялся, верно всем было стыдно за Надю, как ей самой стыдно. Она поднялась, но уж больше в этот вечер мы не бегали.

Я шел, с мамой за руку, домой. Сивая зозуля. Вот и упала. Вот и кончено все. Греха уж не было, помолился без греха – и по молитве исполнилось.

Греха-то больше не было; но и голубой Нади, которая чудесно не могла упасть – тоже не было. Я ее ждал каждый вечер, а теперь мне совсем некого ждать.

Я люблю – ждать. Если нечего будет ждать – что ж это будет?

Когда мы подходили к дому, я мигал глазами, чтоб не заплакать, хорошо, что сумерки, темно, никто не видит.

И зачем я молился?

СЕРЕЖА ПОДРОС

(*Наталья Павловна*)

1

Если я думаю про давнишние годы, например, когда мне было семь лет (теперь мне целых четырнадцать, т. е. скоро будет) – я себе кажусь немножко сумасшедшим. Может, и, правда, дети капельку сумасшедшие, в том и отличаются от больших?

Особенно с удивлением вспоминаю год, когда мы жили в Мерефе на даче, в Малороссии; игры мои в святого, затвор из снопов... И гигантские шаги, и Надю-поповну. Великолепно понимаю, что был тогда в Надю просто влюблен: уж очень хорошо она бегала на гигантских шагах, никогда не падала. Но зачем я молился, чтобы она упала, – этого понять нельзя. Ведь знал, упади она хоть раз – все кончится. Так и случилось, и сам я потом ревел целый вечер.

Или тоже относительно святости. Ребенок вдруг начинает мечтать о схимниках, о спасении души... Это ненормальное влияние бабушкиных книг.

Теперь я, прежде всего, реалист. Я не отрицаю религию в общем. Но насчет того, чтобы делать из себя монаха... это мы еще поглядим.

Вот скоро полгода как я, совершенно сознательно, влюблен в Лили Войскович. Из всех знакомых барышень я выбрал ее: она не глупа, грациозна (только мала ростом), у нее длинные-предлинные косы и совсем не такого неприятно-рыжего цвета, как волосы у ее брата Володи. На катке или где-нибудь в знакомом доме на балу, я всегда с Лили вместе. Кроме того, я время от времени назначаю ей свиданья в Летнем саду. Мы прогуливаемся и болтаем.

Очень возможно, что я впоследствии женюсь на Лили. Она многого не понимает, часто кривляется и говорит, что «эстетка». Но не стоит обращать внимания: женщина — мягкий воск; нужно только доброе руководство.

Брат Лили, Володя Войскович, мой одноклассник. Слабый. Тоже «эстет», и я его не люблю, хотя он ко мне льнет. Должно быть, за мою силу.

Я с самого первого класса гимназии понял: ум в жизни очень много значит, а сила еще больше. И теперь у нас даже старшие относятся ко мне с уважением. Ведь по годам я очень велик, а бицепсы у меня такие — дай Бог, восемнадцатилетнему.

Самая дрянь у нас в классе эти «эстеты»: ни футбол, ни теннис, ни каток — все не по ним. Просто силенок не хватает, то и фыркают. У них, правда, есть преимущество: не так грубы и грязны, как некоторые у нас, — с виду, по крайней мере; потому что не с виду, то есть не в смысле извощичьих обыкновенных слов, и они подчас ведут такие разговоры, что даже мне неприятно: а я лезу в святые, все могу слушать, я реалист.

2

Володя Войскович приплелся ко мне после обеда с алгебраической задачей. Очень слаб, — тоже будто бы от эстетства, — а я в классе первый математик. Я не только все в цифрах понимаю, как они соединяются, укладываются, что из них выходит, — я даже каждую цифру в отдельности люблю. Люблю, что 2 головку гнет, 8 животик переплетает, а 7 такое гордое, прямое. Нуль, и тот люблю, иногда жалею: он для цифр слуга или игрушка. Захочет какая-нибудь уменьшиться — сейчас наставит себе нулей с правой руки, захочет увеличиться — с левой. А нули покоряются.

— Хорошая у тебя комната, — сказал Войскович, мигая рыжими ресницами. — У меня гораздо меньше, и в моей все слышно, если гости. А у тебя отдельно.

— Да квартира громадная, столько комнат! Бабушкина комната, например, уж совсем на отлете. Рядом с моей — пустая, дядя Миша в ней живет, когда с Кавказа приезжает. Вот сейчас полтора месяца жил, завтра собрался ехать. Ну, давай, гляди задачу, а то я свое кончил, может, к гостям пойду, нынче дядю Мишу как раз провожают.

— Отвальная? И ты о дядюшке будешь плакать? Что он у вас, с наследством, что ли?

— Вот дурак, хоть и эстет. Да дядя совсем молодой, ты же его видел! Он агроном на Кавказе. Высокий, бритый, похож на англичанина. Прежде усы носил, было хуже. И характер у него теперь отличный. Мы страшно дружны!

Войскович поднял брови, — и они у него рыжие.

— А-а, да! Я его и сейчас видел, как к тебе шел. — В передней, — даму с господином он встречал. Господин такой большой, брыластый, физиономия — квадрат. А она — вот прелесть черноволосая! Тонка — стебель ириса, а глаза фейные. Кто, скажи, ради Бога?

— Почем я знаю? Гостья. И чего тебе? Ведь ты с задачей пришел?

Я рассердился, — чего ему, в самом деле? Но когда он сказал про мужа: квадратное лицо, я догадался, что это Наталья Павловна.

— Скажи, кто, и сейчас потом задачу, — не отставал Войскович. — Я только бросил взгляд и уж понял: она поэзия и сказка!

— Вот тебе и сказка, что убирайся совсем, не покажу задачи!

Войскович сморщил свои рыжие веснушки.

— Ты злишься, тебе, верно, приспичило туда идти, ты сам уж не влюблен ли в эти фейные глаза? Ведь врешь, что не знаешь, про кого говорю? Синий шарф и тоненькие-претоненькие ножки. Твой дядя не дурак, сам ботинки снимал.

Это было уже слишком. Я пожал плечами и сказал ледяным тоном:

— Войскович, ты отлично знаешь, что я влюблен в твою сестру Лили. Дама в синем шарфе, если у нее большой муж, вероятно, мамина приятельница Беренс. Нам смешно говорить о подобных влюблениях, она старая, у нее уж сыну третий год... Давай сюда задачу.

Войскович повторил несколько раз: «Беренс, Беренс...», потом ухмыльнулся: «Вот идиот, нашел старуху!», наконец, придвинул стул, и мы занялись задачей. Я объяснял терпеливо, хотя в этот вечер Войскович мне был особенно противен со своими оттопыренными ушами и наглым эстетством.

3

Не пошел к гостям, не захотел. После Войсковича отправился в самую дальнюю комнату — к бабушке.

Странно, как люди медленно стареют. Бабушка была очень старая, когда я был маленький, и теперь точь-в-точь такая же. Оттого, верно, и не видит, что я вырос: так же зовет меня «батюшка белый», так же наставляет: «учись, батюшка, учись...»

У бабушки всегда ужасно тепло – от керосиновой лампы, не любит электричества. Да и печка натоплена. Весь угол в образах, перед ними зеленая лампадка.

Я все эти образа наизусть знаю, помню, когда какие особенно любил. Например, любил Симеона Столпника. Теперь он мне, конечно, ничего не говорит. Просто, картинка. Но есть один образ.... Впрочем, я должен сказать, что я вообще люблю – Божью Матерь. Я и всех Мадонн в Эрмитаже люблю, иногда нарочно хожу смотреть. Очень хорошие, только некоторые – как бы сказать? уж слишком простые: можно даже вообразить, что с ними гулять идешь, а это уж не то. У бабушки есть одна – я в детстве ужасно радовался, когда перед праздником снимали ризу чистить, и все было видно, и синее покрывало, и ребеночек живой... У этой Божьей Матери личико круглое, глаза карие, а на правой щеке чуть заметная царапина и капелька крови. Мне нравилось, что капелька крови, то есть как бы настоящая, живая... А все-таки это Божья Матерь, и даже чем-то иная, по-иному живая, не совсем вроде Мадонны в Эрмитаже. Ну, это трудно объяснить. Все равно. Я только хотел сказать, что бабушкину, с капелькой крови, я и теперь люблю.

От бабушки я прямо прошел опять к себе. Гости, кажется, не разъехались, да мне-то что?

Разделся. Лег. Но лампочку у постели не потушил. Мне нравится так, – лечь и еще не спать, а думать о чем придется, о чем само думается. Всегда думается о хорошем.

Но тут сначала полез в голову Войскович. Как он противно о Наталии Павловне... Оставил бы он ее в покое. Наталья Павловна – большой друг мамы. Конечно, я преувеличил, что старуха; даже мама, в сущности, не старуха, ей 34 года, это не старость же, а Наталья Павловна гораздо младше. Но все равно. Я с Натальей Павловной не люблю особенно часто встречаться. Заговаривает со мной всегда, и как-то робко: мне это не нравится. Или вдруг ужасно веселая, и вдруг опять ко мне: «Сере-

жа милый, отчего вы такой серьезный? Отчего не поговорите со мной? Разве мы не друзья?»

Конечно, не друзья, дружба совсем иное; и я не знаю, о чем с ней говорить. Если, случается, она приезжает перед обедом, а я в маленькой гостиной, где камин, — я сейчас слышу, как она идет через залу, у нее тихонько звенят браслеты, и шаги я знаю. Обыкновенно, я тогда ухожу к себе в комнату. Что мне?..

А шаги у нее легкие... Шаги... За что я в детстве любил гигантские шаги? За то, что делаешься легким, и летаешь. Теперь за то же люблю на коньках. Скользишь, скользишь, и вот совсем летишь. Я буду летчиком, это я давно решил, только... ведь там летишь не сам, аэроплан тебя везет. Вдруг это не то, и на коньках лучше?..

Тут я откровенно заснул и сию же минуту увидел сон: будто я на катке, в Юсуповом саду, и мы с Лили мчимся вперед, — все быстрее, все быстрее... Я держу Лили за руку, но, впрочем, не смотрю на нее. И вот, будто это уж не Юсупов сад, а просто белое-белое поле, как белое море, только без горизонта, и мы уж не бежим, а летим сверху, «воздух режем». И я уж будто знаю, — хотя не смотрю, — что это вовсе не Лили, а Наталья Павловна со мной, — ее я за руку держу. И вдруг рука рванулась вниз, я испугался, но удержал, не выпустил; тогда она рванулась вверх, я опять не выпустил, и уж легко скользнул за ней вверх; полого — но все выше, и все скорее, так, что дух стало захватывать; по-особенному захватывать, по-сонному, по-необъяснимому: этого наяву не бывает даже в самой громадной радости. И когда уж нельзя больше вытерпеть, в эту минуту кто-то зовет: Сережа! Сережа!

Я открыл глаза, — и точно откуда-то упал в явь, как стрела. Сердце еще билось. На моей постели сидел дядя Миша. Он меня и звал.

— Сережа, ты спишь? У тебя был огонь, я зашел проститься. Последняя моя ночка у вас! Ну, надо ложиться, уж два часа.

Значит, я спал всего сорок минут каких-нибудь! Дядя мне показался ничуть не сонным, глаза у него блестели, сам улыбался — но серьезно улыбался.

— Послушай, Сережа. Обещайся — хочешь? — что бы ни услышал потом обо мне — дурного не думать. Верить. Я хочу, чтоб мы навеки остались друзьями. И я тебе во всем буду верить. Люблю тебя, мальчик.

Я поднялся в постели, обнял его. Почему-то мне стало — ужасно. И, вместе, радостно. Еще сон немножко во мне продолжался.

— Милый дядя, я обещаю! Будем всегда друзья. А ты мне тоже, — как ты сказал, — тоже верь!

Мы опять обнялись и поцеловались.

4

В классе, на другой день, — две истории. Войскович из последнего терпения выводил, да еще с другой скотиной, Ольшанским, по совсем постороннему поводу вышло... Ну, с этим у меня расправа короткая. А Войскович полез объясняться, говорить, будто я сам в чертовском настроении, придираюсь, и потребовал, чтобы я, в знак примирения, пришел к нему вечером: «Наши соберутся, настоящий поэт будет, и барышни. Приходи, ну что тебе, Лили очень просит».

Я ни от кого не скрываю, я держусь другого мировоззрения, а стихов вообще терпеть не могу. Если ему угодно называть это варварством — пожалуйста; за модерностью ихней не гоняюсь, реалистом был и реалистом останусь. Но так как сегодня все равно суббота, я сказал, что приду взглянуть, ради его сестры, к восьми часам.

У нас пообедали, кстати, рано: папа и мама собрались в театр; оттуда еще в гости поедут. Дядю Мишу утром никто на вокзал не провожал: он не любил.

Собрание у Войсковича было в столовой. Без старших, Лили сама чай разливала, но из нашего класса только двое, а то все какие-то вроде студентов, и один старый поэт с громадным

пестрым бантом вместо галстука. Войскович подло юлил, обезьянил их манеры и важничал. Мне сразу стало противно. А потом пошла такая дрянь, что и рассказывать не стоит. Пестрый бант объявил, что неоэстетизм должен убивать жизнь и мистику, потому что он будто бы какой-то наджизненный, сверхреализм. Как примеры этого, все зачитали разные глупые стихи, и даже Лили зачитала, хотя покраснела. Мне был выбор: или сделать скандал, или сразу уйти. У меня внутри все кипело, но ради Лили я решил не скандалить, просто уйти, и ушел.

На дворе падал снег, большими, мягкими хлопьями, такими частыми, что почти ничего не было видно. Я шел, распахнув шинель, снег падал прямо на лицо, а лицо все-таки горело. Не мог успокоиться.

И дома не успокоился, хотя дома тихо, темно, никого нет. Еще не поздно, часов десять, но прислуга ушла, бабушка далеко, я один.

Не хочется своей комнаты. В маленьком мамином будуаре подожгу камин, — дрова приготовлены, — устроюсь, успокоюсь, подумаю обо всем. Главное — быть спокойным, это тоже сила.

Да, я не люблю стихов. Ни этих чертовых новых, ни старых, — никаких. Не читаю их даже никогда. Но я должен открыть: есть на свете несколько... они для меня не стихи вовсе. А что-то другое. Они на меня так страшно-ужасно действуют, так необъяснимо, будто видишь наяву свой собственный сон. Я даже их боюсь, и, конечно, это не стихи, пусть другим они кажутся, чем хотят.

Наизусть их нарочно не учу, чтобы оставалась радость вдруг прочесть, когда надо.

Сейчас стало надо. Книжка здесь, у мамы (сам ее туда прячу), вот и закладочка моя цела.

Жил на свете рыцарь бедный...

Господи, ну да, как ясно: жил рыцарь. Духом смелый и прямой...

Он имел одно виденье
Непостижное уму...

Отсюда главное и начинается. Дальше я уж читал громко. Вслух, сам для себя, в каждом слове какие-то волшебные огни синие вспыхивали, непостижные уму. Я даже забыл, что лишь читаю про рыцаря, и когда дошел до самого последнего волшебства, — уж этот рыцарь был я: «Lumen coeli! Sancta Rosa!» * и дальше почти не мог читать. Sancta Rosa! Lumen coeli! Да, да, сами слова такие — меч, другого не надо. Меч поражающий.

Я остановился и странно успокоился. Мне сделалось хорошо, просто, чуть-чуть грустно. У каждого человека, наверно, есть какая-нибудь одна тайна. Пусть будет и у меня тайна.

Поправил в камине дрова, — они ярко вспыхнули, — собрался опять поуютнее устроиться в кресле. И вдруг — точно в передней позвонили. Точно едва тронули звонок, так тихо. Я прислушался. Ничего. Но звонили, наверно! Надо посмотреть. Побежал в переднюю, зажег огонь, отворил дверь.

Синий шарф Наталии Павловны весь был в снегу, снег таял, капли блестели.

— Мамы нет дома... — сказал я.

— Знаю. Так и думала. Так и боялась. Но вы дома, Сережа... Вы дома...

Я увидел, что она ужасно бледная и, может быть, сама не знает, что говорит.

— У меня здесь камин, вот здесь. Снег можно стряхнуть. Потом сейчас высохнет. А если что-нибудь случилось, так это ничего...

Она покорно пошла за мной в будуар, села в кресло, к огню, но шарфа не сняла, хоть он весь блестел каплями.

— Сережа, — сказала она опять, — вы дома, значит хорошо. Только надо... — И замолчала, без сил.

* Свет небес! Святая роза! (*лат.*).

Но я был спокоен.

— Ничего. Это ничего. Вы скажите скорее, что «надо».

Она подняла на меня глаза.

— Надо... поехать к Мише. Сказать, что я не могу. Я обещала, но я не могу... ребенка оставить. Надо, чтоб он понял, чтоб он поверил, как я не могу. Оставить ребенка — не мо-гу.

До сих пор удивительно мне, почему я вдруг все сразу понял. Будто все давно забыл, забыл — и теперь вспомнил.

— Дядя Миша в городе? Еще не уехал? Как адрес?

— Вот... — Она сказала мне номер дома; на Моховой, маленькая гостиница. И прибавила торопливо, тихо:

— Я обещала в одиннадцать. Чтобы вместе уехать... с двенадцатичасовым. Я обещала, он знает, как я... И если сама поеду, — я боюсь, боюсь к нему! Я знаю, что не могу оставить ребенка. Он не поверит. А я не могу.

Ну еще бы она могла!

— Мне он поверит, я сам знаю, что вы не можете, я уж знаю. Я сейчас, в одну минуту. Хотите, вместе выйдем, я вас сначала домой...

— Нет, нет! — вскрикнула она. — Я подожду здесь, вы мне скажете, что он... Я и за него боюсь. Пусть он уедет, пусть он поверит, пусть он простит... Боже мой! Да что я делаю? — и она вдруг поднялась. — Как я смею вас просить? Что со мной?

Но я нахмурился.

— Не надо, оставайтесь, не надо, все хорошо. Я понимаю, я сделаю. Я сейчас вернусь, вы подождите спокойно. Спокойствие — тоже сила.

Хотя близко — я сообразил, что если встретится извощик, будет скорее. Но денег у меня не было. Побежал к себе, вытряс копилку, мелочь. Вернулся.

— Ждите же меня. Я через двенадцать-пятнадцать минут.

— Сережа!

Я обернулся в дверях.

— Сережа. Одно слово. Вы не думайте о нас дурно. Миша честный. Он не хотел — так... Он думал развод... Не знал, что

я не могу оставить... Я сама не знала. Простите меня, Сережа...

Я только кивнул головой. Скорее, скорее! И зачем она мне это говорит? Точно я сам все не понимаю!

5

Когда я вернулся, Наталья Павловна сидела так же, на том же кресле, будто и не пошевелилась ни разу. Только глаза, из-под синего шарфа, блеснули мне навстречу.

Я наклонился к ней, к низкому креслу.

— Он велел вам дать... вот, кольцо. Он понял. Я так сказал, что он поверил. Я знал, что поверит. И будет любить всегда.

Наталья Павловна встала. Я жадно смотрел ей в лицо. Оно было ужасно светлое, а в глазах до краев стояли слезы, и не проливались.

Она не обняла меня, даже за руку не взяла. Она мне только низко-низко, в пояс, поклонилась, как бабы простые кланяются. Ничего не сказала, но зачем? Мы с ней оба и так все поняли, и никогда не забудем.

В эту ночь я видел сны — о Наде. О далекой-предалекой Наде, которая как голубая птица летала в небо на гигантских шагах. Утром сон помнится, и Надя была, как живая.

Надю я потерял, потому что был маленький и сам молился, чтобы потерять. А Наталью Павловну я потерял раньше, чем нашел. Впрочем, я не знаю хорошенько, потерял ли я их? У меня в душе тайна, ее ни потерять, ни изменить ей нельзя. Ведь не изменил же рыцарь: Lumen coeli! Sancta Rosa...

Тут не стихи. Я реалист. И я утверждаю, что все это — самая реальная реальность.

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

На просторном московском дворе, на площадке, где земля подсохла, у самого палисадника, дети катали яйца. Детей было много, — в сером деревянном доме жило не одно семейство, — и все дети мелюзга: самому старшему, Косте, и тому вряд ли больше семи. Принаряжены: мальчики — в шелковых разноцветных рубашечках с поясками, девочки в накрахмаленных платьицах, которые оне уже успели смять, у Ани белесые, жиденькие волосенки притянуты на самой макушке голубым бантом.

Детям ужасно весело: они кричат, верещат, прыгают вокруг катка и горки розовых и красных яиц. Да все такое веселое: и двор, и земля весенняя, просыхающая, с первой травкой у забора, и желтый, как яйцо, высокий каток, — золотой в желтом ярком солнце. Даже воздух сам, и тот веселый: он точно дрожит, и струится, и то гулко, то глухо весь гудит московским праздничным звоном.

Повернув кольцо, вошел в калитку с улицы студент. Худощавый, сероглазый, еще безусый, в широкополой шляпе. И он жил в этом доме, и все ребятишки, постоянно игравшие вместе на дворе и в палисаднике, были его закадычные друзья. Случалось, сам играл и бегал с ними, и уж они знали, что он всегда придумает особенно хорошее, веселое или страшное.

Студент, через двор, прямо и направился к площадке, где желтел веселый каток. Увлеченные игрой, дети его еще не видели, но он сразу, через несколько шагов, заметил непривычную странность: толпились у катка, играли — не все. Одна девочка, кругленькая, маленькая, лет шести, сидела поодаль, на сыроватой еще скамейке у самого палисадника, откуда свешивались на нее прутья акации с едва зеленеющими почками. Скамейка высокая, и толстенькие ножки в новеньких, аккуратных ботиночках как-то жалобно торчали вперед.

Девочка смотрела круглыми, не мигающими глазами на игру. Смотрела жадно и робко; на одной щеке ее, крепкой, розовой, было пятнышко от просохших слез.

— Здравствуй! Здравствуй! — запрыгали дети, увидав, наконец, студента. — Христос воскрес!.. А ты погляди, что я на свой кон взял!.. А у меня... А я...

— Да вижу, здравствуйте, воистину! Уж христосовались утром. Вы постойте, вы мне скажите, а чего она с вами нынче не играет?

И он мотнул головой в сторону девочки, сидевшей вдали, на скамейке.

— Нынче нам с ней нельзя, — сказал Костя.

— Мы яйца катаем, яйца красные, — объяснила Надя убежденно.

— Яйца — Христос воскрес, — подтвердил Петя.

— Для ней не Христос воскрес, — пропищала Аня.

Студент поглядел на детвору и скорчил удивленную и смешную рожу.

— Вот так-так! Это откуда же у вас эта новость? А я и не знал. Значит, для всех вас, без исключения, Христос воскрес, а для нее и не думал?

— Без исключения, — повторила Аня, которой понравилось это слово.

— Ну погодите, ребята, я вам одну штуку скажу.

— А что? А что?

— Да вы забоитесь.

— Не забоимся! Скажи! Я не забоюсь!

— Ладно. Только страшное. И уж наверно. Вот слушайте. Если для Хеси не воскрес Христос, так знайте, что и для вас, для всех вас без исключения, тоже нет никакого Христос воскрес. И каток этот не ваш, и яйца не ваши, и вам нельзя играть. Даже опасно.

Он так это сказал, и такое при этом сделал лицо, что дети замолкли, вправду испугались, сами еще не зная чего.

— Вот и выбирайте, — продолжал студент. — Либо, если Пасха, так она для всех, и для Хеси тоже; а нет у нее — и у вас ничего. Этого уж не переменишь.

Дети переглянулись.

— У нее Пасха есть... — сказала нерешительно девочка постарше.

Но Костя не сдавался.

— У ней без яйцев... Ей яйцев не даются...

Студент пожал плечами.

— Тебе, Костя, я удивляюсь. Малыши могут не понимать, а ты большой, ты Священную историю учишь. Тебе задавали про Христа? Как к нему дети отовсюду шли, много-много детей, и Он не велел отгонять? А ты думаешь дети — кто эти были? Ани, Кости, да Нади? Как бы не так! Все были Хеси! Честное слово. А вы по какому же праву вашу Хесю отгоняете, выдумали, будто для нее Христос не воскрес? Ладно попали!

Девочка на скамейке, не шевелясь, прислушивалась, глядела на студента круглыми темными глазами; то на студента и на детей, то на каток и на кучки розовых яиц.

— Да мы что ж? — сказал Костя, задумчиво теребя шнурок пояса. — Мы же всегда вместе играем. Мы только нынче...

Студент передразнил:

— Нынче, нынче! Про то и речь! Ну, словом, решайте. Кто еще думает, что нынче с Хесей нельзя играть в яйца? Пусть прямо скажет и, чур, не врать, не хитрить, все равно узнается.

Никто ничего не сказал.

— Чего же вы? забоялись?

— Я не забоялась вовсе, — решительно выступила Надя. — Я ничего не боюсь. Это Аня тогда первая, и Костя. А я говорила же... И пусть Хеся с нами играет...

Костя вспыхнул:

— Говорила! Ты что сама говорила? А я ничего. Я только одно: у ней яйцев никаких нету...

— Ну, этому горю помочь можно, — сказал студент. — Вы, главное, позовите ее скорее, коли так. Хеся!

— Хеся! — крикнули вместе Надя и Костя, а за ними Аня и другие.

— Хеся! Хеся!

Девочка минутку помедлила, как будто еще не веря, потом спешно перевалилась на животик, болтнула сапожками и, цепляясь руками за скамейку, слезла. Не побежала: пошла робко, тихонько, с перевальцем. Была очень маленькая.

— Хеся, — сказал студент, присаживаясь на корточки и вынимая из кармана три яйца: лиловое, желтое и голубое. — Вот тебе, Хеся, это будут твои. А там уже тебе покажут, как с ними играть. Надо, чтобы были крепкие. Эти — крепкие.

Яйца были ужасно красивые, — особенно лиловое, — гладкое, блестящее. Хеся хотела взять, но пухлые пальчики такие маленькие, и она деловито подставила подол платьица, а сама широко и блаженно улыбалась.

— Вот красивые! — сказала Надя, впрочем, без зависти (у нее зато было целых шесть). — Ну, давай, я тебе покажу, как наставлять. Давайте скорее; Костя, ставь свое!

— Нет, мое, мое сначала! Мое — вон оно лежит! — взволновался Петя. — Мой же черед был. Стойте! Я два взял!

Аня с голубым бантом пищала:

— А я в Хесино хочу, в желтенькое! Я сама хочу в желтенькое!

Хеся, со своим сокровищем в подоле, уже примостилась у катка и лепетала что-то Ане, с деловитым видом. На щеке еще видно было пятнышко от просохших слез.

Игра началась, веселье разгоралось. Но Костя, с розовым яйцом в руке, стоял около студента, медлил.

— Ты что же? — спросил студент.

— Да я ничего. Я буду.

И прибавил:

— Я, ведь, хорошенько не знал... насчет Хеси. Мало ли! И другие про то же...

— Костя, милый, ты совсем милый, и ты видишь, как хорошо теперь, и я не обманывал, я правду говорил: для Хеси непременно Христос воскрес, а то и для тебя, и для вас, не воскрес. Они поняли, и ты понял, только ты больше понял, ты,

ведь, сам большой. Непременно для всех воскрес, и уж для никого.

— Для никого — не может он воскресать.

— Ну да, ну да! — обрадовался студент и положил Косте на плечо руку. — Именно не может, а потому для всех. Ты никого не слушай, если тебе будут говорить: вот у этих одна дорога, у этих другая. У тебя, и у Хеси такой, и у меня, — у всех нас один общий путь, царский путь к Богу... Впрочем, — прибавил он, как бы опомнившись, — это ты после поймешь, потом...

Он снял руку с Костиного плеча и умолк, взволнованно и задумчиво глядя на детей.

Костя уже смеялся с другими, Хеся что-то кричала, хлопала в ладоши. Веселое солнце желтило желтый каток. Солнечный воздух весь струился, дрожал и гудел пасхальными звонами.

Незаметно покинув площадку, студент медленными шагами двигался к дому, и с молодого лица не сходит улыбка.

Годы текли, протекали.

Всю жизнь свою студент, — давно не студент, — говорил людям, что они ошибаются, что две раздельные дороги — неразделимы, что это один и тот же, царский, путь, и нужно идти им вместе. Даже до последнего своего предсмертного мгновенья не устал он говорить об этом. Но никогда, может быть, не понимали его взрослые так, как поняли дети в тот далекий солнечный день Светлого Воскресенья.

СОСЕД № 1

Позвонить, что ли, к соседу?

Отчего ж; можно и к соседу. Позвоню.

Сосед наш... Я уж не помню, сколько лет мы его знаем. Наверно, знали и тогда, когда он не был соседом.

Что мы близки с ним (не в смысле соседних домов) — этого нельзя сказать. Мы близки, как все петербургские интеллигенты близки между собою. Если интеллигентское собрание, да в частной квартире, — (хотя бы и у нас) — почти наверное сосед тут же. И тем наверное, чем собрание «левее», а, главное, «таинственнее». Дешевая, большею частью, таинственность, но это все равно. Сосед любит таинственность и любит ее вид. Он и говорит, — довольно мало, — особенным, тихим голосом, с особенными интонациями таинственности: чем народу меньше, тем он говорит больше, а когда приходит один или вдвоем с кем-нибудь, — речи его обильны и так шепотны, что все время ждешь какого-то потрясающего секрета, но потом забываешь, что его не было, так как забываешь и все речи целиком.

Публичным выступлениям сосед не чужд, странно даже говорить, ведь он — присяжный поверенный! Но это не важно, об этом никто не думает: сосед наш, главным образом, — **эсдек.** Главным образом.

Смотрю на него, когда устаю от таинственного шепота без секрета, — и прикидываю: на кого он похож? На протоирея он ужасно похож: рясу коричневую, крест золотой — и просто художественный образ! Исследую это сходство строго, боясь, как бы не помешала объективности ассоциация идей, знание, — что отец-то соседа — был настоящий протоирей, и даже не без знаменитости: все мы, в детстве, в гимназиях, по его «одобренным» учебникам Закон Божий зубрили. Но, ей-Богу, если б и не знать это про соседа — протоирей самостоятельно навязался бы. Одна «вкусность» его к жизни какая красочная. Ведь по манере отставлять руку, садиться за чайный стол, по тысяче мелочей видишь. Как *вкусно*, как *аппетитно* живет сосед. Не обманываю себя: по адвокатским ли, по таинственно-интеллигентским ли делам куда-нибудь он едет (например, по делам загадочного кружка «О.—О.», насчет же путешествий по эсдечным делам — я сомневаюсь) — он должен ехать во втором классе, но со своими собственными простынями, чтобы уютно устроиться на ночь, и со своей провизией; он должен! В самом

крайнем случае, если не провизия, он на каждой станции должен вылезать, закусывать, — ну и пивца бутылочку; а чего-нибудь, каких-нибудь пряничков или хоть леденцов — и в вагон из буфета захватить, — сластена!

Я не обманываю себя: если б это исключительно зависело от моего соседа — мы до сих пор не имели бы огнестрельного оружия, — не слышали бы, как пахнет порох. Но, во-первых, не было бы ли это к лучшему (война менее проклятая), а, во-вторых, — мне нравится сосед и так: оно художественнее.

* *
*

Мы видели соседа в эту зиму довольно часто, а последний раз совсем недавно, совсем перед началом странных дней, даже чуть ли не во время неуследимого начала их странности.

А сосед был как сосед. Вкусно мурлыкал те же интеллигентско-эсдечные пессимистичности (это полагалось во время войны) и даже мало намекал на самое отдаленное будущее. Да, да, вспоминаю: это было при *самом* начале, но при начале. Он только плечами пожал и, кажется, не совсем даже понял, о чем мы спрашиваем. О чем, в самом деле? Все было, как вчера, как месяц, как год тому назад.

В прошлом году не было таких белых дней. От пронзительной белизны снеговой, — а снегу навалило невиданные горы, — все было пронзительно бело везде: свет белый в комнатах, воздух белый, даже небо какое-то, хоть и голубое, но с молоком. И каждый день снег еще падал; от этого еще увеличивалась прелесть и надежность чистоты; снег хрустел, но не казался хрупким.

Началось так, как начинается... любовь. Как будто ничего... и ясно видишь, что ничего, и говоришь себе, что ничего, — а в душе носишь что-то громадное, смутное, терпкое. Каждое утро просыпаешься *с ним*, хотя нарочно не глядишь, не хочешь глядеть; а подсознательно знаешь, что оно, пока на него не гля-

дел, — выросло в сердце, и вот — вот уж не надеждой, а уверенным счастьем тебя захватит, которое придет, — пришло!

Это была, однако, не любовь, а революция.

К соседу мне вздумалось позвонить в один из первых «нарастающих» дней. Мы видим непрерывную цепь людей — приходящих, уходящих; все — как мы, ничего не знают, верят и не смеют верить. Сквозь всякие слухи — верно одно: началось, но само началось, а потому всякий конец возможен, оба вероятны.

К кому и по телефону ни звоню — то же. Ах, еще сосед!..

Никогда не было у него этого полногласия. Загудел в телефоне уж не протоиреем, а целым протодиаконом.

— Все идет великолепно, великолепно... Будьте спокойны, движение в прекрасных руках...

Вот так чудо. В руках, и даже прекрасных! А нам-то казалось... Уж не поверить ли соседу?

«Мы пьем в любви отраву сладкую...»

* *
*

Несколько дней, переменивших все.

Для России, как для влюбленной девушки, после брака, влюбленность стала преображаться в страсть. И в первую же, медовую, неделю этого брака появились признаки, что он *может* кончиться трагично, что еще рано «жить-поживать и добра наживать...».

Впрочем, я о соседе. Он сидит у нас, один (на одну минутку, где же тут, как все!).

Громогласия ни следа. Какой-то обдерганный, чуть-чуть сконфуженный... нет, вовсе он не сконфужен, он не оправдывается, Боже сохрани! он объясняет. По-старому шепчет и полон таинственности (казалось бы! Уж теперь-то что?).

Объясняет, почему он написал, не мог не написать, знаменитый Приказ № 1. Рассказывает, как, где, при какой обста-

новке это случилось. В Таврическом дворце, конечно, на перманентном митинге Совета Солдатских и Рабочих депутатов. Он, сосед, там ведь первый.... (первый ли?). Мы должны понять: тысячная волнующаяся толпа серых шинелей... Народ... Стихия... Все глаза устремлены на него... Все руки протянуты к нему... Мало того: он уже сам среди этих серых волн... Каждое слово приказа подхватывается громовыми кликами, каждое следующее подсказывается ликующим освобожденным народом... Стихийный вал встает все выше... Я не мог не быть с ним, не быть в нем, не хотеть того, чего хотели они...

Не ручаюсь за дословность соседского шепота, который становился все вкуснее и мало-помалу перешел в тихое, довольное рокотанье, в самоудовлетворенное мурлыканье. В такое великое время, в таких обстоятельствах, оставаясь на высоте положенья, он должен был написать такой приказ.

— Вы, конечно, понимаете.

Мы, конечно, понимали, что в эту минуту ничего и никого не понимаем, кроме соседа. Этот был ослепительно понятен.

Мы пьем в любви отраву сладкую,
Но все отраву пьем мы в ней...

* *
*

Еще медовая неделя не прошла, но белые дни прошли. Улица шоколадная, небо кофейное. А чистота — да уж была ли?

В такой шоколадно-кофейный день приехал к нам (в первый раз «*после*») молодой министр, он же депутат Солдатских и всяких Советов, — герой дня.

Старый наш приятель — он кажется новым, да и не только нам, а, пожалуй, и себе самому.

Непоседа, он вскакивает, бегает по комнате, садится, опять вскакивает, говорит, говорит... Он в черной, доверху застегнутой, узкой куртке, в высоких, обтянутых сапогах, — тоже но-

вый, делающий его моложе, вид... Революционный министр, господин министр.

И вдруг, на целых две минуты, я перестаю слышать, что говорит г-н министр. Неизвестно почему, память вырывает меня из настоящего. Я — в двух других минутах, прошедших, и даже не особенно связанных с этими. Я — в зале Географического Общества, на религиозно-философском собрании... когда? Год тому назад — нет, меньше. Сижу у стола, лицом к публике. Как раз за мной, за моим стулом, худенький, небольшого роста думец, «революционер», говорит речь. Речи я, однако, не слышу, потому что... потому что на стене за нами обоими, близко, висит, почти на полу стоит, большой портрет Николая II, и я, по случайности, вижу в маленькое ручное зеркало *два лица рядом*, совсем рядом: вижу офицерский мундир, гладкие, негустые волосы, невыразительные, незлые черты, светлые глаза, какие-то отсутствующие (тогда подумалось: «с мертвечинкой») — и вот это лицо, худое, бритое, бледное до белости, волосы щеточкой вверх. Живое лицо, такое другое, и вдруг тоже страшное, от бледности... Близость и разность, должно быть, захватили внимание; в них было, в этой близости — разности, что-то волнующее, притягательное — и отвратительное. Оттого, должно быть, и помнилось долго, а теперь почему вспомнилось? Ведь было передо мною только бледное, помолодевшее, лицо «революционного министра», а другое... О другом *человеке* уже думалось просто, и, — не хочу скрывать, — почти с благостью. Человек редко ненавидит человека; питать же зло к тому офицеру с отсутствующими глазами было даже нелепо, и недостойно теперь, когда уже нет того, что можно ненавидеть, остался — где-то — человек.

Две минуты или две секунды, — промелькнули; я опять слышу, что говорит г-н министр. Отрывисто, взволнованно и недовольно говорит — о Приказе № 1. Он был написан без него, когда его не было в Совете. Он даже не знает, кто писал.

Мы передаем слышанное.

— Не может быть!

— Да он сам рассказывал.

— Это очень глупо... Это не делает ему чести. Это положительно невероятно!

Кажется, г-н министр понимает последствия, какие может иметь «подъем духа» нашего соседа. Он этого соседа отлично знает. Пожалуй, лучше нашего знает, сомневаясь во «вкусном» рассказе. Ибо, как потом было слышно, рассказ этот не вполне соответствовал действительности; выходило даже (ничего, впрочем, не утверждаю), что как будто знаменитый Приказ № 1 был писан хоть и соседом, но и не соседом; и он — не он...

Но тут мы не стали углублять вопроса. О многом еще надо переговорить! Ведь все-таки, все-таки это была «медовая» неделя!

Мы пьем в любви отраву сладкую,
Но все отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую...

* *
*

Исправился ли сосед? Было, по крайней мере, время, некий период времени, когда он добросовестно старался «исправиться». Его послали на Западный фронт комиссаром. И хоть уверяло «Русское Слово», что он там ходит «и задком и передком перед паном Хведорком», — перед разнузданными солдатами, — мне думается, что он тогда хотел немножко послужить Вр. Правительству «верой и правдой». Иначе, как объяснить, что при заботливой его к себе осторожности, он не остерегся, все-таки, сказать раз весьма не в тон «серым шинелям». До такой степени не в тон, что одна из шинелей запустила в него, кажется, кастрюлей, — с большой ловкостью, тут же, на митинге, раскроив ему череп.

Каюсь, об этом случае узнали мы без огорчения: по своему же «приказу» получил! Ну, и не до жалости, не до благости

было в то время. Уж начинала сказываться «сладкая отрава». Впрочем, худого с соседом не случилось: еще через сколько-то недель видели мы его карточку (уже крымскую, с южного фронта). Сидит, чуть недовольнее прежнего, а на голове живописная повязка: и уж не на кота похож, и не на протоирея, а на муллу или на дервиша. На кота, впрочем, все-таки немножко похож.

Затем — сосед канул. Да, ведь, так, что ни слушка, — и это не на недели, а на долгие годы... Уж давно получили мы право повторять знаменитое четверостишие Баратынского целиком:

Мы пьем в любви отраву сладкую,
Но все отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.

Впрочем, эти «безвеселые» дни мы переносили с мужеством, мы все — чья радость и любовь были в прошлом подлинными. Никто ведь никогда не предаст и не возненавидит свою истинную любовь, хотя бы отравленную; зато не устанет ненавидеть яд, ее погубивший, и отравителей, ей этот яд поднесших.

Умерла? А если, как Джульетта, лишь кажется мертвой? Ромео забыл, что любовь настоящая — не умирает. Будем же терпеть с крепкой стойкостью наше «безвеселье».

Но это — лирика, а во всех странах, во всех сословиях, профессиях и т. д. попадаются люди, в душе которых ни малейшая лирика и не ночевала, как говорится. Этих людей не очень много, меньше, чем думают, но они есть. Подобные экземпляры преобладают среди животных, хотя и тут случается встретить собаку, например, с лирикой. Кошки и коты абсолютно алиричны, что бы про них ни говорили.

Мне давно чудилось, что там, где у обыкновенного *человека* произрастает лирика, наш сосед — имеет чрезвычайно гладкое и плоское место, как бы душевную лысину.

Поэтому лишь в первое мгновенье нас ошарашила польская газета, сообщившая о внезапном появлении нашего соседа и даже о прибытии его в Варшаву в каком-то официальном, от большевиков, чине. Исчезал он таинственно, объявился же явно. И после первой минуты удивления неожиданностью, мы поняли, что иначе быть не могло...

Даже по краткой газетной заметке видно, что сосед наш остался ровнехонько таким, как был: разве только удар по черепу еще подчеркнул его натуральные свойства; это бывает. Официальная его миссия с поляками не то, что не удалась, а просто ничего не вышло: отсюда вижу, как он с беспомощной важностью и бесполезной таинственностью пытался что-то шептать и как его брезгливо не слушали. Из поляков были некоторые, знавшие его по прежним, интеллигентско-таинственным приездам в Варшаву. Кое-кто остался, когда кончилась «официальная» часть. И эти, – сообщает варшавская газета, – человека два–три, подсели к нему и с любопытством принялись спрашивать: «Как дошел ты до жизни такой?»

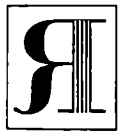
Об ответе газета умалчивает, да что ж? Полякам, конечно, любопытно, а нам, ведь, не очень; и так понимаем.

Сосед в Варшаве действовал только проездом: его ждал пост в Париже, куда он, кажется, благополучно и прибыл, в заведение на рю де Гренелль.

Как будто пост не из важных (я плохо в них разбираюсь), но, конечно, и на нем можно некоторое время вкусно пожить. На свиданье с русскими чиновный сосед и здесь может так же мало рассчитывать, как в Польше; а французы, пожалуй, не станут любопытствовать, «как он до этого дошел»: им в высокой степени наплевать. Но, право, для вкусной жизни ничего такого и не требуется. Особенно если уже имеешь: разбитый череп, сходство с протоиереем и прошлое в виде Приказа № 1. Этим же как раз наш бывший сосед и обладает. Пухом ему да будет его вкусная жизнь.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ЛЕКЦИЯ В МИНСКЕ



не хочу повторяться, не говорить того, что уже было сказано прошлый раз в этой же зале. Но это очень трудно. Все, что рассказывают и пишут о большевиках трезвые люди, — все это одно и то же. Одно громадное повторение. Трезвых людей не так мало. Трезвых и разумных. Немало, а все-таки гораздо меньше, чем близоруких и сумасшедших. Этим, сколько ни повторяй одно и то же, — напрасно: близорукие не видят, сумасшедшие не слышат.

В Европе сейчас очень много сумасшедших. Немало их и в России; хотя там несколько иное безумие. В России оно, главным образом, среди народа. Когда мы ехали, вот теперь, из Петербурга, то положительно весь вагон был сумасшедший. Вся мужицко-красноармейская толпа, грузная, больная, густая, сдавленная — все это были безумцы. Гляжу с верхней лавки, в состоянии полузадушенности, вниз и слушаю.

Один, обвязанный, солдат, кричит: «Состарела меня эта жисть! Силушки нету!» Я возражаю: «Чего вам стареться, сами же виноваты!»

«Сами! Да ведь взглянуть надо, ведь народ у нас не то что сдурел, а прямо с ума посходил. Нас бы ткнуть в загривок хорошенько, так пришли бы в разум».

Другой вступается:

— Мало тебя еще тычут. Всего истыкали, а он скулит.

— Это верно, истыкали. Да ведь кто тычет? Надо сказать...

Но его перебивают:

— Ладно, молчи, вплоть до расстрела захотел! Дохни сам.

И разговор умолкает. Действительно, повсюду юркие агенты, как фельдшера в психиатрической больнице, следят, чтобы безумцы не буйствовали, чтобы помешательство было тихое.

В Петербурге, на месте, тишина эта легче достигается. Пространства много, людей мало, каждый в одиночку, ну и молчат.

Летом, когда аэропланы жужжали вверху, и люди стекались в кучки, — глядеть, — и то глядели молча; шепота даже своего боятся.

Летняя картина Петербурга была такая: улица длинная, как стрела — и точно зеленая дорога: так заросла травой. Черные точки кое-где посередине: это прохожие, с котомками за плечами. Изредка провоняет, дребезжа, автомобиль: большевицкий, ибо автомобили *только* правительственные. Их очень мало, и они полуразрушенные. Впрочем, у Зиновьева хороший. Зиновьев — человек жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газетах, выходит ужасно похожим на пышную, старую женщину. Он всегда без шапки. И когда едет на автомобиле, то сидит на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее — никуда, ибо трус первой руки. Впрочем, они все трусы. Троцкий держит себя за семью замками, а когда идет, то охранники его буквально теснят в кольце, давят кольцом.

Зиновьев осенью пережил тяжелую минуту. Она у меня отмечена в дневнике со слов очевидца. Было какое-то собрание матросов и красноармейцев в Таврическом дворце (ныне он называется Дворцом Урицкого). Собрание, казалось бы, надежное, большевицкое, — иных не бывает, не допускают. И вдруг эти надежные «коммунисты» взбесились: полезли на Зиновьева с криками: «Долой войну! долой комиссаров!» и даже, что уж совсем непереносно: «Долой жидов!». Кое-где кулаки

стали сжиматься... Зиновьев хотел удрать задним ходом — и не мог. Его секретарша тогда кинулась отыскивать Горького. Ездила по всему городу, даже в наш дом заглядывала. Где-то Горький был отыскан и приведен спасать Зиновьева. Горький говорит мало, глухо, отрывисто, будто лает. Я не думаю, чтобы его красноречие было решающим, когда он пролаял: «Воюйте, а не то придет Колчак и оторвет вам голову». Но все-таки страсти на этот раз улеглись. А на следующий — собрания стали еще больше фильтровать. Зиновьев слишком расстроился.

Здесь нам задают вопросы, которые показывают, что никто не имеет понятия о российской действительности.

Спрашивают: «Ну, а как литература? Какая цензура? Какие магазины? Как сообщения? Где собираются? Что вы писали?» и т. д.

На прошлой лекции Мережковскому кто-то прислал записку: «Почему вы не в России? Говорили бы все это там. Ведь там Горький основал общество Свободы и Культуры».

Ну что на это ответить? Чем, какими словами? Разве кратким словом «нет»? Ибо факт необыкновенно прост: ничего из того, о чем спрашивают, *нет,* нет совершенно: ни магазинов, ни ресторанов, ни литературы, ни газет, кроме официозов (а потому и цензуры нет). Нет науки, нет студентов, нет сообщений, никто нигде не собирается — значит нет «обществ»; абсолютно нет свободы и ни малейшей культуры. Горький, впрочем, есть. Но занимается он отнюдь не культурой и не свободой, а скупаньем у голодных людей остатков их имущества. Скупает фарфор, эмали, альбомы, — что придется. Квартира у него — настоящий музей. А когда захватили английское посольство, он сидел там в виде оценщика, пытаясь разобраться в вновь «приобретенных» предметах искусства. Жена Горького, вторая, бывшая актриса, — комиссар всех «государственных» театров; нынче осенью она, кроме того, сделалась еще министром торговли и промышленности. Положим, не мудреная штука, раз нет ни торговли, ни промышленности.

Опять просто: НЕТ.

Еще трех вещей нет в «революционной советской России», — я их отмечу (хотя ими далеко не исчерпывается все, чего нет):

Нет, во-первых, — *революции.*

Нет, затем, — *диктатуры пролетариата.*

Нет, наконец, — *советов.*

Революции нет уже года полтора. Вместо нее — тишина и спокойствие кладбища.

Диктатуры пролетариата нет потому, что нет пролетариата: почти все заводы закрыты, рабочие мобилизованы, другие разъехались. Оставшихся, при всякой своей панике, большевики расстреливают сотнями.

Осенью расстреляли в одну ночь 300 с чем-то человек.

Советов нету — потому что в «советы» назначаются кандидаты от партии. И большевик, объявляющий кандидата, грозно кричит на собрании: «Ну-ка! кто против? Подыми руку!» Раз какой-то смельчак закричал на это сверху: «Кто хочет в Чрезвычайку — подыми руку!» Уж, конечно, никто рук не подымает.

Всего, что еще может прийти в голову, — тоже *нет.* Вот это «нет» — чистое отсутствие намека на свободу, на все, что составляет человеческую жизнь, надо взять за исходную точку, за позу, на которую следует стать, начиная разговор о большевиках. Их принцип, их пафос — *нетовщина.* «Жисти нет»! — стонет каждый красноармеец, опоминаясь на мгновение от своего безумия. Отрицание жизни, последовательный принцип «нетовщины», естественно рождает и тот никогда и нигде неслыханный террор, который царит в Совдепии. Убивают, что называется, *походя,* почти не замечая, одного за другого, так, кто под руку попал. Не то что личность перестала иметь цену, нет, больше: всякая жизнь вообще обесценилась. Я сегодня не коснусь картин этого террора. Их слишком много на страницах моего дневника. И я не могу слишком часто возвращаться к этим страницам. Да и что факты! Кто понял самый принцип большевиков, их линию, их *нетовщину,* того ничем не уди-

вишь. Ведь факты — лишь логическое следствие, и пока будет принцип — будут следствия. Пока будут большевики — будет оголтелый террор, с массовыми расстрелами, с пытками, с издевательствами. С продажей человеческого мяса на рынке за телятину, с арестом детей, со всей фантастикой, которой не хочет верить свежий человек.

Однако надо, чтобы верили, надо, чтобы поняли самый принцип большевиков, эту нетовщину. До сих пор тайна большевиков — тайна, хотя они откровенны до подлой наглости. Вот, например, что у меня записано осенью, вскоре после Юденича: «...и сегодня, как всегда, распоясались и объявляют: догромим Деникина, а затем начнем заключать миры с соседями. Эстляндия будет первой, но важнее всего Польша и Финляндия. Это — открытые двери в Европу. Мы должны соглашаться на все условия. Ведь буржуазные и социал-предательские правительства соседей мы не признаем законными и договоры с ними мы все равно исполнять не будем. Любой мирный договор с ними лишь мост к власти рабочим Польши, рабочим Финляндии, рабочим Европы. Да здравствует единая, неделимая, всемирная советская республика! Ну что ж, черту не впервые им помогать, и этот проект мирной кампании очень вероятен. За спинами соседей начнет переговоры и Антанта — Англия скорее всего. Ведь она не знает — или не хочет знать, что такое большевики. Иной раз кажется — пускай! Если Европа не понимает, что нельзя терпеть рядом эту толпу белых негров, и договаривается с хитрыми надсмотрщиками — Европа достойна всех последствий этих договоров. Германии не простится ее Брест. Ни одной стране не простится ее бесчестие и недомыслие.

А вот что сказал Горькому сам Ильич (так Горький, не без нежности, называет Ленина). Горький ездил к нему в Москву, с предложением «смягчить политику» (это было уже зимой). Горький думал, что при «смягчении» Европа скорей пойдет на мир. «И так пойдет, — ответил Ленин. — Даже скоро. Нам мир-

ная передышка необходима, ради нее обещано будет, что угодно, но не можем же мы изменить нашим принципам. И на деле останется все. Выпустим одних заложников — возьмем других. Разоружим один полк — вооружим два».

«Боже, как нам все ясно отсюда, нам, заглянувшим в лицо "смерти"! И как никто ничего не понимает — там!»

Это я писала уже перед самым нашим побегом из Совдепии, — из бывшей России. Наш побег решился внутренно именно в это время. Я по совести могу сказать, что он был решен внутренно, не внешне. Физически, для нас, бежать было гораздо труднее, чем оставаться. К голоду, к настоящему, т. е. когда мы целыми месяцами ели хлеб с соломой, мерзлую картошку, капусту с водой и *только,* — к голоду привыкаешь. Даже пронизывающий холод в комнате, даже постоянная тьма (мы сидели при ночниках последнее время), даже лохмотья, которые мы носили, — все это, в сущности, пустяки. Я, по крайней мере, не могу назвать это страданием. Человек удивительно много может вынести физически.

Тяжелее была душевная тошнота, которую мы испытывали в этой атмосфере лжи и крови.

Но непереносным оказалось одно: ощущение тряпки во рту. Непереносно, как преступление, знать, что знаешь что-то о России, чего другие не знают, — и молчать. Пусть нам не поверят, как не верят никому, но говорить мы должны и будем. Мы знаем две тайны о России, и эти две тайны мы должны постоянно раскрывать, что бы с нами ни было. Первая тайна — о большевиках, о их принципе *небытия,* и о том, что они никогда, ни на линию, пока существуют, этому принципу не изменят. Не могут изменить. Все будет как есть, пока они есть, т. е. будет громадное *Ничего* вместо России, а вскоре может быть вместо еще какой-нибудь страны, и еще...

Вторая тайна — о России, о людях, сию минуту населяющих Россию. Меня слишком бы далеко завело, если б я вздумала теперь говорить обо всей России, я ограничусь здесь Петербур-

гом как показателем. Все петербуржцы, — но все, сверху донизу, простой народ и остатки интеллигенции равно, за исключением властей и *некоторых* спекулянтов, — живут *исключительно* надеждой на переворот. Они его жаждут, они его ждут, они к нему готовятся каждый день, чуть не каждый час. Мы знаем не только целые учреждения, с виду большевицкие, полные таких людей, но, может быть, целые полки, ждущие лишь момента, лишь знака, чтобы повернуться против своих поработителей. Мы знаем, что летом даже кронштадтские матросы ждали: «Кому бы сдаться? Да никто нас не берет». И летом довольно было двухчасового обстрела, чтобы от большевиков следа не осталось. Эти новые татаре все свои автомобили держали наготове, чтобы удирать.

Я уже не говорю об интеллигенции. Она разъединена физически, но внутренно едина, как никогда; тут соединены даже самые слабые, т. е. ради куска селедки для детей служащие у большевиков. Нельзя требовать, чтобы в целом народе или классе все сплошь были героями. Героев может быть мало или много. И я прямо скажу, что за время большевиков у нас было сотни, тысячи, миллионы героев. Пассивных и активных. Разве не герои — все расстрелянные, после пыток, московские профессора, педагоги, писатели? Разве не герои — тысячи офицеров, которые все-таки не пошли в красную армию, хотя вместе с ними арестовывали их жен и детей. А другие сотни офицеров, полтора года тому назад умершие замурованными *буквально* в нижних казематах крепости? Это факт, их скученные скелеты когда-нибудь отроют. Оставшееся большинство не имеющих силы идти на гибель своих близких не развратилось все-таки, оно ждет лишь момента, чтобы возникнуть и действовать, ждет первого толчка, новой февральской революции. Самодержавие большевиков горше, хуже николаевского — но дутая власть их слабее, и при самом легком ударе извне — она лопнет, как пузырь, чтобы могли сплотиться разъединенные искусственно русские силы, мог проснуться от кошмара русский народ. И уж,

конечно, конечно, не для создания нового самодержавия, николаевского или ленинского — все равно!

Мы — такие же, как другие, мы лишь часть России подлинной, России февральской, России будущей. Тайну эту, т. е. что Россия *вся* сейчас готова восстать во имя демократизма и свободы, мы знаем изнутри, как знают там оставшиеся. От их лица, от их имени, за них — мы и говорим. Может быть, голос России не будет услышан. Может быть, Европе суждены еще долгие судороги и потрясения. Может быть, еще тысячи тысяч лучших людей погибнут в России, русских и иностранцев, — как недавно там погиб замечательнейший польский поэт. Все равно, когда-нибудь, кого-нибудь услышат; когда-нибудь поймет Европа, что спасение России — ее спасение, свобода России — ее собственная свобода, и мы верим, поймут это европейские народы — *не слишком поздно.* Наша крепкая вера, только она и позволяет нам смело сказать теперь, в эту черную, страшную минуту:

Она не погибнет — знайте!
Она не погибнет, Россия...
Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые.

И мы не погибнем, — верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россия спасется — знайте!
И близко ее воскресенье.

С ТОГО СВЕТА

«Отречемся от старого мира!..» — горланил однажды встречный солдат, лупорожий и пьяный, идучи по Литейному.

Это было давно. Тогда еще была революция; был Литейный проспект.

«Отрекнемся...» Отрекнулись. Да так, что действительно стал один мир — и другой. Европа, Америка и т. д. — один, этот, Совдепия — другой, тот мир, — «тот свет».

Разница между настоящим «тем светом» и Совдепией лишь одна: с настоящего не возвращается, а из Совдепии есть выходцы.

Выходцев с «того», совдепского света не надо смешивать с русскими эмигрантами. Эмигранты — это все покинувшие Совдепию, когда еще там оставались следы России; было еще что-то похожее на «этот» свет; это уехавшие ранее окончательного переворота мира наизнанку. Т. е. ранее того предела, за которым изменения могут происходить уже только в порядке количественном, а не качественном.

Я не знаю, в какой день и час перейден был предел. Но знаю, что этот день и час мы прожили в Совдепии. Мы вывернулись наизнанку. Мы выходцы с полного «того света». Мы понимаем кое-что сверх того, что понимают люди этого света.

Между прочим, мы отлично знаем, удельный вес большевиков, их силу. Для нас, оттуда так ясна была эта «сила», что мы непрерывно изумлялись: неужели зарубежный мир действительно верит, что большевики сильны? Как это может быть?

Теперь, отсюда, я начинаю убеждаться, что это может быть. Издали гигантская русская опухоль, злокачественный фурункул, очень может казаться несведущему, подслеповатому «старому» миру — каменной горой. Для особенно далекого и неосведомленного Ллойд Джорджа скалистые уступы горы уже достигают облаков... Насколько мужественная, героичная, близкая Польша яснее видит правду! Сейчас происходит величайшее историческое несчастье: слепому дана власть вести зрячего. Но слепой первый упадет в яму...

Польша — зрячая. Польша видит, что на востоке — не гора, а гнойный нарыв. А мы все, до последнего времени в бывшей России сидевшие, знаем еще больше: знаем то, что делается

внутри. Внутри – гниль, прах, смрад, слизь. Нарыв давно готов – для операции. Без операции – он прорвется внутрь европейского организма. Тогда заражение крови, гибель – неизбежны.

Да, большевицкая власть, как и большевицкая красная армия, внутри – гниль, прах, смрад, слизь. Наступление красной армии никогда не может быть длительным. Большевики сразу бросают ее в одно место – «надо нагнать *геловегины*», – как они выражаются. Человечина гонится вперед, затем, не останавливаясь, катится сама собою назад. Но до сих пор бывало так: пока она еще гонится – «враг» уже устрашен и начинает отступать. Еще бы немножко – и «человечина» неудержимо покатилась назад, тая. Большевики сами не сомневаются в этом. Отсюда их вечная паника – о ней здесь никто не имеет понятия. Не при опасности – при одной тени опасности, – они уже в сумасшедшей истерике, самой бабьей. Начинается метанье, визги, сборы; в комиссариатах – столпотворенье; автомобили все ночи наготове, сверкают белыми огнями.

Большевики – властители, сильны и мужественны, на взгляд несчастного Запада. А мы, видевшие их близко, чуть же, жившие с ними рядом, знаем, что они прежде всего – бабы. Они рыхлы, тупы, беспощадно и крайне истеричны. Не умны – но хитры. Ведь до сих пор, сказать правду, никакая серьезная сила на них упорно и выдержанно не шла; а они, при нас, постоянно кидались друг к другу с выпученными глазами: мы погибли! кончено!

И в то же время, озираясь и надрываясь, кричали: мы победим! Мы совершим чудо!

Не для русских, близких, знающих кричали: для дальних, ничего не знающих, для «старого» мира, который, бедняга, еще слушает их, и верит, и боится...

Безмерное преувеличение *силы* большевиков, полная слепота к их бабьей и звериной *хитрости* – вот два несчастья «старого» мира, «этого» света.

Неужели современные выходцы с того света так же немы, как апокрифические выходцы из гробов 2 тысячи лет тому назад? Апокриф повествует, что они могли только писать. Писать и мы можем. Но поймут ли нас, поверят ли нам наконец люди, не побывавшие сами на том свете?

МИР С БОЛЬШЕВИКАМИ

Вот слова Ленина в ноябре 19 года, вскоре после наступления Юденича. Они записаны у меня своевременно, в дневнике, как «сегодняшние откровенности большевиков».

Мы, — объявляет глава Совдепии, — еще только догромим Деникина, а затем начнем заключать миры с соседями. Эстляндия будет первой, важнее всего нам Польша и Финляндия. Нам нужны открытые двери в Европу. И Европа сама нам их откроет (sic!). Никакими условиями мира с буржуазными правительствами смущаться не надо. Мы этих правительств законными *не признаем, и договоры с ними для нас не обязательны.* Мирный договор для нас — ключ, который отворит дверь к власти рабочим Польши, рабочим Финляндии, рабочим всей Европы. Да здравствует единая советская республика! Наш путь — или всемирная революция — или гибель. Но победит революция, победим мы!»

Эта выписка достаточно выразительна. План ясный, проводится с неуклонностью, — неужели сегодня еще кто-нибудь может этого не видеть?

Напомню всезабывающим следующее: во времена Брестского мира Ленин с той же твердой ясностью сказал, убеждая тех, кто противился принятию немецких «похабных» условий: «примем все условия. *Ведь все равно, мы их исполнять не будем».*

И сделалось по-сказанному. Укажу хотя бы на два пункта договора: разоружение красной гвардии и отказ от пропаган-

ды. С момента подписания большевиками пункта о разоружении — началось вооружение и формировка красной армии, ее рождение и усиленный рост. С момента подписания обязательства об отказе от пропаганды — организована была настоящая широкая пропаганда коммунизма в Германии. Представителями Сов. России с Иоффе во главе совершенно открыто стали переправляться в Берлин громадные суммы из России. Дело тут-то и закипело, а чем кончилось — знают все.

Пока старые наивные дипломаты добросовестно потеют, вырабатывая договоры с большевиками, определяя границы своего государства, стараясь что-то выторговывать, — большевики хохочут, держась за бока: работайте, милые! Мы заранее вам объявляем, что все примем, все подпишем! И границы все ваши примем, какие хотите написать. Ведь все равно не втолкуешь, что нам на границы наплевать. Мы за Интернационал, и никаких для нас границ не существует. Мы их не признаем, так же, как не признаем вас самих. А не признавая вас, честный и последовательный коммунист не может признавать и договоры с вами. Мы откровенны, ибо вы все равно ничего не услышите. Тем лучше для нас.

Сейчас мы видим, как разыгрывается один из актов этой веселенькой трагедии. Договоры пишутся, условия составляются, границы намечаются... а большевики ждут, посмеиваясь, с перьями в руках.

Пожалуйста, мы готовы. Нельзя ли поскорее, ведь нам все равно. Все подпишем. Нам время дорого — в смысле мировой революции.

C'est le jeu final...
Acceptions tout — et demain
L'internationale
Sera le genre humain! *

* Это последний бой... Завтра с Интернационалом воспрянет весь род людской (*фр.*).

Ну, может быть, и не «завтра» — в прямом смысле. Может быть, через «пару недель», «пару месяцев», «пару» лет, как выражаются большевики, — во всяком случае, скоро. Пожалуй, и о внуках не стоит говорить — сами увидим.

Общий вывод отсюда слишком ясен. Совестно делать его. Подчеркну частичные:

всякое правительство, заключая какой бы то ни было договор с большевистским правительством, должно знать: договор этот не будет исполняться, и это неисполнение — принципиальная база советской власти.

ГЕРОИ В РОССИИ

Если большевики — такие бессильные и таковы, какими вы их рисуете, — говорят нам европейцы, — то почему наши интеллигенты пошли к ним на службу? Почему ваши офицеры идут в красную армию?

Эти иностранцы — говорят, а про себя думают: «уж такой народ. У них нет героев. Очевидно, русским офицерам все равно где служить; в белой, так в белой армии; в красной, так в красной».

Я не возмущаюсь думающими это: я их жалею. Что взять с них, с европейцев, глубоко невежественных по отношению к России? Лучше образовывать их, пока не поздно.

Нельзя требовать, конечно, чтобы в целом народе или даже в целом классе все сплошь были герои. Героев может быть мало или много. И, надо прямо сказать: за время большевиков у нас были сотни, тысячи, миллионы героев. Есть героизм пассивный и активный. При некоторых обстоятельствах герои пассивные не менее героичны, нежели активные.

Громадная часть, подавляющее большинство русской интеллигенции — герои. Одни, правда, не пошли на немедленную смерть, свою и близких; они с великим страданием, со стиснутыми зубами, несут еще чугунный крест жизни. Это герои

пассивные. А вот и другие: все расстрелянные, после пыток, московские профессора, педагоги, писатели — Алферовы и Астровы; или это не герои, да еще самые активные?

Русские офицеры... Если из их числа мы исключим известный процент вообще дрянных людей (а где их нет? В каком классе или сословии какой страны?) — то мы должны признать, что русское наше офицерство — сплошь героично. Хотя и тут геройство есть пассивное и активное.

Надо знать, как мобилизуют в Совдепии офицеров. Его арестовывают. И не только самого офицера, но его жену, его детей (всякого возраста, даже грудных), его мать, отца, сестер и братьев, родных и двоюродных, дядей и теток. Офицера выдерживают в тюрьме некоторое время, непременно *вместе* с родными (чтобы понятней было дело). Если увидят, что офицер из «пассивных» героев, — выпускают всех: офицера — в армию, родных — под неусыпный надзор. Горе им, если прилетит от армейского комиссара донос на данного «военспеца». (Так называются офицеры!) Едут дяди и тетки — не говоря о жене с детьми, — куда-то на принудительные работы или в прежний каземат, где зачастую теряются в списках.

О других героях, «активных», — вот какая отметка в моем дневнике летом 19 года:

«...Выпустили, наконец, нашу Л... Рассказывает: офицеров, сидевших с женами вместе, расстреливали человек по 10—11 в день. Выводили на двор; комендант, с папироской в зубах, считал, — уводили. При Л. этот "господин" (комендант из последних низов), проходя мимо тут же выстроенных в ряд, помертвевших жен, — шутил: "А вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! в красной армии служить не хотел!"».

Ну вот, пусть те, кто чувствует себя именно такими активными героями — судят героев пассивных. Я считаю, что нельзя их судить. Герои пассивные, повторяю, такие же герои: только муке мгновенной они предпочли муку длительную, растянули ужасную минуту в целую цепь минут, дней, недель.

Время притупляет страдания, скажут мне. Да, конечно, – для некоторых, более слабых. Есть даже худшая опасность: человек слабый может не только отупеть, но развратиться, начать «приспособляться». На это я отвечаю тоже фактом: мне достоверно известно, что громадное большинство русских офицеров, заключенных насильно в красную армию, героев, «пассивных», возвратилось героями. Они не развратились духовно, не «приспособились». Мне известны целые... состоящие из таких «красных» военных. Они таятся даже друг от друга, ибо окружены шпионами. Но они жадно ждут момента, чтобы возникнуть и действовать...

Пусть помнят это русские офицеры здешние же, которым милостивая судьба послала наилучшую долю: быть героями и подвижниками братского освобождения.

ГЕНИЙ ПОБЕДЫ

История не повторяется. Но все-таки внимательный взор может подметить в ней какие-то постоянные законы. Например, с народом, с государством, попавшим в тяжелое внешнее положение, происходит почти всегда следующее, – одно из двух.

Одно: народ не только остается инертным, слепым к опасности – он даже тупеет. «Упрямо живет, словно ничего не случилось. Обыватель так же сонно обывательствует, банкир занимается теми же делами, политики – теми же спорами, интригами, партийной борьбой. Внутренняя борьба, споры, деления, раскол – даже особенно увеличиваются в эти времена. Роковое умопомешательство овладевает всеми, какое-то наваждение. Личное, частное, мелко вырастает вдруг, заслоняя все общее, действительно большое. Борются между собою партии, группы, отдельные люди с пеной у рта, делят что-то, не видя, не понимая, завтра придет третий, завтра может случиться так, что делить будет нечего и спорить будет не о чем.

Это одно. И, конечно, страна, поддавшаяся такому наваждению в минуты внешней опасности, несет все тяжкие его последствия.

Но бывает еще другое.

Это другое – противоположно первому. Как электрический ток проходит сквозь тело народа, *чувственное* сознание опасности. Сливаются, спаиваются, отдельные частицы, народ действительно превращается в единое существо с единой душой. Словно чешуя спадает с его глаз, и они с особой остротой видят общую опасность.

В такие минуты нет внутренних распрей, споров, борьбы, – они невозможны, о них не приходит мысль. Партии, круги, вчера враждовавшие – сегодня соединяются, группируются в круг одного вождя, если он есть, строятся тесными рядами, сплоченные одной волей, волей к *бытию*.

Такой единый дух в едином народном *теле* – самая могущественная и притом самая *реальная* сила.

Пушки – тоже сила. Но эта, в глазах многих, единственно реальная, сила рассыпается в ничто, если за ней не стоит вторая реальность – единство духа. Пушки только нейтральная материя; а материя легко делается призраком, когда не служит живой воле.

Мало того: сколько бы ни было пушек, они все останутся призрачными и не родят непобедимого единства духа, если его нет у данного народа в данное время; и наоборот, живая воля, живой дух властны над материей, пушек будет всегда столько, сколько надо для победы.

Сейчас – может быть, из всех держав всего мира молодая Польша находится в положении, наиболее внешне угрожаемом. Но зато она же, страна только что воскресшая, восстающая, растущая – может быть, из всех стран мира наиболее способна пойти не по первому, а по второму пути. Да и не ей ли издавна свойственно сливаться в единое тело и единый дух перед лицом опасности? Сонному мареву, слепоте упрямых внутренних раздоров, гибельной мелочной узости могут поддавать-

ся старые, усталые народы. Сознание приходит и к ним — но уже слишком поздно.

Польша не устала. Польша, вероятно, никогда не будет усталым народом, усталой страной. Она только что собирает силы, укрепляет дух. Это нелегко, после мирового потрясения, после мирового пожара, который к тому же далеко не кончился. Еще раздирают существо Польши, как и других стран, внутренние распри, несогласия, партийная борьба... Но время не ждет. Каждый час на счету истории. И, может быть, уже следующий — несет польскому народу ту искру, которая зажигает полное единство духа, единство воли и устремления. А с ними не страшен никто.

Единый дух — это сам Гений Победы.

ЕЩЕ О МИРЕ С БОЛЬШЕВИКАМИ

Я не имею чести принадлежать к числу профессиональных политиков. Я не претендую на их испытанную мудрость. Мое частное, в некотором роде безответное положение, дает мне известные преимущества: я могу иметь свои мнения, и главное, могу свободно их высказывать. Никто, кроме меня, за них не отвечает.

Если я занимаюсь «политикой» — то ведь ясно: политика давно стала жизнью, а жизнь политикой. Их уже не разделишь. А не заниматься жизнью могут только мертвые. В Совдепии все, еще не умершие, художники, литераторы, артисты, музыканты («Х-Л-А-М», по терминологии большевиков) все — политики. Несколько нового типа политики, — ведь и большевики тоже нового типа. Мы там, как и большевики, не запутывались в сложных политических узлах. Мы придерживались линий прямых, простых, — свежих, если угодно: благодаря этому методу, мы отлично стали понимать большевиков и научились заранее угадывать их поведение в том или другом случае. Мы сделались политиками от здравого смысла.

Правда, большевики сами помогали нам своей откровенностью. Ведь они откровенны до полного цинизма. Убеждены, что «старый мир» так глух, что все равно ничего не услышит. А мы, домашние, наученные, — quantité négligeable*, у нас тряпка во рту, что мы значим?

Еще до слов Ленина о мирной компании с соседями (эти слова были приведены мною в первой заметке «Мир с большевиками») — мы знали, что такова именно ближайшая тактика «советской власти». Знали мы и намерения этой власти забросить удочку «товарообмена» — товарообмена, чтобы выудить из взбаламученного европейского моря снятие блокады, а затем и свое «признание».

Мы не думали только, что это обернется так скоро. В сроках, вообще, мы склонны ошибаться, — в них часто ошибаются и большевики.

Первые переговоры с Эстонией были прерваны, но это нас не обмануло. Мы видели, что они возобновятся и завершатся «миром» со всеми его последствиями. «Эстония будет первой», — сказал Ленин. И прибавил, через несколько дней: — «на нашу пропаганду в Эстонии, мы, конечно, не будем жалеть средств».

В это самое время правительство Эстонии тщательно заготовляло мирный договор с пунктом отказа от пропаганды. Вскоре Ленин с чистой совестью этот договор и подписал.

Да, *с чистой* совестью, это не оговорка. Напротив, Ленин изменил бы своей «совести», своим принципам (которых он не скрывает, к тому же), если б, подписав действительно, отказался от пропаганды. Изменил бы себе и в другом случае: если б отказался подписать такое условие. В подобном отказе было бы признание эстонского правительства, как законного; а Ленин по совести не считает (и опять этого не скрывает) никакое правительство законным, кроме своего, «рабоче-крестьянского».

* ничтожная величина (*фр.*).

Для нас, все это понимающих, хорошо осведомленных «совдепских» политиков», так непонятна была наивная вера в «бумажку» со стороны эстонского правительства, что мы этой вере не верили. Мы решили, что есть какие-нибудь, нам неизвестные, обстоятельства, ввиду коих эстонское правительство вынуждено подписать мир с большевиками, т. е. подписать смертный приговор себе самому. Тем более, что срок исполнения не указан...

С тех пор прошло несколько месяцев. В совдепских газетах завелась постоянная рубрика «Наши дела в Эстонии». Товарищи подробно извещались о ходе коммунистической пропаганды, о близости водворения там «советского» правительства. А вот извещение уже не совдепской, а здешней, зарубежной. Газеты от 18 июля 20 г.

> «Внутреннее положение Эстонии очень тяжело. Министерский кризис был вызван выступлением против смертных казней над коммунистами. Коммунисты развивают усиленную пропаганду. Образуются тайные советы рабочих депутатов. Не исключена возможность выступления советского правительства против демократической Эстонии».

Все это в порядке вещей, все идет нормально — с нашей точки зрения, «политиков нового типа». Вырвавшись из Совдепии, мы точку зрения не изменили, опыта нашего не забыли. Вот, разве, в чем только перемена: мы начинаем убеждаться, что напрасно подвергали сомнению наивность правительств, заключающих миры с большевиками. Кажется, наивности этой, вере этой в святость бумаги, подписанной большевиками — нет никаких пределов.

С ней, очевидно, нельзя бороться словами. Необходим опыт. И, главное, некоторое подобие опыта уже имели дипломаты и политики «старого» европейского мира. Не назвала ли Германия, в нужную ей минуту, подписанный ею договор — «клочком бумажки»? Крылатое слово это облетело всю Европу.

Правительство Вильгельма, как ни близко по духу и по форме к правительству Троцкого, – все же было европейское правительство. Какая же нужна сила слепоты и Божьего попущения, чтобы думать, что российско-азиатский Большой Кулак не сможет в любую минуту разорвать все подписанные им договоры?

Нет, очевидно, тут необходим дальнейший, – полный, – опыт. Не только политика, разлившись в жизнь, вырвалась из рук так называемых «политиков», но и сама жизнь, история, выходит за пределы человеческого разумения и человеческой воли. Мы вступаем в полосу Рока.

Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу – не меряю:
Я лишь дрожу предвечною потерею
Кем не владеет Бог – владеет Рок.

МЕЧТЫ И КОШМАР

Мало-помалу – слишком медленно, правда, и не поспевая за событиями – но все-таки начинает приходить в сознание старая Европа. Все громче раздаются оттуда голоса встревоженных польско-восточными делами.

Только теперь просыпается: а что, пожалуй, и впрямь польско-советская борьба – явление не только местного порядка? Пожалуй, она касается и Европы, пожалуй, исход ее, тот или иной, грозит и нам какими-нибудь последствиями?

Некоторые французские газеты упоминают даже о возможности новой мировой войны. О пожаре, идущем с востока...

Но, быть может, все эти верные, известные до избитости «открытия» – остаются и теперь достоянием одних газетчиков. Быть может, тех, кто имеет влияние на судьбы народов (или думает, что имеет влияние) – не разбудили и последние грозовые дни в Польше. Мы еще не знаем. Мы это вскоре узнаем.

Ведь мы слышали трезвые голоса в европейской печати и раньше. Английская печать предупреждала о всеевропейской опасности в то самое время, когда английский премьер изъяснял, что вполне возможно вести торговые сношения даже с людоедами... Перед его глазами, конечно, рисовалась такая идиллическая картинка из прошлого: приплывают к дикому берегу европейские корабли с бусами, ножами, яркими платками. Доверчивые людоеды уже приготовили на берегу, в обмен на эти бусы, кучи слоновых клыков и других местных драгоценных товаров. Сами спрятались вблизи и ждут. Европейцы грузят слоновьи клыки, взамен оставляют перочинные ножички и бусы и уезжают. После их отъезда людоеды делят оставленные европейцами сокровища, очень довольны; посылают вдогонку благодарственные приветы, все очень хорошо, – до следующего раза.

Эта идиллия до сих пор как-то не может устроиться. Но люди с воображением до сих пор, кажется, не отказались от мечты о ней. Может быть, так и протянут, так и промечтают вплоть до последнего часа: пока не лизнут их красные языки людоедского пожара.

В образе ли новой мировой войны, или в несколько ином подобии, – но действительно, на Европу надвигается грозная опасность. Можно как угодно относиться к Польше; оставляя в стороне все соображения этнического свойства, рассуждая совершенно холодно и объективно, – нельзя не признать, что существование Польши имеет громадное положительное значение для Европы. Глядя с той же, совершенно объективной, точки зрения – и глядя взором ясным – мы непременно отметим хотя бы следующее: интересы большевиков и Германии сейчас сходятся, и тем и другой нужна сейчас соприкасающаяся граница. Для чего она им нужна, что из этого выйдет – это уж вопросы дальнейшие. На них ответы могут быть различные – в деталях, но не по существу. Никто же не будет отрицать, что Германия – озлоблена, но озлоблена, не на большевиков в первую голову. Относительно большевиков она только

слепа, несмотря на весь свой горький опыт. Германцы могли бы сказать про себя:

...От боли мы безглазы
А ненависть, как соль,
И ест, и травит язвы,
Ярит слепую боль.

Факт тот (все с точки зрения холодного наблюдателя), что для Германии не исключена возможность соединиться: хоть с чертом, если Германия вообразит, что черт ей послужит. Пусть считаются с этим фактом, пусть ведают его те, кому ведать надлежит.

Им же предоставляю и выводы из факта. Эти выводы уже делаются более трезвыми европейцами.

Чем больше их будет, чем скорее проснется Европа, — тем скорее кончится весь наш мировой кошмар.

ДВЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Надо сказать правду, две интеллигенции, русская и польская, начали знакомиться друг с другом только в последнее время. Даже только в самое последнее время. Ранее было так: они почти не соприкасались; польская глядела на русскую волком, а в сущности ни одна ничего не знала о другой или очень мало.

Это было если не мудро, то, по-человечеству, понятно. В польской интеллигенции очень живо было национальное чувство; в нашей, русской, его имелось мало, может быть, слишком мало. Для поляков мы были, прежде всего, русские, а потом уже интеллигенты. Мы принадлежали к нации поработителей, и это было им важно, а мы не понимали, ибо мы, с правом или нет, чувствовали себя сначала интеллигентами, и более всеевропейцами, нежели русскими.

Должен оговориться, что я разумею чистую интеллигенцию; интеллигенция «служилая» как русская, так и польская, силою

вещей сталкивалась в русских центрах; жизнь мало-помалу вырабатывала какой-то modus vivendi *, — причем поляки, конечно, русели в известной мере.

В кругах же чистой русской интеллигенции, где был определенно решен политический вопрос о самодержавии, давным-давно был решен и польский вопрос. Нам казалось, что у нас, русских и поляков, один общий враг: русское царское правительство. Нам казалось, что мы с народом нашим так же порабощены и угнетены, как Польша, и притом одним и тем же поработителем.

Стремясь к политической революции (мы знали, что иным путем самодержавия не свергнешь), пытаясь работать на пользу этой революции, мы никогда не могли понять, почему нейдет тут польская интеллигенция рядом с нами, во имя русской же интеллигенции.

Ведь русская революция, «свержение самодержавия», это и была, в сущности, «свобода Польши». России тоже, но почему бы полякам быть против и нашей свободы?

В наших суждениях была своя доля наивности и прекраснодушия, свойственных интеллигенции, но была и своя правда.

Началась война. Все знают, как обострила и выдвинула она польский вопрос. В зиму 15—16-го, кажется, года — он был везде, он был у всех на устах, у многих и в сердце.

— Какая у вас польская ориентация? На автономию? На независимость?

Глупой, бессильной болтовни было всего больше. На нее напрашивался один ответ.

— Никакой «польской» ориентации. Вопрос о Польше решается решением «русского» вопроса.

Поляки, увы, не могли бы понять действительного смысла этих слов. А для нас он был один: Польша освободится, когда освободится Россия, когда будет свергнуто русское, — обе страны угнетающее, — правительство.

* образ жизни (*лат.*).

Помню, был даже образован в Петербурге, в то время, наряду с другими частными политическими кружками — «русский» кружок, как раз на этом принципе. Конечно, там не было ни одного поляка... А где были они нужнее?

Все обернулось, — на первый взгляд, — совсем не так, как мы думали. Война перепутала карты. Россия с грохотом провалилась в черную дыру, а Польшу освободила и воскресила Европа — военная победительница. Но действительно ли уж так навыворот все обернулось, и не было ли все-таки доли правды у русской интеллигенции, когда она твердила: у Польши и у России — общие враги? У Польши и у России истинная свобода — одна?

Я сказал, что сближение, некоторое взаимопонимание между русской и польской интеллигенцией — крайне молодо. Оно началось только в самое последнее время. Можно ли поверить, что еще несколько месяцев тому назад упоминание об одном крупном антибольшевистском политическом деятеле, давно работающем в европейском масштабе, известном франкофиле, вызвало такую отповедь со стороны одного польского интеллигента:

— Да; но он бывший русский революционер. А мы — польские государственники.

Что на это отвечать? Разве только удивиться, спросить: «Так вы не были с ним, не были революционером при царском режиме? Не боролись против правительства, которое вас угнетало? Во всяком случае, благодарите этого "бывшего" революционера: ведь он боролся и за вашу свободу».

Это было несколько месяцев назад. А вот, что я слышал теперь, на днях, от другого польского интеллигента, в том же кружке, чуть не в той же комнате:

— Сдвиг в сознании польского общества — громаден. Оно поняло, что у настоящей России и у Польши — один общий враг. Оно поняло, что данное русское правительство, поработившее Россию, есть вечная, грозная опасность для Польши. Рядом с такой Россией Польша не может иметь покоя, не может дышать свободно. Мир с таким правительством, если бы

оно его и подписало, не может быть миром, это будет лишь злейшая, на малое время скрытая война. У нас и у вас один, — смертельный, — враг.

Слава Богу, наконец-то! Наконец-то поняла польская интеллигенция, — если она это действительно поняла, — нашу общность перед лицом одного и того же врага.

Лицо его — уже не полупросвещенный абсолютизм Николая; но лицо зверя, абсолютизм варварства. Польша близко заглянула в кровавые зрачки — и героическим усилием отбросила его назад. Ранен ли зверь — мы не знаем; во всяком случае не добит, и оттуда, с окровавленного тела России, готовится к новому прыжку на Польшу. Оставить ее, отказаться от нее, ведь он не может. Пока он есть — он таков, как есть. Пока он лежит рядом, на России, рвет и грызет ее — всякий новый день может принести и Польше ту же участь.

Какая уж это свобода! Нет, если жив зверь, если в рабстве, столь неслыханном, Россия — нет и настоящей свободной Польши.

Не пустые, видно, слова — надпись на знамени: «За вольность нашу и вашу». Польское ли знамя подымается сегодня, русское ли завтра, но если они подымаются за свободу — на обоих неизменно одна и та же надпись: «За свободу нашу и вашу».

ТАМ, В РОССИИ

I

Два лагеря

Все пути ведут оттуда,
А туда — дороги нет!

Н. Минский

Русское общественное мнение... где оно? В Праге, в Варшаве, в Париже? Да, и в Праге, и в Париже, и во всех городах Ев-

ропы, где есть сознательная группа русских. Я с этим не спорю, я признаю, что ко всем группам надо относиться внимательно, со всеми считаться.

Но я предлагаю вспомнить, что есть еще одна «группа» русских людей, еще одно место... Это место — территория бывшей России; а русские люди, с мнением которых не принято считаться, — это оставшиеся в Совдепии. Их не мало там, еще не убитых, не умерших, не сошедших с ума, и они знают, видят изнутри вещи, недоступные взору эмигрантскому.

Из Праги в Париж можно послать письмо, резолюцию, делегатов. Осколки одной партии легко могут здесь сноситься, ссориться и мириться с осколками другой партии, заниматься семейными делами и даже не семейными: обращаться к иностранному «общественному мнению» или правительству. Если голоса этих русских в Европе не громки — они сами виноваты.

Из бывшей России физически нельзя подать никакого голоса. Нельзя послать ни резолюций, ни делегатов. Одно можно: уполномочить «ходоков». Прошептать им на ухо: «Вы знаете... скажите всем, что мы... Скажите всем все, что знаете...»

Такие «ходоки», делегаты без писаных мандатов, уполномоченные «на веру», — между прочим и мы. И мы действительно знаем это «общественное мнение» русских в России, как знают его все, кто подобно нам, прожил с большевиками вплотную более трех лет, кто уехал только тогда, когда уже *все кончилось*. Да, был определенный момент, когда «кончилось», когда переворот заключился. Можно долго вывертывать перчатку наизнанку, но когда она вся вывернута — далее нечему быть. После этого момента, пережитого нами в России, нет уже качественных изменений, а только количественные: больше смертей, больше убийств, меньше хлеба... только. А потому и все мы, уехавшие из России после «переверта», после 20-го года, совершенно реально ощущаем себя и там, в России. Мы продолжаем жить с оставшимися. И говорить можем только «оттуда», только «от них».

Когда мы сталкиваемся в Европе с такими же «ходоками», с ушедшими после полного «выверта» — нам не о чем толковать. Достаточно слова, взгляда... неписанные грамоты у нас одни. Но как непонятны они всем остальным русским и нерусским европейцам!

Однако мы должны исполнять наш долг. Ведь мы не уехали бы из России, если б не доверили нам этих грамот. Слушают нас иль не слушают, мы на все лады будем твердить одно и то же, объяснять все то же.

Стыдно каждый раз начинать с упоминания: то, что делается в России, то, что думают и знают оставшиеся там, — важно. А, вот, приходится и это говорить. Еще недавно какая-то газета сказала, что «оставшиеся в России потеряли чувство реальности!». Уж если кто его потерял — то не эмигранты ли, вместе с Европой?

Рассказывать, как живут русские в России физически, т. е. о голоде, холоде, крови, — можно, но к чему? Таких рассказов довольно. Понять их может лишь переживший. Кроме того, — это не главное, не самое важное: человек необыкновенно вынослив в физическом отношении, говорю по опыту. Нет, не о страшном «быте» русском просили нас сказать «всем, всем, всем», когда провожали «оттуда»... Длинны и подробны данные нам неписанные грамоты, я сейчас передаю лишь малую часть, общую.

В России нет многих партий или групп. Там только два лагеря. Первый, громадное меньшинство, — правители, плюс небольшая кучка спекулянтов крупных. Второй — вся остальная Россия, начиная от сознательных верхов (интеллигентов) и кончая последним, абсолютно бессознательным мужиком, старухой, ребенком, матросом. Верхи разбираются в положении дел, знают за что и кого ненавидят, понимают, как нужно бороться с врагом, — низы и середина только ненавидят, слепо копят ненависть, таясь по углам, в каждом видя врага. Эта слепая, глухая ненависть до времени являющая вид покорности, — очень страшна и чревата неслыханными последствиями.

Между прочим (было бы нечестно скрывать этот ужасный факт), там, в низах, растет самый стихийный антисемитизм. Даже на севере, где его никогда не было. Он в городе, он в деревне, он в красной армии, особенно. Но об этом явлении надо бы написать отдельно. Возвращаюсь к слоям более сознательным.

Эта часть антиправительственного лагеря знает, что все громадное большинство России — с ними. Но пока оружие в руках меньшинства и пока большинство несознательно, данное положение должно длиться и может продлиться, предоставленное себе, многие годы. Большинство само будет пребывать как оружие в руках кучки «правящих». Все пути внутренней помощи большинству, в смысле разумного направления ненависти, — физически отрезаны. Смешно говорить о серьезной пропаганде в «Советской» России. Тут и честный эмигрант не будет спорить. Пропаганда может идти лишь извне, наплывать с краев, поддержанная непременно вооруженной силой, войсками... которым, пожалуй, и воевать не придется, если пропаганда будет *такая, как должно...*

Русские в России знают, какой должна быть пропаганда, и знают, что нужных лозунгов не нес еще никто из боровшихся против большевиков. Не было их ни у Деникина, ни у Врангеля... Поэтому-то, мы, в России, во времена наивысших успехов Деникина, *знали,* что Деникин провалится.

Но так же мы, безгласные, рвали на себе волосы, когда слышали, что говорят и делают здесь эмигранты. Я верю, с лучшими намерениями, — но они душили нас, забивали Россию в яму и помогали большевикам неустанно, непрерывно, вплоть до последнего времени. И это — без различия партий, от Милюкова до Керенского. Непризнание ли окраин, ненависть ли к Польше, крики ли против интервенции или против «контрреволюции» — все равно. Собственными глазами мы видели, как облизываются большевики от этой зарубежной работы.

Можно было с ума сойти. И без того мы чувствовали себя на краю гроба. За что же нас толкают туда еще и братские руки?

И все до сих пор старые у них партии, партийные интересы, допотопная грызня... Как им сказать, что в России, где вся перчатка уже наизнанку, никакие партии не считаются? Они — зарубежный туман, который держится, лишь пока нет России?

Впрочем, жива дурная память о некоторых партиях, как жива и ненависть персональная (может быть, несправедливая, я сейчас не разбираюсь). Например, «Керенский» — одно из одиозных имен, сверху донизу. Антибольшевистский лагерь, — вся будущая Россия, — не захочет Керенского ни под каким соусом, — это один из мелких, но несомненных фактов. Большевики скорее примирились бы с ним!

Мы видели воочию: большевики слабы и трусливы. Здесь все говорят, что знают это, никто не признается, что, в сущности, не верит в это.

Большевики слабы, — да; но что если в Европе эти слабые окажутся самыми сильными?

Одной реальности не понимали мы там, в России: бездонной слабости всего зарубежного мира. Неужели поверить, что она так бездонна? Пусть не верят и оставшиеся. Пусть надеются. Это дает им силу жить.

К ним я вернусь. О них «от них», слишком много еще надо сказать. Надо, необходимо. Здешние должны слушать голос «оттуда».

II

К случаю

Самые темные дни первых страшных месяцев России...

...Как скользки улицы отвратные!
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!..

Мы все знали, конечно, что *если* большевики позволят открыть Учредительное собрание (если!), то они его все равно

разгонят. За неуспех борьбы было 99 шансов. Но один, в это острое время, был за успех; и все-таки это была борьба, единственная, реальная. И без рассуждений непримиримая интеллигенция стала на сторону борящихся — на сторону эсеров.

Мы были особенно близки Учредительному собранию. В партии-победительнице у нас было несколько давних друзей. Со дня февральской революции мы видели ее внешний рост и, увы, могли следить за ее внутренними ошибками. Но время ли было думать о них!

Случай сделал нас близкими Учредительному собранию и внешне, географически: наши окна выходили прямо в Таврический сад, на круглый купол старого дворца.

Члены Учредительного собрания в течение ноября—декабря 1917 г. (не большевики) частью были схвачены, частью скрывались. Помню некоторых, приходивших к нам поздно ночью, с черного хода, в темных очках. При случае — в нашем доме можно было ночевать.

Мы знали их отчаянный, но единственно возможный план: надо было попытаться «передемагогить» большевиков. Гибель? Конечно. Но все-таки есть шанс (один!) за успех.

Надо покаяться: зная некоторых лидеров партий, мы боялись худшего провала: соглашательства с большевиками. К счастью, этого позора не случилось с Учредительным собранием. Теперь я вижу, что его и не могло случиться... не таковы большевики. Но в те времена мы еще не изучили их до косточек.

Помню этот длинный-длинный лихорадочный день января, серый, угрюмо-снежный и ветреный, — единственный день жизни нашей конституанты. Соседство Таврического дворца дало нам сначала сведения внешние: «Идут! Пускают только по Потемкинской! Все вместе идут!» Скоро наша домашняя демократия, имеющая знакомства и связи со всеми сторожами дворца, доложила, что «приходят... пришли...».

Далее — зазвенел телефон. И мы стали следить уже за тем, что происходит внутри.

Я не помню последовательности этих, все-таки отрывочных, сведений. Но в то время они казались такими важными, что записывались по часам (как и события февраля). Если когда-нибудь мои дневники будут вырыты из Совдепской земли, где ныне покоятся, будет интересно вспомнить забытые мелочи. Порою мелочи важнее крупного. Этим дневник — порою любопытное воспоминание.

Вот звонок, — идут выборы председателя. Борьба между Черновым и Марусей Спиридоновой... Столько-то голосов за Чернова... столько-то за Марусю...

Мы, конечно, всей душой за Чернова. За Чернова! Но Чернов в данную минуту — символ.

Случайно тот, кто сообщил нам о победе Чернова, сказал это кисло. Не понимал символизма! Мы его выбранили и стали ждать следующих, более дружеских сообщений.

Они были неутешительны: «Говорят!» Полчаса проходит, час... «Все говорят?» «Говорят! Говорят! Ленин сидит, раскинувшись в ложе. Хитро улыбается. Вся ложа уставлена цветами. А Чернов опять говорит.... говорит....»

Наконец, звонки прекратились. Очень поздно. Последнее известие — будут заседать всю ночь, и вообще решили не уходить.

Я долго не ложусь. Порою подхожу к окну, откидываю портьеру и вглядываюсь в тихую тьму. Бледно мерцают снега. За сеткой черных сучьев круглится купол тяжелого дворца. Огней не видно. Что — там? Нет. Конечно, исчезла всякая тень надежды.

На другое утро, рано — целая лавина соседских сведений: «ушли... разогнали... чуть свет закрыли... матрос не пожелал... едва не перестреляли всех... а на выходе Чернова мальчишка-красногвардеец убил...»

Я возражаю на последнее:

— Ну, вздор!

— Нет, нет, убил. В коридоре до сих пор лежит. Сторож сам приходил, сказывал.

Увы, только это одно, последнее, и оказалось вздором. Все остальное — была ожиданная, горькая, правда. Ушли. Совсем ушли. Навсегда. Отчаянный план сорвался.

Последующие дни... да не на другой ли день убили Шингарева и Кокошкина? Нет, после, кажется. Новые владыки узнали об этом убийстве позже всех (будто бы) и были сконфужены. Они тогда еще конфузились! Странно вспомнить, как нетвердо они сидели тогда. Невероятны забытые мелочи, а как поучительны!

Тогда, в Таврическом дворце, не было Керенского. Был один Чернов. Эпопея «Керенский—Чернов» разыгралась раньше, до большевистского переворота, не в Таврическом — в Зимнем дворце. Будущие историки ее разберут. У них будет и продолжение, — ведь, в наши дни, в Париже, вновь они встречаются на тех же половицах (французских). Опять «Керенский—Чернов». Дай Бог, чтобы эта встреча менее повредила России, чем первая, петербургская.

Впрочем, — можно ли повредить России? Ее нет. А когда она опять будет, новая, третья, — то уж, конечно, ни Керенский, ни Чернов ничем ей не смогут повредить.

III

Свержение большевиков

...Труслив наш враг, хотя и ловкий,
Легко с ним справимся и мы.
Но развяжите нам веревки,
Освободите из тюрьмы!..

(*Письмо из Совдепии*)

Опять говорю о вас, за вас, от вас, русские люди в России. От вас, святые и мудрые, за вас, ничего не знающие, только страдающие, — и тоже святые.

Да, только там, в России, можно видеть на лицах особую печать святости. Это нерассказуемо, но несомненно. Это не

красота и не безобразие, а именно святость, и другого слова не найдешь. Но зато в России же встречаются и лица с другой печатью... особого окаянства. Очень любопытно, что эти последние «окаянные» лица все схожи между собой. Лица — на одно лицо. Мне приходилось думать над этим в трамваях (когда они еще ползали), на углах улиц (когда там еще были люди), в кошмарные дни путешествия до Гомеля в тесной толпе красноармейцев. На четыре—три простецких мужичьих физиономии непременно одно это знакомое «окаянное» лицо. Черты разнообразны, но окаянство стирает черты. Оно так же нерассказуемо, как и святость.

Это, впрочем, лирика. Мне ею некогда заниматься. Хочу сказать о том, что думают (и знают) русские люди в России, — сознательные верхи всероссийского антибольшевистского лагеря, — о возможности свержения большевиков. И, между прочим, о так называемой «интервенции».

Надо ранее понять нашу исходную точку. Это при доброй воле и при некоторой степени воображения, — не трудно. Мы исходим из того факта, что все, что могло перевернуться — перевернулось. Россия, как перчатка, уже на изнанке вся. Выверт не только внешний, политический, экономический, бытовой; он глубже, он проходит внутрь. Он в какой-то мере захватил психологию, душу народа. Судить, где и как она повернулась, что, собственно, изменилось — невозможно, да и не наше дело. Наше дело только признать факт. Он объясняет, почему русские в России не боятся никакого возврата к старому, — он невозможен. Мы нисколько не боялись «реакционности» белых генералов. Мы были в ужасе и горести от их попыток только потому, что твердо знали: эти попытки провалятся, свержения большевиков не будет; «генеральские» кампании — покушение с негодными средствами.

Не логический ли абсурд, поэтому вечный припев социалистов от эмиграции: «Придет Деникин в Москву, насадит реакцию... Лучше большевиков потерпеть?» Ведь он, прежде всего, в Москву *не придет* (будучи реакционным), — уж не говоря о

том, что «насадить» старую реакцию в России сейчас невозможно.

И, наконец, всякая поддержка большевиков из боязни реакции, — что это? Не то же ли самое, что подкладывание соломы под свой горящий дом из боязни... что он сгорит?

Нет, нам некогда в России заниматься софизмами, как некогда было и преступным казалось предаваться размышлениям и гаданиям: что будет, когда ничего не будет? Какой дом строить, когда этот сгорит дотла, до черной ямы.

Если ждать черной ямы — почему только российской. Пожар не локализован, с этим никто не спорит. Не подождать ли европейской?

Нет, русские в России не могли дойти до такого безумия. Мы знали, что надо прежде всего уничтожить главный очаг — свергнуть центральную власть большевиков. На эту, самую, первую задачу, без решения которой нет никаких других задач, праведно устремлено и теперь все наше внимание.

Вот некоторые практические выводы наши, основанные на долгом внутреннем и внешнем опыте, на знании самого существа большевиков, их власти, а также на понимании общего положения России, степени ее изменения и темпа, (все ускоряющегося) ее распада. Вот несколько пунктов написанной резолюции русских людей в России.

Падение центральной власти большевиков не только возможно, но неизбежно (и в данный момент, несмотря на большое запоздание) *при таких условиях:*

1) Наличие некоторой вооруженной военной силы, *идущей извне.* Количество сил не так важно, как условие их смешанности, т. е. крайне важно, чтобы тыл, идущих впереди русских сил обслуживался регулярным войском другой союзной страны, — все равно какой.

2) Лозунги идущих впереди русских должны быть чисты от всякой старой тени. Если угодно — это лозунги крайнего демократизма, но именно крайнего. Как реставрации, так и не должно быть в них: ни воинствующего *национализма* (против

так называемого расчленения России), ни *социализма.* Ни одна из старых партий не может быть названа, мало того: ни один известный партийный (как и царский) деятель не может принимать в этом деле видного участия... Все «имена», и левые и правые, вызывают в России одинаковое недоверие. (Не вдаваясь в обсуждения — мы лишь берем факт и думаем лишь об успехе или неуспехе предприятия.)

3) Вышеназванные лозунги должны быть оформлены с чисто большевистской определенностью, резкостью и краткостью. Так же, как методы борьбы, военные приемы, должны отличаться некоторым образом от приемов западной регулярной войны. Следует помнить, что в гражданской войне есть свои особенности. Большевики ими пользуются. Но их можно использовать и с другой стороны.

Наилучшее направление было бы северное и западное одновременно. Но вполне возможно и одно западное, даже не очень широкое. Южное направление неблагоприятно, может оказаться даже вредным. (Крайне важен Петербург. Большевики это знают так же, как и мы, и этого не скрывают. При всякой тени петербургской опасности они погружаются в самую жалкую панику и готовы к бегству.)

Такое движение извне рассчитано не на завоевание России вооруженной силой, а на соединение с громадным большинством русского народа против угнетающего меньшинства. Это лишь протянутая рука лежащему, придавленному извне, не могущему подняться. Крестьяне, да и вся красная армия, разбиты и разделены на отдельные кучки (еще прослоенные отбросным элементом шпионов). И все это сейчас заперто кругом толстой стеной российских пространств.

Не наблюдаем ли мы картину непрерывных восстаний, очагов, вспыхивающих, увы, не одновременно? Да и как иначе? Они не связаны между собой, ничего не знают одно о другом. Стихийные, органические вспышки. По частям каждая легко гасится большевиками и так же мало имеет значения, как если

бы в громадной тюрьме бунтовало каждый день по единственному арестанту в одиночке.

Сбить замки на тюремных дверях... вот для чего нужно движение... вот для чего нужно движение *извне*, силы *внешние*. Ведь замки-то висят извне...

«Шлиссельбуржцы должны освободиться собственными силами, если же нет — значит, они достойны сиденья в своих камерах». Этого никто не говорил. Стыдились, что ли? Теперь, потеряв стыд и разум, говорят — о новой, гигантской крепости, России, о новых заточниках русских. Не надо вооруженной силы извне. Не надо вмешиваться во внутренние дела новых шлиссельбуржцев!

С тем же правом (если двигаться по линии абсурда) скоро скажут о рабочих, когда их завалит в копях: освобождение — дело их собственных рук. Не надо интервенции.

Вот это «не надо интервенции» — прежде всего — глупость. Глупость махровая, глупость художественная. Ею можно бы эстетически наслаждаться, если бы эта дубина в руках Иванушек не мозжила головы направо и налево.

Но об «интервенции» в прямом смысле, о том, почему в движении сил против III Интернационала должны непременно участвовать и чужеземные войска, — я скажу подробнее в следующий раз. Это участие — условие успеха (одно из условий). И не трудно понять, какие внешние и внутренние причины делают такое участие совершенно естественным, логичным и необходимым.

Здесь я только скажу еще одно. Если бы здравый смысл возвратился к русским и нерусским европейцам, если бы внешнее движение в Россию в тех формах, как они нам рисуются, осуществилось — мир был бы изумлен легкостью, молниеносностью, пожалуй, *незаметностью* исчезновения «Советского» правительства. Было бы замечательное в своем роде «истаивание бесов перед заутреней». Кто пережил в Петербурге 25 окт. 17 года, тот знает, что и появилась их власть так же тупо, без

момента: одно бессилие незаметно навалилось на другое бессилие. Сейчас — нет, сейчас — есть...

А если без лирики, просто будем рассуждать, — какие, действительно, громадные внешние перемены могут быть? Кучка «властителей» с чутким носом рассеется; неважные и глупые попадутся; но их мало, очень мало! Вот это надо помнить: громадное большинство, почти вся Россия — одного, антибольшевистского лагеря. Почти все останутся на местах. И должны остаться. Рука, протянутая для помощи, да не превратится в руку слепого и глупого мстителя.

И тогда будет радость. Такая радость, как в первые дни февральской революции.

IV

Февраль

> ...Три поля на знамени нашем, три поля:
> Зеленое — Белое — Алое.
> Да здравствует истина, братство и воля,
> Вперед! Нас зовет небывалое...

Я даже и не подумаю вступать в газетную полемику... Мне, во-первых, некогда, а во-вторых, в самом факте личного переругиванья беженцев-писателей я нахожу, что-то стыдное. Вот уж для чего воистину «не время и не место!». Поэтому я (как и все мы), оставляю эмигрантов из «Воли России» и «Последних Новостей» предаваться полемическим занятиям, сколько они хотят. Это их дело. У меня есть другое.

Но мне полезно было лишний раз вспомнить, как правы большевики, когда они до тупости, до одурения, долбят свое каждый день, одними и теми же словами, не боясь уродства и бесстыдства повторений. Уж, кажется, ясно; уж с ума бы сойти от ясности; нет, они опять, и опять и снова. Очевидно, они знают «свой народ» и нравы. Уж не надо ли и нам придерживаться большевистских методов? Мне, например, казалось, что я гово-

рю необыкновенно ясно. Можно не соглашаться, но не понять нельзя. И вот, оказывается (по недавней статейке в «Посл. Новостях»), что меня можно понять «даже совсем наоборот». Не смея думать, чтобы это «наоборот» могло быть нарочным, только для целей «полемики», — я прихожу к убеждению: русских эмигрантов надо так же беззастенчиво долбить, как долбят большевики «свой народ».

Для совершенной ясности я напомню: я говорю лишь о том и то, что знают, думают русские люди в России, принадлежащие к антибольшевистскому лагерю. То, к чему пришла и что определенно оформила ответственная, сознательная часть еще живой интеллигенции, люди и быв. партийные и беспартийные — одинаково все, сохранившие человеческий облик. Менее сознательные, неспособные к самостоятельным выводам и обобщениям, в громадной массе присоединяются к данным формулировкам, ибо они то же самое знают и чувствуют, то же самое.

И я говорю «мы» — от лица великого большинства антикоммунистической России.

Можно не считаться с ней. Можно искренно думать, что так как многие из интеллигенции — и все лидеры бывших политических партий — за рубежом, то и судьбы России решаются за рубежом. Можно это думать. Я допускаю. И даже не спорю. Но я так не думаю и говорю лишь тем, кто хочет считаться с русскими в России.

Для сугубой ясности (все по примеру большевиков) я еще раз повторяю вкратце главные наши положения.

Первая, очередная задача — свержение *центральной* власти.

Эта задача легче исполнима, чем думают (благодаря многим, здесь неизвестным фактам) при трех, равно необходимых, условиях:

1) *внешний* толчок, т. е. движение вооруженной силы непременно с укрепленным тылом;

2) лозунги и приемы *крайне* демократические и революционные;

3) методы вооруженной борьбы, измененные по сравнению с приемами регулярной войны.

Свержение центральной власти одним внутренним, чисто повстанческим движением — нам кажется делом абсолютно неосуществимым, не реальным. Не реальным (помимо разных причин, как: пространства России, невозможность единства действий и т. д.) — хотя бы уже потому, что не может повстанец с рогатиной, или даже с винтовкой, взять крепость, снабженную тяжелой артиллерией.

Внутреннее восстание совершенно необходимо, и *оно готово.* Но восстающим нужно на что-нибудь опираться. Населению нужна поддержка. И те, кто диктуют отсюда внутренние «восстания», *только внутренние,* должны помнить, что они берут на себя бесплодно пролитую кровь еще нескольких тысяч русского народа.

Восстание готово, говорим мы, поддержка населения обеспечена... если оно будет верить тем, идущим извне. Когда-то, на юге, и Деникина встречали восторженно. Верили в кредит. Но теперь кредит кончен. Поэтому теперь для всякой идущей освободительной силы не только нужны крайние демократические лозунги, — нужна действительно демократическая душа, дух. Недоверие народа очень глубоко и неожиданно разносторонне. Оно абсолютно по отношению к старым генералам; но я по совести не знаю, что было бы, если бы вместо генерала (позволим себе мгновенную игру воображения) на коней сели какой-нибудь эсер и ка-де, из видных, но не слишком известных. Если бы народ интуитивно понял бы, что это те, кто долгие годы звал к отказу от помощи ему, кто прикрыто или открыто спорил о «великой» России, протестовал против войны поляков с большевиками и против «отторжения» от большевиков Бессарабии, кто не понимает, что Россия, великая или малая, может начать строиться только из центра, ибо это будет *новая* Россия, — он, народ, пожалуй, решил бы, что и эти «спасители» — не его, народная, поддержка, ибо они *не достаточно демократичны.*

Это было бы, конечно, жаль. Но я говорю лишь желая показать глубину и широту народного недоверия. Слишком хорошо я знаю, что никогда ни один член парижской учредилки на коня не сядет и в том вооруженном движении, на которое могло бы опереться русское восстание, — участия не примет.

Пора понять: народ хочет именно «демократической» России, хотя чаяния свои этим словом и не называет (ведь не называет же он себя «демосом»). Поэтому нисколько не смущало нас такое по видимости абсурдное положение: народ за советы, но против коммуны. Это нередко говорят и сами большевики. Они стараются повернуть это в свою сторону, конечно: «Все крестьянство за Советы! Необходимо лишь усилить коммунистическую пропаганду!» Но мы-то отлично понимаем, в чем дело. Мы знали, что в понятии народном только свои «советы» есть охрана *своей* земли и воли. Переведите на иностранный язык, не забыв прибавить определенное отрицание коммунизма, — вот и выйдет самый настоящий «демократизм». (О подробностях и оттенках нечего спорить, мы намечаем лишь главную линию.) И уж конечно, в этом желании «советов» нет ничего утешительного для большевиков. На первом же таком «своем совете» — их было бы постановлено уничтожить.

Россия, — ни ее низы, ни верхи, — не изжила февральской революции. Революция эта была насильственно задушена чуть не при рождении. Кто видел Россию в первые февральско-мартовские дни, тот помнит ее небывалое, волшебное единство. Провеял дух не только свободы, равенства, но и братства. Мечты не сбываются в полноте никогда, но если грубо толкнуть назад с первой ступени воплощения, — мечта становится неотступнее, неизбежнее, безумнее. Россия, какими бы извилистыми путями ни вела ее история, все равно вернется к своей подлинной революции, к своей Свободе для Равенства с надеждой на Братство.

Вся Россия, все ее громадное большинство, без различия классов, только с различием ступеней сознательности, — есть единый «союз февралистов». Она уже «новая», и она знает бес-

поворотно (или чувствует) себя такой. Знает, что она «не царская и барская», и тут уж ничего не поделаешь (если б захотел кто-нибудь делать).

А большевики — это лишь гроб, в который заколочена сейчас эта новая, февральская, Россия. О, она не умрет, несмотря на все лишние гвоздики, услужливо присылаемые большевиками с Запада. Но чем дольше она лежит в гробу, тем страшнее встанет; чем крепче гвозди, тем хуже Европе.

«Союз февралистов?» — Это, как мы сказали, в сущности, *вся* Россия (ведь большевики — не Россия). Но «союз февралистов» — в то же время и реальный русский интеллигентский, надпартийный, союз. Члены его — люди, могущие сознательно, и *ответственно* для себя, заявить: 1) что бы ни переживала Россия, и я лично, — я не способен даже мысленно, отречься от России новой, пожелать, хотя бы мгновенно, чтобы не было февральской революции, и 2) как бы долго ни сидели большевики, я не способен ни на какое внутреннее их принятие и на то внешнее, которое выходит за черту физического насилия. Изменив этому — я изменяю самому себе и теряю свою личность.

Эта подписка — не бумажная, и «союз», несмотря на всю свою реальность — вне досягаемости «товарищей». Но все-таки о нем, и о его разрастании вниз, в виде «Круга Непримиримых», более подробно я пока говорить не буду. Тем более что главное фактическое значение последнего круга должно вскрыться тотчас после падения большевиков, когда трудно будет, среди взрыва, отличить советского чиновника по принуждению от перевернувшегося комиссарчика, когда всплывет накипь и виноватые отбросы, ради спасения шкуры, станут доносить на невинных. А маленьким людям всего труднее оправдаться...

Повторяю, не всегда все можно сказать, даже если сказать — безвредно. Так, возвращаясь к злобе дня, я не нахожу, как многие, чтобы резолюция членов парижского Учредительного собрания была *вредна*, вряд ли найдут ее вредной русские люди в России. Эта цепь всяческих отречений — от вооружен-

ной помощи, от признания окраин, от интернационализма III Интернационала и т. д., — только портит и ранит их своей *бесполезностью.* Молчание — порою действительно золото (и чаще большевистского), тут я искренно присоединяюсь к умной статье г. Ю. Делевского в «Послед. Новостях», напечатанной... «в порядке дискуссии».

P. S. Моя заметка была уже окончена, когда в номере «Общего Дела» от 4-го февраля появился «варшавский документ» (военный) и статья г. Бурцева о нем. Зная хорошо русские варшавские дела и считая, в согласии с г. Бурцевым, уклон к «интервенциональному милитаризму» опасным, я в следующий раз хочу поговорить о нем особо.

V

Интервенция

> Le monde va changer de base,
> Nous n'étions rien — nous serons tout...
>
> *Internationale* *

Мы узнали, наконец, что думают 33 русских эмигранта о русских делах вообще, об «интервенции» в частности. Надо сказать правду: если б давно, годами, каждый из них не твердил того же, в одиночку, мы бы не скоро разобрались в «резолюции», которую они преподнесли удивленным народам. Кстати, и от суконного языка ее, старого, как времена Николая, подполья и керенщины, нас отучил новый язык большевистских декретов, — язык собачий. И еще вопрос, какой по нынешним временам действительнее: новый собачий — или старый суконный. В новом все, по крайней мере, определено, ясно: так и так, и «больше никаких гвоздей».

* Мир изменится до основания,
Мы были ничем — мы станем всем...
Интернационал (*фр.*).

Но мы охотно прощаем суконный язык: иначе говорить наши старые политики не умеют. Кто знает, в чем дело – разберется. И даже поймет, что все эти «постольку-поскольку», все размягченные поговорки Милюкова насчет «той, а не этой» интервенции, все «хотя и несмотря» – необходимы, если добиваться «внешнего вида», соглашения. Внешний же вид необходим для иностранцев. Пришлось взять этот минимум, внешний вид – когда убедились, что действительно соглашаться и не могут, и не хотят.

«Воля Народа» не скрывает этого. Но туда иностранцы не заглядывают. Их взоры устремлены на парижскую «учредилку». А там вполне достаточно «внешнего вида».

Для нас, для русских людей в России и смею думать, для самой России, – в высокой степени безразлично, согласились между собой или не согласились 33 представителя старой социалистической и старой несоциалистической партии. Мы даже склонны утверждать, что они более согласны друг с другом, чем сами это думают. У них, благодаря разности политических биографий, разнствуют формы выражения мысли, обороты фраз, быть может, темп речи; но исходят они из единого и того же, точка зрения на Россию, на большевиков у них одна. Они все танцуют от печки, от которой танцовать больше нельзя, потому что *ее нет.*

Объясняюсь.

Они говорят: Россия, наша великая родина (собранная в великую царскими руками, – это они не говорят, но это надо бы помнить) – находится сейчас в большом несчастии: ее русское правительство – плохое правительство, очень плохое. Оно довело ее до самого ужасного экономического положения, обессилило так, что хищные соседние государства (и не соседние) легко могут воспользоваться этим, в смысле отхватывания кусков или даже в смысле долголетнего экономического угнетения (колония). Захваты даже теперь уже начинаются (Бессарабия, Сахалин! Необходимо протестовать!), а что будет, когда падет большевистское, это плохое, правительство... и все-таки энергично держащее Россию в ее целостности...

Я здесь остановлюсь, иначе логика заведет нас очень далеко. Довольно и этого, чтобы показать пропасть, разделяющую русских за границей от русских в Совдепии.

Мы там и не думали вовсе о «плохом русском правительстве». Мы давно поняли, что есть большевики, и пока они есть — России нет. Надо, чтобы она была. Для этого надо, чтобы не было большевиков.

Таково первое положение. И из него уже вытекают все выводы, — логические и практические.

Что такое большевики, — интернационалисты или неинтернационалисты? Пусть мне ответят, да или нет? Если да, то какое же они «русское» правительство? Это захват группой интернационалистов территории первого попавшегося государства (удачно попалось!), как базы для дальнейших захватов. Того, что называют «вмешательством в русские дела», быть вовсе не может, раз нет «русского» правительства, «русских» дел и самой России. Может быть только: *вмешательство в дела большевиков; интервенция в дела интернационалистов,* оборонительная война европейских государств, наций против наступательной войны, открыто объявленной нациям и государствам — интернационалистами.

Если нации и государства хотят жить — они должны защищаться. И прежде всего не терять логики и здравого смысла, не называть «интервенцию» — вмешательством в «русские» дела, не считать большевиков — правительством «русским», не говорить себе, что интернационалисты — национальны, а не интернациональны. (Точно бред, ей-Богу! Мне даже стыдно это писать!)

Оборонительная война наций должна вестись на два фронта. Один из них — непременно военный (так называемая интервенция), и вот почему: потому что у интернационалистов есть база, а значит, есть военный фронт (как есть и второй невоенный, где их действия тоже наступательны. Вот оно истинное то «вмешательство во внутренние дела» Европы!).

«Наплевать нам на Россию! Россия для нас только база» — сказал Ленин в октябре 19-го года. А в 21-м Европа лишь бояз-

ливо оглядывается, как бы не «вмешаться в дела России», да бессильными руками городит на востоке какие-то дырявые заслоны. И в том же 21-м году наши «седые лысые» эмигрантские политики «соглашаются» с партией эсеров (она, как маленькая собачка — до старости щенок), вместе вязким голосом, «постольку-поскольку», но открыто объявляют: не надо интервенции! Большевики — наше русское дело! А вот что они Бессарабию отдали — это плохо! Пусть бы не отдавали! Мы протестуем!

Керенский, о котором у нас говорят даже без злобы, а с брезгливой улыбкой, определяя: «Человек, не умеющий вовремя уходить, но умеющий вовремя убегать», — Керенский со вчерашним пафосом восклицал: «Мы сами... народ восстанет... я против вмешательства!» Такая невинность и верность себе даже трогательны. Мы помнили, как он в 17 г. твердо стоял на почве невмешательства в дела... большевиков. Вся сознательная Россия умоляла его вмешаться, сам Ленин каждодневно заявлял: «Иду на вы!» — но Керенский как решил «не вмешиваться», так и до сих пор стоит. А Бессарабию он румынам не согласен отдать. И насчет окраин... В «резолюции» вообще насчет окраин довольно глухо.

Знают ли эмигранты, что думают об этом вопросе русские—русские? Они думают, что Россия — там, где на русской земле живут русские люди — и *без большевиков.* Если бы Смоленская губерния пожелала независимости и сумела ее достигнуть (прогнать большевиков!) — мы бы со слезами этой смоленской самостийности радовались: вот, есть кусочек России. А каждому «самоопределяющемуся» куску с нерусским населением мы радуемся по-человечеству: убыло рабов, прибыло свободных людей. Мы их ни «признаем», ни «не признаем»; пустые слова! Но думаем, что воскресшая *Россия* признает все окраины, отколовшиеся от большевиков и способные к самостоятельности *.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Для всего этого есть определенный «политический» язык, известные формулы, — но я здесь нарочно их не употребляю, говорю детски — просто, понятно для всех.

(В соседстве с Совдепией, да еще «в мире» с ней, вряд ли хоть одна страна удержит свою самостоятельность. Эстонию большевики пока сами «берегут», — из политических видов.)

Здесь я кончаю. Интервенция, оборонительная война союза национальностей против интернационала — есть в глазах русских людей дело необходимое, а, главное, неизбежное. Интернационал не может не наступать, он, если у него есть база, непременно будет наступать и вооруженно. Россия ли эта база или другая страна — все равно. Надо уничтожить базу. Только тогда прекратится *военная* борьба Всенационала с Интернационалом.

В заключение я хочу поблагодарить тех, кто сочувственно и согласно откликнулся на мои очерки, на мои слова от лица русских людей в России. Встреченное мною *понимание* — знак, что и здесь много «эмигрантов». Эти «знающие» — все кандидаты в члены (а, может быть, и члены?) того «Союза Непримиримых», о котором пора, кажется, поговорить более открыто. Он важен тем, что вырос органически, в силу жизненной необходимости, давно перерос первичный Союз Февралистов и ныне делается уже всемирным (чтобы не употреблять слово «интернациональный»).

В следующем очерке я скажу все, что знаю об этом союзе, — все, что можно.

ЗДЕСЬ В ЕВРОПЕ

Дьявольская триада

Вся Европа... нет, все европейские правительства, кроме правительства Франции, протягивают руку помощи Ленину и Троцкому. Соединяются с большевистским «правительством», поддерживают его в трудный для него час: окровавленный народ восстал против властвующих «людоедов» (по выражению их ближайшего помощника и покровителя — Ллойд Джорджа).

Возмущаться глупо и бесполезно: европейские правительства, после войны, утеряли точку зрения, с которой могли бы понять наше возмущение, утеряли начисто критерий всякой человеческой нравственности. Допускаю, что они и не имели его никогда; но они имели стыд, прикрывались какой-то видимостью; ныне они совлекли и ее с себя. Исполнили мечту мертвецов Достоевского — «обнажились, заголились».

Перед подобными актами «заголения» не только исчезает способность возмущаться: теряется и всякая возможность обратиться к этим людям со словом разума: да, обыкновенного разума, здравого смысла. Потому что само заголение уже есть один из патологических признаков потери, между прочим, и человеческого разума.

Что же остается делать нам, еще находящимся в здравом рассудке и твердой памяти? Одно: спокойно, без праздного возмущения и унизительного отчаяния, со всей простотой человеческого здравого смысла, говорить о том, что есть, и о том, что будет. Рисовать картину данного и — неизбежного, грядущего.

Пророчества? Да, всякая логика идет до пророчеств. И они всегда исполняются. Всякая теза имеет свою антитезу и свой синтез. Это тоже физический закон.

Данное таково: по мере выздоровления европейских народов (и русского, в том числе) — заболевают европейские правительства. Болезнь России, как теперь видно, была не *народной* болезнью. Народ, после острого припадка, очнулся: народы Европы, пережив легкую форму заразы, совершенно приходят в себя; злейшие носители большевистской заразы — *правительствующие* большевики — заразили *правительства* Европы. (И в первую голову — английское.) Это они, а не их народы, падают все ниже в области культурно-духовной. Они, а не их народы, заголяясь, обнажают свою язву, триаду дьявола, которую он называет: «*Страх, Похоть и Тщеславие*».

И не народы европейские, а их правительства, во главе с «русским» (кроме одинокой, но крепкой Франции) — тут же теряют разум и логику, ибо всякий, кем овладел триединый

дьявольский соблазн – Страх, Похоть и Тщеславие – должен прийти к одному концу: гибели.

Правительства новообразований европейских уже родились зараженными. У этих та же триада, и на первом месте непременно Страх, – ибо они малы и слабы. Но они так же лишаются разума (как и Англия, у которой на первом месте стоит Похоть), они первыми заключают «миры» с прокаженными и первыми, бесславно и незаметно погибают. Самая свеженькая жертва – Грузия, попавшая, как предназначено *«боящимся»* – в свое *«озеро огненное»*, от невнимания забыты предыдущие. На очереди западные новообразования, не выключая похотливой, тщеславной и тоже «боящейся» Польши. Ни логика, ни разум не позволяют сомневаться, что они все попадут в это апокалипсическое (и какое реальное!) огненное озеро, если только... всеевропейская правительственная помощь большевистскому «правительству» будет иметь длительный успех, если гибель правительств не начнется с гибели московского.

Такое начало было бы счастьем для всех европейских народов без исключения: они избежали бы многих незаслуженных ими потрясений, ускользнули бы от «озера огненного», во всех случаях уготованного их правительствам.

В настоящую минуту в России явно и остро происходит то, что происходит, еще тупо и скрыто, во всей Европе: борьба *народа* с *правительством*. Мы, действительно, присутствуем при начале (или конце?) если не всемирной, то всеевропейской революции. При «войне в вертикальном разрезе», войне интернациональной.

В борьбе «Сегодня» и «Вчера» – побеждает «Завтра», как сказал Ибсен; мы не сомневаемся поэтому в конечном торжестве народов над своими врагами. Но нужно пламенно желать, чтобы победа пришла скорее, чтобы победители безумцев не вышли из борьбы обескровленными, истощенными на многие годы.

Европа на острие – но Европа не одна. Если ее революция примет затяжной характер, возможно, что ею и народным достоянием воспользуются другие части света. Похотливое анг-

лийское правительство потеряло голову до присоединения к лозунгу «грабь награбленное» и думает, что он обращен у него к большевикам. Это «золотое» безумие — несомненная гибель, конечно. Но чтобы не отозвалась она слишком тяжко на народе, на народах, надо желать ускорения следствий безумия.

В ускорении весь вопрос. Во времени. В сущности вся общеевропейская борьба ведется за время, ибо никто же, ни сами безумцы, не сомневаются, за кем последняя победа. Но время не пустая вещь: это цена крови, это гибель или спасение многих и многих невинных.

Русский народ, ныне как в фокусе отразивший общеевропейскую борьбу, знает, или уже знает, и чувствует всю важность вопроса времени. Он один сейчас в острой борьбе с правительством, и уже не с одним своим, а со всеми европейскими, как бы влившимися в большевистское.

Оттого борьба так непомерно тяжка. Оттого так важно, чтобы голос его услышали братья. Народы Европы! Протяните руки. Россия умирает за общее дело. Русская кровь льется в смертной схватке не со своим только, а с единым, многоголовым, вашим и нашим, *Врагом Народов.*

ТАМ И ЗДЕСЬ

...Сказаны все слова.
Теплится жизнь едва.
Чаша была полна...
Выпита ли до дна?
Есть ли у чаши дно?
Кровь ли пьем, иль вино?

Да нечего себя обманывать: все слова уже сказаны. Всеми голосами, долетевшими «оттуда»; всеми, кто не потерял разума и совести — «здесь». Мы, с нашими единомышленниками, причисляем себя к последним. И нам остается только повторять, повторять, долбить одно и то же, возвращаться к своим же

словам каждый раз, когда жизнь, грубым толчком, их подтверждает. Печальная, тяжелая работа! Самые грубые толчки — исцеляют ли они сумасшедших? А здесь, — кроме всех европейских правительств, потерявших разум (это было мною указано), — приближаются к полному клиническому помешательству и большинство эмигрантов.

Троцкие и Ленины, эти классические «долбители», никогда не устают. Правда, они поддерживают свои «слова» пушечными ядрами. У нас еще нет пушек. Но и для того, чтобы они у нас были, — мы должны не уставать. Нам нельзя уставать.

В этом гигантском сумасшедшем доме, в Европе, не все же безумные. Безумные только на виду, впереди. Затеснили, разбросали здоровых. Надо выкинуть новое знамя, новый лозунг: люди всех стран, соединяйтесь! Живые, разумные всех стран, соединяйтесь!

Люди услышат. Остальных и не нужно.

Во имя этого будущего соединения «людей» мы и не должны уставать от слов. Для «людей», только для них, еще не оглохших к жизни, я повторяю слова моей статьи «Там в России», напечатанной *за неделю* до кронштадтского восстания (со всеми курсивами):

«...Внутреннее восстание совершенно необходимо, и *оно готово.* Но восстающим нужно на что-нибудь опираться. Населению нужна поддержка. И те, кто диктуют отсюда внутренние «восстания», *только внутренние,* должны помнить, что они берут на себя бесплодно пролитую кровь еще нескольких тысяч русского народа...»

Посмотрите же, люди, на наших безумцев: те, которые «должны были помнить», что берут на себя, — и теперь, после Кронштадта, даже не чешутся*. Да куда им помнить, раз они сами себя не помнят. Другие безумцы, при Кронштадте, броси-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* На днях, в разумной и ясной передовой статье «Тан» приводился ответ русского солдата относительно *только внутренних* восстаний: «Что ж поделаешь *с голыми руками?*».

лись, «заголившись и обнажившись», поддерживать большевиков. Наши эмигранты, все время трепетавшие, как бы кто не помог России, не желавшие словесных трудов для отклонения этой помощи, в первую минуту опешили: большевикам помогают?! Но в следующую оправились: « что ж! Пускай. Лишь бы не России. Россия должна сама, одна... умереть или воскреснуть. И мы говорим, что когда *мы* сами, одни, восстанем, то *мы*...

Особенно блистательно это «мы» отсюда, из Парижа, из-под зазеленевших каштанов, в то время как по толстому льду тянется до финляндского берега широкая кровавая дорога, след кронштадтцев....

Но я не виню никого. Люди, не упрекайте ни в чем безумцев: они невинны, они больны.

Кронштадт оставил после себя возбужденный словесный блуд у этих ненормальных. Никогда еще взаимная ругня, бесстыдная по теперешнему времени вещь — газетная полемика — не была в таком разгаре. Я уж не говорю о пражских «анти»-большевиках. Но посмотрите парижские «Последние Новости»: ведь там есть и настоящие антибольшевики. Там сидит, — когда-то, при царе, сдержаннейший, — П. Н. Милюков, этот, во время войны и святой февральской революции — убежденнейший антиреволюционер. Водитель «Речи», создатель несчастного «правого блока», — он с изумительной твердостью долго не признавал ни революции, ни республики, не мирясь с совершившимся фактом. Слава Богу, достаточно знал Петербург П. Н. Милюкова, он жил, как в стакане. Все мы наблюдали за ним по часам. Дрожали, признаться, — и недаром, — когда он внезапно, в апреле, прежним голосом, ни с того ни с сего, заговорил о Константинополе. Известно ведь, что чуть свадьба — П. Н. Милюков непременно является с «кануном да ладаном», а если похороны — тотчас же: «носить вам не переносить, таскать не перетаскать».

Теперь только это фатальное свойство одно, кажется, за ним и осталось. Всякий, знающий Милюкова, видит, что теперь — он в совершенно ненормальном состоянии.

Ненормально ли хотя бы поведение руководимой им газеты? Это задиранье, беспокойное полемическое приставанье то к «Рулю», то к «Общему Делу», то прямо к лицам? Эти неестественные попреки всех сплошь в «реакционстве», да еще с присвистом, с удалью какой-то? Точно, ей-Богу, огненный язык «новой» веры сошел на них, веры, что вот именно в «борьбе со всеми эмигрантскими газетами и обретешь ты право свое».

Печален также и ненормален, неразумен всеобщий спор о том, как относиться к лозунгу восставших – «за советы»?

Это – перемывание кронштадт. косточек. Тут уж всем, больны или небольны, надо бы постыдиться. Такой простой вещи, известной всем в России и всем, Россию не забывшим, нельзя не знать; совестно и признаваться в своем невежестве. О чем тут, в самом деле, спорить, есть ли даже о чем секунду думать? Возвращаюсь опять к той же своей статье, напечатанной до всяких кронштадтцев с их лозунгами:

«...Нас нисколько не смущало (в России) такое, по видимости, абсурдное положение: *народ за советы, но против коммуны...* Мы отлично понимаем, в чем дело. В понятии народном только свои "советы" есть охрана *своей* земли и воли. Переведите на иностранный язык, подчеркнув определенное отрицание коммуны, вот и выйдет самый настоящий "демократизм". И уж конечно, в этом желании "советов" нет ничего утешительного для большевиков. Первый же такой "свой совет" постановил бы их уничтожить».

Или, добавлю, только вынес бы вечное проклятие их памяти, так как собраться-то он мог бы лишь *после* их уничтожения.

Тяжелая душевная болезнь, захватившая верхи человеческого общества в Европе, – все расползается. Она еще не коснулась Америки, но если процесс не будет остановлен, он перекинется и в Новый Свет. Правда, заболевают только правительства, только верхи. Заболевают отдельные группировки людей, отдельные личности. Но, поскольку они имеют власть и влияние, этот процесс, в длительности времени, все-таки страшен. И чем длительнее время – тем страшнее. Просто уж пото-

му, что пока верхи разлагаются, медленно гибнут духовно, народы, ведомые безумцами, гибнут физически. Тут опять, грозный, встает вопрос — о времени, о сроке...

Но и вообще по-человечески, психологически, страшно наблюдать, как человек превращается во «что-то», изменяется на глазах. Должно быть, приближенные древнего царя Навуходоносора, побежавшего вдруг на четвереньках, издыхали от ужаса.

Недавний вид Ллойд Джорджа, хохочущего и потрясающего «договорчиком с людоедами», т. е. зрелище когда-то приличного англичанина, вдруг содравшего с себя одежды и заплясавшего в хороводе с каннибалами вокруг ихнего костра, с гиканьем и топотом, — это зрелище не могло не поразить ужасом разумных и здоровых.

Но я повторяю, я утверждаю, я настаиваю: еще есть разумные и здоровые. Их больше, чем кажется с первого взгляда. Только люди, настоящие люди, разрознены, измучены, таятся по углам. Надо кликнуть клич. Вот когда надо не уставая, не отдыхая ни одного часа, кричать, вопить, звать тех, кто не потерял разума и облика человеческого: *Люди* всех стран, соединяйтесь!

БЫЛО НЕ ТО

Письмо в редакцию

М. Г. г. Редактор.

Статья г. Тандефельда, напечатанная в ном. 289 «Последних Новостей», побуждает нас, меня и Д. Мережковского, сказать о том, что действительно *было* в Варшаве в 1920 году и как оно было. Стремясь, главным образом, к объективному восстановлению фактической истины и не желая, чтобы наши сведения и утверждения могли быть сочтены «полемикой» (все равно с кем) — мы и решаемся просить Вас, г. Редактор, напечатать эти строки на тех же страницах, где была помещена статья.

В те дни января 1920 г., когда Н. Чайковский и Б. Савинков впервые были в Варшаве, — мы (Мережковский, Философов и я) только что перешли польскую границу и находились в Бобруйске. Мы затем медленно стали подвигаться к Варшаве, читая лекции, присматриваясь к польским настроениям, борясь посильно с угрозой мира Польши с Совдепией, мира, который нам и тогда, совершенно как теперь, казался: 1) надувательством и мошеннической уловкой со стороны большевиков, 2) бесчестием, и, главное, безумием (на свою же голову) — со стороны поляков. Нам казалось, что Польша, если она не потеряла заботы о своих интересах и здравого рассудка, должна договориться с русскими, так или иначе представляющими или могущими представлять (хотя бы символически) Россию будущую, а не настоящую, не большевистскую. Россию *третью*, как мы ее и тогда уже называли, т. е. не царскую и не большевистскую, а демократическую.

Равно казалось нам естественным, что *будущая* Россия демократическая аннулирует несправедливость, совершенную в 1772 году, и заключит с Польшей новый крепкий договор, как со страной, общими силами победившей московских врагов, т. е. понявшей, что интересы у нее и у России общие.

Впрочем, наши взгляды и убеждения, остающиеся у нас незыблемыми по сей день, разделяемые даже в мелочах *всеми людьми в России* (подтверждение — каждое письмо из России, все равно чье, все равно на страницах какой газеты оно появляется), — эти наши взгляды достаточно известны. Я упоминаю о них лишь для того, чтобы подчеркнуть: мы их в Польше отнюдь не скрывали и можем определенно сказать, что лучшая и большая часть польского общества их вполне разделяла. (Как на полное подтверждение этого, укажу на совершенно категоричное официальное польское заявление — летом 20 г., — что *Польша воюет отнюдь не с Россией, а именно с большевиками*, заявление ошеломившее неосведомленных парижских и лондонских эмигрантов.) На этой почве взаимного понимания единства интересов зародилось впервые и Русско-Польское Общество.

Савинков (лично нам давно известный) благодаря связям своим с Польшей, своему острому уму, и определенно демократическим убеждениям, был первым (увы, почти единственным) европейским эмигрантом, понявшим всю насущную необходимость работы в Польше и все возможности достижения конечной цели — освобождения России, — этой работой открываемые. Он приехал в Варшаву в начале июня, и так как последующие месяцы мы принимали в его разностороннем деле самое близкое участие, то нам оно известно в этих его фазах, а равно известны и все лица, в то время к нему приближавшиеся.

Говорить о деле в подробностях и слишком долго, и, может быть, слишком рано. Лишь ввиду все чаще появляющихся в печати заведомо или незаведомо ложных сведений, мы считаем долгом отметить несколько фактов. Они известны, между прочим, и Ф. И. Родичеву, также находившемуся в то время в Варшаве, вместе с нами основывавшему газету «Свобода» и относившемуся к Польше и русским делам в Польше так же, как и мы.

Генерал Глазенап приехал в Варшаву почти одновременно с Савинковым, по добровольному сговору с последним. Ген. Глазенапу было поручено главное формирование первого отряда. Т. к. сношение с польским правительством имел Савинков, и через него польское правительство оказывало широкую поддержку формирующемуся отряду, то, естественно, что политической частью заведовал Савинков, против чего ген. Глазенап и не возражал. Убеждения ген. Глазенапа, как не вполне совпадающие с твердой политической линией варшавского дела, были известны и всем нам, и Савинкову. Но ген. Глазенап неоднократно заверял нас, что он вполне искренно и сознательно принимает именно эту политическую линию действия, оставляя в стороне личные свои склонности. Он говорил, что «внутренно решил подчиниться воле народа». Балаховича в то время еще не было. Балаховича мы мельком видели до приезда Савинкова, но Савинков его летом еще не знал.

Кто имеет понятие о деле современного формирования русской армии на чужой территории, хотя бы с такой поддержкой

правительства, как было в Польше, с таким энергичным и сильным деятелем, как Савинков, но при неизбежном содействии генералов вроде ген. Глазенапа, кто знает также общий уровень русских офицеров, уставших, разочарованных, оглушенных, — тот поймет, что дело было безмерно трудно. Поймет легко и неудачи, его постигавшие. Главная неудача — неготовность отряда выступить в нужный момент: во время августовской борьбы под Варшавой. Эта «неготовность» должна быть всецело отнесена на счет злой воли ген. Глазенапа, уже тогда создавшего новые настроения в отряде, тягу к Врангелю и недовольство Польшей.

Польское правительство давно настаивало на удалении ген. Глазенапа как человека неподходящего. Савинков, вначале защищавший его, принужден был ради спасения дела произвести это удаление. Несколько ранее ген. Балахович сам явился к Савинкову, с просьбой принять на себя политическое руководительство и над его отрядом. О ген. Балаховиче можно говорить, что угодно. Но это исключительно талантливый и отважный партизан, пользующийся редкой любовью своих людей и умеющий бороться с большевиками. Я не знаю, какая цена его демократическим «убеждениям», но кожно и кровно он демократ, если и просто мужик может быть назван «демократом». В каждом «представителе народа» есть недостатки, да еще какие! Такие же, подобные (быть может, подчеркнутые) были у Балаховича.

Балаховичем, конечно, так же нельзя было «увлекаться», как нельзя, не ко времени, идеализировать «мужичка». Тем не менее вполне понятно августо-сентябрьское увлечение Балаховичем Савинкова, человека вообще склонного увлекаться, да еще обжегшегося на Глазенапе, да еще с таким пламенным тяготением к истинному демократизму.

Увлечение Савинкова прошло, он разошелся с Балаховичем. Это случилось уже после нашего отъезда. В конце октября — до падения Врангеля — в варшавских отрядах еще находились и ген. Балахович, и молодой ген. Пермикин на равных правах, и

ожидалось назначение общего главнокомандующего от генерала Врангеля.

Тут мы должны напомнить одну чрезвычайно важную вещь: в конце августа, уже после удаления Глазенапа, Савинков счел нужным подчинить варшавские формирования с варш. польск. комитетом генералу Врангелю, о чем послал последнему официальное извещение и своевременно получил благоприятный ответ. Представитель Врангеля, генерал Махров, находившийся в Варшаве, был с Савинковым в наилучших отношениях. Признание Врангеля Францией вполне объясняло и оправдывало этот шаг.

Что же касается веры и полного внутреннего соединения с делом ген. Врангеля, то ни у Савинкова, ни у кого из русских варшавян, держащихся одной линии и одной ориентации — на Россию и в Россию, — этого, конечно, быть не могло. В России, люди пламенно ждущие освобождения, умирающие, хватающиеся за тень надежды — не надеялись ни на Деникина, ни на Юденича, ни на Колчака. Они знают (или, если угодно, думают, что знают): освободят лишь силы, идущие под демократическим знаменем. И те, у которых будет обеспеченный тыл — силами дружественными...

Эти условия как раз представляла Польша... до своей победы под Варшавой, т. е. до головокружительно-быстрого падения в «мир» с большевиками. С теми самыми большевиками, которых ее правительство только что объявило своими единственными врагами.

Такой «мир», по нашему мнению, кончал русское дело в Польше, кончал и внутренно, и внешне. Мнение Савинкова было другое. Он, может быть, правильно, рассчитывает на внутренние восстания, могущие освободить соседнюю с Польшей территорию, куда он поведет сохранившиеся отряды, чисто партизанские, освобожденные от недемократических элементов, и где они могут сослужить большую службу.

Это дело святое, но чисто боевое, военное, к общей политике отношения не имеющее.

Именно невозможность следовать за политикой Савинкова, линию которой он ведет все дальше и дальше, заключая бесполезные договоры с разнообразными политическими неудачниками, и бесполезно одобряя Рижский мир (второй раз поддержавший большевиков в трудную минуту), – только эта невозможность заставила нас отойти от варшавского дела в данном его состоянии.

Но такое расхождение не может помешать нам, во имя справедливости, опровергать озлобленные наветы, искаженные сведения, когда они появляются в печати. Если неумеренная властность Савинкова отталкивает многих и ожесточает слабых, то это его несчастье и отчасти наше общее, ибо такой сильный человек, будь он не в одиночестве, мог бы, вероятно, сделать гораздо больше, чем сделает. Но это еще не дает права слабым ожесточаться до мелких сплетен, до желанья повредить, из личной мести, человеку, положившему всю меру своего разумения на святое дело борьбы с большевиками. Повторяем: можно считать Савинкова не политиком, можно считать, что его теперешняя политика вовсе не политика, ибо лишена: 1) меры, 2) целесообразности, можно лично не работать с ним, – но искажать факт его деятельности и подвергать сомнению его совершеннейшую прямоту, честность и бескорыстие – это значит уподобляться большевикам и прилагать свою руку к делам большевиков.

ТАЙНА ЗЕРКАЛА

(Иван Бунин)

I

Каждый русский замечательный писатель – в то же время и замечательный человек.

Может быть, это правило (с исключениями, его подтверждающими) распространяется и на писателей других стран. Сей-

час я говорю о России, где так ярка и полна гармония между человеком, — личностью, — и ее талантом.

Самый крупный пример — Лев Толстой. Он, как горная вершина, виден отовсюду. И никто, из русских ли, или из иностранцев, не будет спорить: Толстой сам по себе, как человек, как личность, не менее гениален, чем его гениальные произведения. Он и они — равны.

Если мы обратимся к другим нашим великим писателям, хотя бы к Лермонтову и Гоголю, мы должны будем сказать то же самое: оба они в рост своих произведений. Каждый из них равен своему таланту, своему гению.

Писатель вообще, — а русский писатель в особенности, — неотделим от своих произведений.

Многие русские критики знают это. Какой бы шумный успех ни сопровождал нового писателя — он нас не ослепляет. Если под смелыми, красивыми, даже сильными строками сквозит робкая и пустая душа, если не чувствуется стержня определенной личности, — мы знаем, что успех — только внешность, случайная волна, которая схлынет. Произведения писателя, если останутся — останутся лишь в рост человека, их создавшего.

Волна внезапного успеха, захлестнувшая одно время Максима Горького и Леонида Андреева, часто вредит писателям, даже губит их, останавливает их нормальный рост. Кто знает, не выработалась ли бы у Горького человеческая душа, средняя, но крепкая, во всю меру его таланта, если бы не исказил ее неумеренный внешний успех? Очень большая сила выдержала бы, конечно, все; и, конечно, не один этот успех виновен в том, что мы сейчас в Горьком, вместо честного, хорошего писателя имеем безвольное, бессильное жалкое существо, навеки потерянное и для литературы, и для России; однако и несчастие успеха сыграло тут свою роль.

Но я не о Горьком хочу говорить сейчас. Горький взят мною лишь как один из бесчисленных примеров, — отрицательных. Их слишком много. А именно теперь, когда кажется, что вся

Россия стала отрицательной величиной, — надо напоминать: Россия есть, была и будет, Россия вечна. Не только потому, конечно, что у нее была такая литература и такие люди, ее создавшие; но между прочим и потому, что эта литература и эти люди есть.

Один из людей-писателей, утверждающий своим бытием бытие России, — Иван Бунин.

II

Иван Бунин имеет свою особенную судьбу, историю, свое собственное, ни на что не похожее лицо. Он своеобразен, как всякий замечательный русский писатель.

Никогда он не имел того кричащего, глупого успеха, от которого в молодости кружится голова. Хотя я и думаю, что его голова не закружилась бы, все же так лучше: к нему гораздо больше идет его лестница восхождения, *тихая* слава, которой он достиг. Действительно тихая, и действительно слава. С начала 90-х годов, когда Бунин впервые появился на литературном горизонте, русская литература пережила много судорог, метаний, взлетов, провалов; много имен выскакивало на поверхность — и мгновенно исчезало навсегда. Шумели скороспелые славы. Строился картонный трон Л. Андрееву. Тут же объявлялись «новые течения» и рождались хрупкие «школы»... Бунин тихо шел рядом, ко всему приглядываясь и прислушиваясь, никуда не бросаясь с головой, не оставляя собственного крепкого пути. Критика, в суете оборачиваясь к нему, — не знала, что с ним делать: ей надо было «положить его на какую-нибудь полочку», приклеить к нему какой-нибудь ярлык, — но все ярлыки от него отваливались. Подражатель Чехова? Нет. И уж никак не Горького! И не декадент! И не символист! Пишет прекрасно, трезвый человек, — да кто он? Куда его девать?

Можно бы, казалось, сообразить, что это просто Бунин, великолепный писатель сам по себе и стоящий труда, чтобы за-

глянуть в него поглубже. Но, повторяю, это было время суеты и мыльных пузырей литературного муравейника.

А Бунин к тому же в нем не жил, — он не жил в Петербурге. И, лишь касаясь общей литературной среды — прочные дружеские связи он имел только с отдельными писателями. Он был близок с Чеховым. Он знал Льва Толстого.

Русская земля, русский народ, — вот колыбель Бунина. Воздух неоглядных полей и синих лесов, которым он надышался, стал как бы частицей его самого, вошел в его кровь. Бунин происходит из старинной дворянской семьи, когда-то богатой, но разорившейся. В скромной усадьбе он провел детство и почти всю юность. Да и после — где бы он ни жил, где бы ни странствовал — он неизменно возвращается «домой», в родную деревню, в сердце России.

Странно было бы сказать о Бунине, как мы говорим о некоторых русских писателях: он *знает* крестьянскую, земляную Россию, *знает* мужика; или еще: он писатель пессимист (или оптимист), он мрачно смотрит на русский народ, *не верит* в него (или, *верит*). Можно ли мрачно или не мрачно смотреть на свою собственную руку, верить в нее или не верить? Ее, прежде всего, чувствуешь изнутри, и так она близка, что невместно говорить о любви к ней или не любви, о знании ее или незнании.

Но если Бунин связан с русской землей, с народной Россией той таинственной внутренней связью, которая позволяет ему чувствовать боль ее как свою боль, — Бунин, при этом, зорок. Он *видит*, — ни один, может быть, писатель не обладает столь острыми глазами, — и рассказывает то, что видит. Острота зрения у Бунина — это первое, что поражает читателя.

Рассказывает? Нет, он даже не рассказывает; он незаметно, тихо, вводит читателя туда, где сам находится, заставляет его *видеть* то, что сам видит. И, конечно, увидев, рядом с Буниным, эти блески «оловянной» после дождя дороги, эти тихие цвета и светы, читатель начинает чувствовать запах конопли, слышать человечьи голоса... В этом смысле некоторые рассказы

Бунина почти магичны. Он не говорит о физических ощущениях — он их дает. Из неуловимых, мелких черточек, теней и звуков сложившаяся — вдруг наваливается тоска, точно камень стопудовый. И, кажется, никогда из-под него душе не вывернуться. Но вот крикнул что-то девичий голос и всколыхнул ночь, и разбудил неясную весеннюю радость. Радость погаснет. Придет длинная-длинная скука, тягучая, как полевая межа... Хотите или не хотите — вы пойдете за Буниным и в эту скуку, пойдете куда он ни поведет, до конца.

Такова власть художника Бунина, прозрачная и тихая сила его языка.

Это много? О да, конечно, очень много. Эта художественная магия, или это мастерство, как называют иные, бесспорное для всех, дало ему сначала общее признание, затем, почти незаметно, его прочную, нешумную славу. В сравнительно молодые годы — Бунин уже академик, и не было журнала, который не мечтал бы украсить свои страницы хоть самым коротеньким его рассказом.

Но — надо сказать правду — как раз это самое художественное мастерство, сила художественного рисунка, это чересчур острый взор, — не то что отталкивали от него, но оставляли в иных — чувство неудовлетворенности, в других — даже обиды. Простые души хотели любить Бунина, но почему-то любить не могли. Самые глупые и злостные выдумывали, что он то «холоден, как лед», то «ненавидит народную Россию и клевещет на нее» и тут же, кстати, старались и неуязвимую художественную форму его опорочить, найти подражательность. Критики поумнее, отдавая должное художнику, прибавляли: да, он удивительный описатель... Но быть замечательным описателем — довольно ли, чтобы быть и замечательным писателем?

Все это было, конечно, несправедливо. Но какая-то правда скрывалась за неточными и неверными словами.

Говоря совершенно грубо, от Бунина бессознательно хотели *тенденции*. И правильно хотели, ибо, если это требование перевести на язык иной, не грубый, отбросив слово «тенден-

ция», — мы скажем: от писателя с таким громадным даром виденья ждали *отношения* к тому, что он видит. А еще глубже, еще вернее — жаждали ощутить замечательного *человека* в замечательном *писателе.*

Любить — можно только человека. Мы любим человека, даже любя писателя. А такого божественно-земного, земляного писателя, вдвигающего нас в плоть мира, заставляющего коснуться ее, почувствовать ее, — такого писателя, как Бунин, не любить нельзя, но любить, безлико, отвлеченно, картинно тоже нельзя.

В чем же дело? Кто виноват? Читатель, всегда завороженный, но нередко оставляющий книгу Бунина с недоуменной и безысходной тяжестью на сердце, — или Бунин?

Я думаю, главным образом виноваты читатели. Они не умеют читать. А затем повинен и автор: он не снисходит к этим неумеющим, он не «милосерден» к читателю. Он его хватает и бросает в жизнь, — «а там разбирайся, как знаешь».

Сам Бунин очень закрыт. Я не говорю о тех, кто от невнимания, от нежелания потрудиться, не находит его в его произведениях. Но многие и хотели бы, да не могут. Люди, как дети: они беспомощны перед автором, скрывающим себя за художественным объективизмом.

Но не будем упрекать никого. Попробуем лучше проникнуть за эту художественную завесу, *открыть* Бунина, насколько возможно.

Мы видим то, что он пишет. Но откуда он исходит? Куда он идет? И куда идут за ним, с ним, читатели, покоренные силой его художественного таланта?

III

Подойдя к этим вопросам, я оставлю пока Бунина как художника. Да о внешнем мастерстве его сказано довольно и другими, и мною, выше. Не буду также останавливаться на перечислении его многотомных трудов, — в стихах и в прозе. Но отмечу, — и это очень важно! — что Бунин, русский человек и

русский писатель, чувствующий русскую жизнь и природу изнутри, составляющий сам как бы часть ее, — он шире России. Ему мало России, ему нужен мир. На долгие периоды времени он покидает Россию, смотрит на иные небеса, слушает голоса далеких морей. И там он зорок, как никто. И туда, в нерусскую жизнь, в нерусскую природу он с той же магической властью вводит читателя. Правда, на берегу голубого Средиземного моря ему часто видится золото родных хлебов; на Капри написаны его лучшие *русские* рассказы; но ведь он ни на мгновенье и не перестает быть русским. Это его корень. Цветы же его — над всей землей, над миром.

Родная Россия, чужие страны, родные и чужие люди, звери — все живет у Бунина. Но всмотритесь ближе, как можно ближе в эту жизнь: он двоится, мир под взором Бунина. Прекрасен? — О, да. Или нет; он лишь мог бы, — оставаясь до мелочей тем же, — быть таким прекрасным, что... вот, он — отвратителен, томителен, безвыходен. В чем же дело? Какая тут тайна? Почему Бунин так любит «образ мира сего», что этот же мир, сам, дает ему вдруг неисходную тоску, неизбывное томление?

Чтобы понять, надо обратиться к истоку дней писателя, к его рассказу, который так и называется «У истока дней».

«Большая комната в бревенчатом доме на хуторе, в степной России...» «Солнце косо падает в окна...» «В простенке старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет...»

Нечаянно взгляд ребенка падает на зеркало.

«Я хорошо помню, как поразило оно меня». «Я видел его ранее. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились ярким проблеском сознания. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило, — приобрело свой собственный лик, полный непонятного».

Ребенок не отходит от зеркала. Он наклоняет его, — комната падает вниз. Он потянул раму к себе, зеркало блеснуло — все исчезло.

Тайна осталась. Проходили дни, месяцы, годы... Но «зеркало поразило меня. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало...» «Я любил угловую комнату. Я входил, затворял двери – и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейную жизнь». Оставался наедине с зеркалом – опять испытывал его власть над собою.

«Мальчик в отраженной комнате был теперь выше ростом, смелее, решительнее, чем тот ребенок, несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... *во сто крат заманчивее той, в которой был я*! (Курсив мой). И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтой побывать, пожить в этой отраженной комнате!»

Она та же, до малейших мелочей, и... «*во сто крат заманчивее*», прекраснее.

Существует ли она? Где она? Мальчик с усилием отодвигает тяжелый туалет – но там ничего, шершавые дощечки. Ему сказали, что это стекло, намазанное ртутью. Он поскоблил с краю – да, стекло, все исчезло. Значит в ртути что-то чудесное?

Но он еще не знал всей тайны зеркала. Он понял несказанную глубину ее в тот момент, когда «тишину ночи прорезали крики. Вошла заплаканная няня и быстро накинула на зеркало кусок черной материи. И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя – тайна!»

Тайна, как он говорит, «причастная тайне зеркала».

Он еще спрашивает себя, почему, когда смерть, *его* (зеркало) закрывают, но уже понял, уже ответил себе на этот вопрос. Он знает: там, в зеркальном мире, точь-в-точь таком же, как здешний, только во сто тысяч раз прекраснейшем – не может быть смерти. Смерть *не должна* в нем быть, не смеет в нем отразиться. Это она требует, чтобы закрыли зеркало.

И не оттого ли мир зеркала так прекрасен, что в нем *нет смерти*?

Рассказ Бунина «У истока дней» даст нам ключ ко всем его произведениям, к тому, закрытому, что лежит за его художественной магией, ключ к писателю — человеку. Это душа, носящая в себе две тайны: тайну *зеркального мира* и тайну *смерти*. Сближенные в одной душе — они находятся в постоянном борении, в постоянном стремлении уничтожить друг друга.

Жизнь, природа, люди, весь мир — не отраженный, — так прекрасен; ведь он совсем такой же, как в зеркале! Красота, радость, любовь... Но вот опять «как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по телу проходит одна мысль, одно сознание: в мире смерть...» И мир искажается гримасой, искажаются люди, носящие в себе смерть... Нет выхода, — нет входа туда, в чародейный и единственно-любимый мир зеркальный, где нет смерти.

Если мы с этим пониманием подойдем к Бунину, мы увидим и ту человеческую боль, страдание, с каким написана каждая строка его. Мы увидим в беспощадной зоркости его упрямое желание разгадать жизнь, упрямую, неумирающую любовь к жизни, здешней милой земной жизни... но победившей смерть.

Любовь?

«Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает. Да, да, никогда не бывает!» (Здесь, в незеркальном мире, со смертью.) Но все равно. Нужно нести в себе хоть какой-нибудь, хоть слабенький огонек!

Порою Бунин, побежденный, говорит о дне, когда он исчезнет из мира в пустоту:

«И от моих попыток разгадать жизнь остается один след: царапина на стекле, намазанном ртутью». Но он ни минуты не бывает побежден окончательно.

Он говорит тут же:

«Ни мое сердце, ни мой разум, никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой».

Бунин вообще как человек (и как писатель) из непримиримых. Это его замечательная черта. Отчасти она является при-

чиной его закрытости, скрытости, сжатости, собранности в себе.

Добр ли он? Не знаю. Может быть, добрее добрых; недаром такие полосы, такие лучи нежности прорываются у него... Но как-то не идет к нему этот вопрос. Во всяком случае, не мягок, не ломок. Достаточно взглянуть на его сухую, тонкую фигуру, на его острое, спокойное лицо с зоркими (действительно, зоркими) глазами, чтобы сказать: а, пожалуй, этот человек может быть беспощаден, почти жесток... и более к себе, нежели к другим.

Кто-то заметил, что лицо его напоминает лицо Иоанна Грозного. Да, пожалуй – только Иоанн Грозный был гораздо более беспощаден к другим, нежели к себе. А это громадная разница.

В наши дни, когда ветер смертных крыльев обнял почти всю землю, а родная Бунину земля, Россия, томится в агонии, – в эти наши тяжкие дни неужели так с этой злой тайной и примириться? Отдать ей красоту неба, душу и тела людей? Забыть, разлюбить мечту о новом зеркальном (совсем как здешний) мире? Покориться без борьбы?

Иван Бунин вырван с корнем из родной почвы. Он физически не может вернуться, прикоснуться, как древний богатырь, к своей земле, набраться новых сил. Но он не древний богатырь. Он может еще долго копить силы, не касаясь земли, черпать их в страдании. Вот он вырван с корнем – но корень свеж и жив. Кто знает, что было бы, если бы корень остался сейчас в этой земле: ее соки ядовиты, она пропитана кровью.

Бунин был один из немногих, кто всем существом, изнутри, задолго до несчастия своей земли, чувствовал его приближение. Зная что-то о тайне жизни и «причастной ей» тайне смерти – он *видел* тень смерти на земле, на людях. Мы видели то же, с ним, – но мы не понимали.

Не любит Россию, не верит в русский народ! – кричали ему. А сколько ныне из этих «верующих» превратилось в «проклинателей»?

Да ведь дело тут даже и не в России. И не в вере в нее. Дело в том, что Бунин знал и видел то, что шире России. А лишь видя и любя это всемирное, вечное, жизнь в ее тайнах, — можно понимать и жизнь своей земли.

Зоркие очи. Крепкая, скрытая, упрямая сила любви к самому сердцу бытия, — к его смыслу, к его светлой тайне. Непримиримая, воинствующая ненависть к черноте, ко лжи, наплывающей на бытие. И острое оружие в руках — волшебство слова.

Это оружие не сложит, не опустит наш современный боец, замечательный человек и замечательный писатель — Иван Бунин.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТАЙНЫ

Не говорить о большевиках, пока Россия находится под этим новым татарским игом, — нельзя. Нужно говорить, нужно твердить одно и то же, не боясь повторений. Все разумные и трезвые люди, знающие Россию и большевиков, говорят одно и то же.

Но трезвых и разумных здесь, в Европе, меньше, чем близоруких и сумасшедших. Близорукие не видят, сумасшедшие не слышат. Есть еще хитрые глупцы, которые *нарочно* не слышат правды о большевиках, воображая, что так им выгоднее. О них совсем не стоит заботиться: рано или поздно они получат свою награду. Глупость неизлечима, но сумасшедший все-таки может прийти в разум.

Это последнее чудо, кажется, уже начинает совершаться в России. Еще год-полтора тому назад большинство русского народа было в безумии. Когда мы ехали из Петербурга (перед нашим побегом), положительно весь вагон был сумасшедший. Вся мужицко-красноармейская толпа, грязная, больная, густая, сдавленная — все это были безумцы.

Гляжу с верхней лавки вниз и слушаю.

Бледный солдат, обвязанный тряпками, кричит: «Состарила меня эта жизнь! Силушки нету!» Я возражаю: «Чего вам стариться, сами же виноваты».

— Сами! Да ведь взглянуть надо, ведь народ не то, что сдурел, а прямо с ума посходил. Нас бы ткнуть в загривок хорошенько, так пришли бы в разум.

Другой вступается:

— Мало тебя тычут. Всего истыкали, а он скулит.

— Верно истыкали. Да ведь кто тычет? Надо сказать...

Но его перебивают:

— Ладно, молчи, «вплоть до расстрела» захотел! До́хни сам.

И разговор затихает. Действительно, повсюду юркие агенты, как фельдшера в психиатрической больнице, следят, чтобы безумцы не буянили, чтобы помешательство было тихое.

На местах, в Петербурге, например, эта тишина совсем легко достигалась. Полумертвые, разъединенные люди даже шепота своего боялись.

Большевики закончили, довершили свое дело (разрушения) приблизительно года 2 тому назад. С тех пор перемены в России могли быть лишь *количественные* (меньше хлеба, больше смертей). Перемена *качественная* могла начаться только от народа: народ должен был прийти в разум. И стоит оглянуться: за последние месяцы какой громадный шаг сделал народ на пути к выздоровлению!

Друзья, только что вырвавшиеся «оттуда», подтверждают нам это. Наши надежды оправдываются. Мы, покинувшие Россию 14 месяцев тому назад (то есть тогда, когда уже завершено и окончено было большевистское дело), говорим с этими приехавшими вчера так, как будто мы и не расставались. Понимаем друг друга с полуслова. Это потому, что мы знаем, — опытно узнали, изнутри поняли, — главную тайну большевиков.

Тайна эта столь проста, столь доступна разумному пониманию, и так плохо большевики ее хранят, что вновь прибывшие нам не хотят верить: — Да неужели до сих пор — до сих пор! находятся здесь русские или иностранцы, которые вообража-

ют, что в России — революция, диктатура пролетариата, советы? Да что же это за наивность! Ведь ничего же этого нет! Что делают те, кто вырвался оттуда и знает? Что вы делали?

И напрасно мы уверяем, что наивен — он сам, новоприезжий; что мы, и не одни мы, только и делали с утра до вечера, что пером, живым словом, всеми способами пытались и пытаемся открыть правду о России: да у здешних людей уши занавешены.

Ведь в самом деле ничего нет в России уже года два: ни *революции,* — вместо нее тишина кладбища, ни *диктатуры пролетариата,* — какой я был пролетариатишка, — скручен, перестрелян; ни *советов,* — они заменены назначенными от власти учреждениями. (Слава Богу, выздоравливающий народ уже кричит: долой подлые «советы».)

Мало того, что нет этих трех вещей, написанных на большевистской вывеске. Нет еще тысячи, миллиона вещей, — вообще всего, что может прийти в голову. Вот это *нет,* чистое отсутствие намека на свободу, на все, что составляет человеческую жизнь, надо взять за исходную точку, начиная разговор о большевиках. Их принцип, их пафос — *нетовщина.*

«Жизни нет!» — стонет каждый красноармеец, опоминаясь на мгновенье. Отрицание жизни, принцип нетовщины, естественно рождает и совдепский террор, доселе никогда неслыханный. Убивают «походя», почти не замечая, одного за другого, так, кто под руку попал. Не личность обесценена — просто сама жизнь обесценилась; на нее, как и на всякое ее проявление, большевики говорят «нет», а так как они имеют физическую власть, то свое «нет» непрерывно и воплощают.

Тайна о большевиках, которую мы знаем, которая кажется нам столь явной, очевидно, осязательной, — до сих пор остается нераскрытой. Это — тайна о их принципе *небытия,* и о том, что они никогда, ни на линию, пока существуют, этому принципу не изменят. *Не могут* изменить.

Сумасшедшие в Европе верят каким-то речам Ленина, каким-то уступкам Ленина, какой-то эволюции большевизма.

Поистине, для того надо быть или помешанным, или злостно глупым, злостно глухим. Ведь тут же, рядом, в то же самое время, тот же Ленин говорит: «...нам передышка необходима, ради нее обещано будет, что угодно, но не можем же мы изменить нашим принципам. И на деле останется *все*. Выпустим одних заложников — возьмем других. Издадим сегодня один декрет — завтра два...»

Ленин знает, что говорит. И знает, что такая наглая откровенность хорошо сохраняет его тайну. Но пора же и здесь опомниться. Русский народ начинает приходить в себя, а русские люди в Европе остаются глухими и слепыми, как иностранцы.

Да, пока в России сидят большевики — в России «на деле останется все», т. е. будет громадное *Ничего* вместо России с поголовным, *логическим*, истреблением ее народа.

Очень важно, чтобы «здешние» поняли это наконец. Чем дольше верят они в возможность «эволюции» большевиков (и поддерживающих их), тем тяжелее будет протекать выздоровление русского народа. И тем ужаснее будет его ненависть ко всем «соглашателям», ко всем, сознательно или бессознательно, поддерживающим его истязателей.

Истязателями, нетовцами, разрушителями жизни большевики были и останутся. Ленин туп. Туп и примитивно хитер. Это уже не тайна там, в России. Россия воскреснет, народ ее уже опоминается.

Не пора ли опомниться и здесь, в Европе?

БАРЫШНИ-СОДЕРЖАНКИ

Совдепский негатив Зинаиды Гиппиус

Не так давно. Года полтора тому назад. Лето. Петербург... Нет, Петроград. Нет, и не то, и не другое. Дикое место, развалины большого города. Даже не вполне развалины, каменные дома еще стоят. Только у них глаза слепые. А между каменными грудами — груды мусора (где были деревянные).

Тротуары выворочены. Мостовая тоже. Посередине большой улицы — длинный черный провал. В эти провалы можно заглядывать. Там темно, и куда-то уходит подземелье.

(Если большевики решат строить «метро» — то, может, эти провалы пригодятся.)

По мусору, пыли и всяким другим вещам, пробираемся к площади соборной, что около Литейной.

Впрочем, Литейного проспекта нет. Есть Володарский. Это тот лодзинский портной, который был начальником всей русской печати. Это он ее, с большими криками и проклятиями, прекратил.

Год тому назад его убил рабочий на улице, очень счастливо убежавший. В самую Троицу, в проливной дождь, этого самого портного с великими почестями хоронили, предварительно выставив его на сколько-то ночей под военным почетным караулом в Таврическом дворце.

Впрочем, Таврического дворца тоже нет. Есть Урицкий. Это американский эмигрант-закройщик, который регистрировал разогнанное Учр. собрание, а потом стал во главе всероссийского сыска, принимал просителей во дворце на Сенатской площади (тоже нет, тоже Урицкая) и так буйствовал, что вскоре и его убил — студент.

Тоже хоронили там же с теми же почестями.

Церемония так долго длилась, что почетные караульщики забегали в соседние дома отдохнуть.

Пришли и к нам два матроса. Обыкновенные, с фальшивым локоном из-под заношенной фуражки. Один — с медальоном на декольте.

— Чего вы?

— Извиняемся. Уф, устали! Которого это уж мертвого жида туда-сюда таскаем.

(Это не я говорю, это так матросы сказали.)

Но я все отвлекаюсь. Вот мы и пробираемся в летний день по стогнам бывшего города, от бывшего Таврического дворца к бывшему Литейному.

По площади хорошо идти, мягко. За собором выросла травка, да такая серьезная – нога шурчит. И даже беленькие цветочки. Птиц недостает (съели их или сами подохли?), а если б еще птички – совсем бы рай. Когда-то здесь шумел «злой город», – ведь это центр бывшей столицы, – а теперь, чем не идиллия?

На углу, помню, вот был грохот! Теперь тишина. Не только не едет никто (на чем бы?), даже прохожих нет.

В большом каменном доме на углу, внизу, вместо лавок то дыры, то доски. Но мы знаем: если свернуть налево – будет дверца, а за дверцей «кафэ». Честное слово, кафэ, и прилавок, и что-то лежит на тарелке, и если дать ленту керенок (еще были тогда), то что-то можно взять.

Мы вошли. Сели за столик. (Там и столики.) Нам позволили взять черное в стакане без блюдечка. И еще серое твердое, объеденное мухами, которых тут было видимо-невидимо.

Сидели разные люди, рваных не замечалось, а так как больше военных – то больше нарядных. И две—три барышни.

Барышня-продавщица, с крепированными волосами, тоже подсаживалась к столикам. Все «кафэ» было в пятачок, все и сидели как бы вместе.

Самый нарядный – все-таки матрос. Опять в фальшивых локонах, на руках золотые браслеты, а лицо ничего себе, курносое, лениво-доброе.

Но вдруг этот нарядный кавалер вскочил, точно его укусило, схватил одну из барышен за руку, пониже плеча, заревел: «Пойдем» (еще что-то прибавил) и кинулся к двери. Тащимая барышня звука не издала, неловко подхватила свободной рукой какой-то портфелишко (служащая, видно) – и оба они с необычайной быстротой скрылись.

Оставшаяся компания некоторое время молчала. А потом барышня-продавщица, обращаясь к единственному гостю в пиджаке и как бы продолжая старый разговор, произнесла:

– Вот, вы все – нельзя, да нельзя, осуждаете. А ведь это мученицы, право. Ну жива, ну сыта, да ведь чего стоит этот кусок. Видели?

Пиджачник вздернул плечами.

— Тем более. Поменьше кусок, да побольше покоя. И чище.

Вся вспыхнула другая барышня, рядом, в белой шляпчонке, остроносенькая, тоже с какими-то бумажками, — служащая. И так быстро заговорила, что сама все время перескакивала.

— Поменьше? Поменьше? Это кусок, жалованье наше? Это ноги протянуть, эти тысячи. И пусть самой, а если у кого старики, вот как у меня? Их что ли продавать? А вы — чище. Чистоты какой-то захотели. Как не совестно. Да я, да мы, да вы...

Она захлебнулась и остановилась. Худой человек в солдатской форме, но довольно потертой, сказал:

— Конечно, что тут. При подобной нужде на все пойдешь. Это очень натурально, что барышни идут на содержание, другого выхода нет. Только одно странно: почему самые воспитанные идут именно к таким, как вот этот... Федотов что ли. Сами же говорите, — что оне — мученицы. Что вот эдакий — он ей свой кусок выколотит...

Человек в пиджаке подозрительно взглянул на говорившего.

— Вы не из бывших ли офицеров? Мне, впрочем, нет дела. Я к тому, что это уж, это-то можно понять, и ничего странного нет.

— Конечно, это ясно, — подхватила продавщица. Если вы сознательный человек — тем более поймете. К вам, например, нет смысла идти на содержание, у вас, вон, и у самого сапоги драные. Смысл имеет идти к тому, у кого есть. Не всякой повезет на такого, кто повыше, из интеллигентных... Ну, вы понимаете. Они уже заняты. А другие, у кого есть, — кто же? Вот главные, балфлотчики. И они не злые, в сущности, даже щедрые, подчас; и они не выбирают очень, им, главное, чтоб была настоящая барышня. На это, они, действительно, смотрят. Если институтка, из бывших дворянок или, того лучше, из бывших графинь, — вот это-то им и лестно. Федотов, например, Ниночке П-ной, под щедрую руку — и шоколаду, и сапоги высокие, и того, и сего; но уж, действительно, — бьет ее чем возможно,

чуть не каждый вечер. И хвастается еще. Ему опять-таки льстит: барышня, самая нежная, графиня, — и в полной его власти. Она боится его ужас как, и безответная, ну а это-то ему, понимаете, и сладко.

Молоденький мальчишка, в новой солдатской тужурке, бледный, с бледными и наглыми глазами, сказал, рисуясь:

— Психологический факт. Революционное время. Воспитание женщин при старом режиме делало из женщины вещь во всех отношениях.

Военный, с дырами на сапогах, удивленно и опасливо поднял глаза. Остроносенькая барышня только вздохнула, но смелая продавщица презрительно фыркнула.

— Вы, тоже! Вещь во всех отношениях! О старом что ли режиме мы разговариваем. Нет, — обратилась она снова к прежнему человеку в пиджаке, — вот вы мне скажите-ка еще, осудите-ка Ниночку или других там! Мы ведь ни одну не знаем, и Федотов не один. Все так. И я говорю — пусть. Пусть, которая только может, идет и на содержание...

Мальчишка взвизгнул:

— Это что за слово? Что значит, на содержание? Если я беру себе в гражданские жены бывшую буржуйку и желаю привести ее к усвоению революции — я этого не смею? Это содержание называется? Это контрреволюция называется!

Тут мы помертвели. Ведь этот мальчишка мог быть с Гороховой. Ведь каждый может быть с Гороховой. Что за безумная дура эта барышня-продавщица! Нашла кого для разговора! Конец ее «кафэ», да и нас сейчас всех запрут! Уходить уже поздно.

К великому нашему изумлению барышня-продавщица вдруг громко расхохоталась. Даже как-то неестественно громко. И положила руку на плечо мальчишки.

— Да бросьте дурить! — сказала она совсем другим тоном. — Точно в словах дело. И точно вы сами не говорили мне вчера, что Федотов, в общем, довольно несознательный тип!

Мы, не сговариваясь, поднялись и пошли к выходу. Старались не спешить. За нами выюркнула остроносенькая барыш-

ня, потом грустный, обтрепанный военный, потом и человек в пиджаке. Каждый выходил отдельно и, выйдя, сразу пропадал, тоже отдельно. Даже странно, как это они так быстро исчезали на пустынной, светлой улице.

Мальчишка с бледными и наглыми глазами не вышел. Он остался с барышней-продавщицей. Он был наряден, хотя и не так наряден, как Федотов. Но ведь и продавщица, хотя и настоящая, барышня, вряд ли была графиней.

АНТИСЕМИТИЗМ?

Так важно все, сейчас происходящее в России. Столько яркого и значительного привозят нам оттуда спасающиеся. Но эмигранты глухи. Они заняты безумием личных препирательств. И хочется молчать, не входить в эти свары, переждать эту волну, может быть, она пройдет.

Мне не пришло бы в голову отвечать и на статью г. Шаха («Посл. Новости»), хотя она направлена почти прямо против меня, если бы вопрос, затронутый автором, не имел в наши дни такой жгучей злободневности.

Это — вопрос еврейский.

Г. Шах берет его в самой поверхностной, внешней постановке, чисто жизненно, — так возьму его и я. Цитируя места из моего «Дневника» с упоминанием о евреях (и даже те, где упоминается не о евреях, а о латышах и литовцах), г. Шах как будто спрашивает, *во-первых*: уж не антисемиты ли интеллигенты, недавно покинувшие Совдепию, вкупе с теми, кто там остался?

И во-вторых: есть ли сейчас в России, в широкой массе, антисемитизм?

Второй вопрос, конечно, серьезнее. Я постараюсь ответить на оба. Я знаю, что многие боятся всякого касанья к этой теме. Попробуйте, говорят, только произнести слово «еврей». Тотчас вас заподозрят в антисемитизме. Я знаю, что заподозревать

всех во всем — сейчас главное занятие эмигрантов. Но это явление — глубоко ненормально, и было бы унизительно с ним считаться.

Нормально ли, в самом деле, подозревать русскую интеллигенцию в антисемитизме? В здравой памяти на это способен разве крайний невежда. С равным основанием можно бы упрекнуть эту несчастную интеллигенцию... ну хоть в шовинизме что ли. Нет, если есть какая-нибудь точка «святости» в душе русского интеллигента — она тут, в его кристально-честном отношении к евреям. И эту честность и чистоту не запятнает ничья клевета: ни большевика, ни партийного эмигранта, ни самого подозрительного из евреев.

Так было, и это было неизменно, а теперь... теперь к этому прибавилось еще нечто новое: ощущение в полноте *и внешнего* нашего равенства с евреями, одинаковости нашей в несчастии. Кто по сей день не отделался от старых, в кожу въевшихся, дореволюционных пошибов и взглядов: «угнетенная нация... погромы...» и т. д. — тот прежде всего безнадежен в смысле непонимания революции, считай он себя «левым» или «правым» — безразлично. Мы и евреи — не одинаково ли угнетенный народ? И не наш ли это общий, — ленинский, всероссийский, — погром?

Люди глубокие, современные евреи-антибольшевики — давно морщатся от этих застарелых «защит». Пора их бросить. Линия разделения — другая. Избиваемые русские, избиваемые евреи — по одной ее стороне, и одно. Избивающие русские, избивающие евреи — по другой, и тоже одно.

Если я, мы и все интеллигенты, жившие с нами в Совдепии, уехавшие оттуда и там оставшиеся, принадлежим, действительно, к интеллигенции, — ответ на первый вопрос г. Шаха ясен. Кто не может быть антисемитом, тот никогда не сможет им и «сделаться», а при данных обстоятельствах еще менее, чем когда-либо.

Но вот второй вопрос, очень важный, касающийся не сознательных слоев России, а ее толщи: есть ли сейчас антисеми-

тизм в народе, в городских и деревенских низах? Каково положение данного момента?

Ограничив себя заранее: во-1-х, моим личным опытом, личными наблюдениями вплоть до 20-го года, во-2-х, всеми сведениями, получаемыми мною от позднейших российских выходцев, — я отвечаю следующее: *антисемитизма нет. Видимость его есть.*

Антисемитизма нет.

В русском народе, в самой его стихии, очень мало склонности к национальной вражде вообще, — к антисемитизму в частности. Никогда не было его не только в Великороссии (это еще можно объяснить тем, что население центральных губерний редко сталкивалось с евреями), но не было его и на юге. Кто знает довоенную Украину, тот может засвидетельствовать, что христианское и еврейское население сожительствовали там очень мирно.

Не было антисемитизма и в войсках, среди солдат, т. е. тех же крестьян, собранных со всех концов России. Ни тени не было его в первые времена большевизма. Когда комиссары говорили на митингах в эти медовые месяцы народного увлечения «миром, хлебом и свободой», говорили подчас, как Володарский, например, с сильнейшим еврейским акцентом — никому в голову не приходило удивляться, хотя бы отметить, что говорит еврей. Кричали только: правильно! Верно!

Да, тогда не было антисемитизма, как нет и теперь. Но тогда не было и «видимости» его. Что же такое эта «видимость»? И откуда она?

Насколько я, глядя очень пристально, могу проследить, — зарождение и рост ненависти к *коммуне* совпадают во времени и с началом этой «видимости» антисемитизма. Около главной линии ненависти стала завиваться и эта, призрачная.

Чем объяснима она?

О, только не тем глупым вздором, жалкой и тупой клеветой, что создана русскими «остатками», обломками, пылью растер-

того самодержавия; «все или громадное большинство комиссаров — евреи».

Я совершенно определенно утверждаю: если взять процентное отношение, если включить немцев, латышей, то и тогда мы получим громадное большинство — *русских* комиссаров-коммунистов.

Такова общая статистика. Она — факт. Но вот рядом другой, чисто жизненный: из комиссаров-коммунистов действующих, начальствующих, тех, кто «на виду», тех, с кем чаще всего приходится сталкиваться городской и деревенской демократии, — из них, в самом деле, большинство евреев.

Это очень естественно. Крепкий, стойкий народ; одаренный чудесной энергией, носящий в крови память долгого угнетения — сравним ли его с расхлябанным русаком, да еще царем «воспитанным»? Этому хватит порыва на «раззудись рука», но выдержки нет.

Большевики напрасно пытались поставить комиссаров «на виду» именно из русских. Инородцы оказывались надежнее, — фанатичнее, работоспособнее. Латыш Петерс и поляк Дзержинский известны. С ними, из евреев, конечно, можно только сравнить Троцкого и Зиновьева. Латышей и поляков довольно на «видных» местах, и если евреев больше — то потому, что их вообще больше. И вот, каждодневно сталкиваясь с ненавистной коммуной в лице ее *видных* представителей, нерассуждающий житель Совдепии (не порассуждаешь, когда шкура ободрана!) создает по ассоциации какой-то крайне поверхностный «антисемитизм». Он выражается бессильной глухой бранью — против комиссаров... которых, однако, обзывают не более часто «жидами», чем «сатанами», а Ленина «татарином».

Повторяю: есть подлинный антикоммунизм и антикомиссарство. Нет подлинного антиеврейства, как никогда его не было.

Мне приходилось сталкиваться с опасениями какого-то грандиозного еврейского погрома, будто бы назревающего. Что за вздор! Вероятен другой, — погром коммунистический.

Он вероятен и тем делается вероятнее, чем дольше сидят большевики. Но и при этом ужасном случае (всякий погром ужасен) нам придется оставить наш особливый страх за евреев. Погибнет, конечно, много невинных, но без различия национальностей. Погибнут виновные, т. е. комиссары. Если мы вспомним теперь нашу общую статистику, то убедимся, что евреев все-таки погибнет гораздо менее, чем русских. Линия разделяющая как наметилась, шла, так и пойдет: не по признаку национальности, а по степени участия в большевистском деле.

Вот это надо же наконец понять и принять: наше действительное равенство с евреями. Виновный одинаково виновен, будь он еврей или не еврей. Невинный одинаково невинен, будь он еврей или не еврей.

Русский народ это понимает. И он глубоко прав.

Мне могут, однако, сказать: если так мало склонности в русской стихии к антисемитизму, — откуда же погромы? И даже теперь, в последнее время... На юге доказаны случаи, когда в местности, освобожденной от большевиков, начинался разгром еврейского населения. Откуда это?

Да оттуда же, откуда при царе. Если не полностью от той же причины, то частью — наверно. Вспомним, как мы объясняли себе погромы при царе. Не видели ли мы их направления *сверху?* В русском народе есть одно свойство, которое надо признать: это его необыкновенная чувствительность к влияниям сверху. Не случайна пословица: «каков поп, таков и приход» (по-европейски, казалось бы, напротив: каков приход — таков и поп). Погром при самодержавии был следствием антисемитизма наверху. Погром сегодняшний — так же может быть лишь следствием присутствия антисемитизма наверху, у начальников, вождей, правителей. По нынешним временам лишь бледной тени его там достаточно или даже нейтральности, не ярко выраженного противопогромного направления. Кроме того... что мы знаем? Какие из этих погромов были действительно еврейские и какие смешанные, т. е. просто дико разнузданные грабежи тех, кто под руку попал? Народ давно обезумел

от крови, тяготы и голода. Сам знает, что обезумел. Были в этом месте евреи, — убиты, разграблены евреи. Например, банды, оперирующие на юге: главари их не имеют старорежимной окраски (только одну грабительскую). Однако и там «погромы»: там уж явно евреи громятся, лишь как «попавшиеся под руку».

Народ, однако, начинает опоминаться от своего безумия. И уж, конечно, если он на глубинах этого безумия не был антисемитом, — он не приобретет, воскреснув, несвойственной ему ненависти к евреям. А какое бы правительство ни образовалось в России после падения нынешнего, насильного и развратного, оно будет (условие его существования) равняться по народу и, следовательно, никак не будет антисемитичным.

Есть у меня еще одно основание утверждать, что близкое возрождение народа будет подлинным и, между прочим, свободным от всякой национальной ненависти. Это основание — характер нынешнего русского религиозного движения. Не многим известно, что в русской церкви произошел раскол, своего рода революция, и что мы присутствуем при начале реформации. Однако это факт. Эта тема слишком важная, о ней следует поговорить отдельно. Здесь я скажу лишь, что новое народное революционно-религиозное движение столь же опасно для большевиков и для монархистов, сколь благотворно для русского народа и благодетельно для евреев: оно несет просвещенный мир, а не национальную вражду.

Итак, резюмирую мои утверждения, основанные на опыте и разуме почти всех, Россию недавно покинувших и от нее не оторвавшихся. Всех, принадлежащих к русской «партии беспартийных», с ее очень ясной политической программой и не менее ясной тактикой (как-никак — я думаю, что именно эта партия в России самая широкая сейчас, а в будущем самая «могущественная»).

По отношению к вопросу еврейскому мы утверждаем: в народной России в данное время нет антисемитизма, как не было его никогда. Данная «видимость» антисемитизма узка, бледна, поверхностна и ни в каком случае не может породить еврей-

ских погромов после падения большевиков, сколько бы они ни сидели. Задержка этого падения может лишь дать коммунистический разгром, и в очень нежелательных размерах.

Наконец: подозревать интеллигентов, бежавших из России и оставшихся в России, в том, что они «антисемиты» – можно лишь при наличии или невежества, или недомыслия. Впрочем, факт таких и подобных взаимоподозрений, широко практикующийся среди нашей несчастной эмиграции, может быть, также объясним тяжелым ее нравственным состоянием. Русские беженцы растеряны, озлоблены, ожесточены. Они, как «сумасшедшие нищие», заслуживали бы даже снисхождения, если б... если б мы не знали, что есть другие, до какого ужаса подлинные «сумасшедшие нищие», – интеллигенты в Совдепии, не по-эмигрантски страдающие – и все-таки сохранившие в душе искру человеческую. Они не подозревают друг друга, как эмигранты, ни в людоедстве, ни в жидоедстве, ни в монархизме, ни... в чем еще? Они даже и на эмигрантов – до сих пор! – смотрят оттуда с надеждой и верой. Пусть бы они и не знали подольше о делах эмигрантских. Авось, мы здесь успеем одуматься; сдержать себя, вспомнить все-таки о них, оставшихся, – и о России.

КУБОК СМЕРТИ

...Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал – теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

Лермонтов

Летом 19 года в моем петербургском дневнике есть такая отметка:

«...Читаю "Юдоль" Лескова. Это о голоде в средней России в 1840 году. Не мы ли это, эти крепостные помещиков Орлов-

ской губернии? Не так же ли и мы обречены умирать, прикрепленные к месту? Только помещики выдавали дворовым по три фунта хлеба в день... Три фунта! Даже не верится. А крестьянская "Юдоль" — смерть продолжалась всего 10 месяцев. Годы длится наша...» *.

Параллель всегородского русского вымирания, голода 18—19—20—21 гг. и голода средней полосы России 1840 года можно провести дальше — до мельчайших подробностей. Так же ели только помещики, повелители крепостного населения (коммунисты); так же выдавали они паек только дворовым (комиссарским приближенным и телохранителям); так же умирали фактически брошенные на произвол судьбы крепостные рабы. Небольшая разница: помещики не практиковали террора над издыхающими рабами, более добрые и предусмотрительные даже пытались организовать у себя кое-какую помощь и — не ловили убегающих, смотрели сквозь пальцы. Разница пропорциональная — все население всех русских городов XX века и скудное население нескольких губерний в сороковых годах, а также различность времени продолжения — это у меня уже указано.

Даже в бытовых подробностях — какое странное совпадение! Две девочки побольше заманили в избу мальчика поменьше, зарезали его и хотели зажарить и съесть. Только не сумели, в печку не влезал. Это в сороковых годах. Всем памятен подтвержденный случай в Москве в 20 году: два мальчика побольше убили своего младшего товарища, жарили мясо на лучинках и ели, закапывая недоеденное в землю. «Сначала ничего, а потом стало дурно пахнуть», — откровенно объясняли они впоследствии.

Таких маленьких примеров сколько угодно. И если, по Лескову, во время голода 40 г. люди дошли до пожирания ве-

* Не имея здесь под рукой русского текста «Дневника» — цитирую по переводу, приблизительно.

щей самых невероятных и до какого-то странного озверения, — то в двадцатых годах нового века новые рабы — не на наших ли глазах дрались в Петербурге, на Николаевской улице с собаками, вырывая у них (и друг у друга) кишки павшей лошади?

Так длилось, длилось... Умирали в терзаниях голода миллионы (куда старым 40-м годам!) — но еще единицы миллионов. Сейчас, в данную минуту, в половине 21 года, эта цифра сразу возросла; сейчас будут умирать, умирают, не единицы, а десятки миллионов. Известия о «голоде в России» не дают нам никакого «нового» бедствия: это все то же, знакомое, испытанное, «издыханье рабов», разница между 18—19 гг. и нынешним 21 годом — *только количественная*: единицы миллионов — десятки миллионов.

Пусть не удивляются моему «спокойному» тону. Кто пережил в России момент «исполнения» большевизма, те знают и знали, что за этой чертой уже никакие качественные изменения в России, при большевиках, невозможны. Это тоже отмечено в моем дневнике: «...перчатка вывернута на изнанку. Куда же дальше? Теперь предстоят лишь количественные перемены: *больше* смертей, *меньше* хлеба... При помощи математики можно, пожалуй, и высчитать цифры на 10 лет вперед, особенно зная прогрессию их возрастания...».

Ввиду всего этого 25 миллионов умирающих не могут поразить нашего воображения. Не в нынешнем, так в будущем году умирали бы эти 25 миллионов. Это не случайность, а железный закон причинности, — математика.

Мой друг (не так давно вырвавшийся из Совдепии) пишет мне, что никогда не жалел, а вот теперь жалеет, что он ученый, а не писатель: «Надо же кричать, вопить на всю Европу, на весь мир! Надо же, чтобы человечество опомнилось...».

Годы мы кричали и вопили, указывая на единицы гибнущих миллионов (притом еще в числе этих миллионов был цвет всей русской культуры). Мы предрекали и нынешние десятки миллионов и указывали на каждый пропущенный день как на

безмерно увеличивающий трудность помощи. Бог ли покарал все человечество глухотой; наши ли голоса были слабы — не знаю; знаю только, что мы кричали во всю силу голоса и громче кричать не можем, хотя бы не 25, а 125 миллионов завтра стало умирать в России.

Чего мы достигли нашими криками и убеждениями, нашими призывами прислушаться к стонам умирающих? Все малые, новоявленные «державки» бросились мириться с большевиками, первопричиной всех смертей, а большая Англия с ними даже подружилась и беззаветно им помогает. Как раз на этих днях торговая английская делегация выехала к большевикам (и на «советских» обедах будет удивляться: какой вздор несли эти эмигранты о голоде! В России очень недурно едят!). Нет европейского центра, где бы не копошились расползшиеся большевики, легально или полулегально не работали, не издавали свою ядовитую рептилию.

Вот результаты нашего обращения к Европе. Не только нашего, писательского — отнюдь! нет, всех нас русских разумных людей. Это не заставит нас, конечно, молчать: если мы замолчим — камни завопят. Лишь некоторые из нас, самые слабые, помешались: стали вопить, что не хотят, чтобы России кто-нибудь помог, что не надо помогать подняться упавшему больному, — пусть он сам поднимается и справляется, как может (а не сможет, сдохнет, туда ему и дорога?). Это, конечно, помешательство, уже по тому одному, что никто помощи не предлагал, и нельзя в нормальном состоянии отбояриваться, крича, оттого, чего тебе никто и не думает давать.

Но оставим это. Вернемся к моменту. Разумно, с горьким спокойствием взглянем на него. Дело идет о паллиативе, т. е. о сегодняшнем накормлении 25-ти миллионов русских крестьян, так, чтобы в нынешнем году не все эти 25 миллионов умерли. Какие мыслятся тут реальные возможности?

Допустим, что так называемое «культурное» человечество, не слышавшее стонов пяти—шести миллионишек, услыхало рев двадцатипятимиллионный. Допустим, — ибо «количе-

ство» – еще единственное, что может ныне произвести впечатление (хотя кто его знает, какое количество). Предположим, что Европа и Америка пожелают помочь, захотят подкормить этих беспокойных русских. Как они это сделают? Как, с чего начнут? Благотворительные общества, организации? Будем же реальны. «Руль» совершенно правильно отмечает, что при таких размерах бедствия странно и говорить о благотворительности, помощь возможна только самая широкая, государственная.

Допустим даже и это, хотя мы тут сразу входим в область абсурда; большевистских «гарантий», которых они не могут дать, просто-таки физически не могут, по законам природы не могут, — зачем и ломать дураков, требовать «гарантий»? Но перешагнем и через этот основной абсурд. Представим себе, что в Россию с севера и с юга потянулись корабли с хлебом под разноцветными флагами. Вот они в Петербурге, в Одессе, в Севастополе, в Новороссийске... Допустим, что американцы сами разгрузили хлеб и... что же дальше? Как, под чьей охраной, повезут его к месту делегированные американцы, повезут за тысячу верст голодающим — сквозь строй таких же голодающих? Под охраной голодных и давно безумных грабителей-красноармейцев? Не будут ли эти последние ждать, чтобы по дороге хлеб отбили многочисленные «зеленые», всевозможные «банды», которые, слава Богу, зевать не станут, самим жрать нечего? С какими это большевистскими «гарантиями» в руках надеются американцы и другие просвещенные европейцы благополучно довезти свой хлеб до намеченных ртов, мимо красных, зеленых и всех прочих?

Наконец, вот последнее. Сузимся до самой узкой конкретности. На чем, как повезут эти миллионы пудов тысячи верст? Где вагоны? Где паровозы? Где топливо? Где рельсы? Ежели обозами — где лошади? Привезти и лошадей — их съедят по дороге вместе с хлебом...

Нет, бесцельно скакать через абсурды: все равно, через все не перескочишь. Бесполезно бороться со следствиями, остав-

ляя причину. Безумный нечеловеческий труд – помощь сегодня России. Тяжесть этого труда Европа и Америка создали сами. На свою голову. На свою – потому что ведь все равно они понесут его. Если отступят и теперь, как отступили тогда, когда могли оказать помощь в тысячу раз легче и осмысленнее – все равно: им придется поднять этот груз, когда тяжесть еще удесятерится, работа еще по видимости обессмыслится.

Не проймет их смрад от 25 миллионов покойников – захватит через несколько времени от ста миллионов. Это расчет безошибочный. И я склоняюсь к мысли, что, пожалуй, до последнего ужаса и позора человечество XX века себя не доведет; начнет свою тяжкую, трудную работу помощи теперь же, вступит в борьбу со смрадом теперешним, не дожидаясь стомиллионного.

На всякое праведное человеческое усилие, даже с точки зрения разума, абсурдное – история умеет отвечать неожиданностью, непредвиденностью, как бы чудом. Пусть же идут помогать России; пусть идут в шорох, не видя первопричины, видя только море людей, умирающих от голода; пусть не слышат, не понимают наших слов, не верят нашим крикам; *но пусть идут.*

Мы давно знали, что

Сказать – не поверят...
Кричать – не поймут...

Но разве мы не чувствуем теперь все, помимо разума, упованием нашим,

Что близится черед,
Свершается суд...?

ЕДИНЫЙ ПОГРОМЩИК

Трудно говорить сейчас о чем-нибудь, кроме несчастья несчастной России. Но ведь все равно: с какого конца ни начинать, какой вопрос ни затрагивать – вернешься к тому же. И я

позволяю себе прибавить несколько строк к моей недавней статье в «Общем Деле» «Антисемитизм».

В этой статье утверждалось следующее: русский народ по самому существу своему не склонен к национальной вражде вообще и к антисемитизму в частности. В данный момент в России население русское и население еврейское равны по глубине переживаемых бедствий, ибо одинаково гонимы общим врагом их родины, — коммунистической властью. Погромы последнего времени, отмечаемые как еврейские, вероятно «смешанные»: погромы отчаяния, кто под руку попал. Если возможен и назревает погром в широчайших размерах — это будет погром «коммунистический»: вся вражда и ненависть населения России только к ним, коммунистам, к данной власти, без различия национальностей.

Теперь вспомним две корреспонденции (на днях). Первая: население «по всей России объято паникой... бежит к границам... несмотря на репрессии со стороны сов. пограничных властей, там скопляются десятки тысяч беженцев. Положение их ужасно... люди буквально наги... дети до 7 лет почти все умерли с голода...».

И другая, через несколько дней: «Десятки тысяч населения бегут к польской и румынской границе. Перебив сов. стражу, массы расположились лагерем на границе Польши, куда их не пускают. Положение неописуемо. Люди в рубашках, больны, умирают сотнями, тут же...».

Но довольно. Мы все это читали. Привожу обе корреспонденции лишь для сравнения. Да как и сравнивать? Они совпадают даже в словах. Они — одно и то же. Об одних и тех же людях? Нет, только равных, до неразличимости, в несчастии. Потому что первое, из доклада д-ра Крейнина, который только что «с большим трудом, едва не расстрелянный, вырвался из сов. России». (Совершенно так же, как вырвались и нееврейские, а русские общественные деятели — не большевики. И тут полное равенство.) Это первое сообщение — только о евреях. Второе — просто газетное сообщение о русских.

Вывод один, общий для тех и других: люди массами двинулись, идут и идут от смерти — к смерти...

Д-р Крейнин отмечает погромы населения в местностях... заселенных евреями. Там погромы, конечно, будут «еврейскими». Однако тот же д-р Крейнин не скрывает, что погромы идут и в Поволжье, на севере, где «разгромлены даже немецкие колонии». Вряд ли последние погромы можно отнести за счет антисемитизма.

Что «громит также и армия Буденного, и коммунисты» — вы давно знали; но кого «громит»? Евреев? И крестьяне, население, действуют тут с коммунистами вместе. Этому мы никогда не поверим. С коммунистами — крестьяне никогда не будут заодно, ни на одной стороне, — даже в момент грабительского безумия.

А вот еще одно недавно промелькнувшее известие, очень характерное: неудержимое, всерастущее избиение китайцев. Дело дошло до гласных жалоб Кремлю и чуть не до особого декрета. Что же, не растет ли в России антикитаизм?

Нет, это все тот же, действительно страшный, действительно растущий, — *антикоммунизм.* А если есть он — воистину нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни китайца. Только мы; люди; и они — большевики, «дьяволы».

Я говорю, конечно, не о каком-нибудь 4-м Интернационале, не отрицаю самосознанья национального, не хочу сказать, что народы России слились, идентифицировались (неловко даже оговариваться, но, кажется, нужно). Нет, у народа еврейского свой «лик», у русского — тоже свой, другой; и они не одинаковы, и это хорошо. Я говорю не об одинаковости, я беру простой и жгучий вопрос о *равенстве* нашем, сейчас, перед лицом одного несчастья, одного врага — и о нашем долге перед одной общей родиной Россией.

И тут я скажу прямо: мы, русские, больше и глубже чувствуем равенство с евреями, чем евреи с нами. Мы не обособляем себя, не можем. Взывая о помощи гибнущему населению России — ни один русский не отделяет русских от других, там

страдающих народностей, не думает (просто в голову не приходит), что его долг сначала помочь русским, а потом уж всем остальным. Между тем, многие (не скажу — все) еврейские деятели, несомненно, обособляют свой народ, выделяют его из всей массы *одинаково* погибающих. В линии разделения наднационального у рядового еврея нет еще той твердости, до которой дошли мы. Это слишком понятно... Но факт равенства — есть факт объективный, мудрость требует учитывать его, и даже мудрость практическая.

В заключение — вот еще крошечный пример, весьма укрепляющий меня в моем главном утверждении, то есть, что русский народ, в массе, в здоровом ядре своем, чужд антисемитизма. Это правило, а всякое правило подтверждается исключениями. Исключения получены мною — в виде писем анонимов в ответ на мою статью о еврейском вопросе. Пишут все русские — несчастные единицы, — затерянные здесь и сами потерявшие себя. Однообразно обрушиваются на меня за мою «защиту» (?) евреев. (Один даже доходит до угроз и непечатной брани. Вот разница: нельзя себе представить, чтобы еврей мог написать такое письмо.) Какой-то «джентльмен» из Англии, выразив сомнение, уж не принадлежу ли и я к еврейской национальности (в скобках прибавив: «Кто вас знает?») внезапно заключив: «Я не монархист, а социалист. И теперь, оставаясь чистым социалистом, я — антисемит...».

В Англии, пожалуй, русский беженец, потерявший себя, и до такого абсурда может дойти.

Но даже эти несчастные «исключения» — какие они погромщики? Но ругаться анонимно, похвастать с большого ума русской некультурностью — ну туда-сюда. Но ничего в них нет страшного. Один у нас погромщик, один и тот же — и у нас, русских, и у вас, евреи. Это — унтер Буденный, это поляк Дзержинский, это еврей Лев Бронштейн, это русский Владимир Ульянов со своим советником и другом, русским писателем Алексеем Пешковым. Да мало ли еще имен у этого единого погромщика! Против него одного, за жизнь наших близких, за

нашу жизнь, и хотим мы, – и должны идти на борьбу – рука об руку с еврейским народом. Мы равные, мы братья: слезы и кровь соединили нас в одно.

ДИНАМИТ

– ...Et la formule?
– Elle est toute simple...

Stendhal *

I

Некие злоключения постигли мою статью, написанную недели две тому назад. Она пропала в пространстве. Но я не могу мириться с этим, я хочу – не восстановить ее (восстановить раз написанное нельзя), но повторить то, что в ней было сказано; и даже подчеркнуть мое главное положение, главный вывод, ибо протекшие дни сделали его еще очевиднее.

Неужели теперь кто-нибудь найдет его «парадоксальным»? Я не перестаю удивляться, как до сих пор никому столь простые соображения не приходят в голову.

Но пусть, впрочем, находят его каким угодно. Я знаю одно, что он имеет право на существование: если немногие (пока) разделяют этот взгляд со мною здесь, слишком много у нас единомышленников там. Там, в России.

Вот суть, вот центральная формула (доказать ее мы попробуем далее):

Чем скорее, чем грандиознее и шире будет организована международная помощь голодающей России – тем скорее, даже стремительнее, будет падение большевиков.

Опасность есть громадная; о ней *я* скажу *ниже*. Но опасность поддержать помощью России – власть большевиков тем

* – ...А формула?
– Она очень проста. *Стендаль* (*фр.*).

грознее, чем меньше будет помощь, замедленнее, осторожнее, грошовее, и чем меньше окажется тут единодушия у эмиграции.

Тяжелый спор между русскими зарубежниками имеет свои глубокие подосновы. Но он ведется в неверной плоскости. Все эти кони «человеколюбия», на которых гарцуют одни, посылая другим упреки в отсутствии гуманности, в нежелании накормить голодных, пока сидят большевики, — все это бесстыдно, бесполезно, и до такой степени «не о том», что даже выходишь за пределы изумленья.

Нельзя ли проявить хоть настолько человеколюбия, чтобы признать, что все мы не звери. Все, спасшиеся от большевиков русские, все, без различия, настолько люди, что нам одинаково, первым порывом сердца, *хочется* помочь этому ужасу, хочется во что бы то ни стало. Это первое, это безусловное. Тут, повторяю, *бесстыдно бросить* кому бы то ни было подозрение в «fiat justitia, pereat mundus» *, и никогда бы у меня не поднялась рука на это.

После первого, несомненного — «нужно помочь, нужно накормить, нужно, нужно», — только после этого первого, еще доразумного чувства, лишь при следующем вопросе — *как* это сделать — и подымаются в душе каждого искреннего и *сознательного* человека, тяжкие внутренние сомнения. Их не для чего скрывать, они не подняться не могут. И замазывать их не следует — их надо, напротив, пережить и додумать *до конца.*

Все равно, всякий, сколько у него есть силенок, положит их на помощь, на призыв к помощи. Но может быть, если б не было у него внутреннего сомненья: «Помощь эта — не помощь ли большевикам?» — может быть силенки и удесятерились бы?

Попробуем додумать наше сомнение. Попробуем взглянуть в лицо и той действительной, невыдуманной, опасности, которая грозит нам. Она как раз такого рода, что тем менее опасна, чем яснее ее видишь.

* «да свершится правосудие, хотя бы погиб мир» (*лат.*).

Власть, в руках большевиков, незаметно видоизменяясь, сосредоточилась и совершенно превратилась наконец только в *хлеб*, который они держали в руках. Его было мало; именно малое количество, но все, целиком, в одних руках, и должно было стать — властью.

Террор — лишь необходимая подмога такой власти. Большевики это давно знали; и теперь сознают свое положение в совершенстве.

Власть — хлеб. Малое количество хлеба, — *на границе* голода. Но на границе, не дальше. Сейчас они завопили о помощи, боятся утерять это необходимое малое количество. Они рассчитывают (и не глупо) на *малую* помощь, и, конечно, в *их* руки, что и означало бы продолжение *их* власти.

Однако фактически, а не теоретически, хлеб Европы и Америки, сейчас привезенный в Россию, будет *в других руках*. Даже если — даже если! — большевики гарантируют себе на бумаге, или хитрыми планами, участие в получении этого хлеба — все равно, в сознании народа, населения, сверху донизу, — это будет хлеб не в большевистских, а в других руках. И в этот момент большевики автоматически перестают существовать. Растоптанные, смятые, растерзанные — или убежавшие, это уже все равно. Важно, что они перестают существовать, как власть, падают *не*удержимо и *не* могут не пасть.

Таков естественный результат этой новой международной «интервенции»... если, конечно, она будет произведена в серьезных, широких размерах; если Европа и Америка поймут, что помощь нужна именно в самых широких размерах; если мы сумеем нашими усилиями достичь, чтобы она это поняла.

Даже так можно сказать: первое действие продовольственной интервенции — будет свержение большевиков; лишь второе — кормление умирающих. Хлеб *не успеет* еще и дойти до всех голодных ртов, когда главное уже совершится. Поэтому — не бесплодна ли торговля с большевиками о каких-то «гарантиях»?

Кто сомневается, что они на все согласятся? Кто еще имеет наивность воображать, что они физически могут что-то кому-то гарантировать? Да, ведь у них уже нет почти *никакой власти*!

У них нет почти никакого хлеба.

Требование гарантий идет отчасти на пользу большевикам, или может идти: во-первых — замедляет помощь и, утрудняя, — суживает ее; во-вторых — переговоры, условия с ними, придают *видимость* существования их власти почти несуществующей.

Такая видимость лежит в их расчетах. Расчеты они не оставили, нечего себя обманывать. Или они «раскаялись»? Впали в такое «человеколюбие», что готовы хоть на самопожертвование? Все комиссарши превратились в «женщин и матерей», как Андреева? Ленин — в отца своего «народушки» и готов пойти «в армяке с открытым воротом»? Как бы не так! Они даже не отчаялись, хотя и видят, что положение отчаянное. Но Европа и эмигранты их избаловали; столько раз они этих воробьев ловили на мякине и «старуху», как они выражаются, обмишуривали, — что не диво осмелеть и обнаглеть. Они очень намереваются играть и, со своими испытанными краплеными картами, надеются даже кое-что выиграть.

Шулер опасен для не предупрежденных. Мы должны быть предупреждены: большевики будут играть — и уже играют, — на *соглашательстве.*

II

Приемы большевистской игры однообразны: поставив себе какую-нибудь цель — они создают некое туманное пятно, призрак, которому силятся придать видимость реального существования. Говорят о том, что желают достигнуть, как о достигнутом, как о факте, говорят с тупым упорством гипнотизера. В данном случае, подойдя к последней черте, они имеют только один ход; этот ход, однако, при удаче, при несчастной слепоте

партнеров, *может* не только спасти их, но дать крупный выигрыш. Они на голоде, их губящем, рассчитывают сыграть так, чтобы он не только их не погубил, но и дал им, наконец, *откровенное признание Европы.*

Туманное пятно... да какое уж туманное! Уж все выяснилось, крапленые карты раскинуты, гипнотические внушения в полном ходу.

«По мнению сов. прессы, то обстоятельство, что голодающим согласны помогать, несмотря на существование коммунистической власти, означает доверие помогающих к самой власти» («Воля России»). Доверие помогающих... Слышите? Доверяют нам, помогают нам, доверились — признали. Уже доверились. Уже признали. Уже факт. Да и как иначе? Ведь мы из человеколюбия, ведь теперь не до политики. Мы готовы быть аполитичными...

Да, они имеют наглость и это сказать — потому что здесь, в Европе, есть невежды и помешанные, которые это слушают. Вторые — наши эмигранты; они так и рухнули в эту звериную ловушку, с дурацкими воплями о собственном человеколюбии, с радостным согласием: да, будем аполитичны! Будем аполитичны! «Заголимся и обнажимся» от всякой политики!

Абсурд в виде «аполитичного большевика», аполитичного Ленина в Кремле, — и его глотают люди, называющие себя разумными?! И они не видят, что это высшая точка большевистской политики (или главная карта крапленой колоды) игра для вызова аполитичности у врагов, отказа от «политики», от борьбы, — а там уж их, отказавшихся, хоть голыми руками бери. Я не сомневаюсь, что Ленин в Кремле, пробегая некоторые газеты, полные горячих заверений и клятв в аполитичности, чертит на многих: «Прочел с удовольствием». Обработать эмиграцию ему крайне полезно — и как не трудно! Бросить им слова вроде «человеколюбия и аполитичности» (грубо, но съедят, и еще тут же драться будут!), отпустить Кишкина и Кускову на длинненьких, тоненьких веревочках, в виде завлекателей (есть, кажется, такая охота) — и дело в шляпе.

Карт в крапленой колоде много, жесты шулеров однообразны, цель одна — выиграть ставку, т. е. свою власть, да еще с «доверием» к ней Европы. Эмигрантам, если и увидят, что проиграли, поздно будет назад. Не признаваться же в своем стыде! Расчет психологический, но верный.

Расчет большевиков можно бы открывать далее, во всех подробностях. Но зачем? Для умеющего видеть, нет труда проследить его собственными глазами. Игра в разгаре. И несчастных жертв, увы, все больше...

Но игра далеко не закончена. И как ни хитра она — большевики знают, что ее легко сорвать. Знают, что она — яснее дня; и все-таки верят, что здесь ее опять не откроют (мы, здешние, виноваты в этой вере!).

Большевики знают, что новая интервенция, которую они то призывают, то не призывают, на которой тоже хотят спекульнуть, — новая интервенция эта, совершаемая с открытыми глазами и с определенной волей действительно спасти русский народ, — есть их неминуемая, завтрашняя гибель. Она несет динамит, после которого пыли не останется от их власти.

Этот динамит — *хлеб.*

В такие дни, в такие минуты — о чем здесь идут споры? О каком «человеколюбии», когда и наше сердце и наш разум кричат нам *одно и то же*, когда нам нужно только деланье — и мужество открытых глаз?

Бесстыдны, нецеломудренны эти слова здесь, эти споры. Споры о том, как помогать умирающим под досками, на которых сидят татары: столкнуть ли сначала татар, или — Боже сохрани! — татар аполитично не трогать, а с их разрешения, бочком, подсунуть кусочек под доски — издыхающим?

Бесстыдны — а, главное, *не нужны* эти споры.

С единой мыслью, с единой волей, — *помочь*, надо скорее везти хлеб, хлеб, как можно больше хлеба! Как можно больше динамита! Он сделает свое дело. Для начала, для «татар» — его действие бесшумно и мгновенно. От них останется разве лишь кучка грязного пепла.

ЖИРНЫЕ КУСКИ

– Это идсамум, – говорит один очень осведомленный человек, выслушав мое утверждение, что чем больше привезут хлеба в Россию, чем скорее его привезут, тем скорее падут большевики.

Я почти соглашаюсь. Моя формула верна, но идеалистична в том смысле, что реально она не будет приложена (хотя и приложима). Тысячи моментов, когда Европе стоило пальчиком двинуть, чтобы уничтожить на своем теле очаг заразы, уже пропущены; почему не будет пропущен этот?

Всякое физическое действие определяется и судится не исключительно как таковое, но в связи с его смыслом. Различный смысл двух внешне одинаковых поступков, создает различные последствия.

Если Европа и Америка повезут в Россию хлеб *без воли*, действительно, накормить голодных, т. е. без воли уничтожить разбойников, – это одно. Если у везущих хлеб такая сознательная воля будет – это другое.

Нет сейчас ничего благодетельнее для России и для Европы, нежели продовольственная *интервенция*. И нет ничего губительнее для той же России и косвенно для той же Европы, как международная помощь без смысла «интервенции».

Большевики все силы и все средства пустили в ход, чтобы достичь второго. Обдуем, ничего, не впервой! Не мытьем, так катаньем! Не желвачксм, так косточкой!

Но хорошо сказал де Валера: «Если тебя обманут раз – виноват обманувший; но если тебя обманут вторично – виноват ты». Что скажем о Европе, когда увидим ее обманутой теми же обманщиками в тысячу второй раз?

Самая несчастная часть русской эмиграции усиленно играет в руку большевикам (прости, Боже, тем, кто творит это, не ведая). Потеряла ли она, вместе со Старым и Новым Светом, всякий критерий человеческой морали и хочет прикрыть эту наго-

ту вывеской человеколюбия, преследуются ли ею, как Милюковым, свои цели (ведь он питает абсурдную надежду на узаконенную Москву и на свое место при таком правительстве!) — совершилась самая фатальная потеря, эта всеобщая потеря здравого смысла.

Куда тут мораль. Какая вам еще мораль. Бросьте, господа, кривляться, и вы, русские соглашатели, и вы, европейцы. Всякие «хорошие слова» оставим на завтра, если к тому времени вы заслужите право их произносить. Сегодня довольно было бы, если б вы поняли: вам *невыгодно* делать то, что вы делаете. Русским эмигрантам не большевикам, всем без различия, от милюковцев до «меньшевиков-интернационалистов», *невыгодно* играть их сегодняшнюю игру, поддерживать большевистские вывески «свободных» комитетов, призывы к аполитичности, басни о ленинской эволюции, и болтать о человеколюбии. *Невыгодно,* ибо этим ваши собственные цели *не будут* достигнуты, ни ваши, г. Милюков, ни наши, г. Мартов, как бы они лично ни разнились.

То же самое надо понять европейцам. Нет ни одной стороны, с которой помощь России, *без воли* к уничтожению международного разбойничьего гнезда могла бы быть выгодной. Прежде всего она фактически не состоится. Но мало этого: и «видимость» ее чревата для Европы столь невыгодными последствиями, что невыгода Германии, сыгравшей на запломбированных вагонах и Брестском мире, покажется пустяком. Быстрым или медленным темпом идут события — все равно; следствия скажут. Ваша «невыгода» скажется, будьте покойны.

Вы не боитесь за себя. Вы уверены. Так же уверена была и Германия. Это потому, что она уже тогда, как вы теперь вместе с частью русской эмиграции, — потеряла величайшее сокровище, *здравый смысл.*

Только одна есть сегодня на земле действенная воля: воля к выгоде; но только одни большевики откровенно говорят, что это именно так. Они тут *честнее*, прямее всех. И потому-то они в данный момент и сильнее.

Только одного можно сейчас требовать от всего небольшевистского мира в данном его состоянии: не путайтесь, не мутите воду вашей *воли к выгоде* никаким песочком лжеморали. В мутной воде большевики удят *свою* выгоду. И вернитесь к доброму старому здравому смыслу, поймите раз навсегда: вам невыгодна малейшая выгода большевиков.

Входит ли в их цели «соглашение» с Европой?

Да, входит. Это значит, что оно разрушает все возможные цели всех небольшевиков.

Боятся ли они продовольственной интервенции?

Да, боятся. Это значит, что она чрезвычайно полезна и выгодна для всех, кто не они.

Просто до грубости. Но большевики сами просты до грубости. Посмотрите, как прост Чичерин со своими «жирными кусками», Горький с воззванием о поддержке «социального опыта». Ведь это все рассчитано на людей, не только сохранивших одну волю, — к своей выгоде, — но на людей при этом еще обезумевших, потерявших точку опоры, здравый смысл и *не умеющих* своей выгоды понять.

Когда-то Рорбах мечтал сделать из России германскую Индию. Теперь Ллойд Джордж облизывается, не выйдет ли из России для него еще одна Индия.

«Спой, светик, не стыдись!»

«Спой, светик, не стыдись!» — не проиграй только со второй и первую...

Из голода большевики надеются получить для себя большую выгоду. Играют опять грубо и просто. Сколотили голодающий комитет из Кусковой и Кишкина. Совдепские подданные называют его Кукишем. Но кому дело до людей в России? Комитет создан не для внутреннего, а для внешнего употребления. И уже действует. Уже в милюковской газете «Чего изволите?» он назван «первым пышным цветком свободы, распустившимся на совдепской земле». Этого-то и поизволилось большевикам, т. е. чтоб было так принято. Милюковская газета хоть малое дело, все же показатель. Иностранцам еще легче

этим табаком глаза засыпать. Дайте немного — только не много! — хлеба из человеколюбия и для поддержания «свободной» советской власти, которая одна готовит вам «жирные куски»!..

И выгодно, — и морально...

О морали, повторяю, лучше погодим, а о выгоде... пожалуйста, думайте о выгоде, но придите в себя, воззовите к здравому смыслу и решите, наконец: выгодно ли кому-нибудь, какой-нибудь стране и всем им вместе:

1) просадить кучу денег,

2) истратить кучу своих людей на погибель в Чрезвычайках (вспомним недавнего капитана, начальника американского Кр. Креста),

3) накормить опричников и телохранителей московских владык, и, в конечном результате, остаться с той же гангреной на своем теле, под непрерывной угрозой ее распространения.

Это «выгода», которую получит Европа в наилучшем случае.

В другом, — более вероятном, угроза уже начнет осязательно воплощаться. Дым, смрад, удушливые газы разложения, физического или нравственного — вот «жирные куски», которые будут получены здесь — оттуда. Может быть, и милюковцам не понравится такое благовоние «пышного цветка свободы».

Подумайте, прикиньте, выгодно ли?

ТАЙНА П. Н. МИЛЮКОВА

> ...г. Милюков... высказался за необходимость усиления советской власти. Мы с должной похвалой отметили этот проблеск государственного сознания.
>
> *Большевистский «Путь»*

Есть истины, столь очевидные, т. е. видимые простым глазом, что непостижимо, почему они не сразу доходят до сознания, остаются не видимыми, — тайными.

«Истина», пожалуй, слишком громкое слово для той маленькой правды, о которой здесь будет речь. Но это не важно. Правда везде важна, и в малом, и в великом.

Я ее хочу сказать о П. Н. Милюкове и его «новой» тактике.

Собственно, о новой тактике говорить нечего. Если мы попробуем взять ее как тактику, да еще как *новую*, отдельно от П. Н. Милюкова, мы увидим, что ее просто не существует, просто *ничего нет.* Слова, которые ныне произносятся Милюковым и долженствуют представлять собою «новую тактику» парижской группы, – эти же слова давным-давно приняты и группой пражской центро-левых эсеров. Формально те же существуют и у многих других групп, например, у савинковской... Они, эти слова, давно нам знакомы, менее всего новы. Если б в них было дело, почему бы, кажется, всем этим «группам» не соединиться? Нет, они жестоко не признают друг друга. Милюковцы, правда, ухаживают за эсерами, но бесполезно, ибо все-таки объявляют, что у них какая-то «своя», да еще «новая» тактика.

Суть дела, значит, не в словах о тактике; и не в том даже, что старые слова называются и провозглашаются «новыми». Нельзя разгадать шумиху, поднятую на столбцах эмигрантских газет по поводу «новой тактики», этого пустого места, если рассматривать слова и направление милюковских газет отдельно от него самого. Ясно же, что не слова о тактике, старой с виду, как самый старый эсер, изумляют всех, создают столько споров и разделений; не сами слова, а то, что их, эти, произносит П. Н. Милюков, почтенный лидер известной либеральной партии. Он их произносит, он претендует на соответствующую им тактику, а между тем ни эти слова, ни эта тактика не соответствуют ему самому, П. Н. Милюкову.

Он переменился? Он чему-то изменил?

Увы, это думают не только враги его, но и друзья. Думают потому, что центральная правда о П. Н. Милюкове, хотя и простая, и очевидная, не доходит у них до сознания.

Перемены в П. Н. Милюкове не произошло ни на йоту. Он по сей день тот же, каким был до войны, во время войны и т. д. Не изменил ни себе, ни своей партии, ни своей тактике (делу), она у него одна, — была, есть и будет.

Да, слова его «другие». Но то, что они теперь как будто другие, разнятся с прежними, как разнятся между собою правительства Романова и Ленина — это лишь еще одно доказательство адамантовой крепости, непотрясаемой неизменности самого лидера партии к. д.

Однако объяснимся до конца.

П. Н. Милюков — органический антиреволюционер. Или ареволюционер. Он не мог, не может и никогда не сможет не только понять, но даже увидеть какую бы то ни было революцию.

П. Н. Милюков — прирожденный *вождь и глава лояльной оппозиции законного правительства.* Это его единая роль, единое, действительно его, место. И в этой роли, на этом месте, он совершенен.

В феврале 17 года место П. Н. Милюкова под ним провалилось. Временное правительство («революционное»!) он законным не ощущал, — что можно бы весьма убедительно иллюстрировать, — и вот четыре года, как он фактически находится в пустоте, не у дел. Четыре года исканий, метаний, смены надежд.

Надежда Милюкова каждый раз фиксирована. Перед крымской катастрофой его надежда обрести законное правительство определенно покоилась на Врангеле. Тотчас после падения Врангеля, — вспомним! — и явилась на свет «новая тактика», «поворот», и все такое. Значит ли это, что Милюков изменился? Стал другой? Отнюдь. Он лишь надежду свою перенес на других людей, в другое место, и как раз требующее от Милюкова вот этих, сегодняшних, его слов, этого уклона.

П. Н. Милюков ныне питает надежду, что законное правительство *будет обретено в Москве.*

Каким образом? Как допустить подобную надежду у Милюкова?

Нечего ее допускать, она — факт. И понятный именно у такого человека, как Милюков. Ибо, во-первых: правительство, которое он мог бы почесть законным, ему нужно во что бы то ни стало, во-вторых: все другие надежды, видимо, исчезли, в-третьих: дело с самой осени явно клонится в сторону международного признания Москвы, причем застрельщицей — могущественная Англия. Конечно, Милюков мыслит тут много предварительных этапов, условий, как, например, эволюцию большевиков, целую скалу их уступок (по его наблюдениям, это уже происходит) — вплоть до согласия разделить власть с меньшевиками и эсерами.

Быть может, он даже рисует себе и дальнейшее эволюционное шествие: постепенное вытеснение большевиков эсерами, во всяком случае полную потерю влияния партии коммунистической...

Но не пойдем далее. Нам довольно и этого. Надежда Милюкова определилась. Определились для него и главные черты, главные свойства московского правительства, в ближайшем будущем (по его соображениям) законного, — международно признанного.

При этом правительстве он и готовит себе *свое* место — лояльной оппозиции. Ясно: оппозиция этого правительства не может быть, сама по себе, такой же, как «оппозиция Его Величества». Каждая «правительственная» оппозиция должна соответствовать своему правительству. Милюков работает над спешной перекраской своих строений, дабы соответствовать месту, дабы он и его партия могли вступить в свою роль, — «критиковать и поддерживать» крайне левое (законное) правительство, как в свое время правительство Его Величества.

Очень может быть, впрочем, что Милюков надеется стать несколько ближе к этому новому, чаемому, правительству, занять положение несколько более официозное: ведь в создании романовского он не принимал участия; а теперь он взял на себя

и предварительную работу, стараясь приблизить вожделенный момент узаконения Москвы. Но эти его расчеты уже частность, по существу ничего не меняющая.

«Недоуменные вопросы» всех «Рулей» по поводу «глубокого и принципиального поворота в политическом мировоззрении П. Н. Милюкова» падают сами собой: нет никакого поворота, нет перемены. Есть перекраска, но ее требует только переменившийся цвет правительства. Нет и никакой перемены тактики: это все та же тактика прирожденных оппозиционистов, всегда готовых на суровую критику и верную поддержку существующей власти.

Все легенды о милюковских переменах должны, таким образом, быть разрушены. Все инсинуации врагов, упреки, в «соглашательстве», должны пасть: это вовсе не соглашательство, это сознательное согласие (и даже стремление) занять место оппозиции полубольшевистского правительства, только что будет узаконено.

Все дело в том, найдется ли место. Найдется — Милюков имеет неотъемлемые права на свое место. Он неизменен, как бы ни менялось все вокруг. Он утес, мимо которого бегут облака.

До сих пор объективное установление факта не позволяло мне коснуться сегодняшней милюковской надежды по существу. Она была только указана. Однако интересно: косвенным путем даже самое существо этой надежды, ее содержание, т. е. что это — *надежда на Москву*, даст нам мысли о неизменности Милюкова... и его судьбы. Правда, тут мы вступаем в другую плоскость, — психологических ассоциаций, но они любопытны.

Давно известно и утверждено, что создатель «новой тактики» до художественности лишен «такта». Назовем ли «бестактностью» странное его свойство, или иначе, — все равно до сих пор выходило, что едва Милюков скажет «бе», как жизнь ему немедленно ответит «ме». Едва он на чем-нибудь остановится, что-нибудь произнесет, как тотчас, словно по тайному закону,

окажется, что лучше бы он на этом не останавливался и этого не произносил. Не стоит перечислять всем памятных чудесных «совпадений наоборот» вроде несчастного «правого блока» перед самой революцией, немецкой ориентации перед самым поражением Германии и т. д. И теперь, в минуты сомнения, — редкие, правда, у людей трезвого рассудка, — тот факт, что Милюков принялся надеяться на законную Москву, очень ободряет и поддерживает нас. Он думает так, — лишнее доказательство, что будет наоборот.

Ведь если б не было, если б (допустим на мгновенье) надежды Милюкова реально осуществились, — это привело бы Россию не только к полной, но еще и позорной гибели. Нечего притворяться, мы это отлично знаем. На такую гибель Милюков работает, к счастью, не зная этого. И не узнает никогда, ибо работа его, к великому счастью для него и всех нас, тщетна, и останется тщетной.

А Россия, спасется или погибнет, — погибнет: во всяком случае своими, не милюковскими путями. Не будет «законного» московского правительства из эволюционизировавших большевиков с оилюковской, при нем, лояльной оппозицией. Так же не будет, как вода в Атлантическом океане никогда не будет сухой.

Относительно же П. Н. Милюкова можно задавать себе только один вопрос: когда жизнь, с привычной невежливостью, опрокинет его сегодняшнее упование, когда явится такое правительство, при котором Милюков, на своем месте, может и должен быть, — успеет ли он своевременно сыграть назад?

Жаль, если не успеет.

ИЛИ — ИЛИ

В Совдепии остался только один «талантливый историк». Он не только не расстрелян, но даже усердно развивает, в большевистском «Пути», известную тему: «Руки прочь от России».

Опираясь на него, газета Милюкова пытается доказать, что и совдепская интеллигенция раздираема несогласиями, подобно эмигрантской. Попутно посылаются стрелы в инакомыслящих.

В сущности — это стрелы против авторов всех писем, получаемых здесь не через большевистский «Путь», но путь окольный, а также против газет, подобные письма печатающих.

Например, против берлинского «Руля» (он их печатает много, и какие потрясающие, какие знакомые!). И уж прямо против вот такого вопля: «...Все живое, деятельное, что-нибудь смыслящее, разогнано или истреблено до конца... а потому верховодящие детьми мерзавцы чувствуют себя сатрапами и все правление превратилось в "володение" и объединилось в одном лозунге: Сарынь на кичку!.. Ясно, что Россия *доведена до такого состояния, что встать на ноги собственными силами и средствами она не может*». Это надо понять и крепко запомнить. Вот почему я в ужасе от той никчемной склоки, которую не прекращает наша эмигрантская печать за границей...

— «Ради Бога Живого, перестаньте!..»

Несчастный автор письма, как несчастные авторы других нелегальных писем (говорящих *одно и то же все*) — воображает, что на кого-нибудь подействует его заклятие именем Бога Живого. Кто-нибудь поверит, что это «не газетное, а крепко пережитое и продуманное». Наивно пишет, с опасностью жизни, может быть, и не подозревает, что часть эмигрантской печати уже приготовила ему возраженье: мало ли кто из вас там что думает! А вот этот «талантливый историк» из большевистского «Пути» другое говорит! И даже гораздо разумнее, по-нашему; а если мы осторожно еще не решаемся счесть его своим, — это лишь потому, что не ясно, «с какой это он точки зрения...».

Автор цитированного выше письма, авторы других подобных писем — политических? — разделяют свою странную судьбу с авторами писем уж таких «а-политических», за которые даже сама Ч. К., впрочем, нет, Ч. К. расстреляла бы и за них, но ведь она не судит и не делит «политику» с «а-политикой»...

Я напоминаю читателям «Общего Дела» воистину страшное письмо русских матерей. Это предсмертное письмо, *подписанное кровью* (фактически нечеловеческой кровью), — было напечатано во многих немецких газетах и *только в одной русской. Только в одной*! Другие, из политических соображений (в них входит «человеколюбие» в своей мере) — решили эту кровь замолчать. Скрыть. Она мешает. Нужно, чтобы мир разжалобился русскими детками не слишком, а в такую меру: посылал бы в Россию кусочки, побольше кусочков, и детки здешние тоже, через доброго дядю Нансена. Вот что надо. А эти глупые матери со своей кровью портят все дело. Просят «мир» на коленях... не о кусочках через дядю Нансена. Просят мир: «*взять* наших детей из этого ада». Так-таки неполитично и написали «ад», не подозревая, что «талантливый историк» из «Пути» пишет другое и что не просит «кусочков», не веря в «палачей», — значит, губит себя в глазах части русской эмиграции.

Следуя своей линии, эта часть, вместо неприличного кровавого письма, где говорится, между прочим: «Счастливые дети других счастливых стран!» «Просите и вы, чтобы мир взял наших отсюда!» — напечатала в «Посл. Новостях» и свой призыв к «детям счастливых стран», некое письмо в редакцию, в стиле писем в редакцию допотопного «Задушевного Слова»: «Милые дети! В России голод» и т. д. Несите кусочки (денежки) в «Зеленую Палочку»... и т. д. Это письмо, если б было подписано, то конечно, не кровью, а слюнями. Оно в линии политики. Эта неополитика так требует: слюни распустить, а кровь проглотить.

Не стоит дальше останавливаться на параллелях. Это следствия все тех же причин. Простой правды, ясной для нас и для оставшихся за советской чертой, ясной как день, верной как надежда, — нельзя вдолбить в головы здешним. Так нельзя, что уж не возмущаешься, не сердишься, — только изумленье, как перед чудом. Что это? Божье попустительство? Или рок?

Если Рок, — я хочу утешить тех, далеких... милых, знающих, понимающих, кричащих нам: во имя Бога Живого!.. уте-

шить, что не над ними повисла угроза Рока. Над здешними. Ибо лишь теми, «кем не владеет Бог — владеет Рок». И власть его скажется, все равно когда.

Правда же, верная как жизнь, такова: цельности в России нет. Она разделена. Межа — черная, бездонная. Но только на два стана разделена ею Россия. Только на два. Большевики совершенно правы, говоря: кто не с нами, тот против нас. Или — или. Середины не дано. И кто не против них, не на той стороне межи, не с этими, «наивно» взывающими к эмиграции в нелегальных письмах, не с большинством народа погибающего, не со *всей* интеллигенцией, еще не умученной и не расстрелянной, или расстрелянной вчера и позавчера, — тот, кто не с этими, говорю я, тот с «теми», с большевиками. Сама жизнь так устроила, так повелела: против жизни с дубинкой политики не пойдешь.

Логически ясно, почему оставшиеся относятся к эмиграции, как к чему-то целому, прибегают к ней, взывают к ней, ужасаются, не понимают, не верят ее сварам и разделению. Они считают всю эмиграцию в *своем* стане, *против* большевиков, как они сами против. Иначе, для чего убежали бы убежавшие? Кто перестает быть «против» — тот просто перепрыгивает межу, идет «за ними». Тот может оставаться или уезжать, это все равно. Он и за границей для прикованных к ярму не «наш», а «их».

Вплоть по 20 год мы жили одной жизнью со всей недобитой русской интеллигенцией. Думали, чувствовали и ощущали с ней одно. Мы здесь уже не могли перемениться, как не могли и не переменились остатки этой интеллигенции — там. Каждое (нелегальное) слово «оттуда» — точно из своей собственной души. Мы не удивляемся, что расстреляли Гумилева (он был не с ними, — т. е. *против* них), что умер Блок: мы видели, как к нему, больному, вселяли в кабинет красноармейцев и как Зиновьев, ни с того ни с сего, выдумал брать некоторых из нас заложниками, выбрал имена «повиднее» (Блок тоже был в числе), и не состоялось это лишь благодаря какой-то случайности.

Ни мы здесь, ни оставшиеся там, менее всего удивились аресту комитета. Мы давно уже сделались, в этом смысле, хорошими пророками своего отечества. Мы (все время говорю о «понимающей» части эмиграции) вместе с нашими близкими — далекими ужасались ловушке. Слава Богу, что «там» не читали, как Милюков приветствовал в «Последних Новостях» «этот первый пышный цветок свободы, расцветший на совдепской земле...».

Знаем мы, остатки физически истребляемой русской интеллигенции, знаем, какие «цветы свободы» могут расти на этой самой «совдепской» земле. Только действительно ничему не способная научиться, в корне ареволюционная и в ветхой «политике» одеревеневшая часть русских заграничников может болтать о подобных «цветах». И не смущаются, сейчас же забывают, один завял — другие вырастут. Гумилева расстреляли — Нансен пролетарского поэта выкормит. Во имя Бога Живого, что вы делаете! — вопит из совдепской земли какой-то «остаток» на пути «к стенке». А ему: что вы, вот вам самый живой «талантливый историк» из «Пути». Вы защиты требуете, а вот он говорит, что вы и без нее обойдетесь, всякого защитника от Ч. К. в колья встретите. Как вас разобрать?..

Мы знали почти всех умученных и застреленных в последнее время, и многих лично. Могу заверить сомневающихся: разделений, подобных эмигрантским, среди них не было. Знали мы и «перебежчиков», прыгунов через межу. Мы их почти не судили. Просто констатировали факт. Помнили, что «оттуда к нам — возврата нет». И те помнили. «Талантливый историк», наверно, помнит это до сих пор?

Ему нельзя не варьировать усердно заветную тему, не умирать за лозунг тех, с кем он: «Руки прочь от России!». Ведь мы им говорим то же самое. Сейчас Россия в их руках, но они знают, что когда она будет в своих собственных, то ихним не будет места. Или — или. Или Ч. К. — или Россия. Серединного нет.

А тем, кто прислушивается к разным «талантливым историкам», осторожно полемизируют с рептилиями и соблазняются

совдепскими цветами свободы, — тем никто и говорить не будет «руки прочь от России». Никому в голову не придет. Слишком понятно, что этаким рукам все равно нечего делать в России, в будущей — как в теперешней.

P. S. Увлеченные успехом рептилий, большевики с особенным жаром принялись за их насаждение. Цели ясные. Но непонятна мне малая заботливость честных русских заграничных органов о слое средней эмиграции, особенно новоприбывающей. Многочисленные письма от таких средних беженцев, ничего не понимающих, мало разбирающихся, искренних и несчастных, побуждают меня заступиться за них. Зачем отдавать на соблазн большевикам «малых сих»? Почему, вместо унизительной полемики с рептилиями, честные русские газеты не печатают время от времени просто их *список*? Такая-то — там-то. Эти — вот здесь... И довольно. Подобные фактические сведения очень помогли бы нашим средним беженцам, часто заброшенным в углы Европы и жадным ко всякой русской «свободной» строке.

Конечно, это надо делать с большим вниманием, каждый раз отмечая перемены, вроде берлинского «Голоса России»: в августе—сентябре 20 года он был заведомо для всех рептилией, поддерживаемой Коппом. Но ныне он перешел в другие руки и, под другой редакцией, сделался берлинским подобием парижских «Посл. Новостей», лишь более легкого тона.

БЕССТРАШНАЯ ЛЮБОВЬ

(Русский народ и Ив. Бунин)

I

Они встречаются все чаще.

Лица у них молодые. А глаза старые-старые, странные, — пустые.

Эти люди молчаливы. Но могут вдруг разговориться, и тогда говорят все о том же, — и почти одно и то же.

— Русский народ только теперь показал свой настоящий «лик». И это не лик, а звериная харя. Русский народ не способен ни к какому человеческому развитию, культуре, просвещению. Его нужно запереть, ему нужно совершенное рабство, железная палка.

Кто они, так говорящие? Правые? Убежденные последователи Пуришкевича, Суворина и — Максима Горького, только что заявившего на всю Европу, что он «ненавидит» русский народ, «этих низколобых, недостойных называться людьми?».

Нет, не правые. И не левые. Их нельзя никуда зачислить, никуда приписать. Они совсем не политики и на политику не претендуют. Это просто средние русские люди, но эта сама толща интеллигентных и полуинтеллигентных русских изгоев. Бывшие офицеры, бывшие офицеры-студенты, студенты-добровольцы, маленькие чиновники, учителя, техники, служащие... Они дети и внуки тех самых русских людей, которые когда-то поклонились русскому народу «до земли»; шли на служение ему, не боясь гибели. И, может быть, недавно еще «дети» привычно верили «богоносцу» Достоевского, Платону Каратаеву Толстого. Теперь они говорят: «Не Платон Каратаев — а товарищ Пятаков. Русский мужик — подлец и раб. Русский народ — зверь. Мы видели его харю».

Средний русский человек, — имя ему легион, — очень важен. Отметать его, ругать «обывателем», — какая жалкая политика! И какая близорукая грубость! Теперь в особенности: ведь каждый из этих изгоев, — учителей, студентов, добровольцев, — прошел борьбу, с оружием в руках или без оружия, но борьбу смертную. Речи его ужасны? Не отмахивайтесь от них с легкостью. Поймите, что нужно пережить, чтобы дойти до таких слов о своем народе, о собственном чреве, собственном истоке, — о себе самом. Не знают ли они все где-то подсознательно, чувственно, что и сами они — тот же русский народ? «Он зверь и раб. Значит, и мы звери и рабы. Пропала Россия».

Чтобы понять – достаточно взглянуть в пустые, старые глаза. В них – уже почти спокойное отчаяние.

Но мало понять отчаяние вот таких средних русских людей: надо пытаться помочь им. Погибла обманная мечта о «богоносце», но что, если и вот это новое «звание» о лице – харе – русского народа, на реальном опыте как будто основанное, – тоже мечта, обратная, но равно лживая в своей безмерности? И если мы захотим правды, только правды, где нам ее искать? Не живет ли подлинная правда жизни – в *«мере»?*

Вопрос о русском народе, о его сущности, о его лице, – старый вопрос. Мы не разрешим его. Но такой новой болью терзает он теперь сердца, что не должен ли всякий, по мере сил, сызнова подойти к нему, пытаться увидеть хоть малую часть *правды* и осветить ее.

Для этого, как бы скромно ни подходили мы к вопросу, нам нужна помощь художника. Только художник знает что-то о *«мере»*, о правде в мере. Но не Толстого, не Достоевского мы возьмем: пусть не будет бесполезного спора, пусть не возражают нам, что старые пророки, покорные духу своего времени, жили в старой мечте, идеализировали народ. Нет, нам нужен художник самый близкий, наш современник, и самый точный, самый правдивый.

Такой художник у нас есть. Это – Ив. Бунин.

Я знаю, что на него уже ссылаются, на него опираются, отчаявшиеся, зовущие народ зверем. Теперь – опираются; но не с тем же ли правом, не с тем ли малым пониманием, вниманием, делают они это, с каким еще недавно считали его «пессимистом» и «клеветником» на русский народ?

Так нельзя обращаться с художником. Нельзя пользоваться им по собственному произволу, для себя. Ему надо верить и, без готовых решений, без всяких собственных выводов и настроений, пойти за ним. Только тогда поможет он нам приблизиться к правде.

Каким же видели зоркие очи Бунина русский народ вчера, — видят сегодня? И пусть он нам не рассказывает о народе, а показывает его. Мы сами отличим лицо человеческое от хари звериной.

II

«...Не война, а прямо бессмыслица!»

«Сказывалось исконное — быть на стороне тех, кто одолевает. И в восхищение приводили вести о разгромах русской армии: ух, здорово! Так их, мать их так! — Восхищали и победы революции, восхищали убийства: как дал этому самому министру под жилу, — говорил Тихон в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось! — Но нарастала и тревога. Как только заговорили о земле, стала просыпаться злоба...» «И непонятен был в своем молчании, в своей уклончивости, народ. — Скрытен он, прямо жуть, как скрытен, — говорил Тихон. — Положим, что и музыка-то вся эта не хитрая. Правительство сменит да земелькой поравняет...» «Дело ясно, за кого он гнет, народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почувствует шлею под хвостом — вдребезги расшибет!».

Это не сегодня, это было вчера. И «шлея не попала под хвост». Все потянулось-пошло в деревне, как шло раньше, веками. В деревне Дурновке или — в России?

«...Россия — *да она* вся деревня, на носу заруби себе это!» — говорит Балашкин Кузьме.

Кузьма и Тихон — братья, оба дурновцы. Тихон — мужик состоятельный, хозяин, бездетный. Кузьма совсем одинокий, неудачник. Оба они как будто «с мыслями», но — страшно! оба как будто во сне. Глядят вокруг — и видят, но точно «сквозь тусклое стекло».

«Кузьма всю жизнь мечтал писать и учиться. Ему хотелось изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его». «Учиться? Но когда? Где?» Бесплодно пошатавшись по губернии, Кузьма вернулся, поселился у брата,

из милости, старую усадьбу стеречь. И в деревне он окончательно стал опускаться, дичать.

«В этой жизни страшнее всего то, что она проста, и с непонятной быстротой размениваеться на мелочи». «Зима, избы, проруби, мальчишки, собаки на крышах, холод, грязь, болезни, скотская лень мужика...» Детишки лядащего мужика Серого всю зиму в избе без света, как кроты; слепнут, шалеют от радости и удивления, когда засветят огонь. Старший сын Серого, Дениска, болтающийся парень, бьет отца смертным боем, бессмысленно, по пустякам. Потом, так же бессмысленно, мирятся.

У Кузьмы мысли не только мутные, но и двоящиеся. У Тихона, впрочем, тоже. Оба томятся почти телесным томлением, непрерывным, тусклым. Но и непутевый Дениска, что бьет отца, и он в таком же противном, оголтелом томлении. Написать глупое, безграмотное и сантиментальное письмо о себе — так, никому. И ни за чем. Встретился Тихон — отдал Тихону. Почитав его немного и выбрасывая в полоскательницу, Тихон удивляется: «Чудной мы народ. Пестрая душа. То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет...»

Пьют все, — ради чего стоит не пить? А выпьет Тихон, — этот странный в своей грубости, не похожий на Кузьму, мужик, — и все-таки телу как будто станет легче, хотя «душа продолжает жить своей жизнью, хмурой и тоскливой. Думы сменяют одна другую, но толку в них нет...». У Кузьмы бывают даже мгновенья, когда «слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилают ему глаза». Душа Захара Воробьева, этого на редкость здорового, жизнерадостного великана, «жадно искала подвига... все равно доброго или злого, даже скорее доброго, чем злого». Но подвига не было, и не могло быть, и он ничего не знал о подвиге. Он бессмысленно хватает, «не помня себя от внезапной жалости», нищую, хромую старушонку и тащит на руках пять верст. Бессмысленно твердит непонятные слова, чуя в них

какой-то чудесный намек на что-то: «Дуб дюже велик вырос, да дупло добре широко и ниток много распустил...» Не стерпя томления, жажды подвига, — он из вина делает подобие его: пьет гомерически. Пьет, чтобы сделать «удивительное», — и умирает на дороге. Но «страшная, смертельная тоска» не оставила его, пока не «разорвалось сердце».

Странно томился Егорка, непутевый малый, бездельник и лодырь: «Шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадет на глаза, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал собакам, птицам, курам: они, небось, никогда ничего не думают!» Мать свою, кривую Анисью, забросил. Много ночей провела она в пустой избе, что-то «вспоминая и думая. Но никто не узнал ее дум». «Губы сжаты, лицо смиренно. Голова, как всегда, кружится от голода». Медленно доев последний хлеб, умирая — и полузная, что умирает, поплелась за 15 верст к сыну в сторожку. Шла, слабела, путалась в цветах и травах. Сына не застала. Не удивилась. Осмотрелась. Клонило в сон. Видно, лечь поскорее... И вот, «она спала, спала, и умирала во сне...».

Что же Егор? Да ничего. Анисью хорошо схоронили (дал помещик красненькую), Егор, как подобает, напился и еще в тот же день отплясывал на могиле. Нанялся на железную дорогу. И вдруг, на осенней заре, взбежал на насыпь — лег под паровоз. — «Земля опустела...» И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же? На вопрос надо было ответить, но ответа Егор не знал.

Нежная безропотность Анисьи, нежность, бездонно-глубокая, смиренно-тонкая, — и бесстыжая беспомощность Егора, — не одно ли они? Не то же ли томленье — силы, съедающей себя в темной неисходности?

«Живорезы!» — кричит Кузьма. Но душа его двоится: «Нет, несчастный народ, прежде всего несчастный. Пропали мы с тобой, брат. Мы ни Богу свечка, ни черту кочерга». — Тихон вне-

запно соглашается: «Верно. Ни к черту негодный народ. Пашут целую тысячу лет... а пахать путем, т. е. ни единая душа не умеет. Единственное свое дело не умеют делать!.. Хлеба ни одна баба не умет спечь!.. Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит. Друг другу!.. Ты думаешь, не убили бы и меня на смерть лютую, кабы попала мужичкам шлея под хвост, как следует, кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, будет дело, будет!»

Но когда Кузьма тут же спросил брата (они говорили о недавних казнях) — значит, давить? — Тихон «отозвался страдальчески: ну уж и давить... Это ведь я так...».

Бог, — может быть?..

«Господь, Господь! — говорит Кузьма. — Какой там Господь у нас? Я вон околевал, лежал, много я о Нем думал-то? Одно думал? Ничего о Нем не знаю и думать не умею! Не научен!»

Кузьма хоть знал, что ничего не знает. Аверкий не знал и этого. Захворал в людях. Пришла за ним жена, просто, чисто, деловито повела домой — умирать. Там он и стал отходить, медленно удаляться, лежа в санях, в риге, глядя ночами на холодные звезды. И был чем-то похож его отход на смерть князя Андрея у Толстого; не все ли русские люди — русский народ? Не вся ли Россия — деревня?

Но лежа в риге, отходя, Аверкий думал: «Ведь вот какое чудо! Жил-жил, а ничего не помню, ничего не понимаю». Когда зашел дьячок, сказал какой-то текст в разговоре, — Аверкию стало приятно. Хотел ответить — не сумел, «запутался в мыслях». Он и после, «как ни старался — не мог разобраться в том высоком чувстве, которое возбудил в нем дьячок словами о земле, о персте, о духе и Боге; но, вспоминая их, каждый раз ощущал подъем душевных сил».

Тихон, столь грубый и страшный, что даже Кузьма порою зовет его мысленно «живорезом», а сам он, отмахиваясь, — «Не до леригии нам, свиньям!» — признается: «Ни к кому у меня жалости не было», — этот самый Тихон, сидя с братом

вдвоем, вдруг говорит: «Ах, брат ты мой милый! Скоро-скоро и нам на суд пред престолом Всевышнего. Читаю я вот по вечерам требник, — плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать. Да вот, постой... — И быстро поднялся, достал толстую книжку, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, без-образну, безгласну, не имущую вида». — «...Пропала жизнь, братушка! Была у меня стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *а она взяла да и истаскала его наизнанку...** Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, праздника, мол, дождусь, а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей*». Возвращаясь в этот вечер от брата, «Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску...».

Одно тупое томленье. Все то же. И лишь одно ждало каждого впереди: и «живорезов» Тихона, Егора, Дениску, и святых, лампадным огнем теплящихся, Анисью, Аверкия, старца Таганка, одно — смерть.

Старец Таганок — «нечеловечески прост». Он прожил целое столетие, весь XIX век, и — не заметил его. Ничего не помнит, потому что ничего никогда и не знал. Не проносил ли и он свою жизнь *наизнанку*? Он готов и еще пожить лет пять; вот, только, разве: «Через пять-то годов вошь съест», — говорит он как-то стыдливо-равнодушно.

Таганок досматривает свои последние сны во сне. Умрет и он, как Анисья, как Егорка. Но святая смерть Анисьи, похабная — Егорки, подвижническая — Захара Воробьева, что это, — исход ли? Разрешение ли? Не грубый ли только прерыв томленья личного?

Ведь у всех у них смерть одна: всех «вошь съела».

---

* Везде курсив И. Бунина.

III

Лишь на одну минуту стали мы рядом с художником. Лишь едва-едва приподнял он край завесы, показал нам лицо народа, — и мы его увидели. Не могли не увидеть, не могли не почувствовать правду, открываемую с таким бесстрашием любви.

Что же мы видели? Что мы скажем?

Скажем только самое несомненное, самое бесспорное. И на первый, страшный, вопрос: кто — русский народ? Кто — русский мужик? Человек или зверь? — мы должны ответить раз навсегда, и ответить — просто уничтожением вопроса. До какого отчаяния нужно довести человека, чтобы он ставил себе этот вопрос, или до какой постыдной потери личности, чтобы он ответил на него, как Горький: «Они недостойны называться людьми!»

Нет, мы знаем; — знают в темной глубине души и отчаявшиеся: русский народ — *люди*, подобно всем другим народам. Но как у других — есть у него свое собственное лицо, единственное, особенное. Вместе с Буниным, мы еще раз, еще ближе, всмотрелись в него, — и в жизнь народа, вековую, — вчерашнюю.

Великое томление увидели мы. Убийцы, сквернословы, лентяи, пьяницы, подвижники, сильные, святые, весь народ, как Анисья, — «спал, спал, умирая во сне». И не хотел умирать, не хотел этого сна, бился в нем, тщетно вырываясь, как из пут кошмара. Нельзя было не родиться томленью: безмерный порыв внутренний — и связанность сна, непониманья, полуслепота, — «как сквозь тусклое стекло»; жажда неведомого подвига — и жизнь самая страшная, ибо страшная простотой, «обыденностью» неисходной, жизнь, все время *таскаемая наизнанку*...

Хороши или дурны были общие условия русской жизни безотносительно, — все равно. Дело в том, что как раз для русского народа, в его сущности, эти условия были самыми неподходящими, — самыми дурными. Возможно, что другой народ, в

тех же условиях, оказался бы, к 20-му веку, все-таки более «цивилизованным», культурным. Но пора понять: народ русский неспособен к культуре в ее чисто западном, европейском виде, т. е. культуре технической, механической, *только внешней*. Народ не понимает ее, не принимает ее. Шагу не может сделать по ее пути, — если это не есть, в то же самое время, и путь *просвещения*, культуры внутренней.

А условия жизни в России были таковы, так складывались, что именно просвещения народу неоткуда было достать. Государство заботилось главным образом о крепости стен, которым отделило себя от народа. Церковь, спаянная с государством, поглощенная им, пребывала в неподвижности. Да и могла ли церковь *православная*, по самому существу своему, дать народу внутренний устой, научить *в жизни* отличать добро от зла? Кто знает сущность православия, тому понятно, что именно к *жизни* народной и не могло оно приблизиться, помочь высветлить ее «мутное стекло». Негодяй Дениска пишет письма «никому», скорбит, «жалкует», страшный Тихон дрожащими руками хватается за требник и плачет над «нашей красотой, безгласной и без-образной», Аверкий жадно слушает текст дьячка, — и все они «не умеют думать о Боге, *не научены*»; у всех у них — нет *никакой религии*; никакого понимания или знания, ни капли света: но непрестанное воздыхание, великое томление, тяга к свету.

Перед Россией и русским народом, каков он был, — и есть, — лежало два пути. Только два. Первый: «спать, спать, умирая во сне», ждать, что «через пять годов» — пять веков — «съест вошь». Второй: разрушить «страшную обыденщину», вывернуть корни. Без выворота корней или без «шлеи под хвостом», без того взрыва безумия народного, о котором Тихон говорит: «Будет дело, будет!», могла ли Россия пойти по второму пути? Внутренняя сила, века сдавленная, — и сила *слепая*, — как бы это она, вырвавшись наружу, не расшибла все вдребезги, не послала все к чертовой матери, не соблазнилась самыми предельными соблазнами? Припадок был неизбежен, и неиз-

бежно он проходит. За ним — ждет такое страдание, какого не видели, может быть, и народы более грешные. Но страданье новое, ибо не тупое — а режущее. Оно не даст уснуть русскому народу. Не даст умереть во сне. Оно поставит перед ним, — и ставит уже, — смерть «лицом к лицу». И в муках родится новое понимание смерти, жизни, борьбы за жизнь.

Высшей Волей был избран для России этот тяжкий — второй — путь. Если б было дано выбирать нам, если б мы знали, что выбираем — не устрашились бы мы пути второго? Думаю, устрашились бы. Но «боящийся — несовершенен в любви», и мы редко услышим ее последние повеления.

Слышим ли их теперь? Видим ли, какого выбора требовала истинная любовь к России?

Кто видит и понял — тот принимает все, совершившееся в России, — и еще недовершенное, — отнюдь не «преклоняясь перед фактом» или «покоряясь воле Божией». Нет, не Божья только, но и наша собственная воля: обе воли тут — одно. Лишь в таком принятии русского народа, — с его безумием, с его соблазном и падением, с мукой, разрешающей от уз смертного сна, — живет надежда. И к такому принятию народа и пути его — нас ведет знание правды о нем.

Бесстрашен в правде Бунин. Не боится показать: «Воры, пьяницы, мошенники, убийцы, да такие бесстыжие, что друг другу не верят...» Не скрывает: все они, и мужики, и господа, могут «или властвовать — или бояться...». Бунин смеет его видеть: *не он ли видит и тяжкие, смутные думы, слезы, жажду подвига, нежную тонкость, святую чистоту — этих самых убийц?*

Великое томление народное — его томление. И не хочет зрячая любовь художника-человека, чтобы его мать, его Россия, такая, какая есть, — «спала, спала, умирая во сне...».

«Пестрая душа. Чудной мы народ. Но несчастный, несчастный прежде всего... До чего затоптали, забили...»

Еще далеко не совершилось все, чему должно совершиться. Еще едва мы у перехода от безумия к новому нашему острому,

страданью. Но как бы мы ни были несчастны, теперь — не слезами Тихона плакать нам над «лежащей во гробе по образу Божию созданной нашей красотой, без-образной, безгласной, не имущей вида...».

Безмолвен, страшен гроб, — но камень от этого гроба уже отвален.

Тихон плакал, потому что боялся:

— Пропала жизнь!

Нам, если мы, вместе с Буниным, видим правду и верим нашей любви, — нельзя бояться: жизнь России, жизнь русского народа — только у начала.

ОПЯТЬ О НЕЙ

О ней, о России. И о них, там оставшихся. О верных своему лицу человеческому, конечно. Героически сохраняющих его. Только они в России — Россия подлинная. Не бесовское же марево она.

Слабые, закрутившиеся в бесовском мареве, — что о них говорить? И судить их не стоит. Они мертвы для будущего. Оставим их в покое, несуществующих.

Наша непрерывная тоска, забота, мысль — о верных России, о непримиримых, — о тех, кто страдает всех глубже, всех ужаснее. Пусть они знают, что у русских, не погибших духовно, и здесь, в Европе — то же внутреннее страдание, как у них, там. То же самое, та же боль и то же ожидание — *революции*, т. е. единственного, что может внести перемену, растопить застылый ужас всех последних годов.

Мы так близки духовно, так понимаем друг друга, как будто и не разлучались. Только у нас, здешних, поверх нашего страдания, еще боль за тех, страдающих и физически, — мы знаем, как... Впрочем, что об этом?

Есть целомудрие молчанья
И целомудрие любви...

Мы давно отвыкли возмущаться здешними эмигрантами-отщепенцами, не разговариваем с ними, как с несуществующими. Лишь в редких случаях, когда какой-нибудь из этих господ, выдавая себя за самого «свежего беженца» из России, начинает по-своему распространяться о наших близких, оставшихся, да еще передергивать, — приходится вступиться. Опять ради них только, ведь они сами ничего не могут сказать. Не очень давно в «Последних Новостях» была такая статья: автор, сентиментально скорбя по поводу смерти Блока, как будто защищает оставшихся в Совдепии интеллигентов от жестокосердия эмигрантов; и вдруг, непонятным вольтом, переходит на горячую защиту «Всемирной Литературы», учреждения совдепского, весьма известного, с его покровителями Гржебиным и Горьким. Уже от лица «оставшихся» (и даже ныне погибших) автор этой прекрасной статейки повествует, какое возмущение вызвал клочок заграничной газеты, где Мережковский назвал вышеупомянутое учреждение «бесстыдной спекуляцией». Объекты спекуляции, русские писатели, будто бы возмутились, что один из них, такой же объект (и я, и Мережковский, оба на своей шкуре знаем эту «Всемирку») — назвал вещь своим именем. Возмутились и горой встали за Гржебина и Горького. Как, мол, смеет Мережковский позорить наших отцов и благодетелей. Если они нас эксплуатируют, издеваются над нищими, так на то они нам и дадены.

Вот какая горькая клевета на несчастных, голодных, с кляпом во рту, русских литераторов выходит из вывертов и передержек «Последних Новостей». Как было бы лишне-больно «там», если бы эта статья туда дошла. К счастью, «Послед. Новости», газета столь известная странной любовью к передержкам, очень редко и трудно доходит в Россию. Я пишу все это в виде предупреждения лишь на случай. У наших близких слишком мало сил, мы не имеем права тревожить их отсюда ни малейшей мелочью.

Ведь только подумать, они опять на пороге зимы... пятой! Какое на пороге, уже за порогом. Уже снова холод сжимает

виски, пухнут голые пальцы. А если во вновь открытых «для Европы» магазинах выставлены миллионные яства, то ведь не для них же, не для настоящих людей, — не для России. Ничто не изменилось в жизни подлинной России: ее ужас застыл и длится. Только оседает, трескается и тихо проваливается земля под ледяной глыбой.

Коммунизм — капитализм, национализация — денационализация, всемирная революция — передышка... И опять коммунизм, опять капитализм... Это только старуха Европа не видит, что сказывается сказка: на колу мочало, начинай сначала... Да и Европа скоро устанет жевать это мочало.

Ничто не изменилось в России, и невозможна перемена настоящая, качественная, а не количественная (больше смертей, меньше хлеба) пока Россией владеют автоматы. Автомат может произносить только одни, известные, действия, произносить все те же, известные, слова. И репертуар каждого автомата ограничен, хотя заводить его можно сколько угодно.

Неестественность, небывалость, непереносность происходящего в том, что автоматы захватили живых людей, что зубья машины перетирают живую жизнь. Перетрут?

«Мне хотелось бы передать вам атмосферу: живое все-таки пробивается сквозь смерть, и оно уже громче. "Их" уже все теперь ненавидят, в самых неожиданных кругах... Каждый день можно ждать второго Кронштадта...»

Это пишут мне с дороги убежавшие из России только что, — вчера. Еще ничего не знающие о здешнем, и все знающие, все понимающие о том, что «там».

Насколько прав объективно автор письма, ошибается или не ошибается он в сроках — я сейчас этого не касаюсь. Но мне близки его слова, как и чувство, их диктовавшее. Наше общее с ныне живущими в России чувство, повелительная жажда перемены, *ожидание революции*. Ясное, как чистая вода, знание: только *революционным* методом может произойти сброска автоматов. И только сброска их будет первым вздохом России.

Но все ли знают, сколько нужно человеку сил, чтобы — *ждать?* И ждать не просто, а пламенно, свято, страстно, ждать, сидя в глубине преисподней ждать, ждать? Много сил нужно для этого. Вести, приходящие из России, говорят нам, что силы живых людей не иссякают: они черпаются ныне из верного источника. Они не изменят им и в эту страшную пятую зиму.

Как они провели прошлую, четвертую? Весной приехал оттуда мой друг и вот что сказал: чтобы передать вам с наибольшей яркостью и ясностью жизнь оставшихся в эту зиму в Петербурге (всех нас, людей живых) — меня просили выучить наизусть одно стихотворение. Оно дает понятие о нашей зиме самое точное и верное. Просил меня выучить его и сказать вам совсем не автор, а человек, даже не знающий лично автора. Впрочем, это вам известно. А учить наизусть надо было потому, что ведь никакой бумажки перевезти нельзя...

Выписываю стихотворение для имеющих уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы понимать. Безразлично имя автора. Это они — автор, живые люди в России. Это их зима, и эти стихи — повесть о них.

Декабрь. Морозит в небе розовом,
Нетопленный темнеет дом,
И мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию — и ждем.
И ждем — чего? самим известно ли?
Какой спасительной руки?
Уж вспухнувшие пальцы треснули,
И развалились башмаки.
Никто не говорит о Врангеле,
Тупые протекают дни.
На златокованом Архангеле
Мерцают сладостно огни.
Пошли нам крепкое терпение,
И кроткий дух, и легкий сон.
И милых книг святое чтение,
И неизменный небосклон...

Но если в небе Ангел склонится
И скажет: «Это навсегда!» —
Пускай померкнет беззаконница,
Меня водившая звезда!
Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,
О бедная моя любовь...
Струями нежными не пылкими
Родная согревает кровь,
Окрашивает щеки розово,
Не холоден минутный дом,
И мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию — и ждем.

МЫ БОЛЬНЫ...

. . . .
. . . .
Растленной язвой чумной
Мы все заражены.

«Дверь»

Французы не перестают изумляться безнадежным распрям среди русской эмиграции. Не могут понять, как это эмигранты такой простой вещи не сделают: составили бы, мол, коалицию, куда вошли бы либералы, радикалы и умеренные социалисты. Такая коалиция могла бы здесь продуктивно совершать подготовительную работу и послужить зерном будущего правительства в России («Ere Nouvelle»).

Эмигранты вежливо улыбаются на эти дружеские замечания, в душе считая их «детским лепетом». У наших здешних политиков намозоленные умы; ничего простое, прямое, первичное не имеет к ним доступа. Положим, не всегда «истина глаголет устами младенцев», — но иногда и глаголет. Не всегда следует хватать быка за рога, но порой следует. Не все задачи

решаются по способу Колумба, но иные только так и решаются. Наши эмигранты, задавленные важностью собственной политики (вернее – собственных политик), – просто забыли и о младенцах, и о быке с его рогами, и о Колумбе с его яйцом.

В данном случае, впрочем, если бы они стали оспаривать предложения «Ere Nouvelle», они нашли бы много возражений очень серьезных, очень реальных. Но сам-то спор был бы ненужный; и все серьезные возражения – оказались бы празднословием, ибо: невозможна первая основа, самый корень, – невозможен *сговор* между русскими эмигрантами-политиками. Не только между либералами, радикалами и социалистами, – куда! Есть ли он у либералов между собой? У радикалов? Между одними социалистами и другими?

Если дать себе минуту активного толстовского «неделанья» – то опомнишься и станет жутко. Что это такое? Физическое что ли? Болезнь какая-нибудь? Что делят между собою эти люди, одинаково ничего не имеющие? Равно все потерявшие, – и прежде всего – одну общую родину? Как это у них пропала примитивная, просто человеческая тяга к склейке, и разлетаются они все, точно горсть сухой пыли?

Нет, это очень страшно. И до такой степени необъяснимо, до такой степени противно здравому смыслу, общим и личным интересам всех и каждого, что невозможно никого обвинять, обличать, упрекать. Они должны бы ответить: c'est plus fort que nous *. Мы сами не понимаем, почему это так. Но мы ничего не можем.

Одно, пожалуй, объяснение: общая боль. Есть же она, хотя бы бессознательно, даже у самых бесстыдных. И –

От боли мы безглазы,
А ненависть, как соль,
И ест, и травит язвы,
Ярит тупую боль...

* это сильнее нас (*фр.*).

Это оправдание, но, конечно, оправдание для слабых. И нам приходится сделать вывод: среди массы русской эмиграции, по количеству равной чуть не целому какому-нибудь народу, нет сильных людей. Может быть, и есть они где-нибудь, в углу, разъединенные, задавленные нуждой, неизвестные; но из тех, кто наверху, из «политиков» и не политиков — нет сильных ни одного. И ни одного, кажется, нового. Оттого так потрясающе слабы традиционные группировки, партийные и другие. Друг другу эти группировки посылают удары во всю слабую силу, и боятся друг друга, этих слабых ударов, ибо сами слабы.

Первое чего бы стали добиваться сильные люди, если б они появились, — это единения. Связи, скрепы, совместности — *и это во что бы то ни стало.* Коалиция между либералами, радикалами и правыми социалистами есть вещь *объективно* не только возможная, но естественная, даже повелительная, при данных обстоятельствах. Неудивительно, что иностранцы, глядя свежо, просто и очень со стороны, нам на нее указывают.

Но мы безглазы, больны, запутались в собственных сложностях. Почти ни один эмигрант-политик не может персонально выносить около себя другого, независимо от того, согласен он с ним или не согласен. Ищет несогласия, жадно и болезненно. Ищет даже не яблока для раздора, а хоть крупинки. Лезет в такие мелочи, что иностранцу совестно рассказать, да и нельзя.

Опять то же: слабые всегда ищут несогласий, как сильные — согласий, положительного, ибо только оно имеет цену.

Стоит взглянуть на эту картину. Почему, например, Савинков и эсеры даже на одних и тех же половицах ни минуты встретиться не могут? От несогласий относительно частной собственности на землю? Как бы не так! Почему тогда тот же Савинков на ножах с Милюковым, который уж никак не за социализацию земли и сущность «программы» которого с микроскопом не отличишь от савинковской?

Почему обе русские газеты в Париже заняты взаимным подсиживанием, непрерывно восстают друг на друга и, наконец, стали «драться Врангелем», как толстовские супруги в «Крей-

церовой сонате» «дрались детьми»? Никакой иностранец не поймет этого, не войдет в это. Недавно француз, исключительно близкий к России, с удивлением спрашивал, зачем это понадобилось одной части русской эмиграции с упрямой яростью «нападать на лежачего» (как он выразился), на свою же армию, сейчас даже и не действующую? И почему, если спор так серьезен, выносить его на страницы газет, а не решить простым способом: избрать лицо или несколько лиц, которым *обе спорящие группы равно доверяли бы*, и послать их исследовать на месте положение эвакуированной армии Врангеля? Ведь спор, от «чтения в сердцах», уже перешел и в область фактов. А факты, те или другие, не трудно установить объективно.

Увы! Свой способ разрешения спора француз предлагает, не учитывая первого препятствия: днем с огнем не сыщешь теперь даже и одного-единственного человека (не говоря о двух, трех), объективности, беспристрастности и честности которого доверяли бы *равно две стороны*.

Не сыщешь; да никто и не ищет. Да может быть, и нет его, действительно. Кто беспристрастен? Каждый в страстях.

И умные – безумны,
И гордые больны...

Болезнь слабых – страстное искание разногласий между собой; но это еще не последняя ее фаза. Она гораздо страшнее. Искание и утверждение разногласий в ходе времени мало-помалу приводит к исканию... согласия с врагом. Да, к чему-то вроде бесчисленных с ним миров.

Что же? Не присутствуем ли мы сейчас при начале этого движения? Не видим ли мы уже с ясностью — массовую тягу к «соглашательству»? А кто, в здравом уме и твердой памяти, решится отрицать, что в этой тяге, нелепой, бессмысленной и безумной, – болезнь?

Слабые недолго сопротивляются болезни. Наступает момент, когда они, напротив, сами бросаются в гибель, стремясь ее ускорить.

Пусть мы все слабые. Но не все же равно? Если захватить болезнь в первой стадии, — когда она выражается только в ненависти к ближним, в страстной междуусобице, — ее еще возможно победить. «От боли мы безглазы...», но если б все-таки кто-нибудь попытался *волей* вернуть себе зрение? Где наша воля?

Я знаю, что у тех, оставшихся в России живых людей, воля есть. У них есть и еще что-то, недаром они пишут оттуда: мы бодры, не беспокойтесь за нас... У них есть *вера.*

А мы? Здесь? Так-таки все и разлетаемся бесславной пылью?

...О, черный бич страданья,
О, ненависти зверь!
Пройдем ли покаянья
Целительную дверь?
Замки ее суровы
И створы тяжелы.
Железные засовы,
Медяные углы...
Дай силу не покинуть
Господь, пути Твои!
Дай силу отодвинуть
Тугие вереи...

РОМАН О МИСТЕРЕ УЭЛЛЬСЕ

Ответ mr. Черчилля в «Sunday Express» на книгу Уэлльса о России полон умного и сдержанного достоинства, а, главное, той человеческой правды, от которой мы давно отвыкли. М-р Черчилль не был в большевицкой России и 16—17 дней, не знает, вероятно, и тех трех—четырех русских слов, которые удалось выучить г. Уэлльсу. А между тем о России он знает и говорит все, что знаем и говорим мы, — не последние русские писатели, прожившие с большевиками вплотную три года, в

самом Петербурге. Это еще раз доказывает, что явление большевизма — вовсе не явление специфически русское; внутреннее грязное дело «грязного и глупого» (по выражению Уэллься) русского народа. Достаточно человеческого здравого смысла, обыкновенной честности, чтобы понять это явление и громко, ответственно определить его.

Слова м-ра Черчилля, повторяю, полны сдержанности и достоинства; он почти не полемизирует с Уэлльсом; как бы слегка даже отстраняет его, говорит о деле, — о большевиках, — о том, что ныне называется «Советским правительством». Для многих из нас, — не одних русских, но и французов, и других иностранцев, для всех нас, знающих большевизм, — эти слова, произнесенные устами англичанина, были облегчением и в том смысле, что сняли с нашей души тяжелое подозрение: уж не типичен ли для Англии Уэлльс? Не большинство ли в современной Англии — вот такие Уэлльсы?

Мне, впрочем, уже давно казалось, что Уэлльс — тип скорее всемирный, притом довольно часто встречающийся. Горький, например, которого я лично знаю лет двадцать, того же типа. Это не мешает Горькому быть русским до мозга костей, как Уэлльсу — англичанином с головы до пят.

Для русского писателя изучение этого типа в английской одежде представляет особенный интерес.

И я предлагаю читателям, имеющим воображение, сделать со мною художественную экскурсию. Ведь иногда художественный подход открывает нам глаза на самые конкретные тайны действительности. Я предлагаю взглянуть на книгу путешествия в Россию H. G. Wells'a — как на роман. Кто-то написал роман, взял в обстановке, гениально приготовленной самой жизнью, главным героем романа англичанина и назвал его «мистером Уэлльсом». Неизвестный автор, конечно, занят всецело своим героем. Ему важно нарисовать его наиболее яркими чертами, важно преломить действительность сквозь него. Ведь мы, в художественном произведении, не рассказываем о людях, а стараемся показать их действующими или говорящими...

Но прежде, чем передать в кратких словах содержание «романа о мистере Уэлльсе», я упомяну, что уже есть и продолжение: герой «Путешествия в Россию» на «Reply» * Черчилля мгновенно написал тоже ответ. Ответ пространный, — газета принуждена была даже напечатать его мелким шрифтом, — и, Боже мой, какой это художественный ответ! Всемирный тип в нем так ярок, что заглушены чисто английские черты — сдержанность и вежливость. Герой романа, м-р Уэлльс, жестоко обиделся на эту неуловимую снисходительность, с которой м-р Черчилль отстраняет его, говорит не о нем, а о деле. Обидевшись, мистер Уэлльс ослеп, потерял дар слова и, естественно, забыл, что он культурный европеец. Мне редко приходилось встречать в европейской печати статью более дурного тона, более личную и потому столь жалко-беспомощную. По существу о ней сказать нечего, и я перехожу к короткому пересказу «романа о мистере Уэлльсе».

Герой — человек, конечно, самый передовой. Он — социалист. Он — революционер. Он — художественная натура, любопытен ко всему необыкновенному. В России, этой далекой, экзотической стране, происходит необыкновенная социалистическая революция. Буржуи (мистер Уэлльс, конечно, ненавидит всей душой буржуев) говорят, что там нет социализма и уже давно нет никакой революции; но на то они и буржуи! У мистера Уэлльса, кстати, оказываются в необыкновенной среде знакомства: экзотический друг Максим Горький. Это очень удобно: да и охрана, в случае чего...

Заручившись такой протекцией, запасшись родными фунтами и обещаниями, одетый в наилучший, самый практичный и добротный дорожный костюм, мистер Уэлльс отправляется в путь.

Он сознает себя отважным путешественником. Он понимает, что ему надо будет перенести лишения комфорта, и хотя, конечно, он взял с собой «tub» **, — придется ли пользоваться им

* «Ответ» (*англ.*).

** лоханка для купанья (*англ.*).

каждый день? Но он готов на все. Он любопытен и смел, да добрый Горький, который «страшно любит» европейскую культуру, конечно, примет его как следует.

Действительно. Далекая страна социалистических «людоедов», точнее — ее «правительство» приняло именитого изыскателя с распростертыми объятиями (это Ллойд Джордж провел параллель между «советским правительством» и людоедами). Мистер Уэлльс был тронут. Но он, конечно, заранее решил быть беспристрастным, строгим, высказать потом всю «правду», только правду своей души... И прием не мог его подкупить.

На минутку он поморщился, когда ему предложили помещение в лучшем коммунистическом отеле... Но Горький тотчас же забежал, взял его к себе, в свою теплую, уютную квартиру, доверху полную произведениями искусства, скупленными задешево у «буржуев». Она у него совсем похожа на музей... или на лавку старьевщика.

За мило убранным чайным столом, под лампой, в обществе Горького и его (тогдашней) жены Андреевой (комиссара всех театров и, с прошлой осени, «министра торговли и промышленности») — мистер Уэлльс «по душам» разговаривает со всеми знаменитыми представителями власти «Советов» и Чрезвычайки. От Зиновьева и Зорина он прямо в восторге. «Мой друг Зорин... Мне не хотелось бы его обидеть...».

Не только у Горького, конечно, искренно и откровенно болтает мистер Уэлльс с носителями власти: он только и делает, что везде болтает с ними. О, по-прежнему тверда его прямая, правдивая линия! Он не останавливается перед высказываньем своих мнений в глаза всем начальникам коммуны. Ужасное разрушение! В каком виде улицы Петербурга! Какой недостаток продовольствия у жителей!

Но мистер Уэлльс приятно удивлен: честные и простодушные правители не спорят, соглашаются. «Да, мистер Уэлльс, ужасно! Мы сами видим. Но вспомните, мистер Уэлльс, — блокада! Ваша же блокада!»

М-р Уэлльс краснеет от стыда и возмущения. «О, да! Как это справедливо! Но неужели они думают, что передовой англичанин может быть за бесчеловечную блокаду революционной страны?»

Все больше убеждается мистер Уэлльс, как честно правительство, главари которого бессменно с ним беседуют. «Главное — честно!» — настаивает он. — «Неопытно, конечно, и очень простодушно. Не верх ли простодушия — этот постоянный вопрос: "Скоро ли наконец будет у вас, в Англии, революция?" Я им пытался возражать, что, по-моему, у нас не будет революции, объяснял, почему, — нет, всё свое!»

Новые друзья исследователя везут его по всем богадельням: в приют науки, в приют искусств. Там призреваются остатки буржуазных ученых, буржуазных писателей, музыкантов и т. д. Честное правительство хочет не ударить лицом в грязь, велело собрать на смотр всех. И вот, мистер Уэлльс в положении столичного ревизора, осматривающего сибирские тюрьмы в сопровождении местных властей. Он это понимает. Он так и говорит, что, мол, мое появление, человека свободного (сытого и одетого), было нежданно для этих людей: «Я был этаким "вечерним гостем", постучавшимся в "тюремную камеру"».

Ему нравится быть «лучом света». Он сентиментален и легко умиляется как над собой, так и над другими. Он со слезой описывает этих «несчастных» людей, полумертвых заключенных, и высказывает несколько глубокомысленных суждений: «Нет, люди науки и искусства слишком хрупки! Трудно им жить в атмосфере революции, даже и при таком честном правительстве! Оно заботится о них, — вон даже в одном из приютов устроило парикмахерскую, специально для ученых, — но все-таки революция! И блокада! Нет, не выжить им, бедняжкам!»

Известно, что высокий посетитель, осматривающий тюрьмы, обращается к арестантам: «Кто имеет претензию?» Известно также, что ни один опытный арестант никогда никакой претензии не заявит. Он знает, что посетитель уедет, а свое начальство останется.

Но русские интеллигенты не все еще научились тогда уму-разуму. Доказательство — писатель, слава Богу, ныне здравствующий в Италии Амфитеатров. Он бросился к «лучу света», стал пытаться что-то сказать, что-то показать... Но высокий гость даже не дослушал претензий. Местные власти оттерли просителя, заметив, кстати, и неудовольствие на лице нашего героя.

«Ужасно неприятно!» — жалуется мистер Уэлльс. — «И чего он? Другие гораздо благороднее держали себя. Расспрашивали о движении науки в Англии...»

Маленькую эту свою неприятность мистер Уэлльс скоро забыл, но тюремщики не забыли: беспокойный арестант, писатель Амфитеатров, немедленно после отъезда «вечернего гостя», был схвачен и препровожден куда следует.

Шли, однако, дни. Каждый лишний день тесного контакта с властями укрепляет мистера Уэллься в его первоначальной догадке: это честные, энергичные люди; еще неопытные, простодушные, — но, главное, — честные!

Мистер Уэлльс тем более доволен своим беспристрастием, что тут же смело объявляет: он — не марксист. Ему всегда, до отвращения, не нравилась... борода Маркса. Мало того, он и не коммунист.

«Совершенно так же не коммунист, как и Максим Горький».

Одно мое воспоминание о мистере Горьком как будто подтверждает эти слова мистера Уэллься.

Тотчас после большевицкого переворота, мы, встретив Горького, стали просить его ходатайствовать о министрах, брошенных в Петропавловскую крепость. Были тут и несчастные жены заключенных. Горький упрямо и угрюмо отказывался. Помню, что этого почти нельзя было выдержать. И пришлось прямо кричать на него:

«Да ведь вам это ваша собственная совесть приказывает! Вы лично знакомы с Лениным и другими. Почему вы им не скажете хотя бы слово?»

На это Горький глухо, угрюмо, отрывисто, точно лая, произнес:

«Потому что... я с этими... мерзавцами... совсем... разговаривать не могу...»

Это было 4 ноября 1917 года. Теперь Горький разговаривает с Лениным, не только приезжая к нему в Москву, но даже, во время разлук, по телефону из Петербурга и зовет его ласково «Ильичом».

(За сколько времени до посещения г-на Уэлльса?)

А все-таки правда, ни Горький, ни м-р Уэлльс — не коммунисты. Почему же? Да просто потому, что тип, к которому оба они принадлежат, не способен ни на какой «изм». Это художественный тип человека, не имеющего «убеждений», ни ложных, ни верных, а живущего «по настроению» данного момента. Тип *безответственный.*

Но вернемся к нашему герою — англичанину.

На десятый, приблизительно, день своих бесед с «русскими властями» мистер Уэлльс уже составил себе полное мнение не только о данном положении России и ее данном правительстве, но о России вообще, в ее целом, о ее истории, о ее народе.

Выводы мистера Уэлльса ярки и определенны. Главный: никакое правительство, кроме большевицкого, ныне существующего, в России невозможно. Это «честное и простодушное правительство правит Россией именно так, как для нее требуется, и сидит крепче любого европейского».

Свой вывод мистер Уэлльс основывает на всяких «фактах», узнанных им в России. Например, маленький «факт» из частных: прекращение уличных грабежей. «Едва взяло власть это энергичное правительство», говорит м-р Уэлльс, «и улицы русских столиц сделались столь же безопасны, как улицы любой столицы в Европе».

Откуда м-ру Уэлльсу знать действительные факты? А они были таковы: в продолжение всего 1918 года, начиная с конца 17-го (большевицкий переворот), грабежи оставались перманентными. Почти все интеллигенты, рисковавшие выходить в сумерки, испытали это удовольствие. Художник Бенуа был оглушен и ограблен. Профессор Батюшков (скоро умерший)

был ранен и брошен раздетый на льду. Известная актриса, возвращаясь с матерью из театра, получила удар в лицо. Сорвали пальто. То же у писателя Пошехонова. Даже, к нашему удовольствию, раздели комиссара Урицкого на Моховой. Слишком долго пришлось бы перечислять примеры. Это целая статистика. И так длилось *год* (на наших глазах) и кончилось же тогда, *когда стало некого грабить.* Все, неспособные учинять грабежи, дневные и ночные, уже ограблены. Большинство из них, при этом, убито. Улицы, действительно, казались спокойны. По ним некому ходить. Грабители ездят в собственных экипажах. Их сравнительно мало, награбленного много; еще не доделили и потому пока не грабят друг друга.

Фактов, повторяю, именитый англичанин не мог знать; честные друзья ему не сказали... Но только м-р Уэлльс мог не сообразить, что власть, вступающая на трон с лозунгом: «*Грабь* награбленное», — логически должна поощрять, а не уничтожать грабеж. Нельзя же им прекращать грабежи, *принципиально* поддерживая, строя ступени к власти именно на грабеже.

Но у м-ра Уэлльса нет логики, как нет «убеждений». М-р Уэлльс доверчив к друзьям. Они так ценят его, так милы с ним... И уж эти ли русские люди не знают свою Россию? М-р Уэлльс расспрашивал их, да и сам наблюдал русский народ, в «совете», например, или около Иверской (еще была) в Москве. И вот что он таким образом узнал.

Русский народ, вся его масса — это сплошь грязное, глупое, безграмотное стадо, не имеющее ни о чем ни малейшего понятия и само не знающее, чего хочет. Русский народ груб и грубо материалистичен. Никакой духовности, никакой религии у него не было, как нет. Они только идиотски лижут свои иконы. Русский священник — что это? Это тот же грязный и глупый мужик, совершенно такой же, как все другие...

И м-р Уэлльс вновь и вновь утверждает свой заключительный вывод: единственно возможное правительство для подобного народа — вот именно это, энергичное, честное, просвещенное, строгое, но попечительное, — правительство Ленина и

Троцкого. И не достойно ли уважения оно, взявшее на себя подвиг обламывания этих грязных скотов?

Удовлетворенный петербургскими впечатлениями, наш путешественник любопытствует, однако, насчет Ленина. Быть в Риме и не видать папы!

И м-р Уэлльс едет в Москву. Это последняя глава первой части романа, не менее остальных художественная. В ней очень интересны чисто английские черты героя. Тип всемирен, но англичанин данного типа все-таки англичанин.

Оказывается, получить аудиенцию у Ленина потруднее, чем у папы. Волокита, которую проходит м-р Уэлльс, начинает не на шутку раздражать его. Как, с такими связями, такой протекцией, – и такая возня? Тут еще столь мало комфортабельное путешествие до Москвы! Английские привычки его дают себя знать. Фыркает он и на помещение в Москве, где нет квартиры Горького и где его поселили в «отеле для знатных иностранцев», – «с часовыми у дверей».

Но тут внимание его отвлекается встречей с мистером Вандерлипом. Знаменитый американец покуривает сигару, болтает с мистером Уэлльсом о посторонних вещах и являет вид человека, крайне довольного ходом своих дел.

М-р Уэлльс чует атмосферу и взволнован, – полусознательно, быть может, он, при всем своем социализме, конечно, патриот, в самом английском смысле. Что тут делает Америка? Почему м-р Вандерлип так доволен? О, конечно, мистеру Уэлльсу нет до этого дела! Он настаивает, он повторяет, что ему все равно, что он «по темпераменту нелюбопытен...». Он никого не спрашивал, но ему говорили, конечно... Ему очень много говорили о том, что тут делает Америка...

Как нарочно, все дальнейшее только усугубляло волнение м-ра Уэлльса и направляло его мысли в одно и то же русло.

Многотрудное свидание с папой-Лениным состоялось, наконец.

Вот фотография, – точно картинка! Взгляните на нее. Освещенное, искаженное странной гримасой-усмешкой лицо Лени-

на, странно напоминающее не то лицо орангутанга, не то, выражением лика, старца Распутина. И на первом плане — без тени улыбки профиль упитанного англичанина, — буржуя «nec plus ultra» * — с шеей, говорящей о целом ряде кровавых бифштексов. Англичанин сидит словно вкопанный. Он слушает, он наблюдает, он умозаключает.

Самое потрясающее в этом свидании было то, что, по словам м-ра Уэлльса, — Ленин... проговорился! Напрасно удерживал его, на русском диалекте, приставленный для этого коммунист. Ленин не обращал внимания и все дальше и дальше проговаривался. Он целую пылающую речь произнес перед м-ром Уэлльсом — об Америке. Америка поняла. Америка идет навстречу. С Америкой Россия... и т. д., и т. д. И когда Европа уразумеет, что она потеряла, в особенности Англия! Будет уже поздно...

М-р Уэлльс не сознается, да, вероятно, и не сознает — но он потрясен этими откровениями. Он пытается свернуть разговор на другое, хочет «объективно» наблюдать Ленина, — напрасно! Факт увлечения Ленина Америкой, факт присутствия мистера Вандерлипа, загадочного и довольного, приковывает все внутреннее внимание мистера Уэлльса.

«Признаюсь, идя к Ленину, я был предубежден против него, — говорит м-р Уэлльс, — но я вынес совсем неожиданное впечатление, и мы тепло с ним простились...»

Надо сказать, что тип, к которому принадлежит м-р Уэлльс, вообще неспособен к самокритике, к улыбке над собой. Герой нашего романа так полно, так совершенно доволен собой и своим (в этом смысле он и патриот), так искренно и, пожалуй, простодушно самоуверен, что усомниться в чем-либо, от него идущем, ему до смерти не придет в голову. М-р Уэлльс только пожал бы плечами, если бы сказать ему: а вдруг Ленин и не думал «проговариваться», а просто обвел его слегка вокруг пальца, небрежно сказал то, что счел небесполезным, раз уж

* до крайних пределов (*лат.*).

этот английский буржуй сюда влез? М-р Уэлльс только удивился бы, если бы кто-нибудь сказал, что предавать поруганию все равно какой народ, целый народ, — по меньшей мере некультурно, а делать это лишь на основании сведений, полученных от «людоедов», по выражению Ллойд Джорджа, — кроме того, и глупо. Да, он только удивился бы... И в этом опять совершенство типа — эстетика героя романа «Путешествие в Россию»...

Свиданием с Лениным первая часть романа, в сущности, кончается. М-р Уэлльс изо всех сил заторопился домой. Все узнано, все видено, все решено. Он занят своими будущими рассказами. И занят вот этой возможной бедой, — как бы Америка не опередила его, мистера Уэллься, страны, не воспользовалась ранее простодушным, честным правительством, не рванула бы чрезмерно с «грязных скотов», которые ведь ничего не понимают.

И в последней главе м-р Уэлльс перестает действовать, он только призывает. Он пламенно убеждает Европу образовать трест для совместной (раз уже нельзя иначе) эксплуатации российских богатств, получить их из дружеских рук русского «правительства». М-р Уэлльс предупреждает, что получка возможна только из этих рук, и потому «безумие» не начать с признания «Советов».

Свой призыв м-р Уэлльс не раз подкрепляет угрозой: «А то увидите, Америка опередит нас всех. Пожалеете!»

Это его refrain *, — ибо это его последнее русское впечатление: Ленин и Вандерлип.

Таково содержание книги «Russia in the Shadow» **, — или «Story of Mr. Wells» ***. Это художественное произведение неизвестного автора, взявшего на себя задачу нарисовать известный отрицательный тип в одежде англичанина и в современной обстановке.

* припев (*англ.*).

** «Россия во мгле» (*англ.*).

*** «История мистера Уэллса» (*англ.*).

Я настаиваю, что художественный подход – единственно верный подход к книге. Художественное чутье есть у всех культурных людей, надо только ему доверяться. Иначе возможны такие «gaffes» *, как недавняя статья барона Нольде о м-ре Уэлльсе. Тип отрицательный (и созданный с таким совершенством!) барон Нольде взял как положительный, душевно совокупился с героем романа, и «прелестные сведения» его, полученные от каннибалов, воспринял, как прелестную действительность. Печальная ошибка, но виновата не книга. Напротив, роман чуткому и культурному читателю даст очень много. Роман так ярко рисует Ложь, что в каждой, еще живой человеческой душе будит порыв к борьбе – во имя Истины.

А мы знаем: наш проваливающийся свет, – и Старый, и Новый, – может спасти только эта борьба, воистину последняя, борьба с Ложью на жизнь и смерть.

О ВЕРНОСТИ

...Измены нет – душа одна.

Какая радость...

Всегда радость, если человек, которого давно считаешь погибшим, вдруг оказывается живым. Радость, даже если его едва знаешь. А когда он друг?

Тот, чье письмо сейчас передо мной, – мой давний друг. Никто, может быть, не знает так хорошо некоторых подробностей его приключений в 18 г., как знаем мы. Но в 18-м же году он уехал в Сибирь, в белую армию, и до сегодня мы ничего о нем не слыхали; все говорило о том, что он погиб.

И вот – он жив. Мало того, он сумел, – только что – только что, – вырваться из советского ада. Вырвался – но еще не спасен. Это надо помнить: если вырвешься в соседнее самосто-

* оплошности (*фр.*).

ятельное государство, заключившее с Москвой форменный мир, — ты еще далеко не спасен. Ибо знаменитое государство Совдепское, с которым ныне и великие державы собираются заключить мир, признать его «тоже» государством, — отделено от всех соседей (мирных!) *колючей проволокой.* И всех несчастных, которые от лютой смерти спасаясь, проползают за проволоку, пограничная стража «вышвыривает» обратно.

«Случайность спасла», — пишет мой друг. Второй раз прошел, на некотором расстоянии, а сначала «вышвырнули». И живет он в этом «свободном» государстве пока нелегально.

Конечно, ни проволоки, ни вышвыриванья, ничего этого нет в «мирных» договорах с Совдепией. Проволока требуется жизнью. Чумное место должно быть за кордоном. И очутись Лондон где-нибудь поближе, Ллойд Джордж еще не такую проволоку соорудил бы на границе с любезными ему теперь «людоедами».

Моего друга за эти четыре года непрерывно спасал случай, — а вернее Бог, потому что уж очень чудесна эта цепь случаев. Я не буду рассказывать его эпопею, тем более что окончательно мой друг еще не «спасен». Плен, каторжная тюрьма, несколько раз — четыре или пять — суд с приговором к расстрелу. Все болезни, всякие этапы, пересылка в Россию, регистрация, зачисление в красную армию... Наконец, при полной инвалидности, определение, — опять случаем, — на должность обучающего красных курсантов географии. Тут он был свидетелем, как его милые ученики расстреляли в один день около 500 человек (472, в таком-то месте, тогда-то, пишет он).

Новая «эволюция» большевиков отразилась на «учителе» тем, что его отставили от должности и приказали ехать в места весьма отдаленные, «под надзор (гласный) тамошней Ч. К.». Ну, это дело известное, и мой друг решил пока закончить свои мытарства, перебравшись за проволоку.

Спасение его тем чудеснее, что он — офицер первого военного выпуска (бывший студент) и на фронте с 14-го года. Самый настоящий «белый офицер».

Письмо его бодрое, радостное, *нормальное*, и... какая острая грусть в нем для нас, здешних! Какой стыд читать это письмо!

Я скажу, почему.

«Меня N. N. благословили ехать к вам», — пишет мой друг одному видному эмигранту:

«Я думаю, что я вам могу быть полезен». Он, если не больше, чем прежде, «непримирим» к русским владыкам, то лишь потому, что и прежде был непримирим до конца. И по-прежнему «готов на все».

Так он пишет... ибо не знает еще ничего. Еще думает, что здесь есть какие-то, подобно России, — «мы», есть какая-то совместность, а не каждый человек отдельно — против другого, отдельного. Думает, что его опыт ценен в чьих-то глазах и ценна его «непримиримость». Не знает, что здесь друзья — расходятся, чтобы приуготовить себе пути для схождения с врагами. Что здесь уже почти нет борьбы, и не нужны, поэтому, люди, «на все готовые...».

Нет глубже пропасти, чем вырылась она между здешними, эмигрантами, *забывшими* (а их много, очень много!) — и людьми тамошними, оставшимися. Ничего не забывшими — ничему не изменившими.

Измена — самая страшная, самая ачеловеческая вещь. Даже не аморальная, а именно ачеловеческая. Она предполагает отсутствие *памяти*. Память же — есть то, что делает из индивидуума — личность, отделяет человека от «особи». Измена — есть безответственность в самом полном значении слова. Она уничтожает человека целиком, — в прошлом, в настоящем, в будущем. Измена не есть перемена. Двигаясь вперед во времени — личность растет, — расширяется сознание, накапливается опыт; перемена в этом смысле — ежели мы назовем такое движение переменой — противоположна измене. В первом случае мы приобретаем, во втором — теряем. Движение — жизнь. Измена — смерть. Измена, все равно кому или чему, есть измена, прежде всего, самому себе.

Только она — яд, разлагающий общественность. В отличие от многих других ядов, — яд измены не теряет своей разрушительной силы даже в малых дозах. Измена в мелочах так же губительна для общественности (и для личности), как измена в деле более крупном. «Если ты в малом был не верен — кто поверит тебе в большом?»

Оттого во все века, везде, сознательно или инстинктивно, люди боялись «измены», как самого страшного врага, самого преступного «соблазна». Оттого ныне, в России, люди, возведшие в принцип «измену», взявшие ее за свою базу, — враги всего остального человечества, и будут ему врагами, пока существуют. Оттого они так неспособны к движению, к перемене, к росту, к «эволюции»: они апостолы чистейшего разрушения.

Соблазняются глупцы, невежды и ничтожества, подобные большевикам же: Ленин «эволюционирует», Троцкий «исправляется»! Но все настоящие *люди* знают, не умом — так сердцем: это не перемена, это не движение, это все та же крутящаяся цепь, ряд *измен*, углубление всераспада и — самораспада, конечно.

«Надобно в мир прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого приходит соблазн».

Это неизбежное «горе» приблизилось. Оно при большевистских дверях. Их окончательный распад не подлежит уже никакому сомнению. И тем досаднее, тем мучительнее смотреть на попадающих в сети соблазна теперь, сейчас, накануне конца. Ведь среди глупцов и невежд есть и люди невинные. Но и на них, увы, падает эта башня Силоамская...

Для них, невинных, не знающих, не начавших, м. б., как следует думать, или слишком измученных и покинутых на чужбине, я и пишу это. Я предупреждаю их, повторяю им: будьте верны себе; жизнь многое прощает, измену — никогда. Измена носит отплату внутри себя самой. С оставшимися там, на родине, живыми людьми — что мне говорить! Они все знают, все понимают, их непримиримость святая тверже стали, — вот как у этого друга моего, что пишет, спасенный, такое ясное, бодрое письмо.

Он не знает, правда, что некоторым, очень многим, эмигрантам должно быть стыдно читать это письмо; но пусть! Не будем преувеличивать. Не будем унывать. Среди миллионов русских беженцев, здесь — много таких же живых людей, как и там, много крепких духом. Если они чувствуют себя затерянными на чужбине, одинокими, покинутыми — они не должны забывать: эти дни — дни кануна освобождения России; и ей нужны сильные, крепкие, *верные*.

Год тому назад, на этих же страницах, было много упомянуто о «Союзе Непримиримых». Он жив, — еще бы! — этот таинственнейший из тайных, неуловимых для «товарищей», союз, рожденный органически, самой жизнью. Я напоминаю о нем; теперь как раз время. Напоминаю: его членом становится всякий, кто скажет следующее:

1) «Что бы Россия ни переживала (и я лично), где бы я ни был, и где бы, и в каком положении, ни были большевики, — я не способен ни на какое их внутреннее принятие, ни на какое примирение с ними и с III Интернационалом. Я не способен, ни теперь, ни впредь, ни на какое им содействие, не будучи к тому принужден физическим насилием.

2) Изменяя вышесказанному, я изменяю самому себе, и моя измена должна считаться признанием моей личной негодности».

Это все. И, кажется, все, что я могу сказать о «Союзе Непримиримых» в печати. Прибавлю только, что зародившись в России, имея практическую задачу облегчения первых шагов новой послебольшевистской русской власти, а также внешнего спасения и морального оправдания русских людей, — Союз переселился и в Европу. По мере того, как волны русского населения перехлестывают заграницы, — он оказывается нужным столько же здесь, сколько там, в России.

В тяжких условиях беженства человек, даже не слабый, легко теряется, становится безоружным против соглашательских провокаций. Но если он член «Союза Непримиримых» — он помнит себя, верен себе и России, знает, что не один и не забыт.

Да, если не прощается измена, то не забывается верность.

Двадцать второй год застает Россию еще в цепях. Но да будет он годом ее освобождения. Это не пустое пожелание. И не пророчество. Это просто жизненное, живое ощущение совершающегося. То же самое, что в России, у оставшихся. Письмо моего друга дышит этой близкой радостью.

«Они все вместе *ждут.* Они бодры» — и *верны.*

Будем же и мы с ними; будем и мы верны... новой, *свободной,* России. Ей верные нужны.

ГДЕ РЕВОЛЮЦИЯ?

(Записки поэта)

Статья Гр. Ландау «Происхождение смуты» («Руль») любопытна по тому выводу, который делает автор и ради которого, может быть, эта статья написана. Этот вывод «все, принимающие февральскую революцию, должны также принимать и торжество большевиков».

«Февральской революции, по г. Ландау, совершенно не было; то, что было — было, в сущности, началом революции октябрьской. Жажда мира, — мира во что бы то ни стало — вот источник смуты, происшедшей в феврале—марте 17-го года. И мобилизованный народ, измученный «неудачной, непосильной войной», произведя эту смуту, не мог остановиться, не получив мира, естественно, должен был пойти дальше, за теми, кто этот мир ему обещал немедленно. Если так, то выходит, конечно, что безумны и тщетны были бы попытки политических партий задержать октябрь; роковым образом все не большевики должны были быть сметены потоком, как щепки.

Г. Ландау, доказывая свои положения, рисует нам так довоенное положение России: после революции 1905 года Россия проходила период успокоения, умиротворения; начинался понемногу некоторый расцвет. Во всяком случае, ни о каких революционных настроениях не было речи, идейное движение в

этом смысле затихло, даже совсем затихло. Г. Ландау, в подтверждение этого, указывает на полную неожиданность февральской революции-смуты, на ее как бы безыдейность, на отсутствие в ней обычных лозунгов, — на неподготовленность политических вождей, — все это не в пример революции 1905 г., которую г. Ландау считает революцией настоящей. Не смутой, а революцией.

Мне напоминают эти утверждения серьезные разговоры среди интеллигенции в период Временного правительства, задолго до октября. Были видные политические деятели и, главное, видные революционеры, говорившие, приблизительно, следующее: это все революция, — революция предполагает борьбу; у нас же было просто автоматическое падение сгнившего правительства.

Не совсем, конечно, то говорит г. Ландау. Но от недодуманной мысли о февральской революции как *не* революции, — недалеко и до выводов г. Ландау. Слабость многих, стоявших у власти в период от февраля до октября — не шла ли она и от мысли: все равно мы — в роковом кругу, все равно мы — щепки в потоке?

Итак — не было революции февральской; была смута от «непосильной» для страны войны, смута, которая, под большевиками (неизбежными) превратилась в социалистический опыт. Нужная России революция (если, по мнению г. Ландау, Россия нуждалась в какой-нибудь революции) уже закончилась в 1905 г.

Здесь я задаю мой первый вопрос. Допустим, — и это верно, — что революция 905 г. была настоящая, шла под нужными политическими лозунгами, имела некоторые определенные цели; я спрашиваю, в котором году и, главное, чем она закончилась? Ввиду какой достигнутой ею революционной цели можно назвать ее удачной, завершившейся?

На этот вопрос, если мы добросовестно оглянемся назад, можно ответить с полной ясностью: своей первой, прямой цели революция 1905 года *не достигла.* Поэтому ни в какой мере она

не могла и не может быть названа закончившейся. Она была оборвана, пресечена. Ее пытались вогнать в землю — но она осталась висеть в воздухе.

Манифест 17 октября, ничего не меняя по существу, был лишь знаком некоторого правительственного замешательства по поводу «неслыханной смуты». К счастью для себя, правительство тотчас же от этого замешательства оправилось и очень энергично занялось «искоренением смуты».

Политический террор послереволюционных годов — вещь естественная и, вероятно, необходимая. Когда революция достигает своих целей, то новая власть должна, заканчивая борьбу, защищать новый, завоеванный революцией, режим.

Но в России, с 1905 г. вплоть до 1910, было не то: старая, уцелевшая власть защищала себя и старый режим. Действительно «искоренялась смута», или... революция, по г. Ландау.

Если это делалось под прикрытием «дарованных свобод», то я решительно не знаю, кого это прикрытие могло обмануть, кого обмануло. Самых увлеченных отрезвил разгон первой Думы и дальнейшая история нашего quasi-парламента. Все знали совсем не легендарные слова Николая II: «Я ничего не имею против конституции, если в то же время будет сохранено самодержавие».

Самодержавие и сохранялось, а конституции не было, — хотя запрещалось говорить о том, что ее нет, равно, как и о том, что она есть, — вообще запрещалось о ней заикаться.

Помнится мне разговор одного писателя с министром Щегловитовым. Писателя этого обидела охранка, — но не совсем привычным способом: отняла у него начало его работы, рукопись, которую он даже и не думал печатать, да и как бы он мог, раз это было только начало? Такой «некультурный» поступок и дальнейшее, не более культурное, поведение охранки заставили писателя попытаться дойти до «самого» министра. Надо сказать правду, «сам» оказался культурнее охранки и обещал содействовать возвращению частной собственности.

«Там страшно, — рассказывал потом писатель. — Ряд громадных, пустых и совершенно темных зал. Только сидит в каждой — черт его знает кто, охранник или вроде. И точно ждут каждую минуту злоумышленника, покушения какого-нибудь. В самой дальней комнате — Щегловитов, один-одинешенек. И, несмотря на свою культурную любезность — тоже какой-то напряженный, неуверенный. Потом обошелся, — и показался мне довольно искренним. Я воспользовался случаем, говорил не стесняясь. Когда я, наконец, спросил его прямо: да скажите мне, что у нас такое, самодержавие или не самодержавие? — Щегловитов на минуту задумался, потом развел руками и сказал: "Ей-Богу — не знаю!"».

Все это было, кажется, в 10-м или в 11-м году, то есть, когда страна была уже давно «успокоена».

В том-то и дело, что не успокоена она была, но — приведена в оцепенение. Революция, как сказочная принцесса, наколовшаяся прялкой, погрузилась в сон. И как в сказке заснули, оцепенели с нею все обитатели волшебного замка, — оцепенела Россия.

То, что г. Ландау кажется счастливым расцветом страны после удачной революции — не есть ли только столбняк, перерыв, анабиоз, нигде, вероятно, невозможный, но в России оказавшийся возможным?

Россия эволюционировала, преуспела, по уверению г. Ландау. Двор, правда, гнил (а с ним и правительство, не забудем); автор «Смуты» не придает, однако, никакого значения этому гниению государственного аппарата. Но почему, если так, когда пришла война, — сделалась она сразу для России «непосильной», невозможной? Г. Ландау настаивает на этом, подчеркивает *непосильность* войны. Громадная страна, довольно благополучная в экономическом отношении; если и политически она была довольно благополучна, — почему эта война вдруг оказалась для нее до такой степени «непосильной»? С ней справились все страны мира, не исключая Германии; только одна Россия была обречена на гибель, — каким чудесным роком?

Нет, тут концы не сходятся. Логика, историческая память, здравый смысл — требуют от нас других утверждений. Во-первых: революция 1905 г. совершалась, но не совершилась, не завершилась: как революция главным образом политическая (и без того в России запоздавшая), она не могла *завершиться* без смены режима, без падения самодержавия. Она была насильственно прервана.

Во-вторых: период от 1905 г. до 1914 был периодом не успокоения, не мирной эволюции, — а временем нездорового оцепенения, остолбенения, причем во власти шел разлагающий процесс отмирания.

И, наконец, в-третьих: никакой «февральской революции 17 г.» действительно не было: в феврале—марте этого года только получила свое завершение революция 1905 г.

Да, загнанная внутрь — она не погибла. Онедвиженная, замершая — не умерла. Она все равно когда-нибудь проснулась бы, вышла бы наружу, доделала бы свое дело. Но, конечно, война, — всегда ужасная, всегда злая вещь, встряхивая грубым толчком, искривляет исторические пути, искажает нормально-положительные явления.

Длительность оцепенелого сна тоже имела свое влияние на характер событий в феврале 17 г. Революция вырвалась наружу сама собою, для всех как будто нежданно, бессловесная (слова сказаны были раньше), непреодолимая, как органический процесс. Она сразу победила, почти без борьбы: но борьба уже была прежде, раньше. А за период оцепенелого, насильственного сна — правительство успело дойти до такой степени разложения, что бороться было бы и не с кем.

Итак — 17 год не есть начало какой-то «новой смуты»: он только завершение, конец, замедлившаяся — но неизбежная победа русской революции.

Отсюда и вывод наш: все, кто принимают революцию 1905 г., должны принять и торжество ее, — февраль 1917 г.

Как же связаны с февралем, и чем, — октябрь, большевики?

Связаны, конечно; связаны тысячью не случайных нитей, потому что связаны, прежде всего, войной. Первая, — и единственная, — русская революция (1905—1917) не могла не быть, главным образом, революцией политической. В нормальных условиях она, конечно, была бы и революцией социальной; но социалистической — никогда. Социалистическая революция в данное время, да еще в России, да еще при пожаре войны — совершеннейший абсурд. Ее и не было. Тут согласны все, не исключая большевиков. Большевики называют то, что они сделали с Россией, «социалистическим опытом», мы — «военно-большевистской смутой», вот и вся разница. О социалистической революции речи серьезной нет ни у кого. И, в конце концов, мы даже можем согласиться с терминологией большевиков: пусть «социалистический опыт»; он ни во что, кроме величайшей, гибельнейшей «смуты» вылиться и не мог.

Почему, однако, он стал возможным, этот «опыт»? Почему, если в феврале была, действительно, победа настоящей русской революции, — так мгновенно стала эта победа поражением, падением в преисподнюю?

Мы уже говорили выше: первая победа революции — политическая, смена режима, — требует от новой власти громадной силы и неуклонной защиты нового, пока оно находится в неокрепшем состоянии. Головокружительная быстрота событий, их неожиданность, а, главное, *атмосфера войны*, в которой они происходили, помешала созданию нужной власти. Скажем правду: с конца февраля 17 г. у нас вовсе никакой власти не было. Не замечалось даже никакой попытки ввести стихию революции (победной!) в определенные берега. Те, кто считался властью — не властвовали, да и не могли: они чувствовали себя сами — стихией, внутри потока.

Не следует думать, что власть пришла 25 октября, что большевики — какие-то «захватчики» власти. В моем дневнике 25 октября (или даже 24-го) написано: «...город в руках большевиков. И так естественно, точно одна подушка навалилась на другую, одно бессилие на другое». И через несколько дней:

«...они еще трусят, сами не ожидали. Протянут лапу, попробуют: можно? Ничего... Возьмут! И дальше...».

Они не «захватили» власть — они ее подобрали; валяющуюся без призора, — в такое страшное время! Ну, а раз подобрали именно они, большевики, — то как могло не случиться дальнейшего? Им, кстати, не нужно было вводить стихию в берега; для «социалистического опыта», — особенно в тот момент, достаточно было нестись на гребнях волн. Бесцельно при этом негодовать на большевиков, удивляться им, обличать их. И так же неразумно, как негодовать на кошку, что она ест мышей. Забралась в амбар, так непременно будет есть. Подобрали большевики «власть», так непременно будут производить «социалистический опыт». Пока будут сидеть — будут производить. Другого они ничего не умеют.

Впрочем, последнее время они заняты только тем, чтобы усидеть: само сиденье уже превратилось у них в шкурный вопрос. Toutes proportions gardeés * — их «власть» очень напоминает сегодня дни разложения царского двора.

После длинного обхода, страшной и грязной петли, Россия возвращается... куда? Уж, конечно, не к истлевшему престолу. Она притащится, едва живая от разгульного, грешного буйства своего и от кнутов своих недавних начальников — к тому же, к первоначалам человеческой революции. У России свои пути, «особенная стать»; — быть может; но как бы ни извивалась дорога — есть этапы необходные, общеобязательные. И свой «демократический» режим, с идеей равенства, исходящего из свободы, с далекой мечтой братства, — Россия все равно не обойдет.

Может быть, после своего горького опыта, она приблизится к нему сознательнее... если не погибнет, конечно, но тут опять мы все согласны: Россия не погибнет.

Как же нам не принимать нашу единую русскую революцию, начавшуюся в 1905 г. и завершившуюся победой в февра-

* Сообразуясь с различиями (*фр.*).

ле—марте 1917 г.? Ее должны принять все, кто страдает от ее затмения, — великой смуты, — все, кто не принял, уже ныне гаснущего, «торжества» большевиков.

Эта заметка была уже кончена, когда мне указали на статью г. Шульгина в «Грядущей России». Я в свою очередь рекомендую ее вниманию г. Ландау. Г. Шульгин тоже сливает март с октябрем, но в то время, как г. Ландау пытается отделить от этого «мартобря» год 1905 и как будто утверждает его — г. Шульгин становится на позицию гораздо более логическую и последовательную: для него и 1905 год — тот же большевизм. Но этого ему тоже мало, он идет до конца, — т. е. вернее, обращается к самому началу, к году 1825-му, к декабристам. Для него Троцкий, Рылеев, Ленин, Пестель — совершенно одинаково «сыны дьявола», такие же «лжецы и человекоубийцы», дело их — одно и то же дело, отношение к России — равно у всех. Г. Шульгин, для доказательства своих положений, выдергивает весьма произвольно краткие цитаты из романа Д. С. Мережковского «14 декабря», и только скорбит, что автор сам не видит этого сходства и «тенденциозно» не желает показать, что «единственная человеческая фигура — это Государь Николай I». Со мной г. Шульгин обращается уже совсем просто: берет цитаты из моего «Дневника», и то, что там говорится о Ленине, Троцком, о лжи и нечеловеческом ужасе большевиков — прилагает к декабристам. Разве не то же самое? — спрашивает кратко в заключение.

Оставляя на литературной совести г. Шульгина такие новые приемы доказательств, — я не могу, однако, не сказать, что в общем он логичнее г. Ландау, позиция которого далеко не так цельна, страдает половинчатостью. Сливая март с октябрем, — какие основания отделять от них 1905 год? А положив туда же и его, — почему спасать декабристов, как разлучать Троцкого и Рылеева, Трубецкого и Дзержинского? Логика обязывает. Отрицать настоящую революцию (а март—февраль и была насто-

ящая революция) можно лишь отрицая последовательно *всякую* революцию. Это и делает г. Шульгин. Оттого он отрицает и *всех* революционеров, оттого и остается наедине с «человеческой фигурой» — Николая I.

Менее всего я помышляю о каком-нибудь споре с г. Шульгиным. Я только указываю, что и г. Шульгин, и г. Ландау вместе говорят одно «А». Г. Шульгин, сказав «А», говорит и «В». Не заставит ли логика, в конце концов, и г. Ландау сказать то же «В», т. е. отвергнуть *всякую* революцию, как «смуту», Дзержинского, и Рылеева, как лжецов и человекоубийц?

Ведь г. Шульгин, в сущности, делает вывод тот же, что и г. Ландау, только ставит дело шире, прямее, и говорит: «Если вы не признаете 1905 год, если вы признаете декабристов — вы должны признать и торжество большевиков».

И г. Ландау нечего ответить с его шаткой позиции. Если февраль — смута, то *происхождения* «смуты» надо искать именно в 1825 году.

Только мы, февралисты, могли бы отвечать сторонникам Шульгина. Ибо мы иначе проводим нашу линию, резко отделяющую революцию — от смут.

ЧАШКА ЧАЮ

Пророчества понимаются лишь тогда, когда исполняются или начинают исполняться. Это известно. Но даже исполняясь, они требуют истолкования. Пророк поневоле неясен: он говорит образами, уподоблениями.

Тот, о ком будет речь, и не претендовал никогда на звание пророка. Это просто один из прекраснейших старых русских поэтов. У него много серьезных вещей, совершенно бессмертных. Но есть у него одна коротенькая шутливая «Баллада» — о Деларю и нечестивом убийце, которую не вспомнить сегодня никак нельзя. Такая она пророческая, хотя поэт, конечно, и не подозревал, что предсказывает действительные события. Он

шутил, — это его право; ведь он, счастливый, до исполнения своих пророчеств не дожил. Нам, дожившим, не до шуток... И все-таки мы не можем на минуту не остановиться в восхищении перед точностью пророческих образов, которые дает нам поэт.

Вот, взглянем.

Кто такой «убийца нечестивый» — мы довольно давно знаем. Именно «убийца нечестивый». С первых же строк баллады нам становится ясно, кого называет поэт именем камергера Деларю: конечно, нашу бедную, милую, старую Европу. Отношения между ними рисуются с поразительной точностью. Действие происходит в наши дни.

Проследим события:

Вонзил кинжал Убийца Нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал.
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей к нему зашедши справа,
Его пронзил,
А Деларю, с улыбкою лукавой,
Лишь погрозил...

Эта милая, шаловливая угроза, в связи с характером «злодея», заячьи-трусливым, а также в связи с крайне тугими внутренними обстоятельствами (прямо стал подыхать с голоду!), эта угроза, говорю я, этот нежно поднятый пальчик — произвел действие для Деларю неожиданное. Но злодей понял, что ему без «передышки» не вывернуться, что очень хорошо и выгодно поразыграть некоторое раскаянье:

Злодей пал ниц и, слез проливши много,
Дрожал, как лист.

А Деларю: «Ах, встаньте, ради Бога!
Здесь пол нечист».

Ободренный убийца решил еще чуть-чуть продолжать свою тактику. Займы, концессии, или, как в старину говорили, «аренда», ему обязательно нужны были. Да и не только займы одни... Мы увидим сейчас, с какой полнотой и как быстро оправдал Деларю возлагавшиеся на него надежды.

И все у ног его в сердечной муке
Злодей рыдал.
А Деларю сказал, расставив руки:
«Не ожидал!
Возможно ль? Как? Рыдать с такою силой
По пустякам?
Я вам аренду выхлопочу, милый,
Аренду вам!

Злодей ждал дальнейшего и дождался.

— Хотите дочь мою просватать, Дуню? —

продолжал поспешно Деларю. Тщательный истолкователь пророчеств отметит, вероятно, что под несчастной Дуней следует разуметь отечески опекаемый правительствами — Деларю европейский пролетариат или, может быть, вообще европейский народ. Хитрый убийца не скрывал и раньше своих вожделений и видов на Дуню. А тут Деларю сам предлагает «просватать Дуню», да еще мало:

. . . .
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вам тысяч сто.

(Тут необходимо перевести слово «тысяча» на язык современности и читать «*миллиардов* сто». Это ничего не отнимает у ясности пророчества, конечно.)

«А вот пока вам мой портрет на память, –

не унимается Деларю:

Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамить,
Примите так!»

Очень может быть, что такой полноты успеха злодей сам не ожидал и в первую минуту остолбенел. Но мы знаем, что он тотчас же оправился, принял все, как должное. И уже без стеснения, без риска, смело принялся за прежнее. Опять принялся за Деларю.

Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса.
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа».

Это приглашение было единственное и последнее, чего еще мог пожелать в данную секунду «убийца» от Деларю. Желание исполнилось, заветное приглашение получено. Наш момент – как раз момент, когда Деларю варит чай, готовит чашку, ждет визита. В три ли часа или в четыре сядут они за стол – такой точности нельзя требовать от пророчества. Тем более, что еще неизвестно, может быть и в три...

Баллада тут не кончается. Кончается только уже *исполнившаяся* часть ее пророчеств. И я не знаю, стоит ли писать о том, чем это все завершилось, – ведь мы глухи, как бревна, ко всем предреканиям будущего, пока оно не сделалось настоящим.

Впрочем, может быть, все-таки стоит бросить беглый взгляд на конец баллады. Уж слишком вплотную следили мы за отношениями предупредительного Деларю и «нечестивого убийцы». Слишком мы, если можно так выразиться, – *проосязали* их, до момента «чашки чаю» хотя бы, но и это много. Авось, кто-нибудь задумается и над концом, – а вдруг и он пророческий?

Собственно о «чашке чаю» в балладе больше не упоминается, и мы не знаем, была ли она и как именно повлияла на дальнейшее течение истории. Неизвестно даже, после нее или до нее.

Так едок стал и даже горьче перца
Злодея вид.
Добра за зло испорченное сердце
Ах! не простит.

Мы склоняемся к тому, что это было до чашки, и даже почти-почти исполнилось, находится, так сказать, в процессе исполнения: не стал ли уже «вид злодея едок и горьче перца?»...

Но вот, однако, заключительная катастрофа. Злодей верен себе. От Деларю получено все, что он мог дать, в полноте и даже через край. Деларю больше не нужен. А так как предварительные тыканья кинжалом имели целью лишь возбудить угодливость Деларю, а теперь цель изменилась, то злодей предпринял шаги порешительнее:

Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга в зад!

Нет, очевидно, это было после «чашки чаю»... Наверно, не во время самого визита, — злодей расчетливее. Где нам, впрочем, разбирать времена и сроки пророчеств? Будет видно потом.

Дружеский удар отравленного кинжала пронял-таки Деларю:

Он на пол лег, не в силах в страшных болях
На кресло сесть.
Меж тем злодей, отняв на антресолях
У Дуни честь —

(и с Дуни сорвал свое, не забыл) процвел, расцвел окончательно повсюду, на самых разнообразных местах, где будто бы «был всеми чтим, весьма любим» и т. д.

Взгляните, наконец, каким прямым предупреждением заключается баллада, и даже в словах вся точность, — какую только допускает образность предсказаний:

В Москве он членом сделался *совета*,
В короткий срок.
Какой пример для нас являет это,
Какой урок!

Я не знаю, что еще можно прибавить к сказанному. Не обманываюсь: никогда слова отдельных пророков, а равно и трезвые, разумные слова отдельных личностей не исцеляли коллективного умопомешательства. Волна его продолжала катиться, вперед, неостановимо, — до какого-то своего предела. Мы этим не должны, однако, смущаться. И помешанные — люди. И среди них есть отдельные, могущие исцелиться. Для кого-нибудь, — хотя бы одного! — склонного к пророческим образам, к поэтической интуиции, я и привожу замечательную балладу Алексея Констан. Толстого, этого прекрасного русского поэта. Над ней нельзя не задуматься.

А для какого-нибудь другого помешанного, с иным складом души, знать не знающего о пророчествах, слушающего только реальность, — я с удовольствием повернусь к реальности. Укажу ему на сегодняшние («Матэн», 22 января 22) слова сегодняшнего, реального человека, — не русского поэта, а президента американской торговой палаты М. Вальтера Берри.

Такой оборот меня нисколько не затрудняет, ибо и давно умерший русский поэт, и благополучно здравствующий американский президент говорят совершенно то же самое о том же самом: о «нечестивом убийце!» и о «чашке чаю».

Вот как говорит о них американец:

«...Генуэзская конференция — осиное гнездо, ловушка, приготовленная не без Германии. Если кровавые убийцы России сядут за этот стол — я страстно желал бы, чтобы Америка отказалась от приглашения.

Ленин эволюционирует? Ленин не может эволюционировать. *На нем слишком много крови* (подч. в подлиннике). Человек, который расстреливал, взрывал, убивал своих соотечественников сотнями, тысячами, и обрек миллионы других на смерть от голода, который поверг свою страну в пучину еще неслыханного на земле отчаяния, — такой человек не может сказать: "Я ошибся; мои теории неверны; надо вернуться". Ему нет возврата. Он вынужден продолжать свой путь. И он будет его продолжать. Генуя? Это он только забегает вперед, чтобы дальше отскочить назад. А приглашение "советов" в Геную — уже одно приглашение — удлинит на год, по крайней мере, жизнь этого губительного режима. Советский принцип — разрушение всех правительств на земле. И приглашать такое "правительство" сесть рядом с другими цивилизованными правительствами, этим приглашением признать его — значит волка пригласить в овчарню. Это поступок совершенно непостижимый».

И однако —

Хотите вы истыкать мне, пронзая,
Все телеса?
Ах, Боже мой! Прошу на чашку чая
К нам в три часа, —

говорит Ллойд Джордж, шепча своим — утешительно: ничего, я потребую гарантий. На это европейскому безумцу вот что отвечает твердый и трезвый американец:

«Ну конечно, "советы" дадут вам все вообразимые и невообразимые гарантии: много это им стоит! Ну конечно, они вам признают все царские долги: это им еще меньше стоит!»

Мы уже видели, что пророческий «злодей» в балладе на все соглашался, «дрожал, как лист», что ему сто́ит? Будем теперь ждать, что обрадованный Ллойд Джордж кинется:

Хотите дочь мою посватать, Дуню?
А я за то

Кредитными билетами отслюню
Миллиардов сто
Через плечо дадут вам Станислава
Другим в пример.
Я дать совет властям имею право,
Я – камергер...

И уж, конечно, мы, внимательные читатели старой баллады, вместе с достойным американцем, так ясно видящим самую реальную реальность, не удивимся, когда произойдет дальнейшее, не закричим от неожиданности, увидав, что убийца «окунул со злобою безбожной кинжал свой в яд» (как ему свойственно), и что

К Ллойд Джорджу он, подкравшись осторожно,
Хвать друга в зад...

Да сбудется пророчество! скажут одни. Это только логика вещей! скажут другие.

И может быть, лишь тогда, – слишком поздно! скажут и многие, ныне слепые и глухие:

Какой пример для нас являет это,
Какой урок!

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Большевики убили Набокова.

Нет, нет, это не ошибка. Я знаю, что убийцы называются «монархистами». Но как бы им было ни угодно себя называть, монархистами или коммунистами, они, главным образом, убийцы. И это деление людей – на убийц и не убийц – для нашего времени самое правильное и единственно реальное.

С этой точки зрения я и утверждаю, что Набокова убили большевики – не монархисты, не коммунисты, не другие какие-нибудь «исты», а, прежде всего, – убийцы.

Убийцы ходят между нами, здесь, и хотя главный штаб их в России, – Европа заражена убийством.

Мы еще условно, привычно, разбираем: это правые, это левые. Но круг сомкнулся; по окружности есть еще, пожалуй, левее — правее, а там, где круг сомкнулся — есть только убийцы, даже один убийца, хотя по желанию и обстоятельствам он может надевать любую из двух масок: черную или красную.

Но и в красной маске, и в черной — он тот же убийца и только убийца.

Для Красной Маски Набоков и Милюков — были физически недосягаемы. И невыгодны. Не забудем, что Красная Маска любит, привыкла, убивать наверняка, *без риска для себя*, с чувством, с толком, с передышкой. Но в некоторые времена и покушение на убийство определенных лиц бывает выгодно, если его сделать под маской черной.

Кто, в самом деле, вздумает отрицать такую несомненную вещь: ведь задержись Милюков и Набоков в России, в царстве большевиков, в главном штабе убийства, они уже давно были бы расстреляны. Именно давно, и притом без малейшего покушения, а наверняка, подобно тысячам других, даже менее нужных убийцам.

Это не вышло, благодаря физической недосягаемости. В таких случаях большую пользу может принести, — и действительно принесла, — черная маска. Даже если бы и тут совсем ничего не вышло — в главном штабе была бы радость: как в данный момент хорошо можно использовать эту историю! Видите, мол, это черный человек, а мы красные; мы сами его боимся...

И делает вид красный, что боится черного. Но не опасен ему черный. Ведь это все тот же, один, убийца. И лишь с неуловимостью фокусника сменяет он маски.

Я спрашиваю, однако: согласились ли бы честные, видные люди со всех концов Европы съехаться где-нибудь, поговорить, посидеть с господами офицерами, стрелявшими в Милюкова и убившими Набокова? Думаю, что нет. Пожалуй, оскорбились бы, если б им это предложили. Убийцы арестованы, избиты, понесут кару.

Но вот те же убийцы уже едут на свидание с теми же черными, видными европейцами, которые не только не арестуют их,

но даже обещали заботливо охранять их спокойствие, пока будут длиться застольные беседы.

Отчего это? Оттого ли, что убийца переменил маску? И красная считается лучше, — ведь под ней убивают только без риска? Отчего?

Пусть ответят на эти вопросы те, кто еще не лишился памяти и здравого рассудка.

А я скажу еще: убийце все равно, кого он убивает. Он потому и убийца, что не различает человеческих лиц. Но мы должны помнить: убив Набокова, он убил великого человека.

Это опять сознательное, точное, слово; определение, на котором я настаиваю.

У каждого времени свой гений, свое личное влияние. В наши дни великим не будет ни завоеватель, ни общественный деятель, ни художник, ни ученый, ни поэт. В наши дни велик лишь тот, кто до конца остается единым, единственным, верным себе и своей внутренней правде; тот, кто воистину остается самим собой.

Он и умирает своей смертью, такой высокой и достойной Человека, какой умер Набоков.

Про него действительно можно сказать, что он попрал смертью Смерть. Не он убит, не он мертв — мертв его убийца.

Это только мы, несчастные, слабые, еще не видим, что убийца уже мертв.

Скоро увидим, узнаем. Он, Владимир Дмитриевич Набоков, уже знает теперь все.

ЛУНДБЕРГ, АНТОНИН, ЕСЕНИН

Три легких силуэта. Каждого из этих людей, — незамечательных, но типичных для нашего времени, — я помню у истока его карьеры. И, может быть, мои «ума холодные наблюдения» покажутся любопытными.

Лундберг — называл себя моим «крестником». Мне принадлежит... заслуга? спасения его первой рукописи от редакторского камина.

Двери нашего тогдашнего журнала следовало, по моему убеждению, широко открыть начинающим. Они и были открыты, и не напрасно: у нас впервые стали печататься Блок, Пяст, Сергеев-Ценский и другие, себя впоследствии оправдавшие.

Рукопись Лундберга показалась мне не блестящей, но возможной. Вызываю неизвестного автора. И вскоре он становится частым посетителем как редакции, так и моего дома.

Большеголовый, большелицый, бледный юноша в синей рубашке. Дикий неврастеник. Любит длинные, надрывные разговоры. И мало-помалу я убеждаюсь, что это человек, не лишенный, может быть, способностей, но обреченный на «личную негодность»: его точит и ест червяк безнадежного честолюбия слабых. Слабняк, если он не глуп, начинает в этом случае с потери равновесия. И Лундберг особенно охотно говорит — о самоубийстве.

Не всегда можно полагаться на правило: «Не убьет себя тот, кто о самоубийстве говорит». И потому оставить Лундберга, уклониться от бесконечных разговоров, мне не хотелось. Они, впрочем, не дали ему помощи: внутренний червяк тщеславия, сосредоточенное, болезненное саможаление заслоняли его от всех спасительных интересов, — к искусству, к философии, к вопросам общественным. Особенно безразличен, даже враждебен, он был к последним.

Но то обстоятельство, что он очутился в литературном кругу, в связи с людьми, в которых он хотел вызывать к себе участие, — пожалуй, ему и помогло.

Из Киева, куда он уехал, он продолжал писать мне. С удивлением мы узнали, что он сделался «учеником», и даже «любимым», Л. Шестова. Мимолетная встреча в Киеве показала мне того же Лундберга, ноющего, скорченного от внутренней, мел-

кой боли, ничем, кроме нее, не интересующегося; вернее — все берущего, как средство для ее невозможного утоления. Как в письмах своих — он был уныло и злобно льстив... И этого не видит в «любимом ученике» глубокий русский философ — Л. Шестов?

Впрочем, не наивны ли, не доверчивы ли, как дети — философы?

В Петербурге, когда Лундберг туда снова переехал, мы уже не встречались. Нужды в нас больше не было. Сделавшись заправским литератором (при посредстве ли одного своего «учителя» или и других наивных людей — не знаю) он даже писал какие-то особенно злостные против нас статьи. Мне их, впрочем, не пришлось видеть, да и отметы не стоило бы, если бы в то же время, изредка, не получались от Лундберга письма, все те же, заунывно-льстивые... на всякий случай?

Прикончил Лундберга некий Иванов-Разумник.

Этого Иванова-Разумника долго называли «обольстителем недоносков». Он таким и был, сидя в подполье, до дней своего торжества, т. е. торжества большевиков. Литературный критик, создатель «Скифов», — он в сердцевине своей тот же Лундберг, только похитрее и посмелее, а потому по приемам, по самой материи своей — родной брат Петерсу и Дзержинскому. Выйдя на свет, он стал заглатывать уже не одних недоносков, а «гениальных детей» — Ремизова, Белого, Блока.

— Как, и вы с ним? — спрашиваю раз в ужасе Блока по телефону. — Пусть Боря (А. Белый), он «потерянное дитя»... Но вы?..

И грустный прошелестел ответ:

— Да ведь и я, может быть... «потерянное дитя»...

Но когда-нибудь о Разумнике, о его большевизме, который довелось мне наблюдать собственными глазами, я напишу особо. Ремизов, успевший выскользнуть, помнит, конечно, что делал этот господин с ним. Здесь я только подчеркиваю, что развращение Лундберга закончил именно Иванов-Разумник. Это

было не трудно, при родственности их природ. У Лундберга только все поуже, поробче, и была еще оглядка, — до соединения с Разумником. Но разврат один, сущность одна, то же *ачеловечество,* личная негодность, которая лучше всего определяется двумя словами, — банальными, но бездонно-глубокими: ni foi, ni loi *. Ни веры, ни закона. Ничего, кроме жажды утолить ненасытного (все равно, какого) собственного червяка. Он — цель. Остальное, остальное — средство.

Лундберг, «любимый ученик» Шестова, уже не мог не сделать со своим «учителем» того, что недавно сделал. Утвердившись в Берлине, на деньги своих господ, вздумал облагодетельствовать изгоя (в нем сентиментальность, в Лундберге!). Скрыв происхождение денег, выпросил рукопись для напечатания. А потом взял да и уничтожил книгу. Сжег, кажется. Но уж, наверно, не обошлось без ламентаций и всяческого, перед Шестовым, нытья... Ведь, написал же он мне, в начале большевистского хозяйства, абсолютно бесполезное письмо с унылым припевом: «Я знаю, что вы мне не ответите...»

Угадал верно.

«Ni foi, ni loi», эта грознейшая из пустот, сближает индивидуумов самого разного обличья. И все они, слабые и сильные, умные и глупые, от неврастенического недоноска Лундберга до грубого темпераментного мужичищи — Антонина, до прожженного парня Есенина, все кончают нынче тем же провалом, откуда идет «некий дух, зело смрадный».

Вот Антонин; еще не епископ — архимандрит. Первые, получастные, «Религ. Фил. Собрания» подняли железный занавес, отделявший среду церковную от интеллигентской. Антонин с особой жадностью бросился к «светским». К нам зачастил и вечером, и утром, и на заседания, и так. Секретарем

* ни стыда, ни совести (*фр.*).

«Собраний» был некий Е. Е., человек вида и манер (да, кажется, и биографии) интеллигента-нигилиста 60-х годов. Ему протежировал молодой тогда Тернавцев и предобродушно звал своего приятеля не иначе, как «пес». Архимандрит Антонин и «пес» сделались неразлучны. Вместе шлялись по трактирам, причем Антонин заказывал себе самые скоромные яства, а «пес», в пику другу, — постные. Вместе приходили они и к нам. Если народу было не так много, то беседа сводилась к темам довольно интимным: Е. Е. при Антонине рассказывал о лаврских его успехах, о дамах, о платочках, которые, подобно султану, он раскидывал... Антонин, черный, громадный, костлявый, даже сутулый от громадности и костлявости, с тяжелой нижней челюстью и косматыми бровями, — слушал, помавая главою. Подсказывал образы, гудел басом, сильно на «о»:

— И тогда разбила она алавастровый сосуд тела своего меня ради...

Ничего «холеного» в нем не было. Он презирал «элегантность» архимандрита Сергия. Помню его довольно замызганный подрясник и круглую поярковую шляпу. Мы смотрели на него немножко, как на enfant terrible *.

— Поздно, о. Антонин. Ворота в Лавре уже заперли.

— А пусть! Когда я выхожу на дела тьмы (это он наши заседания и разговоры с интеллигентами, — «светскими» — называл делами тьмы) — я приуготовляю себе убежище, где склонить главу...

Его почему-то любил тишайший Антоний, тогдашний митрополит. Антонин сам не знал — почему, и городил какую-то чушь:

— Говорю я ему: а потому вы меня любите, владыка святый, что мы схожи: вы Антоний — я Антонин. У вас губы толстые — у меня губы толстые. У обоих, у нас, значит, темперамент....

Кто-то сказал, что Антонин — невежда. Это неправда. Его даже называли в церковных кругах «кладезем учености». Он

* ужасный ребенок (*фр.*).

был автором какого-то очень серьезного богословского исследования, требовавшего большой эрудиции. Это не мешало ему оставаться, конечно, диким и наивным. Но не в этом дело. Дело в том, что сердцевина его была проедена тем же червяком, что и у Лундберга. Если неврастенический слабняк Лундберг пищал по ночам от боли, то громадный, толстогубый Антонин должен был выть, корчась, — вот и вся разница. Он не прибеднялся, не вертелся, не говорил и не думал о самоубийстве. Он был прямее, открытее, не боялся быть и мелочно-тщеславным, наивно-тщеславным. Раз думали выбрать его председателем заседания. Он тотчас же радостно объявил свой план.

— Первое отделение — говорю я. Потом перерыв. После перерыва — говорю опять я....

Председателем он так и не был, но одну речь его, сильную и жестокую, я помню. Он говорил против свободы совести и начал так:

— Христианство — экскоммуникативно....

Архимандрит Антонин, затем епископ, ныне «советский», большевистский епископ Антонин — человек «sans foi ni loi»; человек без малейшей веры и без всякого закона. Безверие-беззаконие из него, что называется, перло. И он этим не смущался. Не на собраниях, конечно, но в большом и смешанном обществе, при куче иерархов, при небезызвестном миссионере Скворцове, лакее Победоносцева, он со смаком объявлял:

— А я вам такое скажу, такое, что вы все зашатаетесь... Вы послушайте. Ничего того, что в Писании, не було. Ни Христа не було, ни распятия, ни апостолов, ничего не було. А это все — типы...

Не дослышав, но без удивления, готовый, очевидно, ко всему, Скворцов переспросил:

— Киты?

— Не киты, а типы... — вразумительно поправил его Антонин и продолжал, занимая общее внимание, развивать свою теорию. Говорил убежденно, не без желания нас поразить, конечно, — но искренно.

— Все типы... Ничего не було... Саранча в Писании — тоже тип: понимай — мелкая пресса...

Для него и иерархии ценностей не существовало: раз «ничего не було», так равны и саранча, и распятие... Не имел он веры никакой, даже и материалистической, как ни малейшего закона. «Ложь? Что есть ложь? Христа не было, и... христианство экскоммуникативно. Все типы», и... он хочет быть епископом. И будет. Его митрополит любит.

Червь, однако, не усыпает, и Антонин в вечном страдании. Достигнув епископства, снова мучится, тянется дальше, слепнет и... промахивается. В 1905 году, после октябрьского манифеста, он «дерзнул»: взял да и не возгласил в Казанском соборе: «самодержавнейший».

Его тотчас же убрали. Отсюда начинается темная полоса в жизни Антонина. Знаю только, что сосланный куда-то на юг, не возвращаемый, несмотря на все прошения, он дошел в муках своих до форменного безумия, даже сидел в лечебнице. Мельком видели мы его на Кавказе перед войной: белый, засутулившийся еще круче, глаза горят той же злой мукой: не усыпает червь.

Но вот пришло, наконец, время Антонина: время безверников и беззаконников. Час их преуспеяний. Антонин непременно преуспеет... если успеет. Поздно что-то он выплыл. Мог бы и раньше. Для «советской власти», если она все-таки зажелает иметь патриарха, — Антонин самый подходящий. Лучше не найти.

О маленьком Есенине — всего несколько слов.

Кто-то привел его на одно из моих воскресений, в 15 или 16 году. Во время войны. У меня тогда собиралось множество «поэтической» молодежи. Есенин только что, чуть ли не за день до того, явился в Петербург. Обыкновенный, неуклюжий парень лет 18-ти, в «спинжаке» поверх синей рубашки. Видно, что наивничает, однако прожженный: уж он со стихами, уж он

и о Клюеве, давнем протеже Блока, этом хитрейшем мужичонке... Есенин рассказывает, что он с вокзала, пешком, прямо и отправился к Блоку... И что первой этой встречей остался недоволен — не помню, почему.

Однако он скромничал тогда, смекнув, должно быть, что так пока лучше. Стихи его нам всем показались мало интересными, и он перешел к частушкам своей губернии, которые довольно много распевал.

Затем он исчез. Выплыл уже в компании Сергея Городецкого, у так называемых «пейзанистов». Это была кучка поэтов-стилизаторов, в то время, в 15—16 годах, настроенная сугубо лженароднически и военно-патриотично. Есенина одели по-«пейзански»: в голубую шелковую рубашку, завили ему кудри длинные, подрумянили. Живо приобрел он и соответственный апломб. В наш кружок больше не являлся. Голубую рубашку и завитые букли этого «добра молодца» и «самородка народного» мне воочию пришлось видеть лишь раз, чуть ли не в «Рел. Фил. Обществе», со всей его дикой компанией.

Последующая судьба Есенина совершенно ясна, логически неизбежна. Материя и сердцевина у него та же, что у Лундбергов и Антонинов. Но эти долго выли или пищали по ночам, ожидая своего времени, Есенин же почти сразу к своему времени подоспел. О «foi» или «loi» он, может быть, и не слышал, только инстинкты у него и были. У Лундберга, не говоря уже об умном Антонине, долго имелись задерживающие центры. Да и до сих пор Лундберг не говорит вслух, что он — «величайший русский писатель». Есенин говорит, и с таким подозрительным спокойствием, что почти видишь его полное удовольствие. Так же, впрочем, говорит, что он хулиган и вор.

Он интересен как явление очень наглядное. Продукт химически чистый. На Есенине можно наблюдать процесс разложения и конечной гибели человека; нормально в человеке происходит процесс обратный, — развития личности. Любопытно, что никакие отдельные способности, — умственные, художественные или волевые, — не спасают от разложения: бескост-

ное существо, человек без спинного хребта (без веры и закона) гибнет вместе с ними. Пропадом пропадает все.

Страдания Есенина не сложны. Страдал немножко, зарвавшись на спекуляции, когда его недавно поймали с вагоном соли и посадили в кутузку. Но выпустили (еще бы, ведь не Гумилев!) — и памяти нет; опять пошли удовольствия, подвернулась заграничная дива с любовью; старовата, да черт ли в этом: для честолюбия «величайшего поэта» такой брак — взлет на головокружительную высоту. Известно, что чем ниже огонек сознания, тем у́же потребности и тем легче достигается удовлетворение. В приюте для идиотов — как счастлив порой сосущий тряпку!

Ежели Есенины, — а ими все пруды «советской» России нынче запружены, — счастливее Лундбергов и Антонинов, то они также и невиннее. Пусть на взгляд человеческий это самые обыкновенные негодяи. Но разве они знают, что такое негодяйство, — знали когда-нибудь? По слуху повторяют какие-то слова: я — вор, я — поэт, я — хулиган, — и все они для них равно без смысла.

Но вот эта упоенная самоудовлетворенность, да некоторая невинность, одни только и отделяют Есениных от Разумников, Лундбергов, Введенских, Ключниковых, Рейснеров и т. д. Главная сущность у всех та же самая; и как следствие, тот же происходит в них процесс: разжижение костного состава, разложение, потеря лица человеческого. Иначе и быть не может: человек без внутреннего стержня без «foi» и «loi», без веры и закона, уже не человек. В лучшем случае он лишь никуда негодное человекообразное существо.

БАЛЬМОНТ

Начиная эту заметку, я, к собственному удивлению, вижу, что пишу о Бальмонте в первый раз. О ком только ни приходилось мне говорить за эти долгие годы? Обо всех, кажется. Отче-

го же никогда о Бальмонте? Оттого, вероятно, ни мне, ни другим критикам моего типа и поколения не приходило в голову писать о Бальмонте, что Бальмонт был... как-то слишком несомненен. Его сразу, без спора, и все решительно, признали тем, чем он был. Им тотчас увлеклись и седовласые адвокаты, и поголовно все барышни (до сих пор увлекаются, я еще на днях слышал это признание из пятнадцатилетних уст). Что нам, критикам, было говорить? Бальмонт сам говорил и за себя, и о себе:

Я — размеренность русской медлительной речи...

Мы слушали и верили.

Я — певучий излом,
Я — играющий гром...

Мы слушали и видели: ну да, действительно, «певучий излом», «играющий гром». Кому же на ум придет разбирать гром, писать критику на пенье соловья? И критики, как все прочие, любят этими вещами просто любоваться, наслаждаться.

Бальмонт был — Бальмонт, ценность в себе, всегда себе равная.

Если любишь — возьми,
Если можешь — прими...

И все его любили, брали, принимали — долгие годы. Ровные годы. Но еще до окончания их, до наступления новых страшных лет, — повеяло мутными предчувствиями. Новые требования стали рождаться, подниматься странные вопросы.

Человек ли — поэт? Несет ли он человеческую ответственность или ему «все позволено»? Дает или не дает «свободное» искусство своему служителю — свободу от всякого человеческого устоя, от всякой «банальной морали»?

Спор этот (дикий, в сущности) был очень реален, и чем грознее нависали тучи, тем становился острее. Моя последняя статья о Блоке, уже во время войны, начиналась эпиграфом:

Поэтом можешь ты не быть,
Но человеком быть обязан.

Блок в предисловии к Ап. Григорьеву тогда только что проклял все освободительное движение, восхвалил «Новое Время» и, кстати, безответственность поэта как человека.

Эта статья была прочитана Блоку до напечатания. Мы слишком дружны были, чтобы поссориться из-за нее, да и написана была она любовно, однако мы и проспорили после весь вечер. «Потерянное дитя»... не несчастье ли для России, что поэт русский, силы и глубины Блока, может оказаться не человеком — а только «потерянным ребенком»? Или (что еще хуже) русский писатель, как Горький, — таким вредным человекообразным существом?

До большевиков, их засилья, до разрушения и страдания России, у нас не было способа, совершенно безошибочного, отделять «людей» от «нелюди». Теперь эту лакмусовую бумажку мы имеем. И теперь, когда, под лозунгом «аполитичности» искусства, писатели бросились в большевистские рептилии, — этот лозунг уже никого не обманывает. Всякий зрячий, к тому же, видит, что жизнь давно перехлестнула «политику». Если прежде еще можно было горделиво бросить: «Я занимаюсь искусством, мне наплевать на форму правительства», то повторить это теперь, сказать: «Я занимаюсь искусством и глубоко плюю на то, что мой народ дошел до людоедства» — согласитесь, это звучит уже не весьма гордо.

Испытание лакмусовой бумажкой дало нам, и продолжает давать, массу неожиданностей. В частности, между писателями, «нелюдьми» оказались многие, которых мы никак в этом не смели подозревать...

А вот поэт, которому, казалось, Богом самим назначено жить вне «политики», самый напевный, самый природный, самый соловьиный, — Бальмонт, — оказался настоящим *человеком.*

Книга «Марево» говорит нам о человечности поэта слишком красноречиво. И правда подлинной поэзии дает человече-

ским, — если угодно — «политическим» — утверждениям Бальмонта силу убедительности, которой нет в лучших докладах наиприсяжнейших политиков.

Это все тот же поэт Бальмонт, но и новый Бальмонт — поэт-человек.

...Быть, как Океан, в пустыне безразличья,
Накоплять волну, роняя в Вечность стих,
Нет, я не могу, и зеркало покоя
Не смотрясь в него, роняю —
вот — разбил.
Миллионы душ в тисках огня и зноя
Нет, как раньше пел, сейчас нельзя, нет сил.

И далее:

Знаю острие единого лишь страха:
Страшно низким стать и сердце ослепить.

Это повторяется, с упорством и твердостью:

Только запомни, — ты стар или молод, —
Плата измены — презренье в веках.

В книге Бальмонта — всечеловеческое страдание, бичи праведного гнева и постоянная молитва:

Чрез десять тысяч верст я слышу зыби звука
И там, где в пытке брать, я около него.

Он действительно около, он видит:

Умерли. Замучены. Убиты.
Или смотрят в мерзлое окно.
И Луна струит им хризолиты
Но смотрящий стынет — пал на дно.

Как бы поучая трусливых эстетов-«аполитиков», Бальмонт говорит:

Не одни только сказки, и песни, и медь:
Сердце полную правду возьмет.
Не принять обвиняющий голос нельзя:
Через совесть проходит стезя.

И нисколько не боится он, наилиричнейший из лириков, таких стихов:

Тридцатилетняя война
Была не более ужасна,
Чем власть, которая дана
Судьбой слепцам блуждать напрасно.

. . . .

Слепой паук все тянет нить
Сплетает лживое витийство.
О, кто придет убийц убить,
Чтоб их убив — убить убийство!

Или:

Пятирогатая кровавая звезда.
Все, что не я — сотри. Всем, кто не я — возмездье.
И гибнут области, деревни, города...

Книга Бальмонта — приговор:

Вы, чей бесовский спутник — страх,

. . . .

Один вам приговор: Проклятье.

Он «не понимает прощения врагов» Той, которую так нежно зовет:

Мать моя, открой лицо родное.
Мать моя, молю, заговори!

которой «верен он за мглою всех разлук» и о которой одной постоянно молится:

Свет, избавляющий, белый Христос,
С красною розой в груди.
Вспомни ее в колдовании гроз,
Вспомни ее и приди!

. . . .

А тех, кто знает лишь расстрелы
С кем гнет и ржавчина цепей,
В людские не включай пределы:
Кто Смерть призвал, тот будет с ней.

Поэт-человек Бальмонт, создавший некий Синтез, остается неуязвим. Пусть скажут одни, что это плохое искусство. Не скажут? Пусть другие, которым дела нет до искусства, попробуют сказать, что это плохая политика, попытаются записать его в правые, в левые, еще куда-нибудь? Нет, его «политика» мудрейшая из мудрых, она подсказана ему самой жизнью:

Ни направо, ни налево не пойду.
Я лишь веха для блуждающих в бреду.

Да, он, действительно, веха на дороге, не правой, не левой, — третьей. Пусть она еще не видна «блуждающим в бреду»: только она ведет к очищению и спасению России.

ВОПРОСЫ ИЗ ПУБЛИКИ

(Письмо в редакцию)

Мне не пришлось, к сожалению, быть на докладах Е. Д. Кусковой, столь взволновавших нашу эмиграцию. Я жалею не о пропущенных докладах, — они напечатаны, а докладчицу я слишком хорошо и давно знаю... Мне любопытна была публика. Она, — эмигранты, именитые и безымянные, — наверно, самым горячим образом лекторшу приветствовала; и, наверно, были среди нее желавшие поставить докладчице вопросы, которых она не поставила, не сумев их сформулировать.

«Когда падут большевики?» — Об этом не стоило, конечно, спрашивать Е. Кускову. Вопрос должен был пройти мимо нее: он ее не интересует. А вынужденная делать догадки, она непременно ошиблась бы. Энергичная, неутомимая, самоотверженная, общественная деятельница — она лишена, однако, предвидения. В 16-м году кто-то при мне крикнул ей: «Да ведь будет революция!». На что она немедленно и очень твердо ответила:

— Никакой революции не будет.

— А что же будет? — полюбопытствовал другой из присутствующих.

— Будет: enrichissez-vous *, вот что и больше ничего.

Во время войны Е. Д. Кускова заботилась, главным образом, о сознании «радикально-дем.» партии. Одно из собраний по этому поводу, в нашей квартире, в присутствии Горького, верно еще помнит благополучно здравствующий С. Познер.

Скажу, кстати, что Е. Д. Кускова, как примыкавшая к течению социал-демократов-марксистов, всегда была ареволюционна. Это течение по самому существу своему не революционно, да и не может сделаться таковым, не лишившись последовательности. Большевики и меньшевики тут не отличаются друг от друга. Примитивная истина эта столь основательно забыта, что звучит как парадокс. Лишь ею, однако, объясняется многое, кажущееся непонятным. Почему так глубока пропасть между с.-рами (прежде всего, *революционерами*) и большевиками, в то время как между меньшевиками (прежде всего *социалистами*) и теми же большевиками — только неширокий ров? И не знали ли всегда действительно убежденные «эс-деки» что «*социалистическая революция*» (как недавно сказал г. Иванович в «Совр. Зап.») есть абсурд не только по существу, но даже словесный абсурд? «Социалистической революции никогда не было и никогда быть не может».

Возвращаюсь, однако, к моей теме.

* обогащайтесь (*фр.*).

Революция, вопреки ожиданиям Е. Д. Кусковой, произошла. Настоящая, т. е. та, которая уничтожением старого государственного строя открывает свободу для создания нового, способного осуществить наиболее широкие социальные реформы.

Охрана «завоеваний революции», (необходимая охрана только единственного, в сущности, завоевания всякой, а именно — момента *свободы* для нового творчества) была поручена временному «революционному» правительству.

И вот — кошмарный вечер в начале октября 17 года. Громадное интеллигентское собрание на В. О. Между «интеллигентами просто» не мало и членов вр. правительства.

Да, именно кошмарный вечер: почти все мы *физически* чувствовали надвигающийся конец, знали, что нужно бороться, не упуская минуты, и... не могли. Наше «революционное» правительство не могло, или не желало, действовать революционно. Между тем контрпереворот был уже осязаем; не верилось даже, что кто-нибудь может его не ощущать.

А находились такие. И, к беде нашей российской, не из нас, обывателей, «интеллигентов просто», но именно из призванных охранять «завоевание революции», да из так называемых общественных деятелей...

Мороз подирал по коже, когда начинали на этом собрании говорить x... y... z... То замазывания; то утешения; то далекие мечты; чего не было! Но рекорд побила Кускова.

В длинной речи, как всегда выразительной и нежной, она попросту объясняла нам, что ничего того не существует, ради чего мы собрались и о чем говорим. Если же существует — не наше дело беспокоиться; во всяком случае, надо в эту сторону не смотреть и действовать так, как будто этого нет.

Петербург, весь грязный и темный, был в эти дни полон серой, шевелящейся солдатчиной; зловонные дезертирские волны перекатывались из улицы в улицу. А Е. Д. Кускова предлагала нам пристальнее всматриваться в уже сознательные, добрые лица солдат на митингах; замечать, как ревностно начинают они поддерживать сбор на войну и «как хорошо каждый кладет

деньги». Для наблюдений этих и для укрепления пробудившейся сознательности масс интеллигенции настоятельно рекомендовалось посещать митинги как можно чаще...

Кошмарный вечер кончился. Мы едем по кошмарным улицам несчастного Петербурга, в одном из двух министерских автомобилей Прокоповича — вместе с Е. Д. Кусковой: она завезет нас домой, ей по дороге.

И вот (Господи, какая боль, какая боль одни эти воспоминания!) опять убежденные речи о том, что «не наше это дело (борьба с большевиками). Это, может быть, военное дело. Икса, может... Или Зета... (назывались отдельные имена, все лица стоящих вне правительства, между прочим, одного террориста-революционера)... Но не наше это дело...».

Теперь и здесь, в ином времени и в ином пространстве, — не говорит ли Е. Д. Кускова те же самые речи, до совпадения слов? Бороться с большевиками — не наше дело (только не называются имена, так, как будто это уже вовсе «не дело», ничье). Большевики, впрочем, «наши дети». Абсолютно неизбежные, Ленин и Троцкий все равно воцарились бы в октябре, даже если бы в июле и были уничтожены. Теперь, через 5 лет их царствования, Россия преображается, возрождается. Народ стал сознательным и окреп. В городах жизнь бьет ключом. Массы готовы к самоуправлению и желают демократической республики с советами на местах... Снова все приглашаются присмотреться к происходящему в народе (к добрым солдатским лицам осенью 17 г.) — и не обращать ни малейшего внимания на большевиков, «как будто» их вовсе не существует...

Я не забываю, конечно, факта, который следует учесть: это то, что все мы теперь, поголовно, ненормальны.

Явление само по себе нормальное, — нельзя же того наделать и то пережить, что наделали и пережили мы — и не сойти в какой-то мере с ума. Притом разнообразно: у одних безумие выражается столь крутым поворотом на оси, что человек вдребезги изменяется. У других напротив: все вокруг него вывернулось наизнанку, самого его искрутили, измяли, изверте-

ли, — он ничегошеньки; только отпусти — танцует от той же печки.

...Истыкал тут злодей ему, пронзая все телеса.
А Деларю: прошу на чашку чая к нам в три часа.

Безумие Е. Д. Кусковой, поскольку и она заражена общим недугом, именно этого второго типа. И если б не оно — я ручаюсь, что с такой потрясающей точностью она этих своих слов 17-го года в 22-м не повторила бы. Какая-нибудь разница была бы все-таки. Ведь и непредвидение, и малая чувствительность к происходящему исчезают перед глубоким, редким опытом, вроде опыта Е. Д. Кусковой.

Не будем, однако, останавливаться на оттенках и мелочах. Постараемся рассуждать так, как если бы нам удалось стряхнуть с себя паутину ненормальности. И попробуем сузиться, ограничить свои вопросы чистой конкретностью.

Е. Д. Кускова — волевой человек. В ее выступлениях должен непременно заключаться какой-нибудь практический совет, какой-нибудь призыв к эмиграции. Молодежь, особенно горячо встречающая докладчицу, конечно, ждет именно практических выводов. Е. Д. Кускова этого последнего вывода, последнего ответа еще пока не дала. Не можем ли мы, в таком случае, сделать его сами?

Будем строго исходить из ее собственных положений. Народ возрождается, начинает крепнуть. Ему необходимо в этом помогать. Отсюда? Или ехать в Россию? Но все способы «отсюда» Кусковой осуждены, как опасные и вредные. Значит — ехать в Россию.

Ну, а большевики? Большевики, говорит Кускова, совершенно негодны для России и для народа. Значит, работать против них? Нет, нет, против них не надо («не наше дело», «не дело»). Как же, все-таки, — при них? Ну да, при них, т. е. не обращая на них внимания. Потому что их, оказывается, уже «как бы» нет. Еще в прошлом году, когда они разогнали Общ. Комитет и сослали членов его в места не столь отдаленные, они еще были. Теперь же их до такой степени «как бы» не стало, что

должно идти в народ, содействовать его возрождению, не уделяя большевикам ни капли внимания.

Итак — последний вывод Е. Д. Кусковой практическая цель ее горячих обращений к эмиграции, ясны. Это призыв: *на родину! В народ!*

Клич «в народ!» — клич старый. Однако надо признаться, что в наших новых условиях он звучит по-новому остро... и даже как-то сверхъестественно. Это потому, что в самых утверждениях и положениях Е. Д. Кусковой, из которых он логически вытекает, уже есть сверхъестественность. Разуму неподвластное. Что, например, значит: «как бы?». Есть большевики — но «как бы» нет. Для Гоца, Тимофеева, для всей партии с-ров, для самой Кусковой, не оставшейся в России — «как бы» есть; для российских обывателей, для рабочих, для крестьян, для трехсот вчера арестованных в Москве интеллигентов — есть, даже без «как бы»; и только для эмигрантской молодежи, посылаемой работать в народ, — их «как бы» совершенно не будет?

Я отнюдь не полемизирую с уважаемой Е. Д. Кусковой. Я лишь отмечаю смутные места ее проповеди и указываю, какие вопросы возникают у многих из ее слушателей. Может быть, Е. Д. Кускова ответила бы хоть на некоторые, самые существенные? Вот они: действительно ли она считает, что русские люди могут сейчас успешно работать «с народом» и «с населением», не обращая внимания на большевиков и не рискуя обратить на себя их внимание?

Если Е. Д. Кускова считает октябрьский переворот — национальной революцией, то какие из завоеваний *этой* революции должны быть, по ее мнению, особенно свято охраняемы?

Почему Е. Д. Кускова, горячо возражая против борьбы с большевиками, настоятельно рекомендует борьбу с так называемыми монархистами? Действительно ли монархисты являют из себя силу более реальную, нежели большевики?

Как, наконец, бороться с гражданами и группами населения России, которые вздумают утверждать, что большевики существуют и захотят быть против них?

Вопросов еще много, но довольно и этих.

В заключение скажу, что вопрос, поставленный самой Е. Д. Кусковой, — «Жива ли Россия?» — для эмигрантов до сих пор и не был вопросом. Каждый русский человек, где бы он ни находился, знает, что Россия жива и жить будет.

СОВЕТСКИЙ БАТЮШКА

(А. Введенский)

I

Петербург 1908—1909 года после двухлетнего парижского уединения показался нам истинно котлом кипящим.

Первые послереволюционные волны схлынули. Пошла зыбь более широкая. «Мертвая», может быть... не знаю.

Очень странное время. Интеллигентские круги смешивались, разделялись, опять смешивались... О группировках чисто литературных, эстетических — не буду здесь говорить. В области нам близкой — религиозно-общественной — был большой подъем. На месте прежних, давно запрещенных, глухих Религ. Философских Собраний возникло целое Р. Ф.-ское Общество. Оно сразу взяло тон более «светский», — да и не было уж там архиереев и архимандритов. Вопросы на собраниях врезались в область общественную. В длинном зале «Польского О-ва», на Фонтанке, битком набитом, стали появляться люди, к философии, особенно к религии, касанья как будто и не имевшие.

Мода. Кто-то назвал эту зиму — «сезоном о Боге».

Словом — можно было не удивиться, когда в «Речи» появилось письмо с вопросами по «религиозной анкете». Подписано оно было известным именем Александра Введенского. И адрес — на Вас. Остров...

Мы-то, конечно, догадались, что это письмо не может принадлежать Алекс. Ив. Введенскому. Но все, более внешние (боюсь утверждать, а, кажется, вплоть до самой редакции «Речи»),

так и приняли за автора письма этого профессора, столь в Петербурге известного.

Кто привел к нам настоящего автора — черного студентика? Или сам пришел?

Высокий воротник давит ему горло. А, может быть, он стесняется. Скоро, впрочем, разошелся.

Дело в том, что его завалили, буквально завалили ответами на «анкету». Со всех концов России — письма, письма, письма... И он с ними справиться не может. Не только разобраться в них, — он и прочесть их все не может. Большая часть писем начинается: «Многоуважаемый г-н профессор...»

Смотрю на него — и хочется спросить, нечаянно или немножко нарочно вышло, что его спутали с Ал. Ив. Введенским? Но как спросишь? Ведь он резонно ответит: «Не мог же я написать: прошу не смешивать, я — Александр Введенский — но «*не тот*»?

Не мог. А, пожалуй, как-нибудь и мог. И не сделал. Пожалуй, совпадением думал даже попользоваться... Кто его знает!

Налицо факт, что под лавиной писем он погибает и просит помощи.

Мы предложили передать это дело Р. Ф. Обществу. Оно разберет письма, потом кто-нибудь подготовит доклад об анкете и ее результатах. Вопросы Введенского также будут предметом обсуждения и критики, — ведь если бы О-во ставило анкету, оно формулировало бы их иначе.

Вопросов у Введенского было много — 12 или 14, и, сказать по правде, составил он их беспомощно, подчас грубо, хотя некоторые имели значение существенное.

Введенский с радостью предложение принял. Но нам-то вышло из этого мало радости. «Общество» не имело постоянного помещения, и письма пришлось перевозить к нам на квартиру. Тюки свалили прямо в угол, загромоздив довольно большую комнату. Чуть ли не на двух извозчиках их привезли!

Интерес эти письма представляли громадный. Самое количество было примечательно. Писал, главным образом, средний «обыватель». Т. е. в сущности-то самая настоящая «демократия».

Были письма и наивные, и серьезные, и невежественные, — и замечательные, и глупые, — и необыкновенно глубокие. Писали сельские учителя и учительницы, студенты, крестьяне, писали торговцы и сектанты. Анонимов почти не встречалось. Ставили и свои вопросы иногда; ждали, просили, а то и требовали ответа.

Досадно вспомнить, что работа над этим всероссийским материалом не была окончена. Сначала занялись ею добровольцы из Р. Ф. Общества. Помогала жившая у нас тогда покойная О. Флоренская. Скоро она осталась одна, а справиться одной было ей не под силу. Положим, исключительное время не давало сосредоточиться на маленьком, хотя бы и серьезном деле. Но мы все и в будничные времена отличались неуменьем *работать.*

Меньше других помог сам Введенский. Перевез письма, свалил — и тотчас исчез. Как будто собственная «анкета» перестала его интересовать.

Он, однако, был такой «забвенный», такой сам по себе незамечательный, что мы на него и посетовать забыли. Никто не заметил его исчезновения, точно и не существовало его никогда.

А письма, полуразобранные, остались. На разобранных сверху, на конвертах — краткое содержание и адрес автора. Иногда наиболее характерная цитата. Карандашом, рукой О. Флоренской. Может быть, они где-нибудь еще есть. Но вернее, что исчезли навсегда.

И десять лет прошло.

Мертвый Петербург. Единственная точка светлая, искра горящая — церковь. На нее — гонение, совершенно естественное;

откровенное, без экивоков, но еще несмелое и потому неровное. Большевики знают, что все, имеющее к церкви отношение, им враждебно в корне и без изъятия. Но они, в 18—19 гг., еще трусят; еще присматриваются и сомневаются: а вдруг нельзя?..

Церкви, однако, все более полны народом. Крестные ходы все грандиознее. Митинги с нанятыми ораторами не удаются. Нет, надо переходить к террору. Но... с умом, постепенно все время щупая почву.

Образование «братств» при храмах и первое появление «проповедников» относятся к этим же годам. Впоследствии проповеди с амвона стали произносить и люди «светские», интеллигенты (прежние «безбожники»), но при начале это были только священники. Иные сразу стали популярными. Не довольствуясь своей церковью, они ходили и в другие. За любимым проповедником следовала и толпа прихожан.

Введенский был в числе этих первых священников-проповедников. Действовал в группе с другими, тоже нам давно известными, — имен не называю, ибо судьбы их не знаю.

— Да какой это Введенский?

— Тот самый, помните, студентик... Он ведь сделался священником; кажется, не очень давно.

Как относился тогда к Введенскому народ — «демократия»? Прямых о нем отзывов «демократических» в то время мне слышать не приходилось (о других — много).

Зато в среде забитой интеллигенции, только что потянувшейся к церкви, — Введенский победил все сердца.

— Нет, вы подите, послушайте. Он прямо захватывает! И какой смелый... О политике, впрочем, не говорит. Да и зачем бы он стал о политике?.. Нет, удивительный.

Говорили еще, что он «не боится» изменять богослужение:

— Как первые христиане: врата царские все время настежь. А когда весь народ соберется, — внешние двери запираются. После проповеди бывает общая исповедь. И целую ночь народ в церкви. Что же, разве наше время — не время катакомб?

Наивные рассказы эти (почему у «первых христиан» были царские врата настежь?) ничего еще не говорили ни за, ни против Введенского. Его склонность к переменам или «новшествам» могла быть одинаково делом и хорошим, и дурным. Вообще — интеллигентские прозелиты, примитивно невежественные во всем, что касается религии и церкви, даже навыков не имевшие — ничем меня не удивляли и ничего не объясняли. Но удивила — в первое мгновенье, — «хромая Аня».

«Хромая Аня» — это круглолицая, хитренькая, невинная — и страшная — Судьба царской семьи, «другиня» Гришки Распутина. Анна Вырубова. Она достойна особого рассказа, здесь я упоминаю о ней вскользь, — в связи с Введенским.

Еще совсем недавно Аня нашла в Алекс.-Невской Лавре затворника. Двадцать пять лет сидел в затворе, и никто о нем не знал, а теперь вышел, и она с ним удостоилась говорить. Не велит уезжать. Как ни страшно ей оставаться, — она не уедет.

Но вот Аня уже не поминает о затворнике. Она вся полна Введенским. Мечтает поступить в его «братство».

— Как он говорит, ах, как он говорит!

Восторг Ани породил во мне первое еще смутное подозрение. Очень был характерен. Не сидит ли в «черненьком студенте с анкетой» нечто, Анино влечение и восторг объясняющее?

Но скажу раньше несколько слов о ныне убитом большевиками, многострадальном митрополите Вениамине.

К священникам-проповедникам он относился с величайшей ревностью и благостностью. Введенский особенно льнул к нему, приникал к нему, под его крыло. Часто звал служить в своей церкви (неподалеку от нас).

М. Вениамин был очень скромен, тих и — крепок. Положение дел, надо сказать, он принял мужественно. Это было особое, не кричащее, мужество. Служил везде, где его только просили, ходил через весь город, иногда очень поздно, пешком,

один. А город — черный, небывало-страшный, снежные стены сугробов, и все знают, что убийцы и грабители стерегут на уличных пустынях... (Так было в 18—19 году, так, впрочем, продолжается и в 23-м).

М. Вениамина потребовали к себе однажды кронштадтские матросы. Было похоже на ловушку. Окружающие молили его не ехать — не послушался, поехал, даже чуть ли не один. В нем была совершеннейшая готовность к смерти в каждую данную минуту. Это чувствовалось и, вероятно, не раз обезоруживало врагов. Не у всякого красноармейца, не у всякого чекиста даже, русского мужика, поднялись бы на него руки. Большевики это знали. Недаром и убийство его «сорганизовали» они особенно подло: увезли в Москву, долго замаривали в тюрьме, распускали слухи, что расстреливать, если и будут, — не теперь. Затем, ночью, заставили одних — обрить его догола и одеть в рубище; других — везти его за город; и, наконец, третьих — расстреливать неизвестного им, бритого, в лохмотьях, человека, приведенного еще и в бессознательное состояние.

Лишь потом эти третьи — палачи узнали, кого они убили.

Раз как-то, в 19 году, глубокой зимой, м. Вениамин служил всенощную в церкви Введенского. Служба кончилась поздно, и знакомая семья, жившая в нашем доме (все члены церк. братства), попросила и Вениамина, и Введенского у них заночевать. Усердные хозяева приготовили чай (из поджаренной морковки, конечно) и даже спекли крошечные, темно-коричневые «белые» булочки.

Из церкви, вплоть до нашего дома, шла громадная толпа. И все стояла у дверей, не расходилась, чернела на белой, лунной, пустой улице. За кем шла? За будущим мучеником Вениамином или за будущим предателем его — Введенским?

— Требуют еще Владыку, — сказала мне впопыхах старушка моя, бегавшая к воротам. — Он два раза опять к ним сходил, благословлял, уговаривал. Теперь, может, дадут покой.

Луна выше, дом давно потемнел, час уже третий. И вот опять — глухие стоны на улице. Подхожу к окну. Пусто, бело,

светло от луны. А по середине улицы — маленькое, черное копошится, кричит. Ну, конечно, опять убили. Надо же, под окнами как раз.

Посылаю узнать к бывшему швейцару. Но он на улице. Тащит черное — оно упирается. Криков не разобрать. Все равно, — идем сами вниз. Оказывается: последняя женщина из толпы решила не уходить от дверей, пока еще раз не увидит Вениамина. «Не уйду! Не уйду! Ходу к Владыке!» «А за милицией? А за комиссаром?» Не слушает.

С середины улицы ее убрали, но она у стенки, в снегу, просидела до утра... и Вениамина дождалась, если не замерзла.

II

Ну, а Введенский? В чем было его очарование для прозелитских сердец — и для «хромой Ани»?

Послушать его было надо, и мы пошли — не с поклонниками, меня «на него» звавшими, — а с людьми действительно религиозными. Они его уже знали, но говорили уклончиво: «Сами послушайте».

После этой проповеди дело, для меня, по крайней мере, стало необыкновенно ясно. Когда мы выходили, кто-то спросил: «Ну, что скажете?». Только одним словом и можно было ответить:

— Кликуша.

Да, Введенский не проповедовал — он кликал. Самое неприятное в этом кликушестве — была его *нарочитость.* Может быть, в конце концов, он и себя приводил в транс, как слушателей известного типа; но начинал-то — «нарочно», и впечатление производил бесстыдное, внутренно-нецеломудренное.

Человек до сжатости зубной, тщеславный. Мелко-тщеславный. Завистник шаляпинского успеха. Разновидность типа весьма обыкновенного. Такие люди, при малейше-благоприятных условиях, за них цепко хватаются. И пользуются. И выплывают. И держатся. И уж на все идут, чтоб держаться. В конце концов зарываются и, конечно, проваливаются.

Но у Введенского была одна черточка, она-то и не могла не влечь «хромую Аню».

Тело Гришки Распутина после революции вытащили из-под укромной часовни, где он был похоронен. Долго тело возили на моторе, потом где-то за городом долго и неумело, в сыром снегу, жгли его, потом так же долго и неумело «развевали пепел по ветру». (Подумаешь, чем занимались, на что драгоценное время тратили!)

Развеялся ли пепел по ветру? Не осел ли темной копотью? А если носится в русском воздухе невидимо — не глотнул ли его и «советский батюшка» — Введенский?

В нем, несомненно, было распутинство. На вид совсем иное, по существу очень схожее. Только Распутин — мужик умный, кряжистый, властный и темпераментный. А Введенский жидок: ума того нет — нет и той уверенности; суетлив, забеглив, и хоть сметка есть — все-таки может «перестараться».

Сидит Введенский в знакомом доме, после завтрака, на диване. А перед ним, кругом, молоденькие «братчицы», барышни в белых платочках.

Смех, визги. Обсуждается вопрос, на ком бы женить молодого псаломщика? «А мы вот на ком его женим», — предлагает батюшка. Визги и хохот усиливаются, предлагают другие комбинации... Словом — веселье вовсю.

«Терпеть не могу сумрачных лиц, — заявляет Введенский. — Христианство — это веселье, красота...»

«Красота» — вот еще что у него. Красота с большой буквы, так сказать. Распутин до этого не доспел (да и плевать ему было на такие фасоны). А Введенский — с украшениями декадентства. Самого настоящего, заматерелого, но для него еще нового.

Он обожает, как Смердяков, — «стишок». Обстоятельства благоприятны; в той области, где он действует, — в церковной, — никаких больше внешних запретов и границ нет: все позволено. О внутренних рамках, о внутренних мерах он, может быть, и не думал никогда. Ему кажется, что наступило вре-

мя творчества для него, Введенского, — и он начинает «творить», не стесняясь сообразно своей природе. С упоением «подпускает стишок», «обновляет» богослужение... посредством Игоря Северянина. Неистовый Антонин потом, вдолге, потянулся было за Введенским, тоже стал вводить «стишок» в литургию, однако того «модерна» не достиг, ибо и стихи-то читал Марии Конопницкой. Вскоре же, по голосу прежних навыков (он все-таки не религиозный «прощелыга») как будто и совсем отстал от молодого «товарища».

Лекции и беседы Введенского с молодыми «братчицами» были уж совсем «поэтические». Новое распутинство, декадентское, — в известном смысле и не такое, может быть, *внешне грубое*, — цвело густо. Смех, веселье, декламация... «Чего хмуриться? Гляди веселей...». Это слова уже не Введенского, а самого Гришки. И, пожалуй, в его-то устах они натуральнее. Когда он их говорил — в России не расстреливали (по статистике!) в час по 52 человека. Это лишь в годы Введенского: именно тогда требовал он непрерывного веселья и веселился сам. Час просмеются, другой стишки почитают, — глядишь, 104 человека укокошено, а совсем незаметно. Истинная находка для «советского правительства»!

Неофитским интеллигентским сердцам трудно было не увлечься этой помесью Распутина с поэтическим Смердяковым.

Для «черного» же народа Введенский надумал особую, специальную приманку.

Вышел как-то на амвон и начал:

— Дорогие сестры и братья! Хочу поделиться с вами радостью, милостью Божьей, мне ниспосланной. Господь помог мне совершить чудо...

Далее — пространная повесть о расслабленной, два года лежащей на одре, и о том, как он, Введенский, помолившись, сказал ей «встань», и она встала и стала ходить, и даже Бога благодарила на коленях.

Со своими чудесами Введенский очень возился, постоянно к ним возвращался.

Но он расчеты строил без «народа», его не зная ни прежде, ни в данный момент.

Для народа, для вот этой демократической толпы, храмы переполняющей, — Введенский был, прежде всего слишком *шумен.* Забывают, говоря о религиозном подъеме в России, — а это надо помнить и понимать, — что сейчас люди, в церкви стоящие, *тихи,* так жадно тихи, словно и в церковь-то их потянуло — за тишиной. И нигде нельзя так пронзительно понять, ощутить меру *страданья России,* как сегодня в церкви, как сквозь эту последнюю тишину.

Была народная молитвенная тишина в м. Вениамине. И не было ее в свящ. Введенском.

О тишине два слова. Мне скажут, может быть: не всегда ли к ней влекся русский народ, поскольку он влекся к религии? И не сущность ли это православия, — подлинного, конечно, — созерцательная, неподвижно покорная тишина? Не в затворниках ли и молчальниках — бездейственная святость его?

Да, возможно. Но я не говорю сейчас об этом. Не сегодня будем рассуждать, судить о православной церкви. Сегодня я говорю о *новой* тишине народа, идущего в церковь, в храм, — о тишине страданья. Когда оно вот дошло до черты какой-то, и уж больше не вместит, раздавит сейчас... тогда *ползут* под ним, не думая ни о чем, инстинктивно, и приползают в церковь. И там замирают — без слов, без звука, только со вздохом тихим, и уж такое облегчение, что можно вздохнуть.

Лишь об этом я говорю, и так оно действительно и есть.

Надрыву, шуму Введенского (помимо «поэзии») с этим нечего было делать. Он мог вызывать ответные, отдельные кликушества. И только.

Не захватывали народа и «чудеса», объявляемые с амвона. Общая настроенность и жажда тишины заставляли выслушивать эти объявления с угрюмым недоверием.

Поэтому и ненависть к Введенскому. Когда он зарвался и потерял себя у ног сов. власти, вспыхнула сразу так бурно. Никто не удивился, узнав, что «бритый» и в буквальном смысле предал Вениамина. Поверили тотчас. Я не знаю, продолжал ли Введенский и в 22-м году так же «льнуть» к Вениамину, как льнул в 20-м; думаю — продолжал, только с оглядкой по сторонам. Во всяком случае, чекисты, налетев в Лавру за Вениамином, застали их вместе. Было тут и еще несколько священников. Чекисты в лицо Вениамина не знали. Введенский поспешил указать: «Вот он!» Неизвестно, «дал ли целование», но это не помешало народу заклеймить его именем *Иуды* (и правда, похоже), а затем и проломить ему голову камнем, при выходе из здания суда, где «Иуда» показывал против Вениамина.

После такого народного подарка сов. власть стала думать, куда ей девать своего лакея в рясе. Решила посвятить его в архиерейский сан (почему советской власти, раз она власть, не посвящать архиереев?), сделать митрополитом даже — и отослать в Сибирь. Но, видно, и там пошел слушок: беспокойно. Дело замялось.

Однако в Петербурге Введенскому не житье, и он мечется. Атмосфера затаенной ненависти душит его и рождает непрестанное ощущение страха.

Некто, на днях приехавший из Петербурга, рассказывает: шел он по улице, навстречу поп, весь бритый. Мужик, рассказчику незнакомый, прохожий, — толкает в бок: «Видал?» — «Чего видал?» — «А Иуду-то нашего окаянного, Введенского. Ишь, заголился! Ровно большевик. Чтоб его...».

Старушка, самая простая, но неглупая, повествует: «Была нынче у обедни, а там Введенский. Врата царские настежь, он в алтаре, страшный: крест у него кверх ногами скачет, кружится и все приговаривает: я Бог, я Бог!».

Не думаю, чтоб он это приговаривал или крест как-нибудь перевертывал. Но это не важно. Важно, что его видят внутренно, и видят *верно*. «Подпрыгивает, кружится... Большевик...

Предатель...» Таков «глас народа». И, пожалуй, в данном случае — действительно — «глас Божий».

Поклонники Введенского из интеллигенции? Не сомневаюсь, что их больше нет. В 19—20 гг. интеллигенция только что начинала свой сдвиг к религии. Картина изменилась с тех пор. Интеллигенция, сливаясь с общим населением и демократизируясь, соответственно разделялась. Не говорю о «приспособившихся», я их не знаю. Но из оставшихся вне «советов» одна часть, крепкая и живая, — жива исключительно крепостью религиозного чувства.

Люди в России *инстинктом* человеческим поняли, что единая феноменальная сила, которую можно противопоставить силе разрушительной, тоже феноменальной, — есть сила религии. Организованная, конечно, если организована и первая, разрушительная. Православная церковь была единственной представительницей религиозной организации. Главная и первая ее ценность в том, что она неразрушима. Большевики долго пытались ее напросто уничтожить; наконец, смекнули, что дело хитрее, чем им казалось, и прибегли к испытанному способу предварительного «разложения» противника. Все эти Антонины и Введенские, все эти поощрения «новых» и «живых» бесчисленных «церквей» — тот же обходный маневр, как устроения «Накануней» и т. д. Но большевики исторически невежественны; их способы едва годятся для кучки отбросной эмиграции; и уж, конечно, русского православного монолита им не разложить.

Я, впрочем, не намереваюсь рассуждать ни о религии, ни о церкви как таковых. Я говорю просто о фактах, доступных опытной проверке. Если когда-то в священнике Введенском была приманка для прозелитов, то теперь интеллигентских прозелитов нет. Есть живые люди, сознательно и серьезно верующие, и есть другие, до такой степени удушенные большевиками, что и для них самих они уже не представляют интереса.

Промелькнуло известие, что Введенский командируется в Берлин.

Может быть, и этой командировке что-нибудь помешает; но идея очень удачная. С одной стороны — Введенского надо же куда-нибудь девать. Он неудобен, он возбуждает страсти; кремлевскому двору не хочется, — да и скучно, — возиться с таким мелким претендентом на распутинство. Церковных «разложителей» поскромнее дома много. С другой стороны — в Берлине нету работников в данной области, в Берлине Введенский очень может пригодиться. Недавно, вот, Маяковский, самый «крупный» из придворной челяди Кремля поэт, даже ухитрился в Париже четыре ночи проскандалить на Монмартре. Поили его русские артисты и жеманфишисты, и указывали хлопающим глазами французам: «C'est un grand poète russe qui n'est pas contre les Soviets» *.

В Берлине же почище. В Берлине у большевиков целое посольство. При нем, кстати, церковь: ограбленная и запертая, — но можно отпереть, если Введенский будет посольским батюшкой. «Советы гонят национальную церковь? Какая клевета!» — воскликнут все «Накануне». «В посольской церкви служит православный священник. В России свобода совести, и русская власть отнюдь не против религии.., содействующей революции, конечно...»

Уже выскочили и добровольцы по «встрече и приятию» советского лакея от православия. Один из этих добровольцев Лукьянов, сменивший вехи, другой — «православный» писатель, советский бард, господин Толстой, Алексей Николаевич.

Что ж, все это логично. Берлин не провалится, если в нем, в захваченной большевиками церкви, попрыгает и покличет черненький студентик с анкетой, коммунистический Смердяков со стишком: «Я Бог! я Бог!».

* Это великий русский поэт, который не против советского государства (*фр.*).

Дело обойдется к общему удовольствию. Таков Берлин... да что Берлин! Таков нынче, приблизительно, весь свет.

И как противно жить на этом свете!

ЧТО ДУМАЮТ В РОССИИ

Трудно сейчас о русской Церкви говорить: хочется кричать — вместе со всем миром. Мир закричал, — немножко поздно, — но и то, слава Богу.

Трудно говорить, но, может быть, все-таки нужно. Может быть, пригодится кому-нибудь мой спокойный рассказ о том, как воспринимают данное положение Церкви и что думают о нем русские люди в России.

Не привожу ни одной цитаты. Мои сведения отрывочны и загадочны. Но я имею возможность привести их к стройности и сделать понятными — для всякого, кто ранее уделял хоть малейшее внимание вопросу.

Так как это лишь рассказ о мыслях и чувствах людей «тамошних», — я оставляю за собой право моих собственных мнений пока вовсе не касаться.

Что такое «Живая Церковь» и ее представители — «живцы», как зовут их в России?

Если бы Антоний Волынский, небезызвестный деятель Карловицкого Собора (циник, сквернослов, властник, карьерист, чуть не насильно постригавший в монахи петербургскую академическую молодежь, прибавлю от себя) — так вот, если бы этот Антоний не попал случайно за границу, а остался бы в России, он без всякого сомнения был бы сейчас «живцом». Соперничая с Антонином, восседал бы не на Карловицком, а на Большевицком соборе. Ибо *в существе* нет разницы между этими двумя Соборами, как нет ее между заграничным Антонием и московским Антонином. География даст разницу детальную и словесную, — и словесную даже едва-едва: не возглашают ли

они одинаково, то идут «против всех, кто не приемлет *Богом данной* власти...» советской, говорит Антонин; самодержавной, говорит Антоний.

Действуют же они совершенно, как близнецы: лизанье пяток предержащему начальству и доносы на непокорных... это практика Антонинов в настоящем, практика Антониев в прошлом и — надеются они — в будущем.

Есть, впрочем, еще одна разница между ними, касающаяся разницы между самодержавием и «советами», но о ней скажу ниже.

Антонин и Антоний — одно потому, что оба они принадлежат не к Церкви, а к той трухлявой, но века державшейся на Церкви *корке*, которая темнила и давила ее, обволакивала и стягивала.

Ныне корка стала отваливаться, кусками. Куски, попавшие за границу, — это Антонии Волынские. В России — это «живцы».

Никогда кристалл русской Церкви не был столь чист, как сейчас в России. Не вернулись, — в новом виде воскресли первые века христианства. Беспримерная, неодолимая сила духа; кровь мучеников; катакомбы.

Да, катакомбы. Самые реальные, как кровь Вениамина, Буткевича, тысяч других...

Русская Церковь очистила свой кристалл. И только через него, *сквозь* него глядя, можно гадать о ее будущих судьбах *.

Русская Церковь за границей не состоит, конечно, из одних Антониев Волынских, из этой корки внешней. Но здешние не Волынские — часть Церкви в том виде, в каком она была раньше. Верные — и неподвижные, с затемненным кристаллом. В России, силою вещей, уже нельзя просто *пребывать*. Там нельзя не делать выбора, нельзя ждать.

Здесь — можно.

* Я понимаю это так, что, рассматривая Пр. Церковь, надо исходить из этого кристалла, и его уже принимать или отвергать.

Не разорвана сущность Церкви, и процесс очищения кристалла, происшедший в России, происходит здесь; но не совпадает темп времен, и незаметен оттуда здешний процесс. Многим «оттуда» кажется, что и нет его и что русская Церковь в изгнании страдает не теми — другими страданиями.

Чистый кристалл Церкви по-новому воспринимается русскими людьми, и между ними и здешними есть почти неуловимая разделяющая черта — взаимного непонимания. (Может быть, и напрасная, — не знаю.)

Но вот главное: на самую борьбу советской «власти» с Церковью люди в России смотрят иначе, нежели здесь; иной в ней видят смысл. Отсюда кажется, что вот «власть» гражданская, государство, борется с Церковью. И мы удивляемся — не изуверству, а глупости и «непрактичности» большевиков: им, до зарезу нуждающимся в Европе, все это в данный момент крайне невыгодно.

Да, невыгодно. Но в России думают, что они не властны не только прекратить борьбу «на данном фронте», но даже смягчить ее. Почему? Да потому что борется не государство с Церковью, а *одна церковь — с другой.*

По строению, по самой материи своей, большевицкая организация, составляющая ядро «советской власти», не государственна, а скорее *церковна* («церковь» берется, конечно, в первом своем, безотносительном понятии). И такая организация не может существовать с другой, подобной, да еще по содержанию полярно противоположной: она экскоммунитивна.

«Живцы» этого не понимают; вернее — предпочитают не понимать. Если, мол, можно было пристроиться к самодержавию, то не штука пристроиться и к Коминтерну — оба «власть». Угождай — и власть будет тебе покровительствовать. Как бы не так! Коминтернская церковь не потерпит около себя и этого, собственными руками грубо сляпанного, подобия христианской церкви, нужного ей сейчас как орудие борьбы. Да ведь откровеннее большевиков и нельзя быть: в лицо говорят

этим самым «живцам», что и вас, мол, уничтожим «по миновании надобности».

Чем бы, значит, ни кончилась борьба церквей — «живцы» провалятся все равно; если они стараются этого не знать, в эту сторону не смотреть, то ведь действительно: им ни хода, ни выхода больше никуда нет. Не начать же цепляться за давно провалившуюся «аполитичность» Церкви?

О принципе «аполитичности» Церкви можно спорить; но мы говорим о фактах, а не о принципах. Факты очень знаменательны. Кто сейчас, даже самый горячий сторонник «аполитичности» Церкви, сможет послать ей и ее представителям в России совет: «Да будьте же аполитичны! Будете — и все устроится!». Думаю, никто. Всякий чувствует, что это было бы издевательством и нелепостью. Не всякий знает — почему. В России знают: потому что не в политике дело, потому что, если угодно, оба врага *уже* аполитичны. Борьба идет не политическая, а *церковная.*

Неравная, может быть? В руках церкви Коминтерна — вся физика, все внешние средства убийства и уничтожения. Она, однако, неспокойна. «Что мы ни делаем, рост религиозности увеличивается», — признался на днях сам Троцкий. И вот, церковь Коминтерна изыскивает средства другого порядка, хитрит, пытается разлагать, создает «живцов», заманивает, развращает молодежь; не останавливается ни перед чем, зарывается и — на глазах изнемогает.

Борьба неравная: «советская церковь», дробя свое стекло, гранит алмаз народной веры.

Большевики не остановятся. Вряд ли смогут они себе тут и передышку устроить, но если и смогут — она будет коротка. Не остановятся.

В России не знают сроков и меры страданий, которые еще предстоят, но крепость и чистоту кристалла своего знают и в исходе «борьбы церквей» не сомневаются.

Не все, конечно (это я прибавлю уж от себя), умеют так ясно определять происходящее; но, кажется, громадное боль-

шинство в России именно таким его чувствует, — если чувствует, — именно это знает бессознательно. Ошибаются? Не ошибаются? Я не сужу. Только рассказываю.

От себя прибавлю еще вот что.

Не сделает ли русская политическая эмиграция теперь, когда религиозный вопрос в России обратил на себя внимание мира, большую *политическую* ошибку, продолжая его игнорировать? Это, во-первых, отъединило бы ее в известной стороне от России; во-вторых — и для широких и смешанных эмигрантских кругов, вопрос имеет громадное значение. Если эти широкие круги еще не определили себя, находятся в брожении, то ведь мы знаем, что деятелями известного сорта они не забыты. И разумно ли, а, главное, милосердно ли, оставлять их тут на исключительное попечение Антониев Волынских?

О ЖЕНСКОМ ПОЛЕ

Сейчас же подумают: какое игривое заглавие! Очень характерно, что так подумают. Я немножко об этой характерности и хочу поговорить.

Статьи о «поэтессах» моего коллеги — критика Мочульского — мне очень нравятся. Такие они тонкие, благожелательные. Я надеюсь, что покончив с поэтессами, г. Мочульский перейдет к беллетристкам и критикессам. Он, очевидно, специализировался на рассматривании искусства с точки зрения женского пола.

Раньше чистых спецов не бывало, хотя о «женском творчестве» писали, конечно. Едва критик брал перо — он начинал писать, как г. Мочульский, т. е. немедленно у него в мыслях все перестраивалось на «женский пол», о котором он с той минуты не забывал, и уже в его луче видел произведения этого самого женского пола.

Каким образом? А вот, возьмем, для ясности, пример погрубее.

Машечка написала рассказ. Рассказ не безграмотный только. Но ведь его «Машечка» написала. Машечка, от которой (тут слепое, но незыблемое, кровное ощущение) совсем ничего ждать нельзя. Следовательно, он — чудо; он, для Машечки, гениален. Его не приходит и в голову, сравнивать с Костиным или Ваниным, а только с тем, что написала Катечка. Она тоже хорошо (ведь Катечка!), но если Машечка грамотнее, то, по сравнению, Машечка прямо удивительна!

Один умный, а, главное, добросовестный литератор, редактор петербургского журнала, с удивлением признавался:

— А ведь, действительно, с женщинами *не говорят!* То есть нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь пошел к женщине со своим, его интересующим, ждал бы ее беседы, хотел бы знать, что она об этом думает... Конечно, если только она не...

Его восторженно перебил молодой студент:

— Это все «человеческое», а женщина выше, выше этого! Женщина не человек, она... Она — зверебог!

— Вы не дали мне кончить, — возразил редактор. — Я это и хотел сказать. Мы не равняемся с женщинами. Не говорим с ними — как друг с другом. Не интересуемся... если, конечно, она не «хорошенькая»...

Мудрая жена поэта Фофанова заранее ни на что не претендовала, и когда ее спросили, не пишет ли она тоже стихов, ответила:

— Нет уж, где уж. Уж мужчина всегда лучше напишет!

Она выразилась слишком прямолинейно, и не в том, пожалуй, дело, что «мужчина» лучше напишет, а в том, что мы, в сущности, никогда и не сравниваем, кто лучше написал, Таня или Ваня; не можем, в голову не приходит, инстинкт не позволяет. У нас две мерки, — само так сделалось, — одна для Вань, другая для Тань.

Сразу скажу, что инстинкт этот — верный, только слепой, и никто не хочет его осмыслить, и редкие в нем признаются. Между тем, подходить с таким инстинктом, слепым, к искусст-

ву — не годится. Искусство имеет право не считаться ни с женским, ни с мужским полом, не признавать двух мер, а только одну, свою.

Почему бы нам не утвердить открыто очень обыкновенную истину, что «женский пол» вообще, по самой сути своей, не может ничего *творить*, ничего *созидать?* Требовать от него творчества так же неразумно, как от пилы, чтобы она катилась, как колесо, или от колеса, чтобы оно было пилой.

Ну вот, скажут, немало мы знаем женщин, которые творили, писали, — toute proportion gardèe* довольно хорошо? Я не спорю. Во всякой «живой женщине» есть кое-что и помимо «женского пола». И вот этой-то доле «помимо» и предлежит творчество. Только ей. Правда, она, обычно, невелика, превалирующее «женское» давит ее или окрашивает в свой цвет... немудрено, что мы, не разбираясь, огулом говорим: «женский пол» = «женщина». И выдумали такой абсурд, как «женское творчество», пишем о «женской поэзии», не существующем «женском искусстве».

Г. Мочульский, например, действует по правильному, хотя слепому, инстинкту, когда сгоняет вместе «женский пол», их скопом критикует, одну с другой сравнивает. Он очень тонко разберет, чем отличается г-жа Шкапская от г-жи Шагинян. Тот же инстинкт не позволит ему писать вместе о г-же Шагинян... и хотя бы о И. Анненском. Или сказать, как он сказал, о Шагинян: «Иннокентий Анненский — умен и образован...»

Неправда ли, как неуловимо нелепо это звучало бы? Даже представить себе нельзя. Но он пишет о «Машечке»... Она — «умна и образованна»... Машечка, от которой ничего нельзя ожидать. И вдруг, для Машечки, необыкновенные «ум и образованность!»

Искусство, однако, не желает знать никаких слепых инстинктов критика и ни малейших двух мер, одну для Николашечки,

* при сравнении одного с другим (*фр.*).

другую для Машечки. Оно оскорбляется, если критик подходит к нему с неоторванной мыслью о Машечке и все время, сам не замечая, на Машечку одним глазом косит. Нет уж, не подошло Машечкино «творение» под общую меру — провались Машечка, ничего не поделаешь.

Я знаю, что оторвать мысль о Машечке — необыкновенно трудно. Это ведь даже не мысль, а что-то в крови. Неуследимая какая-то привычка. С самыми добрыми намерениями начинает критик, но и с начала не свободен: либо рука сама тянется к Машечкиной головке — погладит, либо заранее фыркнет презрительно, — это судя по человеку; но искусство в обоих случаях остается без суда и ни при чем.

Попросить, что ли, женщин, для облегчения критиков, скрывать свое авторство, как военную тайну? Заместителей подыскивать? Нет, не согласятся. Они это несчастие критиков даже любят. Недаром кричат: *женщине* дорогу!

Значит, одно осталось средство: осмыслив темный инстинкт и пользуясь им сознательно — стараться выработать в себе к искусству отношение строгое, суровое до беспощадности... искусство такого отношения, ей-Богу, очень достойно.

МЕШОК С КИСЛОРОДОМ

Вопрос о признании «советской власти» европейскими державами стал ныне очередным. Около него ведутся горячие споры. Ни один вопрос не запутан такими узлами и ни один так не нуждается в освещении объективном, с точки зрения разумной действительности.

Для этого необходимо, прежде всего, устранить все доводы порядка морального. Мораль — роскошь, доступная в данный момент одной Америке. Вопрос о «признании» или «непризнании» кремлевской власти европейскими державами должен рассматриваться так, как сами они его рассмат-

ривают, т. е. со стороны их сегодняшних жизненных интересов.

Аморализм Европы (пусть вынужденный и временный) — есть факт. И совершенно напрасно возражают нежелающие видеть его — что Европа не осведомлена, а если б, мол, она лучше знала свойства кремлевских владык и Россию... Нет, Европа знает достаточно. Она очень хорошо знает, что «власть», которую собираются признать, не признана собственным народом. Очень хорошо знает, что представители ее — представители и III Интернационала и что они лгут, отрицая это, что они лгут и во всех других случаях. Их деяния, направленные против законов общественной морали, превосходно известны Европе. Она их оценила и сознательно сделала свой выбор, который я не сужу, а лишь подчеркиваю: она решила жертвовать общечеловеческими принципами морали ради своих насущных жизненных интересов.

Поэтому я и предлагаю перенести вопрос о признании Советов именно в эту плоскость чистой конкретности, прекратив донкихотские размахивания мечом на пустом месте.

Характер споров, ныне ведущихся около вопроса, тоже указывает на единую у всех спорящих цель: возможность наиболее выгодно Россию использовать. Скорее, скорее! «Нам-то как бы не запоздать» против других, — с обезоруживающей искренностью опять только что повторил деп. Эррио.

Насчет условий признания тоже все согласны (идеалисты, вроде Бенеша, или притворяющиеся идеалистами — не в счет). Условия простые: по договору с владельцами России иностранцы ввозят туда свои собственные законы — для самих себя, конечно; туземцы остаются по-прежнему вне закона, в рабстве.

Рабство, на взгляд иностранцев, такое прочное, что они не опасаются судьбы пушкинского Алеко, горожанина, среди племени цыган. Это племя очень скоро изгнало его.

«Мы дики, нет у нас законов...» —

говорит старый цыган Алеко, но так как:

«Ты для себя лишь хочешь воли...» —

то мы с позором изгоняем тебя, чужака и врага.

Европейский Алеко надеется на крепость цепей, связывающих «дикий народ»... Эти цепи, при «воле для себя», как и вообще все данное положение России, необыкновенно отвечает интересам иностранцев. Оно возможно только при условии существования «советской власти?». Значит, нужно, чтобы она существовала.

Поддерживать ее деньгами Европа вряд ли будет. Но надеется, что признание, с вытекающей из него «мирной интервенцией», кое-как поправят *печальное* положение этой власти (ведь сделки будут вестись прямо с ней), кстати же, укрепят ее и политически.

Все это было бы очень хорошо, и расчет был бы верен, если б... если б он не основывался на вчерашнем дне России. Сегодняшнего ее дня Европа еще не знает. Не знает, что поздно строить что-либо на *печальном* экономическом и политическом положении «Советов». Не знает, что поздно спорить между собою, кто скорее перехватит у торговцев не принадлежащий им товар. Что уже поздно и закреплять за торговцами этот товар. Все поздно, ибо положение «Советов» вовсе не печальное.

Положение «Советов» *отчаянное.*

Я говорю не о России, я говорю именно о «советском правительстве». Его-то положение и может быть названо, с величайшей точностью, отчаянным. К последнему краху экономическому присоединился, наконец, долгожданный крах политический. Так что, пожалуй, никакой тени правительства, ни «советского», ни несоветского уже вовсе не существует. После разложения Ленина сошел со сцены Троцкий (тоже очень знаменательно). И сейчас, силой инерции, держит кремлевскую власть только Зиновьев, глава III Интернационала, с помощником, поляком Дзержинским, главой террористического застенка.

Фактически эти две «главы» и будут признаны европейскими державами. С ними и должны будут заключаться «выгодные» сделки.

Но, может быть, это не меняет дела? Может быть, с точки зрения, исключающей мораль, даже выгоднее «признать» именно Зиновьева с Дзержинским? Не самые ли они надежные в смысле исполнения договорных условий — скручиванья русских в бараний рог и свободной продажи России?

Заманчивые соображения! Но они обманны. Признание Зиновьева и Дзержинского уже их не спасет. Признание для них (для сегодняшней «советской власти») может лишь сыграть роль мешка с кислородом, т. е. *продлить агонью на несколько минут.*

То, что я говорю, не есть мнение какой-нибудь части эмиграции. Это вообще не «мнение». Это факт, не только для нас, здешних, но и для русских в России; факт, с которым Европа и все равно посчитается, и лучше учесть его заранее.

Ну, а если и в эти несколько минут агонии все-таки можно успеть получить какие-нибудь выгоды? Если ради них все-таки стоит поднести к устам Зиновьева мешок с кислородом — признание?

Пусть каждая европейская страна решает этот вопрос для себя, но пусть знает, на что идет. В несколько минут, при большой ловкости, можно заставить подписать завещание в свою пользу; но получить капитал, которого у завещателя никогда не было или которым он владел незаконно, — нет ни малейшей возможности. Но и это не все: спешно вынудивший бесполезную подпись рискует большими неприятностями от законных наследников и, несомненно, рискует своими возможными будущими интересами.

Я люблю Европу. Из всех стран ее я люблю больше всех прекрасную Францию, мое второе отечество. Я верю, что ее уклон в сторону жизненных интересов предпочтительно перед страной вечных ценностей — уклон вынужденный и временный. И я не меньше всего желал бы, чтобы Франция взяла на себя этот страшный риск — несвоевременного признания «со-

ветской власти». Ибо это воистину риск и воистину страшный. Страшный — и смешной вместе.

Да спасет Францию ее Гений, — как спасал доныне, — от непоправимо ложных шагов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ

Полет в Европу

I

Надо, прежде всего, воскреснуть.

Двадцать лет непрерывного вглядыванья в литературу, оценки писателей, старанья выразить то, что видишь; двадцать лет критической работы... и затем, с начала 18-го года, конец. Нет не только меня (что — я?), нет литературы, нет писателей, нет ничего: темный провал.

Я говорил не раз прежде, что в России мало существует «литература» (в западном понятии), существуют, главным образом, писатели. Что у нас есть отдельные, крупные личности, а общность литературная, *лицо* литературы, смутно, сложно, неопределенно.

Теперь вижу: я ошибался. Теперь вижу — нет, была и «литература», была общая чаша, громадная, полная... чем? драгоценными камнями? Ценными во всяком случае. Разной ценности. От алмаза до скромного аквамарина. Даже еще проще попадались камушки.

Дело критиков было разбираться в этом богатстве, отмечать ценность и место всякого камня. Мы это посильно и делали. Если находили совсем негодный булыжник — старались его удалить.

Так было. Пока не пришли новые времена.

Сначала прихлопнули нас всех темной, тяжелой крышкой. Наступила — смерть не смерть — смертная тишина.

Не слишком велика была чаша российской литературы; мешала *там* и под крышкой. Сокровище — да; но такое, что

нельзя его ни продать, ни обменять: да еще сторожить надо усиленно — а это дорого. Уничтожить? Пробовали, — очень уж долгая история. И чашу русской литературы из России выбросили. Она опрокинулась, и все, что было в ней, — брызгами разлетелось по Европе.

Погибло? Пропало? Разбилось? Ну, разбивается только стекло. О нем и не забота. Установим пока первое данное: русская современная литература (в лице главных ее писателей) из России выплеснута в Европу. Здесь ее и надо искать, если о ней говорить. Что с кем случилось после встряски, удара, полета?

Может быть, неслыханное испытание и не так бесполезно для русских писателей. Во всяком случае для критика, если он сам уцелел, вовремя пришел в себя и может оглядеться вокруг, — оно полезно: вернее ценишь, яснее видишь... и писателей, и свои собственные ошибки. Разве не случалось нам звать искусством то, что затем на глазах развеялось пылью? И не надеялись ли мы порою на художника, который, когда буря сорвала с него одежды, оказался просто ничтожеством?

Зато вдвое, во сто раз дороже и ценнее испытание выдержавший; тот, кто продолжает свое дело на чужбине, без родины, без земли, — почти без тела; если даже раны его незалечимы — творчество его бессмертно...

Оставим, однако, лирику. Посмотрим просто, что делается с нашей литературой в Европе.

В Европе... не в России. Что *сделали* в России с русскими писателями — мы видели, а что *делается* с немногими, подлинными, там еще остающимися, я не знаю (конечно, знал бы, если бы, чудом, наперекор рассудку и вопреки стихиям, там кто-нибудь расцвел, как Ааронов жезл). Там, из старых, все время действовали, — да и по сию пору, кажется, писателями считаются, — Ясинский и Луначарский, а третий — Брюсов. Но первые два как не были в литературе, так и остались вне ее. Луначарский всячески пытался объявить себя Гёте: по декрету — не вышло; Фауста своего написал (рабочего) — тоже ни черта; теперь махнул рукой и просто живет — неразвенчанным Хлес-

таковым. Брюсов в литературе был, но автоматически из нее выпал. Последние стихи этого, когда-то талантливого, человека возбуждают лишь удивление и неприятную жалость.

Из живых, там погребенных, — Сологуб. Но он должен был приехать сюда три года тому назад. Накануне отъезда трагически погибла его жена. С этих пор мы не должны говорить о «жизни» Сологуба; с этих пор начинается его «житие».

Какое имя ни вспомнишь — все здесь. Последний по времени «европеец» — Арцыбашев. Известное писательское «целомудрие» еще не позволяет ему отдаться, что называется, чисто «художественному творчеству». Но с какой силой, с каким блеском заговорил он после пятилетнего молчания! Каждая критическая статья его — воистину «художественное» произведение. Он покуда в Варшаве (Польша ведь тоже ныне в некотором роде «Европа»), и печатается в маленькой местной газете «Свобода»... Я с грустью (и с некоторым ужасом) думаю, что вырвавшийся из плена Арцыбашев только в этой «Свободе» и мог обрести свободу слова... Попади он сразу к нам, в гущу эмигрантской прессы, его бы укротили. Художникам не полагается писать статей. По нынешним временам всякая статья — «политика» (и правда, никак не увернешься, раз заговорил просто по-человечески). Беллетристу же у нас, в данную минуту, дозволяется знать свою беллетристику, а дальше чтобы ни ногой.

Арцыбашев — настоящий художник. У него очень неровный, со срывами, но сильный талант. До сих пор помнится мне его давняя, острая и глубокая вещь — «Смерть Ланде». Но Арцыбашев не только художественный писатель, он как-то весь талантлив, сам; не художник-беллетрист, а и художник-человек. Поэтому я и говорю о несомненной *художественности* его статей. У нас же «художество» сейчас загнано в рамки «беллетристики», иного места ему не полагается. Это печальная действительность, но это, конечно, минует. Пока же я радуюсь, что Арцыбашев нашел свободу хоть в этой маленькой, малочитаемой «Свободе».

«Очистив» Россию от современной русской литературы, от Арцыбашевых, Буниных, Мережковских, Куприных, Ремизовых и т. д., и т. д., распорядители (как мы знаем) ныне принялись за коренное очищение ее и от всего русского литературного наследия. Кстати, и вообще от литературы, от всего, что имеет отношение к культуре духа. Не имея возможности уничтожить или выбросить писателей, которые уже умерли, они принуждены ограничиться деятельным физическим уничтожением их книг. Русским известно, какие сотни авторов числятся в списке г-жи Крупской: по ее декрету книги велено отыскивать, отбирать и отправлять на бумажную фабрику. Русским известно, что в списке этом и Толстой, и Достоевский... да, кстати, и Платон, вплоть до его биографии. Иностранцам же об этом мы не говорим, не стоит, все равно не поверят.

Земля пустынна; ни травинки, все срезано; и вот, судорожно еще роются в ней черные ногти, нащупывают, вырывают корни, чтобы уж и корней не осталось, памяти не осталось, чтобы не тургеневская Финстерархорн, а кремлевская дама Крупская могла сказать: «Хорошо! совсем чисто!».

Трудно, при этих обстоятельствах, говорить мне о литературе в России.

Мог бы я, пожалуй, вспомнить об яйцах, из которых «очистители» пытались одно время высидеть «собственную» литературу. Но я хочу говорить об искусстве, об эстетике; из яиц же вылупились такие непристойные гады, что невместно мне их на сей раз касаться. Замечу лишь, кстати, что ничего иного из «собственных» яиц и не могло вылупиться. Неужели никому не приходило в голову, оставив в стороне всякую «политику», все ужасы, разрушенье, удушенье, кровь (это тоже зовется «политикой»), взглянуть на происходящее в России и на советских повелителей *только* с эстетической точки зрения? Вне «правды и добра» — исключительно под углом «красоты»? Попробуйте. Если насчет всех прочих сторон («политика») еще могут найтись спорщики, то уж тут бесспорно: никогда еще мир не видал

такого полного, такого плоского, такого смрадного — *уродства.*

...Земля впервые им оскорблена...

II

Может показаться странным, что наша литература, на новых местах, за шесть лет, дала сравнительно мало нового.

Но это не странно. Я упомянул выше о «писательском целомудрии». Есть, действительно, кроме обычно-человеческих, еще специально-писательская честность и писательское целомудрие. На мой-то личный взгляд человек с писателем так слиты, что и не разрежешь их никаким ножом; однако, я, по многим причинам, на этом сейчас не настаиваю и говорю только о честности и целомудрии специфически-писательских. (Последнее свойство можно, с некоторой натяжкой, назвать и «вкусом».)

Как общее правило: чем больше и ярче талант, тем больше у писателя и художественной честности, и целомудрия. Вот одно из объяснений, почему наиболее сильные, крупные, художники дали за эти шесть лет меньше нового, чем дали бы без катастрофы, — не личной, даже не литературной, сейчас не об этом говорю, — но без катастрофы общероссийской. Как, в самом деле, выдумывать, когда честность подсказывает, что всякая выдумка будет бледнее действительности? Да и о каких людях писать, а главное — о какой жизни, если всякая жизнь разрушена, а лица людей искажены? Но и это не все. Смыкает уста и «целомудрие». Есть ли поэт, который будет писать стихотворение у еще теплого тела матери? А ощущение умершей или умирающей России носил в себе долго каждый русский писатель; пожалуй, и теперь носит, на самом дне души.

Обычно писатель, изменяющий целомудрию, наказан в самом творчестве своем: никогда еще не появлялось *художественного* произведения о войне — во время войны или о революции — во время революции.

Но можно говорить о прошлом... К этому и приходят мало-помалу русские писатели, оправляясь от пережитого: ведь они все-таки писатели, и недаром же не погибли.

Ив. Бунин — без сомнения первый, в современности, художник-беллетрист. Очень много у него и честности писательской, и целомудрия, и самого тонкого вкуса. Он долго молчал. Ему, по индивидуальному свойству таланта, трудно писать о прошлом. Он весь видимый, осязательный, — настоящий. И теперь, когда он пишет о минувшем, — до волшебного обмана претворяет он его в живое, сейчасное: возвращает время на круги свои. Все тот же Бунин, только, если можно, стал он еще строже, еще собраннее, упругий стиль — совершеннее. Современная наша литература и в Европе сохранила своего российского премьера.

Но и я, в Европе, воскресаю с прежней моей критической беспристрастностью, с постоянным стремлением к точности. Я не «хвалю» Бунина (никого я не «хвалю» и не «браню»), я его определяю, как определял и много лет тому назад. Радуюсь, что и тогда не ошибался. Но кое-что к моим определениям я еще прибавлю.

Бунин — «не милосерден» к своему читателю; он не «учит» его, когда бьет, а просто бьет, так, что и убьет — не заметит. Это происходит оттого, что Бунин *слишком* художник. Оттого, что, рисуя картину, он дает ей чересчур полное подобие жизни, вдвигает в нее читателя, заставляет в ней жить чувственно, как в собственном моменте реальной жизни... и переживает так же отрывочно и слепо, как обычно люди переживают дни своей жизни. Почти сон... иногда тяжелый, иногда веселый, а то страшный, будто кошмар... Если выйдешь из него, не умрешь, то остается чувственное воспоминание, чувственная радость, что прошло... и только. Такова сама жизнь. Таков чистый художник жизни — Бунин. Он дает куски жизни, и не только не дает *смысла* ее (кто мог его дать?), но он — в своих произведениях, — и сам доселе не искал его и почти не позволял искать другим. Хорошо это или плохо? Не знаю, этим вопросом сейчас

не занимаюсь. Также не знаю, в хулу или похвалу Бунину и последнее мое наблюдение, почти догадка, почти предчувствие: в новых его вещах, — вот в этих до боли сжатых, может быть, не в словах, — а в молчаниях *за* словами, — есть новая боль, новое воздыхание. Есть жажда, пусть пока несознанная, найти какой-то синтез своего творчества.

Ошибаюсь ли я — скажет время, а пока пойдем дальше собирать камушки русской — ныне европейской — литературы.

Как их много! Некоторые для меня новы, будто и заблестели только здесь. Вот, например, молодой писатель Алданов. Откровенно пишет о прошлом, о далеком прошлом, исторические, европейско-русские романы. Жанр недоступный хотя бы и Бунину, потому уже, что в Алданове напополам и Европы, и России, а Бунин костью, плотью, кровью — российский; воистину «писатель *земли* русской».

У Алданова — хороший живой язык, умная, культурная манера. Архитектура, строение романа, ему еще не дается; но у него положительно есть чувство меры (какая редкость в русском писателе!), и, может быть, это тип романиста, которого не хватало нашей литературе.

Я был бы, однако, не точен и несправедлив, если б умолчал о двух вещах: первая — впечатление какой-то разреженности от алдановской беллетристики. Это, впрочем, непреодолимое впечатление; вторая вещь яснее и важнее. Алданов тенденциозен; это его право, и никогда я не отрицал его в художнике. Но у Алданова прорывается тенденциозность иронически-легкая, не глубокая, примитивная; освещение исторических фактов в манере журналиста, а не беллетриста. Вдруг начинается работа белыми нитками; очень тщательная, но самая тщательность возбуждает досаду. Таков образ Екатерины и еще каких-то русских персонажей (в романе «Термидор»). Да и «смешной» Кант выписан неловко и совсем не смешно. В романе «Елена, маленький остров» таких срывов почти нет, и вообще этот роман, несмотря на неудачную постройку, тоньше и проще «Термидора».

Какого размера дистанция отделяет писателя Алданова от другого русского писателя – Ивана Шмелева! Именно по противоположности он мне здесь раньше других и пришел на ум.

Этот – старый мой знакомец. В России он пользовался известностью умеренной, но в некоторых кругах его любили, особенно после «Человека из ресторана». Я о нем собирался писать, но потом решил выждать дальнейшей индивидуализации писателя. Во время войны его очерки «Суровые дни» – единственная книга, которую я смог прочесть без особого оскорбления. С тех пор ее не перечитывал, но, помнится, в ней подкупала бесхитростная взволнованность души.

Шмелев, как Бунин, весь русский, с головы до пят. Но у Бунина есть, сверх этого, магичность исключительного таланта и сдержанность, собранность; они приближают его к всемирности. Шмелев же остается русским, только русским, со всеми русскими и грехами, и дарами. В слишком европейце Алданове есть жидковатость; слишком русский Шмелев так густ, что ложка стоит, а глотать – иной раз и подавишься. Чувства меры не имеет никакого. По-русски безмерное – святое – бурление души заставляет его забывать и о писательском целомудрии, которое в иные времена смыкает уста художника. Кипит в сердце, через край хлещет, где тут думать о мере! Флобер, во время войны 70 года, по ночам просыпался, сидел в подушках, страдал и плакал, а утром, за своим столом, опять терпеливо и медленно весил, мерил, точил каждую фразу романа, – не мог иначе. У Шмелева слова не поспевают – даже не за мыслями его, а за стихийным потоком чувств. Он не властен над ними, не властен и над словами: он сам в потоке.

Оттого Шмелев, в Европе, и не прошел полосы молчания, как Бунин и некоторые другие. Только что его выбросило, после крушения, на западные берега, как он издал книжку «Это было», повесть, с художественной точки зрения, самую неудачную. По размеру она невелика, но кажется неестественно длинной, главным образом потому, что без разбору вся – в крике. Слишком я понимаю вот это русское безмерное бурле-

ние и крик сердечный (еще бы! теперь-то!), но как же быть? Искусство имеет свой закон, «его же не прейдеши»: нельзя кричать все в ту же силу, все на тех же высоких нотах. Кто не хочет подчиняться этому закону — тот может быть чем угодно: пророком, святым... но только не художником.

Шмелева должен любить читатель (русский), любить именно с его воплями, с водопадом и пеной слов. Но любовь (да и нелюбовь) перед судом искусства не значит ничего. Флобера, например, читатель терпеть не мог. И ничего это не доказало. Любовь также еще не ручательство, что путь художника верен, и Шмелеву не надо это забывать.

Если б у Шмелева не было большого природного дара и больших возможностей, я бы и не сказал о нем всего, что сказал. Похвалил бы вскользь, или вовсе промолчал.

Но природный талант, да еще в соединении с горением душевным — редкая ценность. Она — обязывает. И я считаю себя вправе предъявлять к этому писателю очень строгие требования. Кому больше дано, с того больше и спрашивается.

Но «спрашивать» нужно с толком: со Шмелева требуется одно, а вот с Бориса Зайцева, например, совсем другое. Впрочем, с Зайцева я как-то вообще не могу ничего «требовать» (только разве «надеяться» на него): слишком он нежен, тонок, такой нежно-скользящий, легкий и пленительный. В нем «печаль полей», в нем «тихие зори»... «Сердце немеет и лежит распростертое...», «...из зеркальных далей, по реке, нисходит *благословение горя...*».

В 1907 г. я писал о Зайцеве, что в картинно-неподвижном творчестве его почти нет ощущения личности, нет *человека.* Есть последовательно: хаос, стихии, земля, тварь, толпа... А человека еще нет. Есть дыхание, но это дыхание космоса, точно вся земная грудь подымается. Нет лика — нет лица...

Да, нету; герои его рассказов — «зелень полей», «черный обворожительный ком-земля», вся тварь, «совокупно (и покорно) стенающая об избавлении»; а герои люди, если искать в них людей, — кажутся странно-легкими, мерцают, скользят...

потому что и они — та же земля, та же зелень полевая: «Не они ли в той зелени, и то зеленое не в них ли?» — говорит сам Зайцев.

И лежит на страницах художника луч, не греющий *человеческого* сердца, — луч тихой примиренности, — «благословения горя».

Читая Зайцева, грустишь, — но ждешь... писал я в те годы. Рождения человека ждешь, конечно. И теперь — с еще более нетерпеливой надеждой, чем тогда (я уж сказал, — что *требований* к Зайцеву предъявлять я не могу). Что же будет с ним? Неужели останется он в своем очарованном кругу печали, среди скользящих призраков и *теперь*, после страшных лет борьбы Безличного с Личностью? Неужели не обратится примиренность его — в непримиримость, и не откроет ему *человека* безмерность горя, которое уже нельзя «благословить»?

III

Я вижу, что поставил себе неисполнимую задачу, — в рамках этой одной статьи, по крайней мере. Слишком богата наша «европейская» литература, слишком много здесь писателей. Почти каждому хочется, — и нужно, — взглянуть в лицо после страшного перерыва. А я едва успел отметить и первых! Основательно очистили Россию, поработали-таки над «изъятием ценностей».

Довели чистоту до того, что наконец и сами «изъятели» потянулись в Европу. Скучно, должно быть, стало. Непривычно. Говорить о них не буду, «ценностей» между ними очевидно нет, — скажу лишь об одном усердном «изъятеле» — Максиме Горьком.

Цену этого большого, недурно подделанного, сердолика я определил лет 20 тому назад; отметил и время, когда он окончательно треснул. Говорить, значит, о Горьком как о писателе мне трудно, но мало того: о нем и вообще трудно говорить лишь как о писателе, почти невозможно. Чтобы понятно было, *почему* трудно, я позволю себе привести маленький отрывок из

моей статьи 1904 года, которую здесь нашел и сам удивился ее точности. В 1904 году, дома, я был свободен, мог говорить о ком хочу, что хочу, и вот что я говорил.

«...М. Горький как художник если и расцветал для кого-нибудь, — отцвел, забыт. Его не видят, на него и не смотрят. Горький-*писатель* давно заслонен *деятелем*-Горьким...». «Потерявшие в огне общественных страстей всякое понятие о литературной перспективе, наши критики еще кричат, по привычке: "Горький и Толстой! Горький и Гете!..", «но "горкиада" не литературная эпоха. Горький — *пророк* нашего злополучного времени. И важна его *проповедь*, его и его учеников, а не их художественные произведения...». «Всякая проповедь судится в своих крайних точках. К чему же ведет проповедь Горького, если идти до конца?» «Она исторически необходима, но убийственна для попавших в ее полосу. Она освобождает человека от всего, что он имеет и когда-либо имел: от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого помышления о Боге, от всякой надежды, от всякого страха, от всякого духовного или телесного устремления и, наконец, от всякой воли, — она не освобождает лишь от *инстинкта* жить...». «Что это? Зверство? Вряд ли. От зверя — потенция движения вверх. Здесь же, в истории, уже поднявшись вверх, волна упала... от человека — во что-то конечное, слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее...» *.

Если уже тогда, 20 лет тому назад, Горький был «проповедник», а не писатель, и если таковы «конечные точки, последняя цель» этой проповеди (а время как будто наглядное нам дало подтверждение, не правда ли?) — то не дико ли мне вдруг взять да и заговорить сейчас о его «художественных произведениях»? Не понятно ли все само собою? И не лучше ли, если уж нельзя рассказать, как этот удачный проповедник, по достижении цели, помогал «изъятию» всяческих ценностей, не лучше ли было бы вовсе о нем молчать?

* Лит. Дневник. С. 181.

Пожалуй. Вот только одно еще: почему Горький потянулся в Европу? Ему ли в России скучать? Многолетние труды увенчались полным успехом. Писать — просторно, нельзя просторнее. Никакой помехи в России, только почет и поощрение. Казалось бы: живи и будь счастлив.

Так вот нет. Дело в том, что Горький отравлен тайной, вполне безнадежной, любовью, которая, как змея, источила всю его жизнь. На заре туманной юности он влюбился... в «культуру».

Ужаснее этого с ним ничего не могло случиться.

Повторилась, и до сих пор повторяется, вот эта проклятая история:

Он был титулярный советник,
Она генеральская дочь.
Он ей в любви изъяснялся,
Она прогнала его прочь.

Что же Горький? Известно, что:

Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь.
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.

Как в нитшевских «вечных повторениях» кружится Горький, с теми вариациями, что после очередного выгона погружается в пьянство не от вина, а от бешенства. В такие «ночи» он не щадит свою неясную, недостижимую возлюбленную; тут-то он «по-русски» позорил Америку и «плевал в лицо прекрасной Франции». Но плюет и позорит — не верьте; он не излечен; все равно, во всяком тумане, носится

Пред ним генеральская дочь.

Не будем же строги к титулярному советнику. Может быть, даже «изъятелем-то», да и проповедником разрушения, помощником разрушителей стал он благодаря этой роковой своей страсти. Любовь к «культуре» *при полной к ней неспособнос-*

ти – недуг, выедающий, сжигающий не только талант писательский, но и душу человеческую.

Горький уедет домой, в «чистое» свое место, но опять приедет в Европу, чтобы снова уехать. И так будет продолжаться, пока он жив. И ничего не изменится.

Дальнейшие его литературные произведения нам безразличны. Они тоже не изменятся. Ведь катастрофа, постигшая русских писателей, русскую литературу, не могла на него никак повлиять, – просто потому, что *для него* ее не было.

Об этой катастрофе еще несколько слов – с другой точки зрения.

Имели ли мы, русские, хоть приблизительное представление, в какой степени наша литература неизвестна Европе? Просто не знакома, – никто не смотрел, никто не видал; и знакомиться с ней европейцам очень тяжело. Не в них и не в нас вина (если есть вина); должно быть самый дух наш труден для восприятия.

Прежде мы как-то об этом не думали и мало заботились; теперь, выброшенные из России, мы лбами столкнулись с иностранцами. Мы поневоле ищем хоть какого-нибудь места на чужой земле. И писатели, прежде даже чем собрались с силами для новой работы, стали пытаться издавать русские свои книги на иностранных языках.

Не буду входить в подробности этих опытов, коснусь только первых итогов. Они грустны; но тем более виноваты мы будем, если придем в уныние и прекратим работу сближения с европейцами и усилия дать им о нас понятие. Пусть они нас судят, пусть даже осудят, но пусть хоть как-нибудь в нашей литературе разбираются.

Теперь знают они о нас плачевно мало (говорю преимущественно о Франции, где живу). Для них есть какая-то общая «âme russe» *, в которой они отчета себе не отдают, да и смотрят в полглаза; кроме того, есть, в смысле интереса, «экзотика».

* «русская душа» (*фр.*).

Таков, в грубых чертах, рисунок европейского отношения к русской литературе, да и вообще к русскому искусству (к русскому балету, музыкантам, художникам – преимущественно интерес «экзотики»).

Если наши писатели, всей кучей вытряхнутые в Европу, сами еще перепутаны, как шахматы в ящике, то для иностранцев они даже не шахматы, а просто шашки, все одинаковые. Они их искренно не различают, – да и откуда им знать, действительно, где конь, где ферзь, где пешка? Узнавать – долгая, трудная история. И они подходят к нам с привычным критерием – «экзотики».

«Деревня» Бунина? Вещь удивительная! прекрасная! высоко интересная! (французы специально так воспитаны, чтобы не скупиться на похвалы, раз уж они о ком-нибудь говорят); не менее, однако, любопытна! интересна! и т. д. (экзотична) и книга, положим, Гребенщикова о «сибирских» мужиках. Любезные французы даже и не подозревают, что, если Бунин чистейшего огня рубин, то Гребенщиков – дай Бог, с речного берега камушек; что дома, на родной шахматной доске, Бунин стоял рядом с ферязью, а Гребенщикова на этой доске, пожалуй, и вовсе не бывало.

Я привел пример насчет Гребенщикова, этого серого повествователя-этнографа, как первый попавшийся. Таких примеров сколько угодно. Вот «Суламифь» Куприна. Аляповатая вещь, олеография, малодостойная таланта этого писателя (о нем теперешнем, о нем «в Европе», я, при случае, еще поговорю). Но «Суламифь» нравится, – в ней двойная экзотика, и русская, и восточная. Нравится средне, конечно, в меру интереса к экзотике, хотя любезность и требует от француза расшаркнуться: «Это перл!».

Но, повторяю, писателям нашим нечего смущаться. Принимать, понимать данное, и – упорно идти вперед. Авось, доживем и до первого *строгого* слова иностранца, до первого знака, что Европа литературную Россию глубже шкурки увидала.

С этой стороны катастрофа наша может оказаться благодетельной. Как никак — есть же в русской литературе некий дух, от проникновения в который Европа не только не проиграет, а, пожалуй, выиграет: омолодится.

Да и нашим писателям это сближение не к худу. И у старого Запада есть чему поучиться. Выбросили литературу за окно, окно захлопнули. Ничего. Откроются когда-нибудь двери в Россию; и литература вернется туда, Бог даст, с большим, чем прежде, сознанием всемирности.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ

О молодых и средних

I

Наши деды не так уж были глупы, когда при всяком удобном (и даже неудобном) случае пили за «Истину, Добро и Красоту».

Избитая триада! Правда: кто не избивал ее? Избивали, забывали, вспоминали, чтобы снова избивать; в результате — болят руки у избивателей, а триада стоит себе, нерушимая, и, главное, неделимая; и по-прежнему только к ней влечется воля человеческая.

Триада нераздельна, однако Истина — Добро — Красота (будем уж держаться этой терминологии, хотя в разные слова облекало ее человечество) — отнюдь не слиты, отнюдь не одно и то же. Неделимость их в том, что нельзя взять одно из трех понятий и, углубив его, не дойти до двух других.

Неразрывность слишком ясная: можем ли мы себе представить, что кто-нибудь желает Истины... безобразной и ложной? Или уродливого, лживого Добра? Или злобной и фальшивой Красоты? Сказать это можно по капризу, по озорству (и говорили, когда увлекались Нитше), но пожелать действительно — противно природе человеческой.

Однако в многосложной и многообразной плоскости относительной, эта абсолютная триада – некий равнобедренный треугольник – отражается растроенно. Мы привыкли к этому обыденному делению, да ничего безнадежного тут и нет: ведь за какой уголок треугольника не схватиться (только по-настоящему), вытянешь-то все равно его весь.

Проще говоря: под каким углом зрения мы данное явление ни рассматриваем – судимым оно оказывается, – как в трех измерениях – так и во всех трех планах.

Поэтому мне, в сущности, безразлично, с какого угла начинать. Пишу ли я о Добре – я тем самым говорю и об Истине, и о Красоте. Пишу ли о Красоте – разумею Красоту истинную, то есть добрую (недаром Сологуб в самые «демонические» времена сказал, – осмелился сказать: «Красота и Нравственность (Добро) – это две сестры: одну обижают – другая плачет»). Нет областей, по которым не пролегали бы эти три пути, и это дает мне свободу, «которую уже никто не отнимет у меня», а также и свободу выбора.

Если я сейчас выбираю «угол» Красоты, то даже не потому, что говорю об искусстве. Или, во всяком случае, не только потому. Но слишком помрачены в сознании человеческом Истина и Добро, – Красота как будто меньше. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что прекрасное – понятнее; или думают, что оно понятнее, – но и это важно.

II

Мне ставили в упрек, что в предыдущей Записи я говорил только о корифеях нашей литературы. И только об эмиграции. Неясно упрекали – не то в предпочтении старых писателей – старым же, но оставшимся в России; не то в сознательном обходе новой, молодой послереволюционной литературы.

Слишком просто было бы ответить, что о корифеях стоит поговорить, и не виноват же я, что они эмигранты. Это ведь, прежде всего, факт.

Но, конечно, для меня дело голыми фактами не исчерпывается. И я хочу расшифровать неясные упреки и вопросы, свести сущность их к одному главному вопросу, очень мучительному, очень искреннему у искренних, и объективно важному.

Формулирую его так: «Каково поступательное движение и развитие нашей русской литературы за годы революции, *если оно есть?*»

Центр тяжести спора — в последней части вопроса: есть или нет? За каждым из этих утверждений лежит длинная психологическая цепь других, соответственных, утверждений; но мы не будем этого касаться хотя бы потому, что всякий утверждающий, говорит ли он «да» или «нет» — не прав: как раз *утверждать* тут нельзя ничего.

Я и не утверждаю. Но я думаю, я боюсь, что развития русской литературы *нет;* что течение ее, за последние годы, приостановилось. Доказать я это не могу, как не могут, впрочем, ничего доказать и мои противники; но рассказать, почему я так думаю, показать, отчего этого боюсь и чем в страхе утешаюсь — может быть, следует.

Заранее отвожу от себя упрек в субъективности. Если это недостаток — кто от него свободен?

III

Мне пришлось видеть близко целый кусок истории литературы, наблюдать смену течений, очень у нас быструю, но, вначале, правильную.

Если брать общо, то можно заметить один закон для всех литератур всех времен: период более или менее реалистический — сменяется периодом романтизма; и этот, в свою очередь, новым, опять реалистическим.

Наша литература (и наше искусство), при всей своей молодости, имела те же смены, вначале трудно уследимые. Гораздо ярче смена 90-х годов. Наивный реализм изжил себя, довел литературу до упадка и кончился, уступив место победоносно-

му шествию неоромантизма (напоминаю, что говорю об общей линии; и не об отдельных писателях, но о плеядах).

Русская литература никогда не шла вне жизни; а чем дальше – тем все больше испытывала она на себе влияние общих условий. Темп ее движения ускорялся в связи с темпом развития событий, иногда перегонял их. И период романтики не успел нормально завершиться, как уже влилось в это течение следующее, опять реалистическое. Смешение получилось довольно чудовищное: гиперболический и *утопический* реализм. В нем, отображенно, были уже все элементы большевизма.

Перед самой войной и в годы войны я имел возможность особенно близко следить за молодой литературой. Из доброй сотни молодежи, от 14 до 26 лет, посещавших частное общество «П. и П.» (поэтов и прозаиков) две трети, по крайней мере, уже были захвачены потоком этого «утопического реализма» или клонили к нему. Талантливые и бездарные, разделялись они не по признаку таланта, а как раз по тяготению или отталкиванию от «нового», и тогда уродливо-смешанного течения.

Кстати, о «таланте», этом современном божке. За талант, говорят, все прощается! За талант ли? Может быть, – за «прекрасное», созданное талантливым человеком?

«Прекрасное» редко, а талантов... гораздо больше, чем мы думаем. Таланты на каждом шагу. Талант – некое имение; получить его по воле нельзя, но, получив, разорить, опозорить, во зло обратить – сколько угодно. Это чаще всего и происходит. Прекрасное же редко потому, что не талантом оно создается и не человеком, а какой-то их таинственной *сцепкой*, да еще качеством *воли* человека, талант имеющего. Когда, не понимая процесса творчества, обособляют и обожествляют «талант», – право, хочется встать на защиту *искусства* от *бесчеловечья.*

Но возвратимся к пребольшевистской литературной молодежи.

Когда пришел настоящий большевизм, он наделся на них, как перчатка на руку. Плотно и крепко. Утопический реа-

лизм (литературный) нашел свои берега, вернее — свое безбережье.

Таланты остались талантами. Но талант начали употреблять на схватыванье и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных и на обработку их в сверхкошмар, в сверхбезобразие. Это «сверх» обыкновенно не удается, и мы получаем только цепь бесполезно-уродливых описаний. Например, описывать физические отправления стало считаться самым щегольским «реализмом».

Талантлив ли Есенин? Конечно. Я его знал до всякой революции, видел еще обожающим последнего романтика — Блока. И тогда Есенин был сосуд, готовый к приятию росы большевизма. Каково же прекрасное, созданное этим талантом?

Я не имею сейчас в виду давать обстоятельный отзыв об Есенине. А все мы знаем, что если взять у него несколько *характерных* строчек, особенно из последнего периода, то... лучше их не цитировать. Окажется, что еще самое пристойное из его дерзаний, это — как он

Стоит на подоконнике
И ... на луну.

Кусиков тоже талантлив (менее). А прозаики Зощенки, Пильняк? Последний (он недавно был исключительно обласкан советскими вельможами) изощряет свой талант, описывая лежанье героя на грязном полу вокзала или путешествие «В теплушке» с таким... уж не реализмом, а натурализмом, что я опять предпочитаю воздержаться от цитат.

Самое интересное, что эти описания ни для чего не нужны. Ничем не связаны. Описание для описания. «Искусство для искусства».

Может быть, Маяковский не «талантлив»? Этот, ныне уже немолодой, пребольшевик с быстротой молнии съел в свое время Игоря Северянина, за которым еще влачился романтический шлейф. «Поэзами» нежного коммивояжера, тоже талантливого, сильно заувлекалась, было, средняя петербургская

барышня. Но слишком он оказался нежен. «Ноздря» Маяковского (по комвыражению) давно учуяла, что не тут ракам зимовать. Надо «хватить», а для этого надо издумать всякий раз «погаже». Когда стремлению к «погаже» не стало внешних препон (фактически единственная русская «свобода») – легко представить, что получилось у Маяковского и у всех плывущих по этому течению.

Я должен, однако, сказать, что есть писатели из среднемолодой группы, – т. е. моложе старых Маяковских, но старше самых юных, впервые открывших глаза в России года 18-го, – которым по натуре, должно быть, несвойственно это: «хватить погаже». Вот, хотя бы, один из «Серапионов» – М. Слонимский. Могу засвидетельствовать, что у него имелся талант: я присутствовал при его первых, еще «комнатных», литературных шагах в 19 году.

Называю его в *серединной* группе молодых, хотя писать он начал только в 19–20 г. Но он успел прожить несколько сознательных лет в нормальной обстановке, да еще в очень хорошей, интеллигентной и литературной семье; он успел *читать книги*. Может быть, и это повлияло на его «натуру», трудно сказать; но маяковщины и пильняковщины тогда, в 19 году, в нем не замечалось.

Ну, а теперь? Теперь он в той же победной колеснице всеобщего, жизнелитературного, «утопического реализма»; только «натура» мешает ему сравняться в славе с другими, менее его талантливыми, и он в этой колеснице лишь малая спица.

Есть, наверно, и кроме Слонимского, среднемолодые, которым натура не позволяет «хватать»; тогда общая нота, которую они все-таки тянут, выходит просто послабее. Но ни в одной строке русских писателей так называемых «новых», – quasi-молодых, молодых и юных, – я до сих пор иной, действительно *новой*, ноты не уловил. Сильный, слабый, талантливый, бездарный, – но все тот же «реализм»... физических отправлений, скажу я, не боясь грубого слова.

Отмечаю это с ужасом, с болью, рад был бы, если б кто-нибудь опроверг меня. Знаю, что мы далеко не все видим отсюда; но в том, что видим, я этой новой ноты не улавливаю.

Знаю также, почему, если я прав, нет нового у «новых» писателей, и почему быть еще не может.

Почему же?

IV

Я уже предлагал, — мимоходом, правда, — взглянуть на кое-каких юных писателей и на происходящее в России с *эстетической* точки зрения, попробовать оценить все под углом Красоты. Мне казалось, что для правильной оценки достаточно одного взгляда. Но сегодня вижу: и в эстетике не обойдешься без пояснений и толкований.

Кратко исследовав воду в литературной реке, исследуем и русло ее, и берега. Это не менее важно.

«...Группа пролетарских писателей во главе с Машировым-Самобытником и Садофьевым опубликовала наряду с другими комячейками "клятву" беречь, как зеницу ока, великое наследство Ленина и "неуклонно идти вперед по его верным и победным путям".

К этой Аннибаловой клятве *присоединились* члены объединения *ленинградских* писателей: Ал. Толстой, Всев. Иванов и все Серапионовы братья: Зощенко, Слонимский и т. д.» *.

Газета, отмечая факт, дает ему оценку именно эстетическую, ту, которую предлагаю сделать и я. Да, действительно, «шедевр»; действительно, «нет ничего ужаснее для писателя, как утерять чувство смешного».

Безобразие самое несомненное — мелкое безобразие. Оно-то всегда — и смешно, и ужасно. Зощенки и Слонимские, «ленинградские» беллетристы, когда подписывали клятву верности, чувствовали ли ужасное и смешное безобразие этого своего

* Газета «Дни».

писанья? Допустим, что они искренни, допустим, что не чувствовали. Тем хуже. Если чувство красоты и безобразия у них утеряно, не должно ли это обстоятельство мешать им творить прекрасное?

Можно идти и с другого конца.

Я не читал од Брюсова на смерть Ленина, выпущенных им во время «всеобщей пляски язычников вокруг гроба умершего шамана». Но я читал стихи Брюсова последнего периода и совершенно уверен, что «оды» этого, когда-то Божьей милостью поэта немногим выше «художественных» произведений распоследнего комсомольца из коммолгазеты.

Как седовласый Брюсов, так и среднемолодой Слонимский, оба одинаково неспособны на «прекрасное»: они оба утеряли чувство прекрасного.

Ну, а юные? «Племя незнакомое», Машировы и Садофьевы, которые едва знали азбуку, когда прекратились все книги, а в школе (если были в ней) выучились одному: что есть коммунизм, Ленин его пророк, остальное — гиль?

Они видели жизнь... как она есть в России, под большевиками. Другой не видели. Сравнивать не с чем. Видели безобразие. Но не знают, что это безобразие, потому что не видели красивого.

Чувства красоты они не могли утерять — они его не имели. Имели, конечно, в зародыше, по наследственности; но ведь это нежное семя требует ухода и поливки. А его только и заливают, что грязью да кровью.

Так и талант, — между ними, наверно, много талантливых. Я говорил, какая хрупкая вещь талант.

Что же, легко этим Садофьевым, этим «юным», творить прекрасное, когда они уже творят безобразное, подписывая «клятвы», и даже не подозревают, что «ужасны и смешны»?

Сказать по правде — никого так не жалко, как их. Не в них ли наше будущее, не они ли наша надежда? Не для них ли и мы все работали, несли что-то, чтобы они взяли от нашего и претворили в новое, и не прервалась бы цепь?

А цепь, кажется, уже прервалась. Невинные, как замерзшие и подобранные в день похорон Ленина дети, не будут ли, — как они, забыты и наши «новые» русские писатели?

Но не хочу преувеличивать. Я ни минуты не сомневаюсь, что Россия не погибла, не погибла и русская литература. Прерыв — вероятен. Мы опять вступим, может быть, в полосу, когда «литературы» как будто нет, есть отдельные «самородки». Самородки выдержат все. Долежат в земле до своего времени. Если и прав я, если не слышим мы «новых» голосов — нужно ли бояться? Мы слышим только тех, кто пишет без ощущения красоты и безобразия, кто подписывает свое имя под клятвами Ленину, кто не знает смешного и ужасного. А новое, если и родилось, растет в тишине, до своего часа. Скорее бы уж пробил этот час!

Не знаю, достаточно ли подчеркнул я, что в литературных моих оценках очень малую роль играет география, т. е. местожительство писателя и даже молодость и старость. Линия моего разделения проходит иначе.

Не спорю: факт, что лучшие наши писатели очутились в Европе, имеет для меня свой смысл. Однако в Европе теперь целые косяки писателей и журналистов, которые на новом месте не сделались для меня лучше. И обратно: Сологуб без выезда сидит в Петербурге, а вот последние его стихи в «Беседе» я считаю истинно прекрасными. Прелесть этих шиллеровских строк не уничтожается даже уродством их воспроизведения в «Беседе»: «склонись пред тайной вещей...», что должно означать не «вещи», а «вещую» тайну.

Брюсов завтра сделается посланником в Лондоне, Зощенко или Слонимский — редактором «Накануне» в Берлине (нарочно беру вне возрастов). Что же, это возвратит им чувство красоты, которое они одинаково потеряли? Не возвратит, как пребыванье в России Сологуба не заставило его это чувство потерять.

Да один ли Сологуб? Там Сергеев-Ценский, этот замечательный писатель, о котором я когда-то говорил, что он стоит

«на острие». Там Анна Ахматова, женственная, такая, казалось, робкая, словно былинка гнущаяся — и не сломившаяся, и смелая в своих последних стихах, по-прежнему прекрасных. Там Замятин, беллетрист талантливый, очень неровный, хотя очень изысканный. О Замятине я когда-нибудь поговорю подробнее; сейчас скажу только, что ему с особым усердием начали подражать всякие молодые Слонимские; но далее беспомощно-внешнего подражания дело не пошло. Не хватило их, не увидели, что вот за таким-то и за таким-то «стилем», постройкой слов, у Замятина, в каждом рассказе, есть что-то еще, что, худо ли, хорошо ли, слова эти связывает, дает им жизнь, делает их искусством.

В России М. Пришвин. Не знаю, что пишет он теперь и может ли писать. Но думаю, что этот не первоклассный, но чуткий, «земляной», художник не стал подражать Пильнякам, не описывает его «вокзалов», не потерял чувства красоты, какое имел ранее.

Многих еще можно бы вспомнить... Не отдает ли художник своему творению живое сердце, живую кровь? И какова кровь, каково сердце — таково будет и творение.

V

До сих пор я говорил об арифметичном. И даже, для ясности, еще упрощал без того простые линии.

На Брюсове, на Самобытниках и Слонимских — до грубости наглядно: утеряли различие между безобразным и прекрасным — утеряли и способность творить прекрасное.

Но есть явления — в душе человеческой и в литературе — более тонкие: к ним с арифметикой не подойдешь. Всей сложности их и нельзя разобрать. Но одну черту русского духа, с частой яркостью в нашей литературе отраженную (в лесковском «Памве смиренном», например), я хочу отметить.

Ею определяется иногда весь облик писателя или его облик известного периода, — данная книга.

Затрудняюсь дать имя этому душевному свойству: все названия будут неточны.

Что это, — фатализм? Высшая покорность? «Радость страданья», доходящая до экстатической любви к терзателям, жертвенный порыв, мазохизм?

Пожалуй, «мазохизм» — слово наиболее точное, но употреблять мы его будем не в осудительном смысле. Мазохизм, как я его беру, черта русского, по преимуществу, духа, и сама по себе еще не отрицательная.

Вот последняя книга М. Волошина — «Стихи». Стихи прекрасные, и удивительно воплощают они дух героического мазохизма. Ни слепоты, ни закрыванья глаз: с четкостью реалиста не «утопического», а настоящего, дает Волошин образы Смерти, не боится никаких слов, описывая «бред разведок, ужас чрезвычаек», находит чутко соответственные ритмы, отбрасывая рифму, где она не нужна.

И стихи волевые: Волошин не идет — он бросается навстречу «Апокалипсическому Зверю», прямо в его «зияющую пасть»; можно сказать — прет на рожон, все равно, какой. Он кричит: «Господи, вот плоть моя!» и, конечно, зовет всех броситься в ту же «пасть».

Вот что он пишет «перед приходом советской <власти> в Крым» — в Крыму.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
Жги войной, усобьем, мятежами...
. . . .
Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем, любя —
Жгучий ветр полярной Преисподней, —
Божий Бич, — приветствую тебя!

Своеобразный привет! Такой же посылал арх. Лу — Аттиле. Лу — «святой». А сколько русских Лу, святых именно этой святостью! Волошин сумел найти для мазохистской святости художественное воплощение; я знаю другого поэта в России, кото-

рого, по первым книгам, я считал талантливее Волошина. Он не воспел мазохизма, — потому, может быть, что давно из поэта стал священником. Но и он громко зовет «целовать следы ног Ленина, давшего нам такие муки», т. е. давшего возможность сделаться мазохистскими «святыми».

Оставим пока в стороне святость; но думаю, что ей, как и мазохистскому художественному творчеству, положен предел.

Возьмите книжку Волошина. Читайте внимательно, одно за другим, его искусные, разнообразно-построенные, стихотворения. Меняется ритм, но не звук голоса. Напряжение и жертва, — на каждой странице совершаемая и никогда не довершенная, — начинают раздражать. Мало-помалу с порыва, переведенного в дленье, совлекаются красивые одежды. И соблазн кончен. В голой самодовлеющей жертве, в человеке, самоупоенно кидающемся в «пасть», в отказе его от борьбы, т. е. жизни, мы уже ясно видим ложь. И делается странно, что нас могла влечь поверхностная красивость этих ритмичных воплений.

Так разлагается, под чуть внимательным взором, мазохизм героический. Но то же происходит и с мазохизмом другого оттенка, — нежным, жертвенно-женственным.

Очерки Б. Зайцева, его последняя книга («Улица Св. Николая») — вот этот женственный мазохизм.

Зайцев не кидается, подобно Волошину, в «пасть». Он никуда не кидается, он самособирается, самозавивается; его жертвенность устремлена внутрь.

Оба поклонились Року, Неизбежности, Судьбе; оба вне борьбы; но Волошин обязательно лезет на ближайший рожон, — Зайцев жмется по стенке.

«Есть Судьба. Хочешь не хочешь — ее примешь. Я уж принял... Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю...». «Ну, несись, черный корабль... кровавя след за собой. Твори судьбу». И далее: «Все — сон. Все — нежность, стон любви, томленье смерти». «Смерть — наш хозяин; кровь — утучненье полей; стон — песня».

Тут соблазн искусства еще, пожалуй, сильнее. Потому что сам *этот* мазохизм, безвольное, безбольное умиранье, истаиванье, — особенно соблазнителен по нашим временам: чем жесточе борьба и жизнь — тем слаще и проще уйти, закрыться, истаять тихо, истеплиться крошечной свечечкой. Не тут ли правда? И разве не красиво?

На бренность этой красоты, на неподлинность этой правды может открыть глаза — Любовь. Кому и зачем жертва, если: «Привет бесцельности!» И что за искусство, падающее, замирающее, истаивающее, — ведь «хозяин всего — Смерть?».

Мне вспомнилась здесь третья книга третьего современного писателя. Почему? Он стоит как будто в стороне. И жертвенности в его книге как будто нет...

Эта книга «Конь Вороной» Ропшина. Подойдем к ней с художественной стороны. Через эстетику доберемся и до сущности.

Автор хочет сделать его продолжением своего первого романа («Конь Блед» 1909 г.). Сближает заглавия, выводит того же героя... Автор как будто хочет, чтобы мы судили вторую книгу в связи с первой. Будем судить.

В «Коне Бледном» главное действие — внутреннее, рост души героя. В центре — одна из глубочайших моральных проблем — *о праве человека убить.* Герой постепенно переносит, для себя, эту проблему в плоскость религиозную, но переносит не рассудочно, а естественно, как бы не по воле автора, а по законам внутренней логики. Только художник мог нам *так* показать этот процесс. Не менее тонко сделано и подхождение героя к «жертвенности» (в «Коне Бледе»), совсем иной, чем у Волошина и Зайцева.

Жорж понял, через любовь к другу и любовь к женщине (и опять не умственно, а кожно, действенно), что убить *для себя* нельзя никогда, что это вина неискупимая. А если и поднимает еще человек тяжесть вины — убийства *не для себя,* — то нужно ему принять и ее искупленье: готовность к жертве. Не жертва — искупленье: именно готовность к ней. А совершится она или не совершится — это уж «не моя, а Твоя да будет воля».

Много было в книге внешних художественных недочетов, даже промахов. Сейчас их не помню. Вот стиль, например: претендующий на простоту, сжатый, сухой – он местами переходил в безритменную обрывочность, утомлял, как стук. Модный стиль того времени; художники, да и сам Ропшин, скоро от него отказались. Были и другие неловкости... Но они не мешали и не мешают с правом назвать эту книгу – настоящей литературой.

Ради связи второго романа с первым автор сделал очень много. Внешне сблизил заглавия, жертвуя вкусом. Вкус не доказывается, но и так понятно: если «Конь Блед» сразу вдвигает нас в особый мир, то от «вороного» (пока прочтешь эпиграфы) *первое* впечатление получается такое же, как от любой «гнедой лошади».

Тем более это досадно, что «Черный Всадник» с мерой в руке довольно искусственно сцеплен с романом. Разве в том смысле, что современность нашу часто называют «апокалипсической».

Черный Всадник – только в мыслях и соображениях героя, Жоржа. Но тот ли это Жорж? Автор все время старается убедить нас, что да, тот самый. Жорж часто «вспоминает»:

– «Не убий!» Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь... теперь они мне кажутся ложью. «Не убий...», но все убивают вокруг... Такова жизнь... К чему же тогда покаяние?.. Какой кощунственный балаган.

Не верится, что Жорж, хотя и на 13 лет постаревший, из террориста сделавшийся белым, зеленым и т. д. борцом с красными, – рассуждал с такой невнятной и банальной первобытностью. Чем чаще он «вспоминает», чем больше евангельских цитат приводит – тем яснее: или он все забыл, или это самозванец, которому до Евангелия никогда и дела не было.

«Проблем» психологических, моральных и других в романе, собственно, нет. Есть описание, иногда живое, отдельных эпизодов междуусобицы. Герой, несмотря на старанье автора, не имеет сил связать их в себе, собою, в нечто целое. У него

даже нет художественного чутья для отбора фактов; иначе писательское целомудрие подсказало бы ему *меру* в нанизывании убийств. Иногда наибольшее *число* – производит наименьшее впечатление.

У Жоржа две возлюбленные. Впрочем, оне не женщины: оне две аллегории России, чего Жорж нисколько не скрывает: «Россия – Ольга, Ольга – Россия. Если не будет Ольги» – не будет и России, и наоборот. Но Груша тоже Россия. Груша – крестьянская Россия, и она не приняла большевиков; а когда он находит, наконец, Ольгу, – Россию городскую, – то оказывается, что она коммунистка.

И опять подчеркивает, чтоб уже нельзя было не понять: «...мир опустел для меня. Россия – Ольга, Ольга – Россия. Неправда. А Груша?..»

Даже и заботы нет облечь какой-нибудь живой видимостью эти аллегории. «Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы...» Повторяющееся упоминание, что обе аллегории «обнимают одинаково» и что у обеих «высокая, белая, мягкая грудь», – мало способствует их оживлению.

А стиль? Пародируя «Коня Бледного», Ропшин доводит обрывочность стиля до прямой антихудожественности. Стучит, стучит... особенно в диалогах. Даже краткие – они кажутся длинными, ибо при этом стиле неизбежно строятся на повторениях. Есть нежные, тонкие места (описание «беспорочного» утра, например); но зато есть и удивительные: «...Какая женщина устоит... не истомится, не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок? Но ведь теперь между ними (с Ольгой) даже не бездна, а *колодец ее*». К этому «колодцу бездны» (?) Жорж возвращается, очевидно, плененный новым литературным образом.

В чем же, однако, дело? Как мог талантливый писатель дать такую неудачную художественную книгу? Кто – Жорж, какую полосу заставляет его проходить автор?

Эта полоса – мазохизм. Не волошинский, не зайцевский мазохизм, все-таки положительный и – «поскольку – по-

стольку» отразимый в искусстве. Мазохизм Жоржа — *отрицательный.* Он вынужденный и вырожденный в растерянное метанье, в беспорядочную кучу злобных вопросов без ожидания ответов.

В начале кажется, однако, что и Жорж, и дикогероический мазохист Волошин, и нежно-тихий — Зайцев, — все они вместе и говорят одно: «Что менялось? Знаки и возглавья? Ныне ль, даве ль — все одно и то же...» «То же, что было и раньше... Чем я отличаюсь от комиссара? Все виноваты. Или все правы. Все прах земной, все пух...» «Все сон. Все стон любви, томленье смерти...»

Так равны, что и не разберешь, кто говорит. Все трое — вне борьбы, ибо не могут быть за одних или за других. Жорж как будто борется, но это художественная фальшь: нельзя бороться, говоря себе: «Истина разорвана на две части: одна у них, другая у нас» (впрочем, Жорж из борьбы и уходит).

Вместе... но вот черта, их разделяющая. Волошин говорит: «...стою меж них (меж борющихся) в ревущем пламени и дыме,

И всеми силами моими
Молюсь за тех и за других».

Безумная молитва, абсурдная молитва, от нее отвращается простое, не мазохистичное, сердце человеческое. Вот у Волошина она искренна. Он — молится. И Зайцев молится — благословеньем, издалека, и тех и других.

Герой «Коня» не молится, а судит «тех и других». Не благословляет, а проклинает. Не любит, а ненавидит. О жертве, даже о пылающей (волошинской) или истаивающей (зайцевской) вовсе не думает. Если б и погиб — ничего не искупила бы, ничего не завершила *случайная* жертва. Все превращается в случайность: и дела его, и пути его. Мутный образ Жоржа — сам образ мазохизма отрицательного, во все времена обреченного на *бесформенность.*

И, однако, в заключение, я скажу несколько слов, которые, может быть, покажутся противоречивыми. Но внутренняя логика не всегда совпадает с внешней.

Я скажу, что книга Ропшина все-таки *существует.*

Она имеет не большую художественную ценность. В ней мало доброты, не много правды.

Но в ней — *страданье.*

Когда страданье выражено, оформлено, и найден ему самоутешающий исход — его уже как бы нет. Волошин, бросаясь «и на тот и на другой» рожон, доходит до восторга; а безвольным истаиваньем своим — не доволен ли Зайцев? И замкнут круг.

Книга Ропшина никого не «соблазнит». Но в ней не замыкаются круги. Она сама живет, как почти непретворенный хаос.

Есть ли страданье в тех, старых, молодых и юных русских писателях, что потеряли чувство Прекрасного (Истинного и Доброго) или не успели его приобрести? Если есть — они живы. В меру страданья, которому не находят близкого утешенья, — живы и они.

Но страданье не надо ни судить, ни мерить. Можно только сказать: вот, оно — есть.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОПРАВКИ

Не для того, чтобы оспаривать чьи-нибудь мнения о моей статье в «Совр. Записках», я прошу редакцию «Посл. Новостей» поместить эти несколько строк. Каждый волен иметь свои мнения, я — как другие. Но в критику моих критиков вкралось несколько фактических неточностей, порою даже описок, и несколько неясностей, которые я должен отметить, — хотя бы в интересах людей, мою статью не читавших.

Г. П. М. говорит, что я «стыдливо и скромно молчу о политике *своих* писателей». Но эта «стыдливость и скромность» — следствие моего договора с редакцией журнала, просившей меня не касаться факта принадлежности писателей к лагерю правому или левому. Писатели, художественный облик которых я зарисовывал, действительно *мои*, но не в том смысле, как хочет сказать г. П. М.; они *мои* вне лагерей, они мои, потому

что все это лучшие русские писатели, цвет русской литературы, и ни при каких обстоятельствах ничья чисто художественная совесть не позволит поставить Пильняка рядом с Буниным, например. Да, мне пришлось большинство из так называемых «новых» писателей «замазать черной краской»; но таково мое художественное *мнение* (в котором каждый волен), и я не виноват, что цвет этой краски совпал с тем цветом, в который они окрашены и по моему *политическому* мнению: они теснейшим образом, внутренно и внешне, связаны с современным российским режимом, а что он самая черная реакция — об этом никто не спорит.

Быть может, договор редакторов с писателем — «не касаться политики» — вообще ошибка; быть может, линия, ныне отделяющая «политику» от жизни, так неуловима, что нет ничего легче, при желании, уличить писателя, что он линию перешел. Но это другой вопрос принципиальный, и я его касаться не могу. Перехожу к исправлению неточностей и описок другого моего критика, г. Семена Юшкевича.

Он недостаточно информирован, когда, удивляясь моему «появлению» в «Совр. Зап.», строит все дальнейшее на утверждении: «До революции А. Крайний не имел никаких шансов быть напечатанным... рядом, скажем, с Ивановичем, Рудневым...» Для сведения г. Юшкевича и его читателей я скажу, что в продолжении пяти или шести лет я писал еженедельно в петербургской газете «День», где постоянным сотрудником состоял и Ст. Иванович. Сотрудничество мое прекратилось с последним ном. «Дня», в 18-м году, но, кажется, продолжал я еще писать в «Воле Народа» (насколько она пережила «День»).

Ввиду этих фактов, удивление г. Юшкевича может быть сочтено невместным и должно отпасть. Что касается возмутившего его моего мнения насчет «молодых Пильняков» — то я еще раз напомню, что в своих художественных «мнениях» каждый волен и, следуя этому первому правилу свободы, я нисколько не мешаю г. Юшкевичу находить писанья и Пильняков, и Кусиковых высокохудожественными. Я действительно их от-

рицаю, вот этих пролетписателей «собственного», как я выразился, насаждения: и я тут же, очень ясно и отчетливо, подчеркнул, что предлагаю взглянуть на них, и даже «на все происходящее в России *только* с эстетической точки зрения»; и что именно с этой точки зрения — «бесспорно: никогда еще мир такого уродства не видал». Г. Юшкевич (по недосмотру, конечно) опустил все начало цитаты, что и позволило ему обличать меня «в контрабандном провозе» куда-то какой-то неугодной ему политики.

Нервность же, с которой г. Юшкевич берет под свою защиту Горького, и неожиданная плоскость, куда он эту защиту переносит, — повергают меня, прежде всего, в величайшее недоумение. Чего и каких «доказательств» требует совесть защитника? Что Горький — писатель малохудожественный? Но это мое мнение я доказываю двадцать лет, как обыкновенно доказывают и защищают свои мнения писатели. Я не убедил г. Юшкевича? Пусть он представляет доказательства обратного, он в этом волен.

Или, может быть, от меня требуется доказать, что Горький «изъятель» всяческих ценностей? Тут «доказательства» (все того же порядка, конечно) уж совсем под рукой. Ценности, изъятелем которых является Горький, перечислены в этой же самой моей статье. Проповедь Горького, писал я, освобождает человека «от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от искусства, от красоты, от личности, от долга, от семьи, от всякой надежды, от всякой воли...» Если список этих моральных, религиозных, человеческих ценностей кажется г. Юшкевичу недостаточным или отвлеченным, или мои утверждения субъективными, — я назову еще одну ценность, над изъятием которой поработал Горький. Эта ценность называется *русский народ.* В виде «доказательства» я приведу уже не свои слова, но г. Руднева, из той же книжки «Совр. Записок»: «...Максим Горький всю ответственность за кровавый характер революции возлагает на жестокость русского народа; с его точки зрения, большевики являются не "мучителями народа", а

"скорее жертвой" той *особой жестокости,* – хладнокровной, дьявольски изощренной, тонкой, изысканной, которая свойственна русскому народу *исключительно»* *. Такова, говорит г. Руднев, «своеобразная апология кремлевских владык и палачей из чрезвычайки за счет навета на русский народ».

Если и тут г. Юшкевич крикнет «довольно инсинуаций!» и потребует дальнейших «доказательств» (?), то я заранее скажу, что больше он ничего не получит.

Охотно верю, что Горький «дорог» – ему; но, хотя волнение чувств может на многое толкнуть, на месте г. Юшкевича я поостерегся бы выступать от лица «всей России». Я, например (да один ли я?), сильно сомневаюсь, так ли уж «дорог» Горький России, которую он всю, с презрением, затоптал в грязь, – русскому народу, на который он клеветал и продолжает клеветать. А никаких доказательств мне г. Юшкевич не приведет (вот где нужны бы доказательства!), что я имею меньше прав, чем он, говорить от лица России.

РЕЛИГИЯ И АПОЛИТИЗМ

Несколько слов о недавнем собрании писателей «Миссия русской эмиграции» и о вызванной им критике – «Голоса из гроба».

Мое неучастие в собрании, несмотря на совпадение в религиозных взглядах с некоторыми ораторами, мое согласие с главными выводами критика «Посл. Нов.» – дают мне возможность отнестись к обеим сторонам с полезной объективностью.

Было ли это «религиозное» собрание – *политическим,* как утверждает критик, и *правым?*

Было. Соглашаюсь и с тем, что оно имело (станем говорить точно!) правый уклон.

* Везде курсив подлинника.

Последнее я вывожу из речей, там произнесенных. В них (бегло, положим) проскользнуло – отрицание всякой, во все времена, революции, затем осуждение, безразборное, русской интеллигенции; подчеркивался «национализм», без необходимых поправок и пояснений.

Зачем критик, вместо этих прямых доводов, приводит множество посторонних и спорных доказательств — я не знаю. Он, впрочем, идет дальше простых утверждений: для него несомненно, что собрание так и подготовлялось — политическим и правым, а религия была взята в виде «средства».

Положение это страдает практической неточностью. Писатели не только не подготовляли «политического» собрания, но очень, напротив, старались, об его «аполитичности». Почему я считаю это их ошибкой — скажу ниже, а пока признаюсь: преувеличения критика, малонужность доказательств «правизны» собрания — меня пугают.

Очень боюсь: не знак ли это, что автор держится того, весьма распространенного, взгляда на религию, при котором трудно рассуждать?

Если религия – нечто, себе довлеющее, и «с религиозной точки зрения» можно говорить только о религии же, если, выходя из этих рамок, она перестает быть религией и становится средством для проведения правой политики – то и так ясно, что собрание «непримиримых» было и политическое, и правое. Не все ли равно, какие приводить доказательства, раз можно не приводить никаких?

В окончательном примитиве, у людей религии чуждых, этот взгляд выражается двумя словами: «религия — реакция». Примитив я устраняю (иначе уж не «трудно», а совсем невозможно рассуждать). Но спешу подчеркнуть, что рассматриваю собрание не с этой, а с моей, религиозной, точки зрения, которую разделяют и участники собрания. Как же выходит, что я его тоже называю, в согласии с критиком, – *политическим* и *правым*?

Я не боюсь слова: критик напрасно пугает: конечно, религия есть также *и средство*: освещая, как бы лучом прожектора, *все*

явления жизни, вплоть до самых малых, устанавливая связь между ними, религия помогает человеческому их осмысливанию и человеческому к ним отношению.

Я подчеркиваю: *все* явления жизни. Поэтому и задача аполитизма только повредила собранию: было искусственно обойдено многое, с чем необходимо считаться, необходимо брать именно в луче религиозного прожектора. Не о политике в узкоспециальном смысле я говорю: какие же «спецы» — писатели! Они на это и не претендуют, признавая разделение труда. Но не забудем: ведь ныне и все самые широкие вопросы — о России, о свободе, о власти, о большевиках, об эмиграции, — тоже отошли в ведение спецов от политики.

Получился абсурд: с одной стороны, участники собрания, как бы признав права политиков на новые, обширные, явочным порядком занятые области, стараются об «аполитичности» — а с другой, все же берут темой «миссию эмиграции», говорят о непримиримости.

Ничего не вышло из компромисса. И политикам не угодили, и своих взглядов до конца не установили и не определили.

Нет. От участников такого собрания надо требовать откровенного бесстрашия. Или религия *а все*, и тогда беседуйте с аудиторией о ней же, отвлеченно и возвышенно, или религия — жизнь, и тогда нельзя скользить лучом ее прожектора мимо данной действительности.

«Мы не правые и не левые, — говорили ораторы. — Мы зовем к игнорированию правых и левых».

Между тем факт разделения на правых и левых (прошу извинить эти надоевшие и неточные слова, беру какие есть) — факт не случайный. Он глубже, чем мы привыкли считать его. Внешне проявляясь в обыденности, в чисто политических спорах между партиями и группировками, он тут не начинается и не кончается. В голой политике он не замкнут. Вопрос о правом и левом — принадлежит к числу так называемых «вечных» вопросов. Пояснения не входят в мою задачу, но если я скажу кратко, что это — вечная борьба *двух воль* («свобода для

всех» — «свобода только для себя») — остальное понятно будет историку и метафизику равно. Как же сегодняшнее отражение этой борьбы может остаться вне луча религиозного прожектора?

«Мы не правые, не левые... Будьте непримиримыми. Не думайте ни о чем, не желайте России ни свободной, ни несвободной (лишь бы не большевистской), не помогайте ни правым, ни левым, все ошибаются, все плохи. Спокойно пережидайте здесь, пока не кончатся большевики».

Такая неопределенная проповедь пассивного выжидания всегда окажется бессильной, реально, перед другой проповедью, активности: не ждите, забудьте большевиков, возвращайтесь в Россию. Ну, станете рабами в рабской России, — что за беда! Зато Россия. — А, может, кто-нибудь из вас и недурно устроится.

Эта проповедь соблазнительна, ибо демагогична, играет на инстинктах, на усталости от бездомовья, а сущность ее прикрыта. Есть, впрочем, и неприкрытая. Молодой студент, известный монархист, сказал недавно в кружке молодежи: «Я, конечно, не "правый" и не "левый". Я совершенно согласен, что красная армия — наша национальная армия и согласен с Пешехоновым, что надо ехать работать в Россию».

У здешней молодежи, той, еще искренно нейтральной, есть песенка:

Забудьте все.
Да будет Россия!

Песенка о двух концах. Не ее ли повторяют примиренцы, зовущие свободных под иго неограниченного произвола, — «только бы Россия»? Но не предлагают ли и непримиримые «забыть все», не думать ни о свободе, ни о несвободе, — только бы Россия?

Непримиримые могут упорствовать в своих ошибках (религиозных), могут и далее уклоняться от выбора между двумя коренными линиями, но пусть не обманывают себя: выбор все

равно будет сделан ими же самими, хотя помимо их воли; и не *казаться* будут собрания такими или другими, а действительно примут один из уклонов, как первое приняло — правый.

Выбор сознательный — обязанность перед собой и перед аудиторией, а вовсе не перед какими-нибудь данными представителями данных направлений. Хороши или худы эти реальные представители — вопрос сторонний. Если худы, не верны своей линии — пусть их критикуют. Если кто-нибудь под знаменем «свободы для всех» действует ради «свободы и власти себе», а другой напротив, говорит о «буржуазном порядке», и против «социализма», будучи народником («демократом») — пусть это вскрывается... под лучом того же религиозного прожектора. Очертанья всего должны быть четки и чисты; и очертанья «политики», конечно, — в том не специальном смысле, которая одна писателям и подлежит.

Два слова об участнике собрания, не писателе — Карташеве. Критик, доказывая «правизну» собрания, пользуется, между прочим, и Карташевым: не держится ли он определенно правого политического направления?

Не споря о Карташеве, как доказательстве, не входя сейчас в его направление — я хочу подойти к нему с особой стороны. Ведь я говорю о собрании «под религиозным знаком».

И отмечаю: когда выступает Карташев под этим знаком — он с беспощадностью библейского пророка громит *всех* политиков, *всякую* политику, особенно же специальную, и тех, кто занимается этой презренной «кухней». Он пламенно зовет отказаться от «корыта» и правого, и левого. Ораторский талант делает из него огненного пророка... аполитичности.

Но прямо с «религиозной» эстрады Карташев отправляется на эту самую политическую «кухню», где, по его же словам, работа поглощает большую часть его времени.

Из этого приходится сделать вывод, что взгляд Карташева на религию приближается к взгляду критика «П. Н.». Не смешивайте небесное с земным, просит критик, — и Карташев не смешивает. Со стороны левых политиков было бы логичнее

бороться с Карташевым на чисто политической арене (если они считают его серьезным противником), а на религиозные его выступления не обращать внимания или даже их приветствовать.

Точка зрения других участников собрания не совпадает в данном случае с карташевской, поэтому я и надеюсь, что они, в конце концов, определятся. К реализации будет их толкать сама аудитория. Тогда и не повторится то, что случилось с первым собранием — и что было предсказано ап. Петру: «Свяжут тебя и поведут куда не хочешь».

Так я надеюсь, думая о положительных сторонах собрания. А думая о вызванной им критике, о малодоказанных утверждениях, что это просто «голоса из гроба» — я сожалею, в интересах самих нападающих, о такой поспешности. Страх перед реакцией, конечно, благодетельный страх. Но известно, что преувеличенный страх множит врагов. Объявить «новый фронт» не трудно, только вряд ли это кому-нибудь принесет пользу.

Подчеркнув ошибки собрания, подчеркнув и верность некоторых выводов критика, я укажу, в заключение, и на главное наше с ним несогласие.

Он считает собрания вредным делом. Я же считаю это заключение вредной торопливостью: и думаю, что объективность требовала бы сказать иначе: такие собрания, при известных условиях, *могут* стать вредными, но по существу они — дело важное и нужное.

ОПРАВДАНИЕ СВОБОДЫ

I

В своей книге «Философия неравенства» Н. Бердяев рассматривает вопросы общественные и рассматривает их с религиозной точки зрения. Хочет взять общественность — «в свете религиозного сознания».

Я не собираюсь заняться подробной критикой его многосложного и многословного труда, да вряд ли это было бы мне и под силу. Но я хочу говорить о тех же вопросах, о которых говорит Бердяев, — общественных, — с той же точки зрения — религиозной; и книга «Неравенства» поможет выяснению моих собственных взглядов, если я буду ею попутно пользоваться.

Почему, при одинаковом, казалось бы, критерии, мы столь не одинаково судим и столь разнствуем в выводах? Это, как мой личный спор с Бердяевым, не имело бы интереса. Но дело не в споре. Важен самый предмет и то, что мы оба рассматриваем его «в свете религиозного сознания».

А на религиозном *сознании,* и только на нем, построится будущая общественная идеология.

Я подчеркиваю: на религиозном *сознании,* ибо просто религиозными уже есть и были все доныне существовавшие идеологии. Нужно ли это доказывать? Достаточно обратить внимание на самое слово «идеология»: в нем неизменно присутствует элемент иррационального.

Впрочем, иррациональное до такой степени объемлет нас, до такой степени пропитывает действия, понятия и язык человечества, что из него, по свидетельству самого разума, выхода нет. Поэтому человечество (и каждый отдельный человек) всегда было, есть и будет религиозно в существе. Первично и природно религиозно.

Можно ли, однако, эту первично данную, природную религиозность называть религиозностью? Думаю, что можно и должно, хотя бы религиозное *сознание* в ней и вовсе отсутствовало. Но в процессе жизни это сознание ни у кого вполне и не отсутствует: в соответствии с мерой и качеством ее — создаются формы личной или общественной жизни.

Человек не может стать частью самого себя: когда он думает, что покончил с «верой», — он только меняет ее содержание. Его религиозное сознание прогрессирует или регрессирует. Идолопоклонство, рационализм, атеизм или морализм — все

это разного качества *веры*, и даже известная степень религиозного сознания. Бакунин из пламенно верующего в Дух сделался столь же пламенно верующим – в атеизм. Кто-то, у Достоевского, кажется, так прямо и кричит: «Я верю, верю... что не верю в Бога!» Люди, не думающие вовсе об этих вещах, имеют minimum религиозного сознания; но вера и в них не перестает действовать, только объектом ее становится что попало.

Все это доступно самому простому рассуждению, и если бы рационалисты не относились к «рацио» со слепым поклонением, а заставляли его нормально им служить – мне не пришлось бы повторять эти общие места о вере, об иррациональном в жизни и т. д. Но, увы, даже самые слова наши, благодаря неосторожному обращению с разумом, – затмились, потеряли точный смысл, первое значение, и нередко спутывают понятия.

Не следует, например, смешивать *бытие – с жизнью*, реальной жизнью в ее совокупности. Жизнь – только потенциальное бытие, становящееся бытие. И жизнь – борьба двух начал или двух Духов: возводящего к бытию и спускающего к небытию. Это – борьба во Времени, между двумя Вечностями: вечной Жизнью (бытием) и вечной Смертью.

Пусть не упрекают меня в отвлеченности. Я говорю не о какой-то войне в воздухе, где-то в сомнительно-существующих, надзвездных сферах, а о грандиозной борьбе в самой реальнейшей реальности, притом отнюдь не проявляющейся только в грандиозных формах. Она наполняет *все* формы. Нет пылинки в мире, нет ни единого движения человеческого, душевного или телесного, – где бы элемент этой борьбы отсутствовал.

Потенция заложенного в мире Бытия ставит перед человечеством три вопроса и требует положительного их разрешения, вернее – maximum'а приближения к нему в процессе постоянного устремления воли.

Только *три* исчерпывающих вопроса: каждый из других, бесчисленных, больших и малых, рожденных сложным многообразием жизни – непременно вливается, на глубинах, в ка-

кой-нибудь из трех основных. Внутри этих вопросов происходят все драмы и трагедии человеческие, потому что внутри них протекает история — жизнь-борьба духа Бытия с духом Небытия.

Эти вопросы: во-первых — о *«я»*, единственном и неповторимом (Личность).

Во-вторых — о *«ты»*, о другом единственном и неповторимом «я» (личная любовь).

В-третьих — о *«мы»*, о всех других «я» в совместности (общественность).

Найти наиболее высокое и правильное отношение: к самому себе, к миру-космосу, к Богу; к подобной, но другой Личности; найти, наконец, такие же отношения между всеми людьми — вот тройная задача, поставленная перед человечеством. *Совершенное* ее разрешение — Бердяев прав — невозможно в условиях относительности; но, ища, все более и более приближаться к решению — таков *смысл жизни.*

Я не боюсь повторить эти два слова, затертые от повторений, ибо я употребляю их в значении самом точном и прямом: да, именно в искании бытия, в борьбе за бытие (жизнь, освобожденную от Смерти) и заключается смысл того, что мы называем реальной жизнью.

«Вы не ищете смысла жизни!» — обличает Бердяев. Неправда: все человечество, непрестанно и неустанно, смысла ищет; только это, живя, и делает; да и что бы другое оно еще могло делать? Ищут его сознательно и бессознательно, даже когда не подозревают, что ищут. Ищут действием, мыслью и словом, ищут сильные и слабые, великие и малые... Не ищут, перестают искать, только до конца побежденные Духом небытия, уже выходящие из строя. Эти, если живут еще «некое малое время», то лишь для того, чтобы творить волю Победителя и затем «низринуться с крутизны в море...» подобно евангельскому стаду. Но таких бесполезно и обличать.

Три вопроса, составляющие содержание жизни, названы мною одной «тройной задачей». Они, действительно, имеют

единство, — единство уровня воды в трех сообщающихся сосудах. Кто не наблюдал, как эти вопросы сцеплены, вкраплены друг в друга, как один переливается ими всеми, а все — одним? Но для нас они иногда бывают разделены временем. Нам кажется, что один из трех выступает вперед, и наше внимание обращается главным образом на него. Тогда и внимание Соблазнителя, умного духа небытия, обращается в ту же сторону, и как раз на этом поле происходят самые жаркие битвы.

Я потому останавливаюсь так долго на общей, примитивной, схеме «религиозного сознания», что без нее будет менее понятно последующее. Эта схема так первична и внеспорна, что в ней вряд ли и с Бердяевым у нас будет разногласие.

Одинаково мы видим и «природу» зла. Правда, Бердяев говорит о «сатанинских идеях» и тут ошибается: «сатана», дух небытия, никаких идей не имеет. Злое начало потому и злое, что чисто разрушительное, не могущее ничего ни создать, ни построить. Его работа — искажение, искривление, порча уже созданного, а главные орудия — маска и зеркало. Он любит маску, зная ее неотразимость. Зеркалом пользуется, чтобы нашу же идею показать нам в обратном, перевернутом, виде и заставить нас от нее отречься. Эти «маски, подмены» Бердяев прекрасно видит. Видит и религиозную, или «обратно-религиозную», сущность интернационало-большевизма, ныне царствующего в России: «Интернационализм, — говорит он, — есть безобразная карикатура, изолгание вселенского духа, лживое подобие...».

Положим, как не увидеть, когда и самому обыкновенному, среднему человеческому сознанию это слишком ясно. Русский «коммунизм» до грубости резко объявил себя именно религией; коммунистическая партия играет роль церкви, до мелочей повторяя церковь христианскую, в обратном виде, конечно. Ни песчинки нового, — только переверт; все положительное заменено отрицательным: свобода — рабством, созиданье — разрушеньем, жизнь — смертью. Даже не математика, даже не арифметика — автоматизм.

Если чему удивляться, так разве тому, что эта «сатанократия», и даже вид людей, руками которых она делается, опустошенных до мертвости автоматов, — еще не всех заставили содрогнуться. А видя умиранье себе подобного — и зверь дрожит, начиная понимать смерть.

Бердяев — понял, но... Бердяев не выдержал: соблазнился *о* сатанократии. Не ею, а именно *о* ней. Соблазниться о чем-нибудь — на религиозном языке значит ослепнуть, заворожиться так, чтобы уж во всем и везде видеть только предмет соблазна.

«Чтобы правильно оценить какую бы то ни было идею, — говорит Бердяев, — надо ее брать в крайних точках», и немедленно начинает поиски «крайних точек» идей равенства, демократии, свободы, революции и т. д.

Будем говорить начистоту. Бердяев это делает с целью доказать, что все идеи, касающиеся человеческой общности (социальности) и имеющие главной базой свободу, все они, в крайней точке своего развития, — упираются в большевизм.

Бердяев не первый и не последний. Много таких же, как он, «соблазненных», оглушенных ударом по России, старающиеся доказать — иным методом, в иной плоскости, — но то же самое.

Впрочем, и Бердяев, как ни странно, теряет свою основную точку зрения, чуть только подходит к общественным вопросам, спускается к реальности. Религиозное сознание его гаснет; остается одна религиозная терминология.

О глубокой причине такой потери при оценке известных идей и явлений я скажу ниже; пока замечу лишь, что потеря сказывается даже в мелочах: Бердяев не устает утверждать *качество* преимущественно перед *количеством*, тогда как для религиозного сознания оба понятия равноценны. Не требует ли «гармония» (истина) и качества, и количества? Но она требует и *меры*.

Бердяев — меры не знает.

II

Книга начинается с определения идеи «революции» (идеи, или самих, доныне бывших, революций – трудно понять в смешении; но и само смешение характерно).

«Революция никогда не была и никогда не может быть религиозной, — говорит Бердяев. – Революция *всякая* революция, по природе своей антирелигиозна, и низки все религиозные ее оправдания». «На всякой революции лежит печать богоотставленности и проклятия...» «Революционизм есть утверждение смерти и тления вместо вечной жизни». «Революция не духовна по своей природе. Революция статична. Русская революция есть тяжелая расплата за грехи...». Чьи же?

Ответ очень определенный, и грешные — уж не в одной революции, а вообще в гибели России — перечислены с большим тщанием:

«Близоруко и несправедливо винить во всем большевиков». Виновные — это «народники, социалисты, анархисты, толстовцы, славянофилы, теократы, империалисты и др.». (Кстати, кто эти «др.»? Тут уж все русское сознание, целиком.)

И тяжеле всех виноваты — «вы, *умеренные* русские социалисты и радикалы всех оттенков, русские просветители, происходящие от Белинского, от русских критиков, от русских народников...». «Это вы низвергли Россию в темную бездну», вы, «вначале выступившие с невинными лозунгами народолюбцев, а потом превратившиеся в разъяренных зверей, и злодеяния вашего не простят вам грядущие поколения русского народа. *Большевики лишь сделали последний вывод из вашего долгого пути, показали наглядно, к чему ведут все ваши идеи*».

Отчетливее нельзя сказать. Не ясно ли, чем окажутся «все эти идеи» при дальнейшем разборе и как разбор будет производиться?

Не с религиозной точки зрения, во всяком случае. Для религиозного сознания такие хулы – грех (не сужу, простимый ли). Но и для всякого человеческого сознания неприемлемо такое

огульное отрицание духовной жизни России, даже не в России только — духовной жизни человечества в истории, его порывов к свободе и совместности — к Царству Божьему. Не сам ли Бердяев называл раньше этот порыв «святая святых истории?» А в центре всех «идей», которые он ныне втаптывает в грязь большевизма, идей пусть малоосознанных, доступных соблазну искажения, лежит тот же порыв. Да, *совершенное* Царство Божие мыслится лишь в бытии, а не в жизни, где нет совершенной свободы и совершенной любви. Но Бердяев забыл, что жизнь должна творить образы и подобия Царства Божия, все более и более приближающиеся к совершенству, и что свято усилие дать каждому моменту его maximum свободы и любви.

Кажется, свободы-то Бердяев больше всего и боится. Маска свободы, которую он увидел, соблазняет его. Ему уже думается, что всякая человеческая свобода на земле — только маска, а под ней — темное лицо...

Но что же такое, однако, «все эти идеи» — революции, свободы, равенства, демократии, — не по Бердяеву, не для соблазненных, а для религиозного сознания?

Начнем и мы с революции.

В истинном значении слова, *революцией* следует называть не то, что мы обыкновенно называем, но *революционный момент.* В нем (т. е. именно в «революции») Божий дух свободы соединяется на миг с земною плотью. Говорю на «миг», но и миг — измеренье времени, а революция, в религиозном понятии, этого измеренья не имеет: она один из прорывов Вневременного во Временное. Личность знает эти прорывы в созерцаньи и в любви; общность человеческая — в свободе. Дух свободы такой же Божий, как и дух любви.

Революция не имеет *дленья* (la durée, по Бергсону), и когда мы говорим о «революции» — мы говорим, в сущности, о временах, окружающих этот миг; о времени «послереволюционном», о революционных «эпохах»... Отсюда и споры, когда именно, какая революция кончилась. Споры неразрешимые, ибо революция есть реальное, но неуследимое мгновенье.

Конечно, мы не можем, находясь во времени, мыслить иначе, как условно. И если я указываю на революцию как на момент «прорыва» — то лишь для того, чтобы раз навсегда отстранить от нее упреки, подобные бердяевским. Да, революция не «духовна», но потому, что она, в высшей точке своей, «духовно-телесна». Да, она и не «динамична» в обыкновенном понятии, но потому, что она — взлет, крайняя динамика.

Я отнюдь не отрицаю факта, что послереволюционное время всегда было ужасно; я соглашаюсь с Бердяевым: конкретный смрад русских послереволюционных годов превзошел все, что мы знаем о таких годах в истории. Я соглашаюсь далее, что в этом смраде повинны мы все, не одинаково — но *равно*, каждый в меру самого себя. И начав считать чужие вины (по-моему — практичнее заниматься своей), мы, пожалуй, найдем, что на Бердяеве лежит вина куда тяжелее, чем на «свободолюбцах», «народолюбцах», «русских просветителях, радикалах, критиках», на всей, им уничтожаемой, русской интеллигенции. Вина, всегда, — по степени сознания. Если степень сознания у русской интеллигенции была ниже, чем у него, Бердяева (а он сам это говорит), то не могу ли я ему напомнить слова, очень к нему, в данном случае, относящиеся: «Кто не видит, тот не имеет греха; а так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

Мне стоит больших усилий высвободить ясное положение из обличительного бердяевского многословия: откровенно сознаюсь, что постоянно в нем вязну. Резюмируем, однако: злая воля русской «безблагодатной» интеллигенции стремилась к революции — для революции, к революции — религии, и эта революция погубила Россию. Так утверждает Бердяев.

Но я утверждаю, что революционный момент (настоящая «революция»), при всей полноте, никогда не бывает самодовлеющим. Революция самодовлеющая, «революция для революции», «революция — религия» — есть в лучшем случае абсурд, в худшем — безумие, так же как «свобода: и свобода — лишь *от* чего-нибудь, *для* чего-нибудь.

Революция, действительно, есть «окончание старой жизни», но окончание *для* начала новой. Создает ли революция новую жизнь? Нет, ибо новая жизнь, опять *не* совершенная, строится во времени, а революция не имеет дления. Но для создания новой жизни революция есть начальное *условие* — как бы раскрытие дверей в эту жизнь. Лучшую или худшую — другой вопрос. Лучшую или худшую — это зависит уж не от революции, а от строителей, т. е. от людей послереволюционного времени; главным образом от их осознания пережитого момента и сознания громадной опасности периода, непосредственно за революцией следующего.

Почти всегда эти первые строители, «люди революции», — гибли. Не потому, что не чиста была их воля к революции до ее наступления и воля к созданию новой жизни — после. Но воля эта оставалась у них такой же идеалистически-бессознательной и после революции, как была до нее, если, — в худших случаях, — не разлагал эту волю соблазн «власти».

Люди революции никогда еще не были, внутренно, *в рост* революции, которую переживали.

Прибавлю: о революционном моменте почти ничего нельзя сказать словами, как о многих вещах того же порядка. Рассказать же о нем тому, кто «порядка» не понимает, а сам в моменте не был — совсем невозможно. Однако бывший и не забывший — хотя бы февральско-мартовскую русскую революцию — поймет, о чем я говорю.

Один и тот же луч (не «печать богооставленности», а печать богоприсутствия) лежал на лицах всех людей, преображая лица. И никогда не были люди так *вместе:* ни раньше, ни после.

Пускай многие, пускай даже все, бывшие тогда вместе, ныне проклинают революцию, и русскую, и французскую, и английскую, — всякую революцию. Это ничего не меняет. Все-таки соединяющий луч лежал на человеческих лицах, все-таки — *это было.*

Бердяеву, конечно, язык мой непонятен. Бердяев или не прошел опыта, или забыл его. Но Бердяеву я хочу предложить один вопрос, очень конкретный, совсем в ином плане.

Всякая революция, везде и во все времена, — достойна проклятия? Воля к революции — дьявольская воля? Желать революции — грех? Каждой революции должно сказать «нет»?

Ну, а представим себе (это очень представимо), что сегодня, завтра совершается революция в России. Она будет именно такая же, как всякая, во имя свободы и ради новой жизни, против «существующей власти»..., которую Бердяев, согласно со мною, считает реакционнейшей из всех, доныне возникавших, и отлично знает, что никогда большевики «революционерами» не были, да и большевицкой *революции* — не было.

Что же, скажет Бердяев завтрашней русской революции — «нет»? Проклянет ее? Осудит волю к ней как греховную?

Я сильно подозреваю, что и у Бердяева, где-то в глубине души, таится эта самая, «греховная», воля. Пожалуй, он и не скажет, что грядущая русская революция ему «отвратительна, как всякая революция».

Непоследовательность? Да, но зато шаг вперед по пути истинного религиозного сознания.

III

Отвращение к революции связано у Бердяева с отвращением к демократии, а, главное, к идее *равенства*, на котором, как он думает, основывается демократия.

Какое же равенство Бердяев разумеет?

У Джерома К. Джерома есть рассказ-утопия о будущем человеческом устройстве, где равенство доведено почти до идеала: вместо имен люди имеют номера (с именем — какое же равенство! Одно имя хуже, другое лучше). Волосы у всех выкрашены в одинаковый черный цвет. Тому, кто родился более умным, — сверлят дырочку в черепе, а более других способному отрубают левую (или правую) руку. Все для равенства, для уравнения.

На таком «равенстве», по Бердяеву, основана «демократия». Он не раз определяет это равенство: «уравнение всех, нивелировка». Понятно, что и «нивелирующая» демократия является

перед Бердяевым в виде некого чудовища – «человекообожествления, где народ довлеет самому себе, где верховное начало – его собственная воля, независимо от ее содержания». Просто – «хочу, чего захочу», а так как «демократическая идеология есть крайний рационализм» и даже «не может признать государства», то легко себе представить, что такое демократия: «В век ее торжества, – объясняет Бердяев, – нет уже святости и гениальности, ибо демократия не благоприятна появлению ярких, творческих личностей» (еще бы! сейчас, по Джерому, дырочку в черепе!) – и даже «старая тирания с кострами инквизиции оставляла больше простора для человеческой индивидуальности».

Действительно, уж лучше костры, чем джеромо-бердяевская демократия и ее проклятая нивелировка!

Но религиозному сознанию нечего делать с этой дикой демократией, порождением такого же дикого равенства. Как «осознавать», да еще религиозно, то, что не имеет ни малейшей связи с реальностью?

Равенства-уравнения не только нет в мировом порядке, но его никогда, нигде и не будет, так как его нет в самой *воле* человеческой (совпадающей в этом с Божьей).

Еще никто на земле, ни разу, не пожелал подобного равенства. Начиная с первой детской мечты – «хочу открывать новые страны», «хочу быть самым сильным», – наши желания говорят вовсе не о воле к равенству: ведь и ребенок, инстинктивно, знает, что если все будут открывать новые страны и сделаются первыми силачами, то не будет ни новых стран, ни силачей. А одна девочка раз хорошо объяснила, почему «не надо, чтобы все люди были одинаковые»:

– Тогда у всех будет *никчемная незамечательность.*

Неудачник может сказать в озлоблении: я обездолен – пусть бы и все стали такими же обездоленными! Но и он этого вовсе не хочет – просто хочет сам из своего положения выйти.

Воля человеческая – есть воля *к восхождению*, и, в существе, раскрывается она как воля всех и каждого достичь maxi-

mum'a *своей* высоты. На религиозном языке это зовется «исполнением своей меры». И не к созданию равенства всех направлены усилия человечества, а к созданию равной для всех *возможности* свою задачу выполнить.

Но такое равенство — есть *равенство-равноценность.*

В евангельской притче о талантах, каждому — получившему десять талантов и получившему два, — было сказано равно: «Войди в радость Господина Твоего». Лишь тот, кто зарыл данное ему в землю, не приобрел сам в меру данного, назван «лукавым и неверным». И «тема внешняя» (небытие) вовсе не была ему кем-то послана «в наказание»: нет, ему *самому* уже нельзя было «войти в радость», ибо сам он, в равных с другими одаренными условиях свободы, не исполнил своей меры; мог — и не захотел.

А равенство-одинаковость... даже темный дух небытия, отвлеченный, но жадно ищущий воплотиться, — прекрасно знает, что мы такого равенства не хотим. Не хотим, не понимаем до невозможности им и соблазниться. Поэтому словом «равенство», как соблазном, темный дух пользуется лишь там, где оно воспринимается и понимается в нужном ему смысле.

В этом смысле поняла его французская угольщица: встретив, тотчас после революции 48-го года, знатную даму с ведром угля в руках, закричала радостно: «А ты шелковые чулки носила (куда ты их припрятала?), а я таскала уголь! Теперь я буду ходить в шелковых чулках, а ты уголь таскать: *теперь — равенство!»*.

Именно так понимается, — физиологически ощущается, — «равенство» и доныне, если оно «соблазняет». Под прикрытием этого слова соблазняет самое страшное из неравенств, — перманентное и перемежающееся: я вверху — ты внизу; ты вверху — я внизу; я ничто — ты все; ты ничто — я все.

Это с большой точностью выражено в «Интернационале»: «Nous ne sommes rien — soyons tout!» *.

* «Мы никто — станем всем!» (*фр.*).

Конечно, кто сегодня кричит «soyons tout» — не знает, что по железной необходимости, за «tout» следует опять «rien»... Но французская угольщица и не может видеть дальше сегодняшнего дня: иначе не соблазнила бы ее маска «равенства»...

Спастись от этой «дурной бесконечности» неравенства утверждением какого-нибудь неравенства — нельзя. И Бердяев просто-напросто обходит французскую угольщицу, — как всякую реальность, — и старается продолжать войну в воздухе. Мы сейчас увидим, к чему это его приводит.

Своей утопической «демократии» (человеко-божеской, не признающей государства и основанной на равенстве, по Джерому) Бердяев противопоставляет свое же «идеальное» общественное устройство. В нем «неравенство» открыто возведено в принцип, взято как исходная точка. Аристократия (меньшинство) управляет демосом (большинством). Демос — есть некий безгласный «коллектив». (Надо заметить, что слово «коллектив», по существу нейтральное, в устах Бердяева имеет отрицательное значение: это нечто вроде герценовской «паюсной икры». Отсюда, должно быть, и утверждение, что «в Царстве Божьем никаких коллективов не будет».)

Между аристократией и демосом, который как «коллектив» голоса или воли естественно не имеет, — разница качественная, т. е. решающая: ведь для Бердяева категории «качества» и «количества» не равноценны. Сделаться «аристократом» нельзя: надо родиться. Рожденный плебеем — всегда им и останется. И, вообще, всякое желанье возвыситься — плебейство.

Пока — нового мало. Мы даже видели некоторые (о, самые несовершенные!) воплощения этих принципов в историческом прошлом. «Не обманывайте себя! — говорит Бердяев, обличая, — везде, всегда правило меньшинство!». И тут нет нового. Если взять это положение формально, то можно даже согласиться, что и впредь, всегда, государственное управление будет принадлежать фактическому меньшинству. Это большевики могли обещать русским кухаркам, что оне все будут править государством, — да и кухарки не верили...

Но не о том речь. Самое неожиданное – религиозная санкция, которую Бердяев дает общественному устройству, основанному на подобных принципах. Утверждает его «религиозно». И это не вчера, не в прошлом, а теперь, сегодня, когда история поставила нас лицом к лицу с наиболее совершенным воплощением этих принципов в реальной жизни...

Бердяев называет современное русское общественно-государственное устройство – «сатанократией». И не видит, на каких основах оно покоится? Это его же, бердяевские, основы. Прежде всего – неравенство (небрежно скрытое под словесным равенством, да теперь уж и не скрытое). Управлять – «врожденное, прирожденное» меньшинство таким же прирожденным большинством, безгласным и безвольным. «Аристократия» и «демос» на своих местах, при тех же функциях. Не оттого же это царство для Бердяева «сатанократия», что перепутаны наименования и зовется оно «пролетарским», а не «аристократическим»? Слова в таких случаях мало значат. Гораздо важнее, что в обоих царствах, в большевицком, и бердяевском, не только утверждается, но и отрицается то же самое: равенство, свобода, демократия, революция... Правда, в «пролетарском» все это отрицается *на деле*, а не на словах; но ведь и само царство уже «деется», а бердяевское только проектируется...

Знаю, что может возразить мне Бердяев: я говорю о форме, а форма ничто, она определяется содержанием. Две, схожие внешне, формы общественного устройства могут совершенно развиваться друг от друга, даже быть противоположными друг другу, *если они не одного и того же духа.*

Я о духе не забываю; и, мне кажется, не только формально сближаю два царства – действующее, большевицкое, и мечтаемое, бердяевское – когда говорю, что оба они отрицают *дух* равенства-равноценности, *дух* революции... Этим, в связи с отрицанием идеи демократической, они оба отрицают *дух свободы.* Дух Господен, ибо, напомню Бердяеву, «где дух Господен – там свобода».

Это первое. А второе — о форме.

Отношение к форме, как к чему-то не имеющему значения, определенному содержанием, — религиозно неприемлемо. Форма есть плоть мира, и дух, вновь и вновь воплощаясь, ищет и новых форм. Без этого не было бы в жизни никакого *реального* творчества. Бердяев, в своей книге, слишком часто прячется от реальностей: «Все, мол, сие нужно понимать духовно». И свободу он признает, но духовную. И аристократию понимает — духовно. Даже восхождение человечества к Царству Божьему склонен мыслить, как только духовное... Но мы не играем в прятки. Или надо сказать себе, что форма, плоть мира — *ничто* религиозно, служебная, случайная величина: и тогда надо отречься от мира. Или же, если для религиозного сознания человеческий мир восходит к Богу *во плоти,* мы должны признать, что не случайно дух ищет облечься новой плотью, творить новые формы. Бердяеву я на этот раз напомню только о ветхих мехах: не вливают нового вина в меха ветхие: прорвутся меха, вытечет вино, и пропадет то и другое.

IV

Во всех известных нам демократических группировках и партиях, и даже в демократиях, уже реализующихся — смешанность: в них действуют, контрабандой туда проникшие, идеи, не только чуждые демократизму, но и прямо ему враждебные.

Такова, например, идея большевистско-коммунистическая. Впрочем — как назвать, и можно ли назвать «идеей» этот механический состав из множества обратно-перевернутых идей, эту совокупность антисвободы, антинациональности, антисоциальности, всяких «анти», и, конечно, антидемократии? Это нечто, сработанное по мелочам духом небытия, «творить» неумеющим, — и сработанное незамысловато: все положительное взято как отрицательное, а для обмана оставлены прежние наименования. Я думаю, точнее всего было бы звать этот Соблазн — «обратничеством».

Как механизм, он легко разнимается, разделяется, даже распыляется, когда надо вводить отраву по частям, но при удобном случае может быть собран в грандиозное целое, — в «сатанократию», по выражению Бердяева.

Способность распыляться — тоже сила. Неуследимо, тончайшими атомами, все время прикрываясь именем идеи, которую хочет отравить, входит в нее соблазн «обратничества»; и уже внутри ширится и растет.

Как и когда вмешался он, например, в идею «социализма»?

Я не буду здесь касаться сложнейших проявлений, оттенков и форм, которые принимал социализм. Но, для ясности дальнейшего, мне важно утвердить, что, как идея, социализм неразрывно связан с идеей демократии. Связан в первооснове, по самому существу. Вопреки разнообразным определениям, социализм для демократии и не инородное тело, и не прослойка, и даже не цель ее: настоящий социализм есть *сама ткань* настоящей демократии. Поэтому и в процессе становления, — воплощения, — мы их должны мыслить совместными: они совместно эволюционируют и совместно, соответственно, изменяются, — или «преображаются», если говорить религиозным языком.

Такое утверждение связи между двумя идеями, пожалуй, обрадует Бердяева. Не он ли старается доказать, что демократия и социализм — одно или почти одно? И далее подчеркивает: разве не «социализм» учит, что революция — диктаторский захват власти одним классом? Что человеческое сознание — лишь какое-то производное из экономики? Разве не в «социализме» зачеркивается, помимо ценностей высшего порядка, даже сама человеческая мораль, путем раздробления ее единства на множество моралей классовых? Разве нет этого в социализме?

Ну, конечно, есть; я как раз о том и говорю, что оно есть *в* социализме, как и многое другое, еще более антидемократическое и антисоциалистическое, т. е. прямо враждебное социализму. Оно вползло под его крышу, всячески стараясь, ради соблазна, прикрыться чужим именем.

Но Бердяев не узнал его; не увидел маски; он зовет «социализмом» — самую определенную гримасу самого определенного «обратничества». Признаем же, что и тут Бердяев «соблазнен», и тут, борясь с личиной, играет только в руку обманщику.

Соблазн, впрочем, не был бы соблазном, если б не соблазнял. Как судить других, когда ему поддаются даже люди, вроде Бердяева? Да говоря правду, были для этого, в наших демократических и социалистических течениях, достаточные основания. Не вырастало ли там издавна многое, что потом расцвело в большевистской России? Не было ли там подчеркнутого уклона к безличному коллективу, к обожествлению экономики, к воинствующему материализму — до совершенно «религиозной», экскоммуникативной, нетерпимости?

Было; и выражалось оно так ярко и резко, что даже одна моя статья (в 11 или 12 году), по этому поводу написанная, была прямо озаглавлена: «Обратная религия».

Соблазнительная примесь воинствующего материализма, нетерпимости, — духа «обратной религии», — имелась, хотя и в разной степени, решительно во всех наших демократических группировках; во всех, уклона так называемого *«левого»**. Идея, благодаря этой злой подмеси, искажалась; и как раз та, которую всего ревнивее надо хранить от искажений, всего мужественнее защищать, ибо ***идея демократическая*** есть самая, по времени, драгоценная общественная идея.

В самом деле, не видели ли мы, какие три вопроса, — о «я», «ты» и «мы», — стоят перед человечеством на его пути? Стремление к Царству Божьему есть стремление к совершенству «мы», где, в свободной общности всех — утверждается равно-

* Вот слово, от истертости превратившееся просто в известный знак! Я и беру его лишь как знак, которым привычно отмечаются идеи свободы. Идеи, не имеющие основой свободу, мы привыкли звать «правыми». В конце концов, знаки безразличны, но само разделение важно и нужно. Когда Бердяев говорит: «Я не правый и не левый» — он ничего не говорит: он, по своему обыкновению, прячется от реальности.

ценность всех «я». Идея демократическая, заключающая в себе те же начала свободы, личности и равенства-равноценности, и есть поэтому идея самая глубокая, то есть — *религиозная.*

Но если носители этой драгоценной идеи не осознают сами ее религиозного смысла — они плохо вооружены для ее защиты. Пока нет сознания — у идеи нет стержня, у борющихся за нее — нет критерия.

С каким усердием, с каким умением занимаются многие демократы разработкой вопросов политических, экономических, социальных и... не знают простой вещи: эти вопросы нужны, важны, как жемчужины для ожерелья, но ожерелья все-таки не будет, если не будет нити, на которую они нанизаны.

Соблазнителю ничего не стоило отвлечь их взоры от этой нити: он просто всю область положительной религии, где центр — христианство, заслонил от них исторической христианской церковью. Для примитивно-традиционного сознания — не достаточно ли? Религия — есть христианство, христианство — церковь, а церковь — священники и старушки или инквизиция. В лучшем, в самом лучшем случае — религия есть индивидуальное дело, ни к какой общественности не относящееся.

Можно, значит, в эту сторону и не смотреть...

В худшем случае такое постоянное соскальзывание со своего главного устоя грозит демократии полным крушением; но и в лучшем — оно задерживает ее рост, ее развитие, мешает одному из первых дел, которое предлежит всякой реализующейся демократии, — делу *уравнения условий.*

Равенство условий — есть единственная реальная форма, в которую может и должна воплощаться идея равенства-равноценности; единственная, этой идее отвечающая.

Уравнение условий — сама по себе задача огромная. Но и при наиболее достигнутом равенстве люди не сделаются, конечно, одинаковыми: будут не только равноспособные, но и неравноспособные, умные и глупые, слабые и сильные, словом — худшие и лучшие. Лучшие, естественно, будут впереди

худших... но пусть не радуется Бердяев и не пугаются демократы: от этого демократия не перестанет быть демократией и не потеряет своего принципа свободы.

Напротив: только равенство условий и дает истинную свободу: свободу всем и каждому — *стать* чем хочешь и можешь, исполнить свою меру, приобрести на данные два таланта — другие два, на десять — десять, или... зарыть их в землю, выбрав «тьму внешнюю».

Жорес как-то сказал, что привилегированные условия, в которых он родился, так мучают его, что он лучше был бы готов и сам в них не рождаться, раз они невозможны для *всех.*

Бердяев здесь усмотрит, конечно, жажду «нивелировки» и «равнение по низшему». Но я думаю, и Жорес понимал, что воспитайся с ним рядом тысяча человек — из них не вышло бы тысячи Жоресов. Почему же он все-таки мечтает о каком-то равенстве *всех?* Бердяеву следовало бы помнить, что каждый праведник молится: «Всех, Господи, спаси, а если не всех — то пусть и я с ними погибну». Это ли не равнение на низших? На самых низших, на погибающих. Должно быть, однако, в глубоко религиозной молитве этой, как в словах Жореса, — равнение не на низшее, а на высшее, центр тяжести не в спуске, а в восхождении, не в погибели, а в спасении: «Пусть *спасутся все*».

Но по отвлеченным стопам Бердяева мы и тут недалеко уйдем. Равенство в свободе пугает его. Равные условия для всех рожденных — кажутся ему нарушением основ государственности. Оттого, вероятно, и утверждает он, что «демократия не признает государства» *.

Не сомневаюсь, что бердяевская «демократия» признать государства не может. Но подлинная — становится безгосудар-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* О государстве — самая мутная глава в книге. Лучше бы уж держался он краткого определения Вл. Соловьева, которое сам приводит: «Государство существует не для того, чтобы создать рай на земле, а чтобы помешать ей превратиться в ад».

ственной и безвластной лишь тогда, когда изменяет себе, когда соскальзывает со своей идеи.

Настоящая демократия должна иметь власть, чтобы охранять и проводить в жизнь свою идею. Власть — ограничивать свободу каждого, кто посягнет на свободу всех. И такую власть демократия должна признавать не только правом своим, а также и обязанностью.

Но повторяю: чтобы понять все права и обязанности, налагаемые данной идеей, нужно понять самую идею в ее последней, т. е. в религиозной, глубине. Лишь на этой глубине открывается и настоящее понимание Свободы, к которой мы все стремимся, а получаем — только из Божьих рук, на пути нашего к Нему восхождения.

V

Мне осталось еще сказать два слова о религиозной позиции Бердяева и о том, почему наши общественные выводы так разнятся, хотя оба мы исповедуем ту же христианскую религию и принадлежим к той же православной церкви.

У нас не разная религия, но разное *религиозное сознание.* Я не хочу сказать, что у меня сознание — верное, а у Бердяева не верное. Оба верны, если верна наша религия. Но в луч моего религиозного прожектора попадает то, что в луч бердяевского — не попадает. И область, остающаяся для Бердяева темной, — область вопросов общественных.

Он говорит о личности, о природе зла, о духовном возрастании — религиозно. Но чуть касается общественности — слова его гаснут, суждения становятся просто обыкновенными суждениями с обыкновенной человеческой точки зрения, и весьма не беспристрастными. Почему это так?

Ответ дан самим Бердяевым: потому что *«Христос не учит общественности»*, а Бердяев — последователь Христа и только одного Христа. Он даже указывает на опасность сближения проблемы общественной с Христом, «который оставляет в стороне социальные вопросы». Естественно, что если Бердяев сам

и не оставляет их в стороне — он говорит о них уже не с религиозной точки зрения: этой точки зрения у него здесь нет.

«Чистое христианство» Бердяева определяет и его отношение к исторической (реальной) христианской Церкви.

Я признаю, что в христианской Церкви заключена вся полнота истины: но я сознаю, что она там именно *заключена*, а открывается нам лишь одна из ее трех сторон. Я не боюсь сказать это, ибо для моего религиозного сознания — существующая, в истории находящаяся, Церковь — такое же *не* совершенное воплощение Духа Божьего, как не совершенно во времени и пространстве всякое воплощение. «Церковь — храмина недостроенная!» — любил повторять один очень православный церковник.

Для моего религиозного сознания ясно, что правда «о всех», правда общественная, должна быть вскрыта в мире так же, как Христом уже вскрыта правда о Личности. Для меня ясно, что воля, заставляющая человечество, сознательно или бессознательно, протягивать руки к этой правде — есть воля Божья, и что во Христе эта правда уже есть: «Дух, которого пошлю вам, *от Моего возьмет*, и наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам».

Для моего религиозного сознания ясно, что мы должны быть готовыми «вместить» эту правду, а готовность не дается бездействием, созерцаньем и отворачиваньем от жизни. Надо идти навстречу Божьей правде, и она — «нудится, и употребляющий усилие восхищает ее».

В моем религиозном сознании Божья правда «о всех», земная человеческая совместность, строится как прообраз Царства Божия, т. е. на основах свободы и подлинного равенства.

И такое религиозное сознанье — вовсе не мое только: у меня много союзников. Не буду говорить о далеких и чужих, назову лишь одного, своего и очень нам близкого: Владимира Соловьева. Известен ли он? По имени — да, но я утверждаю, что по существу он остался неизвестен и для тех, кто его «изучал», «увлекался» им. Даже малое, второстепенное, что они

поняли в нем, — они скоро и основательно забыли. О внешних же не стоит и говорить: одних, общественников, отталкивало его христианство, других, «христиан» — его «либерализм».

Правда, есть у Вл. Соловьева кое-где недоговоренность; одна из причин ее — это то, что он был «слишком ранним предтечей слишком медленной весны...». Он много знал, но еще больше предчувствовал. А кого мог, в те недавние — и далекие — времена, занять хотя бы его вопрос, обращенный к России:

Каким ты хочешь быть востоком,
Востоком Ксеркса — иль Христа?

Его непонятный страх:

И вот Господь неумолимо,
Мою Россию отстранит...

Приходило ли в голову даже тому, кто о России не думал, что очень скоро — красным

— детям на забаву
Дадут клочки ее знамен?

Но оставим стихи, предчувствия и прозрения Соловьева. Мы говорим лишь об его религиозном сознании. И если, *теперь*, вдумчивый человек откроет любую книгу статей его и новыми глазами прочтет старые страницы, они его поразят: в них все — об одном, о реальной *связи* религии с общественностью. Соловьев не устает повторять, что во Христе уже есть, уже дана человеческая и Божья правда свободной совместности, побеждающая духом Божьим духа смерти.

Темы Соловьева внешне разнообразны. Очень часто взяты они лишь для прикрытия главной темы: не забудем, что он был связан тогдашней цензурой. Но пишет ли он рецензию об иностранной книге, говорит ли о поэзии, о Талмуде, о смысле любви — все это сводится к необходимости осознать *религиозно* вопрос общественный. В невинной как будто статье «О под-

делках» ему удается, сквозь цензуру, сказать, с изумительной определенностью, что христианство, не включающее в себя вопроса о реальном, свободном, устроении человечества на земле (правда «о всех») — есть не настоящее, а *поддельное* христианство *.

Но... для одних это было непонятно или ненужно, а для других, вроде Бердяева, это и до сих пор остается ересью: ведь «христианство — не учит общественности».

Бердяев, в узкой устремленности внимания на лик Христа, и в том, как он этот лик видит, — совершенно совпадает с обеими историческими христианскими церквами: и восточной, и западной. Отсюда у него и тяготенье к «духовности». Он признает плоть мира (как и Церковь), но нехотя, концами губ, словесно (так же, как и Церковь). Вот последний общий, вывод, который делает Бердяев в свете *своего* религиозного сознания: «Только реальное осуществление совершенной духовной жизни (а оно невозможно) есть разрешенье проблемы совершенного общества...», которое, значит, тоже невозможно.

Церковь, благодатная хранительница истины, скрытой до времени от нее самой, Церковь, для которой в «мире» — только еще «деется истина беззакония», эта Церковь и не вступает «в прю с князем мира сего», не подъемлет голоса (когда верна себе) для суждений или осуждений человечества, борющегося за свободу. Она только широко открывает объятия каждой отдельной душе, всякому, «приходящему извне», жаждущему отдыха и последнего утешения.

Но Бердяев не «приходящий извне». Книга его, по замыслу, есть «исход вовне». Забыв свои же утверждения, что «в Новом Завете нет откровения христианской общественности», что «Царство Христово не от мира сего» — он идет судить «сей

* С точки зрения того же религиозного сознания Соловьев отрицает и христианство «чисто духовное»; он отвергает, даже резко осуждает, религиозную «аполитичность» (по его собственному выражению), считая «аполитичную» религию также «подделкой» под религию.

мир». С пониманием свободы, равенства, братства как начал лишь духовных и отвлеченных — он судит человеческую волю к их воплощению и думает, что судит и осуждает ее — *религиозно.*

Но случилось то, что он и сам мог бы предвидеть. Ведь он сам говорит: «Великий соблазн — проблема общественности *и для верных христиан,* и для врагов христианства». Книга Бердяева и есть такой соблазн. Будь она не так мутно, противоречиво и отвлеченно написана — она соблазняла бы, пожалуй, больше. Но эта муть не случайна: самые корни ее — роковой узел, где «правда с ложью сплетена».

И, конечно, не о свете бердяевского сознания я думаю, когда говорю, что явления общественной жизни нужно освещать религиозно: луч бердяевского света до них не достигает.

Нет, я говорю о том длинном луче (Влад. Соловьев знал его), в котором воля человечества к устроению на земле в свободе, равенстве и любви — открывается нам как Божья. Я говорю: чем глубже мы сознáем, что идея свободы — есть идея *свободы в Боге,* тем ближе и возможнее ее воплощенье.

Придет ли это сознанье? Придет. Но верить ли, что скоро?

Не знаю. И только одно могу сказать здесь: верую, Господи, помоги моему неверию.

А. РЕМИЗОВ

Николины притчи

У Ремизова я люблю не все. Но мне жаль, что в нем не разбираются, не хотят понять, за что именно его нужно любить. Одни, с эстетической точки зрения, возвышают его, другие — отрицают (тоже эстетически!), но берут непременно целиком, и главного дара, собственной его *доли,* — как он любит говорить, — обыкновенно не замечают.

Не всегда и легко до этой ценной сущности докопаться. Художественные правдолюбцы имеют основания упрекать Ремизова: «Он изломан, надуман, притворяется!». Но когда к этим

упрекам прибавляют еще: «Ремизов юродствует!» — следует остановиться и задуматься. Да, в Ремизове есть «юродство». Но почему есть оно и в самых лучших его вещах, там, где он совсем не притворяется и ничего не выдумывает?

Скажу сразу, что делает Ремизова писателем с «необщим выраженьем», непохожим на других: это — его уменье сливаться с очень реальной и очень таинственной стороной русского духа, к которой мы и подходить не привыкли. Ремизов вовсе не «описывает» его, он говорит, — когда говорит — как бы изнутри, сам находясь в нем.

Таинственную сторону России даже зовут, пусть неточно, но понятно, — «Юродивой Русью». Что это такое? Если взять широко — это вся жизнь русской народной души, ее сложный рост в истории. Это — неразнимчатая сплетенность язычества, христианства, сказки, порыва к правде: это ее смех и горе, ее хитрость, слабость и сила. Страницы Ремизова, где он сам становится частью этой жизни с ее безмерностью и неуловимой мерой, с ее всегдашним, хотя бы чуть заметным, уклоном к «юродству» (напрасно мы понимаем его только в отрицательном смысле!), эти страницы и драгоценны, их-то и нельзя не любить, если любишь и чуешь Россию.

Таких страниц много в «Николиных притчах».

Почему возлюбил народ «святого Николу», избрал перед всеми святыми, чуть не сделал его, в простоте душевной, идолом своим? Почему столько «сказок» и «притч» сложил о нем? Мало у нас разве угодников? Нет, Никола духу русскому пришелся: он земной, он свой: старичок по грязным дорогам ходящий, в мужичьей беде помогающий, да такой милостивый, что и упросить его, о чем хочешь, можно, и схитрить перед ним — не обидится. Он и сам схитрит, даже перед Христом, чтобы помочь беде: побежал же тайком вдовью корову из белой в черную мазать, когда Христос велел волку съесть «Белуху».

На собранье святых поспевает угодник с земли — усталый: «Все со своими мучался, пропащий народ: вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, сын

на отца, отец на сына! Да и все хороши, друг дружку поедом едят!» Но когда взъярились святые: «Велел мне Ангел Господен истребить весь русский народ, отвечал Никола... *да простил я им: уж очень мучаются»* *.

Не знаю, все ли «притчи» Ремизовым только взяты, или сочинены иные, но это безразлично: они *единого духа.* Ремизов тут почти не «писатель», просто один из многих «создателей» Николиных «сказов».

Разбойник, вор, лукавый или простодушный обманщик, совершенно так же, как и добрый Иван, «сын купеческий», — все они, в трудную минуту, готовы позвать: «Святой Никола, где бы ты ни был — явись к нам!» Зовут и верят: будет им понятие и помощь от этого старичка, ведь он и чудотворец — и свой брат, вечный труженик и странник, вечный заступник.

Что это, примитив? Фантастика? Детское лукавство, юродство? В самом-то седеньком старичке Николе, разве нет и в нем юродства? Он простенький, он, в трудах, даже и молитвы не твердо помнит: богатый хозяин не пустил раз и ночевать: «Ты, говорит, Верую не речисто читал, а Изжени совсем не знаешь. Я таких не люблю...»

Бесполезное дело — подходить к этой сложной области русской жизни с чисто эстетической меркой. Тут нужно чутье, тоже художественное, — но иного порядка; ведь нужно понять глубочайший *реализм* такой «фантастики». Ремизов в ней — самый настоящий реалист. Он может, с той же искренностью и простотой, как Филипп из притчи, сказать:

Милостивый наш Никола,
где бы ты ни был — явись к нам!
Скажи Спасу о нашей тяжкой страде,
заступи, защити русскую землю.
Благослови русский народ великим благословением своим.

* Курсив мой.

Может, смеет, потому что в нем Филиппова же вера, и в веру эту — верится.

Хорошая книжка «Николины притчи». Они — тот Ремизов, писатель с «необщим выражением», которого надо любить.

P. S. Следует пожалеть, что «Николины притчи», как книга, испорчены приложенной к ней «Жерлицей дружинной» («к картинам Рериха»). Не вдаваясь в критику «Жерлицы», скажу лишь, что, пристегнутая к «Николе», она есть верх безвкусия. Тут, впрочем, согласны все, не исключая и самого автора, к чести которого надо заметить, что неудачное соединение совершилось по «независящим от него обстоятельствам».

«НОВЬ»

I

«Отцы и дети» — это, в конце концов, только художественный образ. Он понравился, привился, но вряд ли можно ставить его темой серьезного обсуждения. Спор «отцов и детей» — лишь фигуральное определение двух, непосредственно одно за другим следующих поколений, непременно будто бы друг с другом несогласных.

Однако в реальности смена поколений — вещь очень сложная. Она неуследима и математически неопределима. Кроме «отцов» и «детей», мы видим (если не смотреть à vol d'oiseau *, конечно) еще целую кучу каких-то дядей, племянников... куда их поместить? Это промежуточные поколения, что-то вроде полупоколений. Примеров много, даже в недавней литературе. Чьи «дети» — Блок, Белый? Шестидесятников? Нет, ибо кто же тогда первые «декаденты»? Первые декаденты — Бальмонт, Брюсов, — никак не укладываются в «отцы» Блоку, а он, в свою очередь, не отец Пильняку с Есениным, и уж наверно не

* с птичьего полета (*фр.*).

отец Маяковскому. У этого же, если есть потомство, то прямо комсомольские «внуки», да и те под сомнением.

Словом, в «отцах и детях» мы непременно запутаемся, и гораздо лучше формулировать важный вопрос, который нас занимает, со всей точностью и ясностью: это вопрос о русской молодежи в данный исторический момент. Что́ она из себя представляет сегодня, после событий беспримерных, в условиях исторических небывалых, что́ она сама о себе думает, чего она хочет в будущем, как оценивает прошлое?

Огромностью событий оттеснен на второй план самый факт «смены поколений». Смена-то произошла, но не в том нормальном порядке, в каком молодой Кирсанов сменил старого, в каком происходила она и далее, в послетургеневские времена. Тяжелый жизненный опыт, который прошла сегодняшняя молодежь, и затем жизнь вне условий «дома», во всяком случае вне условий нормальных — дают сегодняшним нашим молодым поколениям *исключительность*, и вопрос о них делают особо важным вопросом.

Увы, те же ненормальные условия мешают его исследованию с какой бы то ни было широтой и ясностью. Я уж не говорю о подспудной молодой России в URSS (ведь слово «Россия» — запрещено). Молодежь воистину «подспудная»; условия, в которых она живет, конечно, ненормальнее здешних, «бездомных»; никакой добросовестный человек не будет делать о ней общих выводов: мы знаем лишь отрывочные факты, и ни одного не подспудного, *свободного*, слова к нам не долетает (да его там и не произносится). Лишь чутье и догадка остаются у нас для «тамошней» молодежи.

Для здешней... немного больше. Здесь другие затруднения. Молодежь рассыпана по Европе. И единственная страна, где есть приблизительная ее общность, где можно услышать что-то вроде ее голоса — это Чехословакия. Везде тяжелы эмигрантские условия; но все относительно, и я могу утверждать, что лишь в Чехословакии наша молодежь существует как таковая: она там *учится*, она там *думает, говорит,* — живет. Достаточно,

для сравнения, привести Францию. И рядом с чехословацким студенческим Союзом поставить хоть одно из мне известных здешних студенческих «сообществ». Здешнее «сообщество», самое бытие его, то, что молодежь все-таки собирается, что-то устраивает – уже чудо. Потому что здешние студенты – не учатся; ни учиться, ни говорить, ни думать им некогда: они только работают. Я не преувеличиваю; я знаю, что из пятидесяти человек может учиться разве один, а остальные... Остальные живут (т. е. спят) буквально в клоаках, в ночлежных домах, и с пяти часов уже на ногах: день отупляющей, оглушающей физической работы. Устают так, что один с ужасом рассказывал: поставил будильник на 5 часов; вскочил в 5 часов, быстро стал одеваться, но... пять-то часов было – вечера! Ужаснула рассказчика невозможность этого мертвого сна, усталости, при которой «думать нельзя», а просто – «работу потеряет». Нет, пражские студенты, бывающие на лекциях, пишущие в своих, не рукописных, журналах, ведущие дискуссии с «отцами» об идеях, – они не знают, как они счастливы.

Мы принуждены, в вопросе о современной молодежи, главное внимание обратить на Прагу. И там сложность, конечно; я постараюсь отметить лишь наиболее выпуклое и характерное.

Сложность еще в том, что самое понятие «молодежи» – весьма зыбко. Во все времена есть молодежь «старшая» и «младшая»: 25–28-летние – *не то*, что 14–17-летние. Наши же дни, – исторический российский прерыв, – усугубили разделение, создав еще одно, немаловажное, различие между старшими и младшими. Младшие (я еще коснусь их ниже) начали жизнь с катастрофы; у них нет конкретной связи с прошлым, за ними не стоит никакое их собственное, биографическое прошлое в России. У всех старших это биографическое прошлое имеется, хотя и не в той, конечно, степени, как у старых эмигрантских групп, у «отцов». А биографическое прошлое и связь с ним, в наше время, становится или кандалами – или лестницей, в зависимости от того, как к нему отнестись. Зачеркнуть его нельзя; но можно подвергнуть его беспощадному пересмот-

ру – и можно оставить неприкосновенным. В последнем случае оно и превращается в кандалы.

Как справляется молодежь с попутной, но неизбежной, задачей пересмотра, – с повоенной и пореволюционной самоперестройкой? Чтобы это увидеть, надо вернуться немного назад.

II

В предпоследние и последние годы Петербурга вопрос о молодежи особенно интересовал меня и моих друзей. Личные наблюдения могли быть недостаточными: ведь все-таки молодежь, проходившая перед моими глазами, тяготела, главным образом, к «литературе». Возможность ошибок заставляла меня, для проверки общих выводов, прибегать к людям, которые сталкивались с современной молодежью всех слоев. И могу сказать, что весьма редко их наблюдения противоречили моим собственным.

Вот главный вывод (его делал, между прочим, и покойный М. И. Туган-Барановский).

Тип старого студента, наивного и горячего общественника, материалистического идеалиста, исчез давно; однако последние изменения в среде молодежи произошли под влиянием неудавшейся революции 1905 г. Тут много чего было, а закончилось следующим: *типичный* студент начала второго десятилетия – это не только не «общественник», а даже антиобщественник. Он не просто смеется над «идеалами» прежнего студента (ставшего его «отцом»), он вообще не признает столь «банального» слова. Он – «*эстет*», в самом широком понятии. «Эстет» – вне зависимости от того, пишет стихи или не пишет, признает искусство и литературу или не признает. Большинство таких «эстетов» отличалось крайней невежественностью. Даже те из моей молодежи, кто тяготел к литературе и претендовал на занятие ею, совершенно русской литературы не знали. Интерес к ней и труды «отцов» (или «дядей») – Брюсова, Блока – были им чужды. Почти никто не читал Достоев-

ского (разве в детстве, бегло) или «старого» Гоголя. Тургенева снисходительно презирали, Некрасова презирали без снисхождения, никогда не видав в глаза его книг. О других писателях, более ранних, менее ярких, нечего и говорить. Любопытство было только к «современным»: их знали, начиная с Блока, иногда с «декадентов». Не все заглядывались на футуристов, но стиль Андрея Белого очень тянул. Создавался, впрочем, у всех, мало-помалу, собственный общий стиль, какая-то вычурная смесь изысканности с малограмотностью. Натура, сказать «не банально», заставила их портить каждое русское слово, какое они только могли.

Исключения среди этих нелюбопытствующих невежд — попадались: таков молодой пушкинианец Г. Маслов (погиб в войне с большевиками). Но он был положительно «белой вороной».

Далеко не все новые «эстеты» тяготели к литературе. С наиболее вдумчивыми мы иногда разговаривали об этом их «эстетстве». Они защищали свою позицию как «естественную реакцию против засилия общественных принципов», против угнетения личности. Они называли себя «индивидуалистами» и никак не хотели понять, что говорят не об «индивидуализме», а о «субъективизме». Иные вообще «измов» не желали и к «идеям» относились так же пренебрежительно, как и к «идеалу». На замечание, что и это особого рода «романизм», — получился ответ: «Если хотите — да, но без всякого романтического содержания».

То или другое, факт отдаления молодежи от интересов общественных был налицо.

Мне вспоминается одно интеллигентское собрание, интимное, но довольно важное. Говорили-говорили, вдруг кто-то удивился:

— Господа, не странно ли, что к этому делу до сих пор не привлечена молодежь?

Пожилой, очень известный, общественный деятель, сказал, усмехаясь:

— Вам еще странно, что здесь, за столом, все сидят «седые да лысые»? Милый мой, не только здесь, а везде, где пахнет общественностью, не дай Бог, политикой, — везде вы встретите одних «седых да лысых». Я уж давно об этом думаю. И уж давно мечтаю: хоть бы одного мне живого студента увидеть!

Ну, конечно, «седые и лысые» отцы, деды, были плохими общественниками, плохими политиками. Признаем это. Что же, однако, им было делать, когда не седые и не лысые вовсе не занимались ни общественностью, ни политикой?

Они занимались... но пусть нам расскажет это сам бывший, ныне кающийся*, студент-эстет.

«...Мы расширяли глаза атропином, чтобы видеть краски без четких очертаний конструкции, задыхаясь эфиром платка, промоченного и наброшенного на запрокинутые головы, чтобы, держа за руку любимую подругу, постигать совместно блаженное вознесение в небытие, мы вдыхали кокаин, преображая в сверканье Тверскую, и полагали, что есть на земле миг абсолютного счастья, мы курили гашиш, чтобы сделать покорным ток воспоминаний, теряя власть над ним (?), отдавались зрению цветовой литургии, мы благодарили сартов за дымок наш, дававший право изгибать любой фонарь, проникать сквозь любую стену, ибо сумка, где почивала душа, становилась иллюзорной, мы вдыхали "Astris" Пивера и, закрыв глаза, гладили влажной, напряженной ладонью камень пресс-бювара...». «Многие из нас не выдерживали, шли в другую крайность, носили без подтяжек брюки, руками раздирали карманы, трубкой — рот... э, все равно, измарались в моралях! толкнув нарочито прекрасную женщину, извергали матерщину...».

Таковы покаянные воспоминания**. Послушаем дальше.

«Как бледно все это, как ничтожно! Каким Мудрым Существом предопределено было, чтобы земная жизнь коснулась нас своим беспощадным крылом...»

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Был у нас «кающийся дворянин», потом «кающийся интеллигент», а вот, наконец, и «кающийся студент».

** Своими Путями. № 1—2. С. 13.

Говоря затем о тяжелом, смертном опыте войны, походов («нас разъедали вши, коростенила грязь, нас морили в тюрьмах...»), автор хочет показать, к чему привел благодетельный опыт. Он «изменил все, изменил психологию, сделал пределом наших мечтаний — просто жизнь, во всем ее добром и злом многообразии. *И пишем мы уже по-иному.* Оптом не отрицаем и звезд не хватаем: мозольной рукой (м. б., «мозолистой»? «Мозольный» значит другое) — опыта разворачиваем залежи руд...».

Можно лишь приветствовать такое строгое отношение к своему прошлому, такой решительный отказ от старого, такую коренную перемену... если коренная перемена уже произошла. В стремлении к ней сомневаться, конечно, нельзя; однако подумать, не принимает ли автор стремление за достижение, желанное за данное, меня заставила фраза: «И пишем мы уже по-иному...». Нет, пишут «они» пока по-старому. Так по-старому, что старее нельзя. Доказывать ли? Недостаточно ли нескольких строк с «иллюзорными сумками для почивания души», с «изгибаниями любого фонаря», чтобы прямо перенестись во времена доисторические, когда этими сумками был полон воздух, когда чуть не всякий мечтал дотянуться до изгибаний Андр. Белого, а не дотянувшийся изгибался самодельно?

Не спорю: стиль, в конце концов, пустяки. Опыт молодежь проделала жизненный, ей было не до стиля. Нам важно проследить изменения в более существенном, отметить действительно иное, новое, — не закрывая глаз и на «старое» там, где оно остается.

Группа сотрудников «Своими Путями» не во всем, кажется, солидарна с другими многочисленными группами пражского студенчества, но я беру ее как наиболее выявленную и характерную для главных черт, общих всем группам.

Итак, первое открытие, которое сделали молодые, — это жизнь. Просто жизнь, обыкновенная, повседневная, с работой для куска хлеба, с отдыхом в семье. Без гашишных иллюзий... да, кстати, и без «идей» и «возвышенных отцовских идеалов».

Никаких крайностей! «Нам – золотая середина не болото, а дерзание».

Я боюсь, что уж тут дело не в одном старом стиле. Кто упорствует в «дерзаниях», кто и к простой жизни подходит с ними и объявляет об этом, тот, пожалуй, еще не понял этой «простожизни», не освободился от ненавистных крайностей. Самая золотая середина делается крайностью, если она – «дерзание». Попутный отказ от «идей», от «идеалов» (знакомый отказ!) – ничему не поможет. И я боюсь, что правда о «жизни» открывается пока лишь в «идеале», а не в конкретности. Хорошо, однако, и это. Все-таки, хотя и неосознанный, идеал. Мне даже не очень хочется отмечать дальнейшие «крайности», до которых доходят поклонники простой жизни, вроде утверждений, что «нового вообще нет», что это-то и «забавно», и «пусть застаревшие (застарелые?) идеалисты верят в прогресс, в движение вперед, молодежь верит только в циклы, в повторения, в «маятник мод».

Хорошо. Ну, а как обстоит дело с отношением к искусству? В старое время, у «эстетской» молодежи, оно было такое: искусство – ценность сама себе довлеющая, не находящаяся в связи ни с какими другими ценностями, независимая ни от чего, рассматриваемая отъединенно от жизни и даже от собственного творца – человека. В новое время пражский «Скит поэтов» делает следующее заявление: он «помогает поэтам вдали от родины идти нога в ногу с поэтами, работающими там, чутко улавливая дух современной русской поэзии» и «не боится поэтов, подобных Есенину и Маяковскому, со вниманием подходит к ним, отвергая политическую сторону».

Случайно или не случайно не упомянут Демьян Бедный? Если неслучайно, то надо признать, что старая молодежь, при том же взгляде на искусство, была последовательнее; отвергая все «стороны» – отвергала их до конца.

До сих пор, – скажем правду, – не видно даже «повторений», а только продолжения: как будто те же, немного постаревшие, эстеты с «расширенными атропином глазами», тем же

стилем, говорят о ненужности идей, идеалов, о дерзаниях, о самодовлении искусства, об отвержении политической стороны... Но, если бы мы поспешили сделать выводы, мы бы очень ошиблись. К счастью, — для всех нас, — ни в группе, примыкающей к журналу «Своими Путями», ни в других группах — нет цельности, нет определенности, а, напротив, куча (чтобы не сказать хаос) самых разнообразных и отрадных противоречий. Не признается движение (прогресс), — но тут же говорится о «сдвигах». Отрицаются «идеи», — а вот статья, объясняющая и утверждающая «верховность *идеи* Родины». Объяснение этого первого пункта декларации Русск. Демократического студенческого Союза — опять довольно сбивчивое, противоречивое и спорное, но не будем входить в споры. Чувство под всем этим лежит верное и... действительно *новое.* Оно действительно родилось из опыта и обращено к будущему. Пусть еще ввиваются в новые ветхие мысли и ощущения, всякие дерзания и отрицания, позывы к «избиению богов», бессознательная склонность к крайностям (и середку, и ту — «до конца!») — это ничего. Историко-биографическую связь с прошлым не вдруг обновишь. То, что молодежь уже выдвинула, рядом с «идеей Родины», — идею демократическую, и это новое. Какая беда, что на одной странице еще «забавляются» отрицанием «нового» и с заносчивым смирением объявляют о гибели идей и цивилизации; на следующей — крепко связывают себя с идеей демократии и движением вперед. Старый *«романтик без содержания»* находит содержание ощупью, у него еще «расширены зрачки»... Они скоро сузятся до нормы.

Я не беру слов назад. Да, все «новое» у сегодняшней молодежи будет — и уже окрашено — *романтизмом.* Этого нечего бояться, ведь и романтизм-то будет новый. Новое — это, прежде всего, небывшее: неповторенное и неповторимое. «Циклы», на которых основывает свое отрицание нового сотрудник журнала «Своими Путями», действительно есть. Но они — не кошмар Нитше («вечные повторения!»), а «эволюция» Бергсона,

ибо все *«циклы не совершенны»* (по научной терминологии), а «несовершенство» цикла и есть «неповторяемость».

К романтизму молодого поколения я еще вернусь, но пока — два слова о «младших» молодых.

III

Русская «младшая» молодежь в Европе — еще меньше доступна наблюдению: у нее, естественно, нет «союзов», нет журналов (что узнаешь по гимназическому болгарскому «Эосу»?). Будем помнить главное отличие этих молодых от «старших»: не имея никакой довоенной и дореволюционной биографии, — они сразу попали в «прерыв», начали жизнь прямо с «опыта». Но и отрывочные сведения, которыми я об этой молодежи располагаю, не лишены интереса.

В предреволюционные годы мы, разочаровавшись в «эстетской» старшей молодежи, стали с особым вниманием приглядываться к тогдашней «младшей». Иные даже решили: вот настоящее молодое поколение; а те, старшие, — полупоколение, межпоколение; их судьба — «так» пройти.

Жизнь показала, что мы ошибались. Ни тогдашним старшим, ни младшим, одинаково не было суждено «так пройти». Может быть, и младшие носили в себе те же задатки «эстетства»; но слившись, в катастрофе, со старшими, они вместе прошли жизненный опыт, вместе приобрели «преждевременные седины» и... новые идеи: жизни, родины, ее государственного и всяческого благоустройства. Мне кажется, что это именно бывшие «младшие» вносят самые отрадные, самые новые ноты в общий хор, которые еще создают в нем диссонансы, — видимые противоречия. Это наиболее молодые из всей старшей молодежи замечтали первые о «родине», о «верховности ее идеи», об ее «благоустройстве», да, пожалуй, и о «простой жизни» в ее конкретности; недаром не говорят они о «дерзаниях» и не заняты «избиением богов» во имя отрицания «нового»... В хорошем смысле «мечтательного», т. е. горяче-порыв-

ного, устремленно-волевого, — очень много в этой молодой «идее верховной родины». «Иного задания, кроме благоустройства родины, у нас нет... России нужны инженеры, мосты, хлеб...». «Дальше мы не заглядываем: нам некогда...». Некогда, потому что «мосты строить» надо *немедленно*, сейчас, сию минуту. Россия нужна им немедленно...

Прекрасные цели. Близкие, конкретные цели. Такие ли уж близкие и конкретные? «Тут наше расхождение с отцами...», — прибавляет один. Трудно, однако, представить себе, чтобы и «отцы» были против «ремонта путей» и стояли бы за свои «воздушные замки», если бы... если бы для немедленной конкретной работы «детей» не существовало конкретных препятствий. Но *этой* конкретности молодой романтизм не видит, он глядит поверх. В новой любви к «родине» еще есть элементы любви к «Прекрасной Даме». Это хорошо, что-то из этого должно остаться навсегда... а в чем-то придется, все-таки, «спуститься на землю», потому что все-таки сейчас, сию минуту, «мосты», к которым рвется молодежь, — остаются «воздушными».

Вот иллюстрация: как доказательство, что и молодежь в России (в URSS) «одушевлена теми же идеями, стремлением к реальной работе», пражские студенты приводят письмо одной курсистки. Письмо убедительное; но кончается оно коротенькой фразой, маленьким дополнением — потрясающе значительным: «*...только бы хоть немножко свободы...*». Немножко — заметьте, немножко! — свободы. Ужаса и реализма этих слов не увидели «здешние». Бездомная воля отучила их понимать, что такое *неволя* и какие рождает она невозможности. Оттого и отвечают они на робкие слова — «хоть немножко бы свободы» — поверх этих слов: «Надо работать (строить мосты) *вопреки* невозможности, *несмотря* на невозможность...»

Но, повторяю, это не вина; это не старый, а новый романтизм, ищущий и не вполне еще нашедший свое подлинное содержание. Вчерашняя «младшая» молодежь только что расправляет крылья.

Ну, а сегодняшние «младшие»? Чего хотят они, уже никакой осязательной связи с прошлым не имеющие, рожденные в катастрофе и ею выкинутые на чужие берега?

Насколько могу судить (да и кто имеет данные для широкого суда?) младшие совершенно совпадают со старшими братьями в их «новом». Они не каются, – в чем им каяться? И, не имея покаянной, всегда раздражающей, психологии, не заняты наступлением на «отцов». Да где их «отцы», кто? Им как бы все – деды или даже «прадеды». Для них Достоевский, Михайловский и Милюков в одной и той же перспективе.

Я приведу собственные слова одного из «младших». Путаница и противоречия – это уж надо принять! Но сквозь них все-таки можно уловить и совпадения с идеями «старших», и собственные прибавки: «За Россию, конечно, прежде всего, за Россию и против большевиков. Скажу о моих сверстниках... Есть и такие, которые не задумываются. Меня страшит их будущее, но сейчас я всех люблю, многих очень уважаю. Только от одного я слышал оправдание большевиков. Только от одного! Свержение большевиков – это для нас ясно, это для нас *первое.* Но дальше. Как мы будем строить Россию? Я говорю не только о мостах (и тут «мосты!»), они само собою, в нас много практического чувства, каждый знает, чем станет по окончании гимназии, – в особенности привлекают призвание инженера и доктора, – но ведь Россия не одно внешнее благоустройство; не вся ее сила только в нем, и любовь наша к ней не за благоустроенность же. Все же понимают, что нужна "огненная Россия", пусть тихое пламя, но внутри пламя. У некоторых вера в искусство: красивая нравственная жизнь облагородит, уравнит всех. Один сказал: театр и церковь спасут Россию. Это вера в красивое и вера в чудо. Довольно ли этого? Нет, конечно...»

Далее идут бесчисленные ссылки... не на русскую «литературу» даже, а на русских писателей; и на всех – как на действующих, как на живых в живой России, от Гоголя, Некрасова (да, и Некрасова, бывшим «эстетам» неведомого) до Чехова; и с удивлением начинаешь понимать, где подземная, крепкая,

связь «младших» с Россией и куда переместилась борьба с «отцами-прадедами».

«Да, последний рассказ о России — "Скучная история" Чехова. Но мы не хотим, чтобы вернулась "Скучная история". Это — ложь старого мира, все, что убивает действительность, давит, дробит жизнь, порождает унылых людей...» «Борьба в русском сознании — моя мука. Все мои чувства и мысли в этой борьбе. Между Толстым и Достоевским страшная и страстная борьба — за жизнь. Я верил в "страдание". В России много тихих, далеких углов, где много и крепко страдают. Умирают в страдании за других. Клевета, что интеллигенция за проволокой только жалко моргает, как заяц, битый обухом. Я жил с теми людьми в тяжелое время 1917—1921 гг. Я знаю их смирение и величие, их самозабвенное страдание... а жизнь проходит и уходит. Вся ли правда в одном страдании, в великой покорности до конца? Одною ли ею создается огненная Россия?..». «Может быть, ни "огненной", никакой России не будет, может быть, для всей современности.

Склоняется солнце, кончается путь,
Ночлег недалеко, пора отдохнуть, —

но мы так верить не можем, когда хотим продумать свои думы, когда любим жизнь и живую Россию. И недаром шла в ее сознании эта борьба за жизнь. Теперь многое поняли мы через страдание. Надо *раскрыть жизнь*. И должна раскрываться она в нашу пору...».

Что это, хаотические детские бредни, предел ребяческого романтизма, своего рода «воздушные замки», подобные таким же замкам отцов или прадедов? Может быть. Автора я не знаю (так же, как не знаю авторов пражских статей). Знаю только, что ему 17 лет и что он эмигрант с 21 года. Романтизма в приведенных отрывках, — не спорю, — сколько угодно. А все-таки, если приглядеться внимательно, без предубеждения, можно сделать кое-какой вывод: совпадая со старшими в реальных, ближайших целях, младшие относятся к ним, — к «ра-

боте, инженерству, мостам», — очень реально, а романтизм свой помещают в некоторую к ним прибавку; они расширяют «идею родины» и пересматривают свою связь с ее общим прошлым, по-своему борясь с ее создателями или разрушителями. Живую Россию видят не только с мостами, но с ними — плюс еще с чем-то, что так же пламенно хотят строить, как и мосты.

Бывают, конечно, моменты, когда «отрицание всяких идей», умственное самоограничение, самосокращение, необходимо и происходит естественно; это — когда реальная работа реализуется, когда из воздушных мостов — мосты делаются бетонными. Действительно, некогда говорить об «идеях» и «догмах». Но в эти времена не говорят и о мостах, и о том не говорят, что «нужно работать», «нужно строить»: работают, строят — и только.

Мы, впрочем, приветствуем всякие мосты, и завтрашние настоящие, и сегодняшние романтические, — даже самую мечту о мостах. В ней пламенная жажда воплотить идею Родины.

Но мы не можем осуждать и ту молодежь, которая откровенно идет дальше, к идее России прибавляет идею о *новой* России, а близкую действительно воспринимает более реалистично. Она тоже хочет мостов, но знает, что начнет эту работу лишь тогда, когда на месте постройки будет... «немножко свободы».

«Это для нас — первое».

УМНАЯ ДУША

(О Баксте)

И хочется — и не хочется мне говорить сейчас о Баксте. Хочется потому, что все думается эти дни о нем. Но уж, конечно, сказать могу лишь два слова, сотую долю того, что думается и помнится. Всего больше говорят о человеке, когда он едва умер. Так принято. Но я этого не могу. Говорю или о живых, или об умерших давно, *привыкших* быть умершими.

А смерть близкая – она должна бы заражать молчанием. Но не заражает; и все кажется, что шум наших слов тревожит умершего.

Я скажу о Баксте кратко, тихо, полушепотом. Отнюдь не перечисляя его художественных заслуг, – это сделают в свое время другие, – нет, о Баксте просто. О Баксте-человеке. Ведь все-таки, все-таки, – до конца жизни моей буду твердить, – человек сначала, художник потом. Перед лицом смерти это особенно ясно. Особенно понимаешь, что можно быть самым великим художником и умереть, и ничье сердце о тебе не сожмется. А кто знает, не это ли одно ценно для умершего, и очень ли нужны ему загробные восхищения и восхваления?

Бакст был удивительным человеком по своей почти детской, жизнерадостной и доброй *простоте*. Медлительность в движениях и в говоре давала ему порою какую-то «важность», скорее – невинное «важничанье» гимназиста; он природно, естественно оставался всегда чуточку школьником. Его добрая простота лишала его всякой претензии, намека на претензию, и это тоже было у него природное... Не скрытный – он был, однако, естественно закрыт, не имел этой противной русской «души нараспашку».

Его друзья по «Миру Искусства» (Бакст был членом их тесного кружка в 1898–1904 гг.) знают его лучше и ближе меня. Они почти все живы и когда-нибудь вспомнят, расскажут нам о Баксте-товарище, с его милой «невыносимостью» и незаменимостью, о Баксте дальних времен. Но я хочу отметить, – и теперь же, – черты, которые открывались мне иногда в его письмах, иногда в неожиданном разговоре; они стоят быть отмеченными.

Знал ли кто-нибудь, что у Бакста не только большая и талантливая, но и *умная* душа? Знали, конечно, да не интересовались: интересуются ли умом художника? И поэту радостно прощают глупость (одну ли глупость?), а в художнике или музыканте ее даже принято молчаливо поощрять. Откуда-то повелось, что искусство и большой ум – несовместимы. Кто

этого не говорит, — тот думает. Потому и нет интереса к уму художника.

У меня этот интерес был, и я утверждаю, что Бакст обладал умом серьезным, удивляюще-тонким. Не об интуитивной тонкости я говорю, она в художнике не редкость, художнику полагается, но именно о тонкости *умной*. Он никогда не претендовал на длинные метафизические разглагольствования, — они были тогда в большой моде, — но, повторяю: случайное ли письмо, случайно ли выпавшая минута серьезного разговора, и опять я удивляюсь уму, именно уму, этого человека, такой редкости и среди профессиональных умников.

В Баксте умник наилучшим образом уживался не только с художником, но и с жизнерадостным школьником, гимназистом, то задумчивым, то попросту веселым и проказливым. Наши «серьезные разговоры» отнюдь не мешали нам иногда вместе выдумать какую-нибудь забаву. Так, помню, мы решили однажды (Бакст зашел случайно) написать рассказ, и тут же за него принялись. Тему дал Бакст, а так как была она весьма веселая, то мы, подумавши, решили писать по-французски. Рассказ вышел совсем не дурной: назывался он «La clé» *. Мне было жаль впоследствии, что куда-то запропастился последний лист. Теперь, впрочем, все равно пропал бы, как пропали письма Бакста со всем моим архивом.

Постоянно, в те годы, встречались мы и в моем интимном кружке, очень литературном, но где Бакст был желанным гостем. А в работе пришлось мне видеть его раза два или три: когда он делал мои портреты и когда делал, у нас, портрет Андрея Белого.

Работал настойчиво, крепко, всегда недовольный собой. Белого, почти кончив, вдруг замазал и начал сызнова. А со мною вышло еще любопытнее.

Не знаю почему — его мастерская была тогда в помещении какого-то экзотического посольства, не то японского, не то ки-

* «Ключ» (*фр.*).

тайского, на Кирочной. Там и происходили наши сеансы, всего три или четыре, кажется.

Портрет был опять почти готов, но Баксту молчаливо не нравился. В чем дело? Смотрел-смотрел, думал-думал — и вдруг взял да и разрезал его пополам, горизонтально.

— Что вы делаете?

— Коротко, вы — длиннее. Надо прибавить.

И, действительно, «прибавил меня», на целую полосу. Этот портрет так, со вставленной полосой, и был потом на выставке*.

Еще одна черта, совсем, казалось бы, несвойственная Баксту, с его экзотикой, парижанством и внешним «снобизмом»: нежность к природе, к земле *русской*, просто к земле, к лесу деревенскому, обыкновенному, своему. Может быть, и не осталось в нем этого в последние десятилетия, забылось, стерлось (вероятно, стерлось), но все равно — было: ведь сказалось же однажды с такой неотразимой искренностью в письме ко мне из Петербурга в деревню, что и теперь вспоминается.

Мы виделись и переписывались с Бакстом периодически; случалось, теряли друг друга по годам. Частые мои отлучки за границу этому содействовали, «Мир Искусства» шел к концу; расцвет его был позади.

Вернувшись как-то в Петербург, слышу: Бакст женится. Потом: Бакст женился. И потом, еще через какое-то время: Бакст болен. Спрашиваю его друзей: чем болен? Они сами не знают или не понимают: какая-то странная меланхолия, уныние; он очень мнительный, и ему кажется, что неведомые беды ждут его, так как он перешел в христианство (в лютеранство, для женитьбы, жена его русская).

Друзья пожимают плечами, считают это мнительностью, «Левушкиными чудачествами», пустяками. Ведь только формальность, добро бы он был «верующий»! Другие видели тут,

* Перед войной этот портрет находился, кажется, в коллекции Юрия Беляева (?), где он теперь — неизвестно.

вероятно, начало душевной болезни... Но меня, и многих из нас, навело это на совершенно другие размышления.

А когда, в 906 или 7-м году, в Париже, довелось мне увидеть Бакста веселого, бодрого, воскресшего — эти размышления приняли форму ясных выводов. Что воскресило Бакста? Париж, широкая дорога искусства, любимая работа, восходящая звезда успеха? Тогда ведь началось завоевание Парижа «Русским балетом»... Ну, конечно, кому ни придало бы это бодрости и жизнерадостности. И Баксту придало, но именно придало, прибавило жизни — живому. А ожил он, вышел из припадка странной своей меланхолии, раньше: тогда, когда смог (после революции 05 г.) снять с себя «формальность», навязанное ему христианство. Он физиологически выздоровел, вернувшись в родной иудаизм.

Как, почему? Ведь Бакст — такой же «неверующий» еврей, как и неверующий христианин? Причем тут религия?

Оказывается, не совсем ни при чем. Вот еще один знак глубины и *цельности* Бакста-человека. Добротность и крепость ткани его существа. Настоящий человек — физиологически верен своей вековой истории; а многовековая история народа еврейского не метафизически, и не философски, но и физиологически религиозна. Всякий еврей, подлинный человек-еврей, страдает от разрыва, даже чисто внешнего, и тем острее, чем он сам цельнее и глубже. Дело не в вере, не в сознании: дело в ценности человеческой личности и в праведной, до физиологии, связанности ее со своей историей.

После долгих лет (и каких!) встреча с Бакстом опять здесь, в Париже.

Я смотрю, говорю и лишь понемногу начинаю «узнавать» его. Медленно происходит во мне процесс соединения Бакста давнишнего, петербургского, с этим, теперешним. Так ведь всегда бывает, у всех, если очень долго не видишься. Даже тогда, когда люди не очень изменяются внешне. Очень ли изменился

Бакст? Ну, изменился, конечно, да не в пример нам всем, вырвавшимся из Совдепии: он ведь счастливчик, он большевиков не видал; и на нем понятно, как нельзя их вообразить тому, кто не видал. Его наивности насчет непредставимой жизни в Петербурге заставляют нас улыбаться, как взрослые улыбаются детям.

Иногда я закрываю глаза и, слушая своеобразный медлительный говор, совсем вижу перед собой прежнего Бакста: его невысокую, молодую фигуру, его приятно-некрасивое лицо, горбоносое, с милой детской улыбкой, светлые глаза, в которых всегда было что-то грустное, даже когда они смеялись; рыжеватые густые волосы щеточкой...

Нет, и это — Бакст; он весь поплотнел, стал слитно-неподвижным, волосы не стоят щеточкой, гладко липнут ко лбу; но те же глаза, лукаво улыбающиеся, грустные и школьнические, такой же он невыносимый, досадный, наивный, мнительный — и простой. Это Бакст, постаревший на двадцать лет, Бакст — в славе, счастьи и богатстве. По существу — это тот же самый Бакст.

Но окончательно узнаю я Бакста — следующим летом, когда между нами опять, — в последний раз! — завязалась переписка. Опять тонкие, острые, умные письма, слова такие верные, точные, под шуткой — глубина и грусть, под улыбкой — тревога. Он прислал мне свою книгу «Серов и я в Греции». Эта книга... но я не хочу о книге. Не хочу о «литературе». Скажу только, что Бакст умел находить слова для того, что видел как художник. Но он находил их также для видимого другим взглядом, внутренним, — слова свои, очень прозрачные, очень простые, очень глубокие.

И вот он умер.

Мне сказали это поздно вечером. Умер Бакст? Не может быть! Кто-то заметил, давно: «К Баксту нейдет умереть». Да, пожалуй, извне так должно было казаться. Но я знаю, что Бакст ни за что не хотел думать о смерти и — постоянно о ней думал. Но смерть его — неожиданность, невероятность потому,

что всякая смерть всегда неожиданность и невероятность. Даже для нас, живущих в самое смертное из времен, каждая отдельная смерть — неожиданность. К каждой надо привыкать отдельно.

Я долго еще не привыкну, что умер Бакст, что ушла куда-то его взволнованная, нежная и умная душа.

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Преподобный Сергий Радонежский

С какой любовью написана эта небольшая книжка. Чувствуется, что Зайцев не случайно выбрал именно этого русского святого. Из сонма угодников и подвижников, чтимых народом русским, не к буйному, деятельному Николе преданий и не к живому, настойчивому лесному «батюшке» Серафиму, такому сравнительно недавнему, влечется сердце художника: но к простоте далекого Сергия. Шесть веков пронеслось, и сквозь шесть веков сияет нам тихий, воистину неземной, свет его лица.

С нежным, тщательным вниманием ведет Зайцев жизнеописание отрока Варфоломея, преподобного старца Сергия, до его кончины. Как одна прямая линия — эта жизнь. Отрок Варфоломей до последнего дня не умирал в Преподобном, вот тот прозрачный мальчик с уздечками на руке, среди бледных трав лесной полянки, среди березок тонких, — на нестеровской картине «Видение отрока Варфоломея». Уже тогда наполнены были его глаза небесным светом.

Таким и пребыл он до конца, протеплился, как свеча, неколеблющимся пламенем. Зайцев прав, подчеркивая: в нем не было экстаза, как у Франциска Ассизского; он не был блаженным, что на русской почве делается юродством: «Именно юродство было ему чуждо». Подвиг его — «непрерывное, недраматическое восхождение». И далее: «Как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и *прохладной* атмосфере».

Сергий и *не* проповедник. «Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча *самим собою,* «тихим деланием» — и только. Скромный, неутомимый труженик, он избегал малейших почестей, как и зла, если оно настигало его в глухих лесах. Услышав, в храме, замечание брата, который позавидовал его настоятельству, он тотчас ушел из монастыря, его руками построенного, чтобы основаться в другом месте, по слову: «удалися от зла, сотвори благо».

Он не был «делателем», как говорит Зайцев в предисловии. И чтили его шесть веков действительно как «образ величайшего благообразия, простоты, правды и святости». Время, когда жил Сергий, было не мирное время. Даже в церкви, если «был мир в идеях», зато была «действенность в политике». Но Сергий, хотя слава его пронеслась уже далеко, и многие приезжали требовать его помощи, — не вступал ни во что. Он только утешитель, только миротворец. Так же, когда приехал к нему Димитрий, прося благословения на бой с татарами, он, тихий отшельник, плотник, святитель, стал перед трудным делом. Не особенно ценил он печальные дела земли. Сначала попытался уговорить князя еще раз пойти с покорностью к ордынскому царю: «Если враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят золота и серебра — дадим им...». Князь отвечал, что уже пробовал, и теперь уже поздно. Лишь тогда Сергий благословил его на смертный бой.

Таков был «выход» Преподобного в область «государства».

Да, он никогда не был «орудием ни власти церковной, ни государственной». И не мог быть, он, чистейший, идеальнейший святитель русского православия. Это говорит и Зайцев: «Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие... создали этот единственный образ. Сергий глубочайше русский и глубочайше православный». Любовная нежность Зайцева к Сергию как будто хочет напомнить нам о православии, «ясности света прозрачного и ровного», шестьсот лет горящего одинаково, в трудные времена служившего утешением. Не были ли времена, труднее наших? Шесть веков пролетели: и неизменным остает-

ся идеал Церкви-утешительницы, только утешительницы. В народе, после осквернения Троицко-Сергиевской Лавры, родилась легенда: мощи Преподобного ушли в землю. «Удаляйся от зла, сотвори благо». Памятью о Сергии утешает нас Православная Церковь. Но в годины смертные, когда уж отдали мы ордынскому царю и честь, и славу, и серебро, и золото, и даже смотрим на поругание имени Христова — будет ли дерзновением, если мы скажем: великая это святость «не ценит печальные дела земли». Но что будет с землей, если святость «творить благо — *убегая»* от земли с ее злом? Шестьсот лет Церковь — утешительница. В лице лучших сынов своих, отшельников и подвижников достигла она неземной святости. А к миру шли, из далеких пустынь, вместе с лучами тихого света, благословения терпеть и смиряться. Святители — венец русского православия, Церкви-утешительницы. Но будет ли она когда-нибудь, может ли стать — и Церковью-помощницей?

Впрочем, этот вопрос не нами решится. Я хочу только сказать, что в русском народном сердце, как ни чтило оно Преподобного Сергия, жили образы и другой святости. И если именно Сергий есть самый полный выразитель православия — то не шире ли православия сердце русского народа?

Я не могу ставить в упрек Зайцеву, что он, весь под очарованием своей темы, не вышел за ее пределы. Книжка, пожалуй, не была бы так гармонична, так... душевна и благостна. Есть в ней, впрочем, один недостаток, или что-то вроде недостатка, почти стилистического. Увлекшись «простотой, негромкостью» облика Сергия, главным образом простотой, автор, полуневольно, должно быть, но искусственно упрощает свой язык. Однако вместо «прохлады и сдержанности» получается местами сухость изложения и нарочитый примитив.

Это, впрочем, пустяк; и его следует отнести на счет искреннего и тщательного внимания к теме. Работа писателя, в наше время, когда так нужна всем нам благоговейная память о древней Руси, — хорошее дело, и книжка его — добрая книжка.

СОВРЕМЕННОЕ

Нельзя ли поговорить о непримиримости? (к большевизму, конечно). Так часто слышим мы это слово, столько споров около него разгорается, не пора ли взглянуть пристальнее: что мы под ним разумеем, о чем спорим.

Один антибольшевик сказал мне: «Я непримирим, но есть непримиримость, которую я не признаю. И я привык соединять ее с «правыми» настроениями. Это — непримиримость *«лубочная»*.

Такое счастливое определение. Художественный образ, сразу дающий известное понятие о предмете. Да, «лубочных» непримиренцев немало. «Непримиримость» — их главная, часто единственная позиция. В сторону чего-нибудь положительного они глядеть не желают, и даже ни на одно «почему» непримиримы — не отвечают, ни себе, ни другим. Считают излишним. Это, в громадном большинстве, непримиренцы-*чувственники*. Они кожно, почти физиологически, чуют большевизм и отталкиваются от него. Чутье драгоценное, но... чувственная непримиримость имеет свою незащищенную сторону. Такие непримиренцы, действительно, тяготеют вправо (там, по ощущению, непримиримее). И не в том даже дело, что «правые» худы (я этого сейчас не касаюсь), а в том, что чувственники, вверившись одним ощущениям, не видят в пути задержек, легко могут завернуть за самый последний правый угол и попасть... прямо в большевизм.

Ну, а не лубочная, не слепая — «умная» непримиримость? Она твердо знает все свои «почему». Она непоколебима, как непоколебима всякая продуманная теория. Нет ли, однако, и у непримиренца-умника своей незащищенной стороны?

Представим себе человека, отлично знающего, что такое огонь, но лишенного чувства ожога. Как он ни берегись — он не спасется от язв. Пожалуй, и сгорит, не заметит. Непримиренец-умник не имеет предупреждающих задержек при движении *налево*, а ведь там тоже уголь, за которым тот же срыв.

Все это говорю, употребляя обычное, привычное, слово «непримиримость». Но есть факт — я прошу обратить на него внимание, я даже не понимаю, как можно не обращать на него внимания, — который делает все наши рассуждения о «примиримости» с большевиками или «непримиримости» к ним — праздными. Упраздняет даже самое слово, — на практике, во всяком случае.

Факт простой: первые, главные *непримиримые* — сами большевики. Поэтому «примирения» с ними не существует в природе вещей. Реши мы все, завтра, отказаться от непримиримости, примириться, — что выйдет? Ничего, ибо они-то не примирятся. Будем точны: у нас выбор, практически, лишь между *неподчинением* и *подчинением*. С завидной смелостью, отчетливостью говорят большевики: «Или вы наши — или мы против вас. Примирения нет». И, действительно, нет: ведь даже примиренцы-чувственники, чревно влекущиеся к примирению, но не к подчинению (есть и такие) — и они остаются в положении «непримиримых», автоматически.

Интересно заметить еще вот что; подчинение, — а его только и допускает большевистская непримиримость, — подчинение всех оттенков: сознательное, активное, пассивное, шкурное и даже лукавое, — никогда почти не бывает групповым, идет не от коллективов, а вразбивку, по единицам. Не смешивая «подчинения» со «взятием в железо», я осмеливаюсь сказать, что большевики подчинения коллективного и вообще никогда не имели. Сами они, напротив, подчиняться коллективам или «массам», очень могут. Это не парадокс, да и я, без выводов, говорю лишь о том, что мы уже наблюдали. Есть моменты, когда в народе, в массе, в толпе всплывают на поверхность недобрые стихийные силы. Этим моментом воспользовались большевики и *подчинились* (пусть лукаво), чтобы затем, при помощи тех же сил, взять страну «в железо».

Внимательному взору ясно: никогда Россия в целом не была в подчинении у большевиков, никогда не была «за них» или «как они». Была, и остается, у них «в железе» — только. Лишь

распыляя, разделяя, разбивая, вводя яд в отдельные единицы, могли большевики набирать кадры исполнителей и рабов. Количество этих единиц, — понятное в условиях «железа», — только являло *вид* чего-то коллективного, общего массового; никакое количество еще не создает общности. А «большевизация» народа (беру это слово очень широко) — есть абсурд. Сколько бы времени ни оставалась Россия «в железе», как бы успешно ни шел процесс разбивания (*morcellage*) для отравы единиц, сколько бы этих единиц ни оказалось, — я, скорее, допущу, что Россию задушит железо, но она не «подчинится». Не большевизируется.

Растет новое поколение, уже в дикости рожденных. Над ним работа по разврату единиц легче; но это не меняет дела. Даст и новое поколение те же разорванные единицы, немножко больше числом, вот и все. Но останутся из молодых, как остаются из старых, — другие, и эти уже связанные между собой. Останутся небольшевизируемые, неподчиняемые, — «непримиримые».

Это — в России, «в железе». Но здесь происходит то же самое, только еще проще, нагляднее. Непримиримость эмиграции в общем — обеспечена самонепримиримостью большевиков; срывы отдельных лиц в подчинение — не представляют важности. Даже чем быстрее идет отбор — тем лучше.

Если срывается эмигрант случайный, беженец, имеющий малую «личную гордость», — о нем напрасно жалеть. Его не спасешь, все равно сорвется. Но повторяю: опасность срыва существует и для самых честных непримиренцев. Во-первых, для «чувственников», физиологически не могущих подчиниться врагу, но очень могущих попасть к нему в плен, — при слишком крутом завороте за правый угол. А во-вторых, и для «умников»: они отлично все знают, но, не предупреждаемые чутьем, способны, не примерив, «увязить ноготок» при левом крене: а тогда «и всей птичке пропасть».

Гоголевская Агафья Тихонова только выразила вечное стремление жизни к синтезу, к гармонии, когда желала нос од-

ного жениха приставить другому. Но мы не мечтаем о чудесах, мы думаем лишь о разумном и целесообразном и утверждаем: «непримиримые» обоих уклонов, в сближении, могли бы очень помочь друг другу.

Чувственникам – хочется сказать: не вверяйтесь так беспечно кожным ощущениям, не делайте из вашей непримиримости идола, или – хуже, – догмата. Но и умники, достаточно ли они разумны, презирая непримиримость прямолинейную, пусть грубую, аляповатую, «лубочную», – однако чуткую, в крови носящую ужас перед подчинением врагу. Отсюда не видно, я не сомневаюсь, что и в России не мало именно таких, органических, лубочных, – и крепких, – непримиренцев.

Нет, «лубочная» непримиримость может пригодиться; да еще как!

ПЕЧАЛЬНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ

(О новых «романистах»)

Мемуары, дневники, опять воспоминания, опять дневники... и все революционные, военные, а иногда и довоенные, иногда начинающиеся от царствования Александра II, а то и вовсе уходящие в глубь истории, – вот что такое, главным образом, представляет из себя эмигрантская «книга» за последние годы. Это естественно, и это имело свою хорошую сторону. Нужды нет, что за «мемуары» принимался всякий, даже не умеющий держать пера в руке. И он, порою, помнил и переживал многое, и он, как всякий, хочет это высказать. Не выходит, – что ж делать! А бывает, что и у неумеющего «выходит», но при трех условиях: если он правдив, беспретенциозен и целомудрен. Этими тремя свойствами должен обладать всякий мемуарист, но «неумеющий» должен обладать ими в самой высокой степени, особенно же беспретенциозностью. Как пример таких удачных мемуаров – это воспоминания горничной княгини Юрьевской, второй жены Александра II. Горничную, старую

старушенцию, мне пришлось увидеть раз в Петербурге, при большевиках уже, в самом несчастном страдании. Но ни о каких большевиках, да и ни о чем в *своей* жизни она не помышляла писать, а все носилась со старинными, полуграмотными записками, совалась повсюду, с опасностью жизни, — «надо было бы напечатать». Ей удалось, — не знаю, кто помог, — и, право, эти «мемуары» далеко не из последних, и даже, по бесхитростности, приятнее многих.

Но время идет. Мемуарная литература иссякает, а главное — вырождается в «мемуарный роман». Это — печальное вырождение. Революционные и военные ужасы личных переживаний, преподносятся читателю облепленные «художественностью», как пилюля шеколадом. Мемуарная часть остается, исторические — более или менее — лица действуют под собственными именами, но тут же начинают путаться «герои» романа, какая-нибудь прелестная девушка, побеждающая силой духа гнусного чекиста, и необыкновенный молодой человек в сыпном тифу.

Никакой «художественности» не получается, конечно, да и не может получиться, так как это прием, антихудожественный по существу. Но им, кроме того, убивается и ценность мемуаров. Если к повторяющимся описаниям революции мы видим некоторое охлаждение, то не «молодым девушкам», извне пристегнутым, поднять интерес: оне только могут возбудить подозрение в правдивости описаний... Неизвестно ведь, где приходится автору приспособлять правду к своим героям...

Современные романы, мемуарно-революционные или просто революционные, все не художественны еще потому, что все фатально тенденциозны. Можно, конечно, углубить причину: настоящий художник и не возьмет для своего романа, в данную минуту, тему революционную, из присущего ему писательского «целомудрия» не возьмет; те, кто берут, — заведомые не художники, как удивляться беспомощности их стряпни и грубой тенденциозности? Однако тенденциозность эта сама по себе довольно любопытное явление и не всегда зависит от голой неумелости писать романы. В ней, действительно, есть что-то

фатальное, так неизменно присутствует она во всех «беллетристических» произведениях данного типа. В разной, впрочем, мере, и там, где мера невелика – от рассказа нечто остается, хотя бы в виде человеческого документа. Резкая и грубая – тенденция съедает и эту последнюю ценность.

Цвет тенденции зависит от... географии. Красная в России – черная в Европе. О российских литературных тонах следует поговорить особо; сейчас я отмечаю здешнюю окраску: обязательно черную.

Приносят ли вред, и кому, эти черные, пухлые книги, сотнями появляющиеся во всех издательствах (чаще в берлинских)? Подлинной русской литературе они вреда не делают: они к ней отношения не имеют. Немножко стыдно было бы, если б незнающие иностранцы смешали этих авторов с настоящими русскими писателями, но, к счастью, иностранцы всеми русскими книгами равно не интересуются. Книги, о которых говорю, вредны для эмигрантской массы, более или менее серой, а на нее-то они главным образом и рассчитаны. Они потакают готовому дурному вкусу и воспитывают его в тех, в ком еще никакого вкуса не имеется. А черная окраска, вселяя извращенные понятия, отрывает нехитрую читательскую публику эмигрантов от прошлого и будущего России. Красновские романы, например (не говоря о всяких Лаппах-Данилевских и Брешковских) послужили этим нехорошим делам весьма успешно. У персонажей его «горят в глазах угли энергии» (это ли захватывающий художественный образ!) и с угольной энергией они проповедуют такие вещи: «Боже упаси, смена династии. Династия должна быть Романовых», или беззастенчиво подменяют христианство – православием и доходят до утверждения, что православие и Россия – синонимы и кто «неправославный – тот не русский».

Вредят новоявленные «художники» еще тем, что давят, вытесняют чисто мемуарную литературу, способствуют ее вырождению, увлекая на свой «романический» путь даже самых тонких, самых культурных мемуаристов.

Вот «Последний день» — *роман* Сергея Волконского. Мы давно знаем утонченную манеру писаний этого потомка декабристов, давшего нам так много в двух своих книгах «Воспоминаний» (особенно в первой). Как не охранило его эстетическое чутье от попытки написать «роман», да еще по рецепту новейшего «мемуарно-революционного» романа, с выдуманными, ненужными и несуществующими героем и героиней, неловко пристегнутыми к действительным событиям и к персонажам действительности под собственными именами? Как эстетические навыки С. Волконского позволили ему спуститься до книги столь определенно безвкусной? Чисто мемуарные места, бабушка, ее воспоминания о старине, остаются отдельными красочными пятнами, и только досадно, когда автор, вдруг вспомнив, что он пишет «роман», неловкими усилиями пробует связать живое воспоминание со своими мертвыми «героями». Ни в «прелестную Нину», ни в «умного Андрея» нет возможности уверовать; да, кажется, не особенно верит в них и сам автор. По крайней мере, он с удовольствием оставляет их при удобном случае, а когда спохватывается и хочет вызвать «из тьмы небытия» — они начинают у него разговаривать, разговаривать, на многих страницах, и никак не могут кончить. Разговоры эти могли бы быть милым «badinage» *; но, увы, нет даже этого. Волконский позволяет себе такой «художественный» стиль: «...Он помолчал, как молчит пистолет после осечки». И далее, через несколько страниц того же, совершенно пустого, разговора: «Теперь *она* (курс. подлинника) помолчала, — как пистолет перед тем, как выстрелить — пока целится». Достаточно этих двух цитат, чтобы понять всю «беллетристическую» беспомощность автора.

Я не сравниваю Волконского ни с Хвостовыми, ни с Красновыми, ни с Ренниковыми. Он все-таки Волконский, и никогда не будет ими. Но он свернул на их дорожку (и как жаль, что он это сделал!). У него то же задание (художественное), та же тема

* шутки (*фр.*).

(революция). И неудивительно, что «Последний день» имеет общие черты, общие с романами вышеназванных писателей недостатки. Как первый опыт, он смешан еще не ловко и более тяготеет к мемуарности; это спасает его от слишком сильной дозы тенденциозного яда. Но другое несчастие романиста, подходящего «с искусством» к роковой теме — налицо. Автор заставляет «прелестную Нину» переживать ужасы большевистской революции. И описание этих «ужасов», — где, кстати, нет ни одного слова нового, лишь тягучие повторения давно всем известного, давно всем измозолившего душу, — не просто скучно, не просто нехудожественно: оно антихудожественно. Это уже — размазывание ужасов, нечто оскорбительное по нецеломудрию. Искусство мстит за каждую попытку превратить его в средство или притянуть насильно к еще не остывшему костру жизни. Генералы-романисты этого не знают: не удивляюсь. Но как мог забыть это Волконский, всегда стоявший к искусству в такой тесной близости?

Минутное забвение, конечно. Он вернется «домой», к себе, в себя. Невозможно, чтобы С. Волконский, после первого шага на опасном пути, не понял, как этот путь ему чужд.

ЧРЕВО

Да, это верно, первые «непримиримые» — большевики, и уже потому *примирение* с ними невозможно. Им подчинялись — или не подчинялись; но никто еще не «мирился»: не дано.

Посмотрите: чего достигли органические, чревные примиренцы? Годами тянутся хоть к самому плохонькому примирению, хоть чтоб очень зазорного, явного вида подчинения оно не имело... Но не помогают хождения ни «задком, ни передком перед паном Хведорком». И бедняги остаются, волей-неволей, в равном с настоящими антибольшевиками положении.

Я этих чревных примиренцев часто жалею. Чрево — не шутка, с чревом не всякий поспорит. Одно только: зачем облекать чрево незаконными и непристойными одеждами? Самая модная — «любовь к России». Все это у нас, мол, от нашей любви к России. А у вас что? Вы смеете тамошних поэтов критиковать? Вы не хотите, чтоб «здешняя молодежь шла нога в ногу с тамошней»? Не видите «пробивающихся ростков» и не надеетесь на Троцкого? Не хотите «работать по благоустройству родины *несмотря* и *вопреки* невозможностям»? Кончено; вы записаны в «подозрительные»: во-первых — по нелюбви к России, а во-вторых, кстати, и по чревосотенству.

Так абсурд мирно громоздится на абсурд. Удивительнее всего, что никто не замечает *неприличия* этих допросов о любви или нелюбви к России, хвастанья собственной любовью. Ведь не лезут же шумно в супружеские спальни? А в место, по нашим временам, еще более сокровенное, в чувство к России, — сколько угодно: нет, не любите! Не так любите! Россию надо любить, как я! Как мы!

Но повторяю: это лишь одна из неприличных одежд на бесплодном соглашательском чреве.

Вот, наудачу, два примера «чревных» примиренцев: Кускова и, менее ее известный, — Осоргин.

Если мы взглянем на метанья и «зарапортовыванья» Кусковой с верной точки зренья, т. е. как на судороги организма с неудовлетворенной потребностью, мы невольно будем снисходительнее. Разбирать ее метанья, конечно, не станем. Как это «разбирать» ее последнюю, хотя бы статью? С самого, оказывается, начала следовало *не бороться* с большевиками, в этом вся ошибка. (Саботаж интеллигенции — не в счет, долго ли он продолжался, да и сама Кускова саботировала.) Но за «белое движение» ни в каком случае нельзя было приниматься, уж потому, что оно — движение, а кроме того, «белого» движения не бывает, только «черное». А за что приниматься? И мудрец, и глупец одинаково поймут: надо было сразу огулом идти к «примирению». Да ведь бесполезно, ведь и сама Кускова его не

обрела. К подчинению, значит? Но и сама Кускова на него доселе не решается. Пожалуй, теперь поздно: кусковская и повинная голова большевиками не примется, как в 21 году не принята была полуповинная.

Другой пример чревного влечения к примиренчеству — Осоргин. Еще нагляднее. Но, если в кусковском органическом устремлении чувствуется что-то нормальное (так ее Бог устроил) — Осоргин явление больное. Такая безответственность и такая степень бессознания уже переходят человеческую норму. Он показателен, но слишком показателен, как хороший препарат; если же вспомнить, что это человек — первое чувство жалость. Ну, конечно, потом и досада, когда видишь, что он пишет, как здоровый (и даже с некоторым словесным талантом) и что его, пожалуй, кто-нибудь за здорового принимает.

Подобно Кусковой — Осоргин автоматически находится среди «непримиримых» (раз нет «примирения» в природе вещей). Но он отмеченный чревный примиренец. У него «необыкновенная легкость в мыслях», и все легкие мысли порхают вокруг примиренства.

Чрево затянуто вуалью «любви к России» — уж как водится! — но «любовь» эта какая-то не наступательная, тоже легкая. Кускова, с позволения сказать, «прет» к большевицкой России, или Кускову прет туда. Осоргин танцует в эту сторону на цыпочках, его туда «несет». Кускова мечется в погоне хоть за видимостью логики и смысла; Осоргин рассеянно незаботлив, не надрывается: несет и пусть несет.

Возьмем последнее его произведение в «Днях» (этом берлинском приюте для чревно тоскующих о невозможном примиренстве). Осоргин рассуждает об эмигрантских детях, о той «младшей» молодежи, которая никакой реальной, биографической связи с Россией, *своего* русского прошлого, не имеет, начала жизнь прямо с катастрофы. Что делать, чтобы эта молодежь не «денационализировалась?» И не начался ли уже этот процесс?

Осоргина «доносит» вот до чего: все руководители такой молодежи сами уже «денационализированы». Их «тугому, привычно-раздраженному мышлению недоступна высоконациональная задача: эти родиноведы» — осмеливаются еще рассказывать о прошлом России, о ее истории, чуть не о Новикове и Кантемире! Нет, говорит Осоргин, «не ушедшая в прошлое Россия, не гадаемая на гуще будущая, — а сегодняшняя, подлинная, с гнилью и порослями, вот какой образ нужно принять, понять и дать молодежи. Его она почувствует и полюбит...», а если забудет Россию «дореволюционную», всю, со всеми Кантемирами — «не беда» (т. е. тем лучше). Необходима «неразрывная связь *с сегодняшней,* а не с “исторической Россией”».

Да уж, подлинно, «донесло» человека! Нужны ли еще другие цитаты? Все одинаково обнажены, для нас предупредительны: вот какое помрачение ждет рабов своего примиренческого чрева.

Осоргин безнадежен, да и Кускова, несмотря на сравнительную крепость конструкции. Не для них, а для тех, кто еще не запустил себя, я скажу, в каком направлении сама «младшая» молодежь ищет связи с Россией.

Вопрос, действительно, немаловажный. Ведь никакого *собственного* русского прошлого! Биография начинается с катастрофы. Остается кровь... но кровь слепа и глуха.

В наивном, путанном, но характерном письме одного из представителей этой молодежи (лично я его не знаю) мне почудился намек на некоторый ответ.

В начале письма — о «сверстниках» и о том, что «мы все за Россию, конечно, и против большевиков. Их свержение — для нас первое». «Мы очень практичны. Мы думаем о реальной жизни, быть доктором, особенно инженером, строить заново Россию...» и т. д. Затем начинаются рассуждения, и с виду несколько странные: о «русском сознании», со ссылками на всевозможных наших писателей, мыслителей и деятелей, — но так, как будто все они действующие и живые в живой России. И сюда же вплетаются, с неожиданной естественностью, личные

воспоминания о катастрофе. С удивлением понимаю, наконец, что для *«них»* Достоевский, Михайловский и Милюков — в одной перспективе и что это ничего, что, может быть, сию минуту им так и надо. Вот Некрасов... А вот: «...между Толстым и Достоевским идет (заметьте: идет!) страшная и страстная борьба за жизнь». «Я верил в страдание. Я видел его величие, я жил с теми людьми 1917—1921 гг. (до своей эмиграции, а было ему тогда 12 лет) — но вся ли правда в покорном страдании? В нем ли полнота жизни?» «Мы хотим тихого пламени огненной России, не чеховской "Скучной истории"...». И опять Достоевский и Некрасов, Мережковский и Толстой, и дальше вглубь, чуть не до Чаадаева и Новикова... перед которым так робко мигает ресницами Осоргин. «Борьба в русском сознании — наша собственная борьба и мука. Надо *раскрыть жизнь.* И раскрывается она в нашу пору...».

Отбросим детскую хаотичность, отвлеченные путаницы. Вот главное: в этом документе — пусть еще бессознательная — но реальная связь с Россией в цельности, связь со всей ее судьбой, со всей ее... биографией, если можно так выразиться. Прошлое волнует, как настоящее; под внешним смешением времен таится неосознанная правда о неразрывности прошлого, настоящего и будущего, о их последовательной зависимости.

Сегодняшняя юность спасается проникновением в Россию цельную, участием в вечной ее внутренней борьбе. «Кто прав? В чем прав? Борьба в русском сознании моя мука. Все мои чувства и мысли в этой борьбе...» И не думаю, чтобы в свое время такая «борьба» отвлекла молодежь от борьбы самой реальной. Напротив: ведь «мы все очень практичны...».

Но Осоргин опять боится. Что вы, куда вы? Захлопнулась дверь, за ней только ненужное, дореволюционное, старое. За ней Достоевские, Чаадаевы, Новиковы... Вы поймите и полюбите сегодняшних, Пильняк и Пастернак тоже борются. Надо в ногу, не отстать бы. Вот где «высокая национальная задача».

Осоргину бы отдохнуть. Ей-Богу, внуки справятся и без него. Я боюсь, что и без Кусковой, бабушка старого кооперати-

ва (это делает ей честь), тетушка русской «социалистической» революции (гораздо меньше чести) — я боюсь, что и она устала, несмотря на крепость своей конструкции. Хорошо отдохнуть и ей.

ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ

1

На моем столе 36 книжек стихов. И все они — стихи последних лет. Русская пореволюционная поэзия. И не эмигрантская. Лишь 4—5 здешних поэтов, из самых юных, остальные — или вполне «эсесерцы», старые и молодые, или «переходники»: книги их помечены «Берлин — Москва», а сами они — одной ногой здесь, другой там, пока не утвердятся обеими — там.

Новых книг новых поэтов не сорок, конечно, а сорок сороков, но с меня довольно и этих. Чтобы проследить общую линию современной русской поэзии, мне даже из этих не надо брать непременно всех (что и невозможно): мне нужны самые характерные.

А все-таки будем терпеливы, попробуем разобраться не спеша.

Вот поэты «старые», безвыездно находящиеся в России. Мандельштам, Кузмин... ценности в прошлом известные. Мандельштам, и раньше тяжеловатый — в последних книгах отяжелел непомерно, стал особенно условным, далеким. Рим, Геликон, Перикл, опять Геликон... Мимолетное напоминание вдруг, что поэт — «в черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты...». Не очень мягок, должно быть, этот бархат, потому что прорываются такие строчки:

Я от жизни смертельно устал,
Ничего из нее не приемлю...

Нежный Кузмин — с привычными Симонетами, трубочистами, пастушками. Хотя и привычные — но именно в Кузмине, в

звуке его голоса, особенно ясна придушенность. Даже не знай мы, что есть у него другие песни — мы бы поняли, в каком он узле:

Связал меня узел,
Напало бессилье...

Но и это говорит не сам Кузмин, нет, Гермес...

Как страшна *сегодняшняя* стилизация некоторых поэтов. Гермесы и Саламины, Эпиры и Багдады, — как часто они лишь последнее изгнание родного слова из родной земли! Нет, не о всех русских поэтах имеем мы право судить по их последним книгам. Кузмин, Сологуб, Мандельштам и еще другие, — могла ли новая Россия никак не отразиться в их новых стихах? Я утверждаю, что не могла. Я утверждаю, что без физической удушенности их сегодняшние книги были бы не этими, а другими. Лишь телом остаются такие поэты в стране, чье имя зачеркнуто. Сердце их, — слово живое, — оттуда изгнано.

Вспоминаю молодого Георгия Маслова (его книжка тоже передо мною). По каким Багдадам странствовала бы теперь его муза, не погибни в Сибири этот чистый стихотворец, нежный любовник родины, ее истории, ее речи? Может быть, и хорошо, что он погиб.

Я, впрочем, не отрицаю, что есть поэты, которые очень натурально занимаются и стилизацией, и красотами всяких дальних стран, не посягая на большее. О таких — в России — я еще буду говорить; но их много и здесь, особенно среди «переходников». Они разны по возрасту, по искренности и по степени близости к окончательному переходу в советскую Россию. Одни, действительно, ничего сказать не имеют кроме —

Цепь орхидей. Ротанговый узор.
Кричит павлин. Блеснули Гималаи...

Другие без особенного усилия, сами отказываются от всего, что не Гималаи и даже, если еще и не едут сами в СССР-ию, заранее считаются с ее «законами». Чтобы книжка их проникла туда,

они добровольно блуждают по чужим векам, морям (любовные экскурсии также в ходу) и печатают свои книги здесь — по тамошней уродливой орфографии.

Поэты данного типа равно могут быть и талантливыми, и бездарными. Они не боятся, стремясь в Россию, участи Кузмина, «ослабевшего в узле». Для своего поэтического багажа им довольно той «свободы», которую они надеются встретить на родине. С другой же стороны — там легче следить за новшествами «новой» русской поэзии и не отставать.

Отстать — очень боится, например, Николай Оцуп (он был переходный, ни в тех — ни в сех, не знаю, в каких теперь). Природные свойства его стиха — известная простота, прямые линии; он их изломал, но, к удивлению, из нового приобрел только пошлость. Старается «видеть себя во сне медведем», уверяет, что ему после этого «стало трудно ходить», и тут же возвращается к завитку волос

За коралловым ухом,
Где кожа так душно пахнет,
Как дорожки Летнего сада,
Червонной вербеной листьев,
В холодеющем ветре поэм
Осенних поэм,
Елена!

Действительно, если медведи и холодеющие ветры вербен все, что он имеет сказать, — какой смысл петь их в Берлине? Никто и в Москве на это «слово» не посягнет.

От Оцупа — довольно грамотного и не без способностей, — через «голубые пурпуры» примитивного Фастовича (не цитирую, жалея места) до нечленораздельных сонетов графомана Дукельского — все это одна линия. Дукельский, конечно, недоразумение; читать его взбухшую книгу не будут и там, куда он ее направляет (недаром позаботился, чтобы орфография была законная). Но писать по сонету в день, как пишет здесь, Дукельский может и там вполне невозбранно.

Есть еще группа совсем молодых и не переходных, а совсем здешних поэтов. Несмотря на невыразимо тяжкие условия физического труда, в которых они живут, они все-таки ухитряются пробовать свой голос. Живую душу сохранили, и у некоторых есть строки прелестной свежести, а подчас и новой глубины. Но голоса еще неуверенные, жизнь страшна и тяжела, — как сказать, что выйдет из каждого? В стороне — книжка Вл. Сирина: он старше, много печатался, дарование малояркое. Действительно, его

> замирающий напев
> Слабый, ласковый, ненужный,

хотя и не оскорбительный. Отдельно я ставлю также молодого Шаховского. Его одного, к несчастию, отметила эмигрантская критика. К несчастью для него самого, главным образом: нет ничего ядовитее незаслуженных похвал, они могут отравить даже серьезное дарование; о начинающем маленьком поэте с первой брошюркой в 3—4 листка — я уж и не говорю. Шаховского постигла глупая случайность, ввиду которой я и останавливаюсь на этом поэте. Его стихи неумело построены, претенциозны и — атавистичны. Именно атавистичны: они возвращают нас к декадентству начала 90-х годов (при охоте, не трудно было бы это доказать) и даже к декадентству третьесортному, не очень грамотному.

Насколько живее, новее Диксон, Холчев, даже Перцов, особенно Диксон. Из него мне очень хочется привести несколько цитат, и если я удерживаюсь, то лишь помня, что и это мое отступление в сторону юных эмигрантских поэтов — незаконно. Не они, а русская поэзия последних годов, ее общая линия и ее сегодняшний день в России — моя главная тема.

2

Для исследования современной поэзии никакие «ослабевшие» Кузмины, ни старые, ни даже молодые, если таковые имеются, — не годны. Дело не в слабости, а в петле, в узле, ко-

торый стягивает им горло; для суда же над поэзией того или другого времени, для настоящей ее оценки, нужно брать поэтов *полногласных*, т. е. таких, которые говорят все, что имеют сказать, все, что хотят сказать.

Только они и «делают» современную поэзию в России.

Поэты свободного слова в России? Там, где сейчас нет свободы ничьей и ни в чем? Или есть она для поэтического слова? Но тогда откуда кузминские узлы?

Нет, конечно: где уничтожена свобода слова — там она уничтожена и для поэтического. Но уничтожители — оставляют, однако, свободу для себя, для собственных слов и для всех, с ними внутренно совпадающих. Стоит быть в совпадающей линии — и вы можете высказывать себя до конца, не опасаясь кузминских узлов: вы — полногласны.

Стоит быть в линии... Примыкать к ней можно весьма разнообразно: сознательно или бессознательно, активно или пассивно, искренно или из расчета; но каждый, кто сейчас, в России, имеет для себя полную свободу слова — находится на стороне преследователей этой свободы, имеет связь, или, по-современному, «смычку», именно с ними, — все равно какого рода, в какой степени.

И говоря о русской поэзии последних годов — мы об этом забывать не должны.

Поэты с кругозором более узким, с темами короткими, не дохватывающими до жизни, — довольно пассивный элемент в «смычке». Многие «недохватывают» нарочно: стараются замкнуть себя в круг самого голого искусства. Они твердят все то же, с небольшими вариациями: искусство довлеет себе, ничто к нему отношения не имеет, и оно ни к чему. Поэзия — есть форма. Содержание — есть формы и т. д. Поэт Мариенгоф из группы недавних «имажинистов», стихотворец неприятный, бессильный, но человек не глупый, прибавляет еще: «Искусство *убивает* жизнь, а потому жизнь боится искусства». (О. Уайльд говорил, что «искусство рождает жизнь», но как ни скажи — суть дела одна.)

Мариенгофу свободно, просторно и в коробке «искусства», когда захочется — можно слетать «в атаку на жизнь с мертвым воинством (жизнь боится мертвого воинства искусства)», слетать — и назад вернуться. Но если этого покойницкого генерала поставить в ряд хотя бы с Есениным — разница бросится в глаза. Из Есенина безобидного «искусника», эстета в коробочке не сделаешь. Стилизациями не ограничишь, да и не знает он их, ему, вот, угодно «петь» и о деревне, и о России, обо всем, чего его нога потребует. Петь полным голосом, конечно, а для этого нужна «смычка» более активная, более заметная, чем мариенгофская. Есенинская смычка и есть факт, не подлежащий оспариванью; совершилась она когда-то давно, почти сама собою, может быть, полусознательно, просто как необходимость.

Из цепи сегодняшних «свободных» поэтов, делателей русской поэзии, Есенина не выкинешь: он колечко заметное. Он только сидеть безвыходно в эстетской коробочке не может, но он, конечно, «эстет» и Мариенгофу первый друг. Все потуги новшества, всю ломку, все «дерзания» последней поэзии он приемлет и даже, благодаря своей природе, доводит до гиперболических размеров. У Есенина чисто русская, — распутинская, — безмерность: куда бы ноги ни поставил — катит его как с горы. От свободы, не знающей препон (обеспеченной «смычкой»), он обалдевает. Если «новое» в поэзии — «сказать погаже», у Есенина тотчас за поясом все, вплоть до Маяковского. Если кощунство — так уж никакому комсомольцу не выдумать. А главное — ломка, ломка, пафос разрушенья, который пьянит лучше вина.

Есенин, вне своей поэзии, сам есть некий художественный образ. Его безудержность, его талантливость, ребяческая лживость и бессознательная правдивость, его способность опьяняться «свободой», чтобы «полететь вверх пятами» и потом в медленном похмелье приходить в себя, — разве все это не черты самого русского народа?

Но не буду останавливаться на этом. Я говорю о поэзии, и Есенина беру лишь как одного из работников, потрудившихся над ней в полной свободе.

Мы подходим теперь к сегодняшнему дню русской поэзии, к облику, который она, конечно, приняла в результате свободной работы поэтов, никакими узлами не стянутых. Пора, однако, отметить, что свобода, которой пользовались поэты, хотя и полная, была не совсем обыкновенная свобода. Не совсем то, что мы привыкли под свободой понимать. Фактически обусловленная «смычкой» с теми, кто вьет узлы для инакомыслящих, она отчасти напоминала свободу паровоза, полным ходом мчащегося вперед... но по *рельсам.*

Принципы того стана, с которым была связана поэзия, не могли, пусть медленно, но не проникать в нее. И главный принцип, — *разрушенья*, — производимый то подземно, то надземно, но неуклонно, коснулся, наконец, самого сердца поэзии, даже самого сердца русской земли, — русского языка.

«Такой язык может быть дан только великому народу...», мы в это верили и продолжаем верить, несмотря ни на что. Но признаюсь: ничто не могло заставить так содрогнуться, как первые пятна на любимой плоти русского языка. Не хочу думать, не думаю, что это пятна проказы. Но если?.. Пусть судят другие, я покажу только то, что вижу.

Процесс шел (в общей линии) так: футуристы — ломка звука; маяковщина — ломка ритма; имажинисты и другие «исты» — дробление искусства, изгнание из него жизни, из поэзии — музыки; наконец, с помощью безмерных Есениных, — ломка фразы и самого слова. Это работа отходящих. Имажинистов уж нет, Есенин, в похмелье, еще бормочет насчет «октября», но уж без прежнего «вздыба». «Кудри повылезли», и он патетически восклицает: живите, пойте, юные!

Юные, — или последние, — не поют (при чем пенье?), но печатают свои стихи. Что же это за стихи?

Они спокойны. Ни смеяться над ними, как над футуристическими, ни возмущаться ими — нельзя. В них закончена лом-

ка всего, что составляло стихи: звука, ритма, фразы и слова. Аккуратно изгнаны: музыка, краски, жизнь. (О мысли и смысле я не говорю: Бог с ними.) Слова — в ряду, крайне шатком, неустойчивом, стучат, как костяшки. Разбиты все внутренние законы языка, да и внешние, кстати, потому что «новая», обязательная, орфография — есть уродливая ломка русской грамоты, искажение *вида* языка. Стихи, которые я буду цитировать, она, впрочем, дополняет, и жаль, что приходится лишить их этого штриха.

Каждая строфа, даже строка, довлея себе, нисколько не меняется, если ее взять отдельно. Однако, для убедительности, я начну с целого стихотворения. Прошу верить, что беру его наудачу, где книга раскрылась.

Любимая, безотлагательно
Не дав заре с пути рассеяться
Ответь чем свет с его Подателем
О ходе твоего процесса.
И если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а — лень ей,
— Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.
Дождь верно первым выйдет из лесу
И выспросит, где тор где топко,
Другой ему вдогонку вызвался
И это под его диктовку.
Наверно бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук.
Моя ж рука давно отсутствует
Под ней жилой кирпичный призрак.
Я не бывал на тех урочищах
Она же ведет себя как прадед.
И знаменьем сложась с пророчащим
Тот дом по голой кровле гладит.

И все. Вот начало другого стихотворенья:

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши.
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.

Конец еще одного:

Ничтожность возрастов клевещет.
О, юные, — а нас?
О, левые, — а нас левейших,
Румянясь и юнясь?
Дункан седых догадок — помощь!

Или:

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О десять пальцев муки, с бороздой.
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов.

Чтобы еще раз показать самодовленье строк и строф, их несвязанность, — вот предыдущая:

Сейчас там ночь — за душный твой затылок
И спать легли, — под царства плеч твоих
— И тушат свет, — я б утром возвратил их,
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.
. . . .
Сквозь столько верст прорытого прости.

Я очень прошу не обращать вниманья на разрушенный смысл; главное — разрушенье самого языка:

...Он весь в былом,
Как визьонера дивинация...

У старых футуристов отсутствие смысла было еще нарочитым «дерзанием», вызовом; здесь — это естественный результат разрыва слова с его значением и слова со словом. Берется,

уже немеющей рукой, первое слово, в первом виде и ставится на первое свободное место.

О, юные, а *нас*?
Румянясь и юнясь?

«Нас» – не вызвано ничем, разве тенью рифмы «юнясь», а то было бы «мы», или «вы», или стеариновая свечка. Так же не вызвано ничем и «его» в этом начальном четверостишии:

Все в шкафу раскинь
И все теплое
Собери, – в куски
Рвут вопли *его.*

Рвут ли вопли теплое, или вопли теплого кого-то рвут – мы никогда не узнаем. Но что русские поэты рвут «в куски» русский язык – это мы видим воочию. И продолжают разрушенье, уже по инерции, автоматически, как продолжают разрушенье России те, с которыми «свободные» поэты находятся в «смычке». Явной или тайной, преступной или невинной – это дела не меняет. Я даже думаю, что большинство новейших поэтов к этой смычке относятся «невинно», совсем внесознательно, не в пример, хотя бы, старому Эренбургу, когда-то не без способностей – ныне разлагающемуся. Он понимает, с кем смыкается: «И все же, зная кипь и накипь, и всю беспомощность мою, – шершавым языком собаки подписку верности даю...»

Что выиграет для себя Эренбург или даже «невинные» поэты – менее важно, чем то, что начинаем проигрывать мы, русские, благодаря роковой «смычке» и «подпискам верности». Во-первых – мы, кажется, проиграли нашу *поэзию*, ибо под заголовком: «Поэзия» нам дается следующее: «Отростки ливня грязнут в гроздьях. И долго, до зари, Кропают с кровель свой акростих. Поэзия, когда под краном Пустой как цинк ведра трюизм, То и тогда струя сохранна, Тетрадь подставлена – струись!».

А во-вторых — и это последнее самое страшное — мы, кажется, начинаем проигрывать *русский язык*...

Но все-таки верить в это нельзя, хотя нельзя и глаз закрывать на грозные предупредительные знаки. Да, поэты-разрушители с «трюизмом пустого цинка» — современность. Но у нас есть и другая современность. Пускай большой, настоящий, *новый*, современный поэт, — Владислав Ходасевич, — ответит на «фортковую жуть безгнездных», на улицу, которая «в складки ложится», на все это несчастие России. Россия! Поэт имеет

мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
В том честном подвиге, в том счастье песнопенья,
Которому служу я каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.
И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Наши дни — не последние, если есть еще творцы истинной поэзии, ревниво любящие наш язык. Кучка «слабых сынов» родины, пытаясь растлить ее «чудотворный гений», тлеет сама. И пусть даже тление это неостановимо, пусть суждено поэтам-разрушителям дотлеть: разве они — Россия, живая ее жизнь? Нет, нет; каждый из нас, обращая внимательный взор на Россию, может сказать словами поэта:

...сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия...

«ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ»

Это – краткая сводка, конспект современных разговоров, ставших «почти банальными». Но, может быть, как раз своей повторяемостью (почти без вариаций, лишь с новыми деталями), упорным возвращеньем к столь «общеизвестному», разговоры эти и примечательны.

Скажу, кстати, что мысли «Оптимиста» мне приходилось слышать не только от дилетантов, но и от представителей эмиграции довольно известных, даже партийных.

Пессимист. – ...Итак, вы считаете, что будущий историк найдет между революцией русской и французской более несходств, нежели сходств?

Оптимист. – Это вопрос спорный. Но вот нечто бесспорное: наша эмиграция – совсем *не то*, чем была французская.

П. – Если по количеству...

О. – Не в количестве дело. «Не то» – по самому составу. Французская, все-таки, в громадном большинстве была *ancien régime**, – по убеждению, положению, рождению – безразлично. О всесословном бегстве или выгоне французов из Франции говорить трудно. А если мы нашу эмигрантскую смесь попробуем делить не по формальным сословиям, а по *слоям*, – что для России более характерно, – небывалая особенность ее выступит еще ярче.

П. – *Ancien régime* нельзя, однако, выкинуть.

О. – Не только нельзя, но он даже стоит особого разговора. Тоже своеобразен. Это и бессильные, и ядовитые остатки, обломки Двора, главное – бюрократии. Но о них когда-нибудь отдельно, после. Теперь я хочу нарисовать общий образ нашей эмиграции. Во-первых, значит – *ancien régime*. Во-вторых – громадная масса интеллигенции (этого слоя, в специфически

* старый строй (*фр.*).

русском понятии, Франция и вовсе не имела). Наконец, в-третьих — эмиграция обывательская.

П. — Деление довольно упрощенное. И что вы называете «обывательством»?

О. — Не «обывательщину», во всяком случае. Я беру понятие обывательства с двух сторон. Внешне — это известная прослойка, толща, без которой не мыслится ни одна страна. Внутренно же обыватель есть промежуточное между интеллигенцией и народом. В некотором смысле обыватель — потенциальный интеллигент.

П. — Если держаться ваших широких скобок, то, пожалуй, вы правы: этот элемент в эмиграции налицо.

О. — Прибавьте сюда всю массу повоенной молодежи. Она, в общем, несомненно «обывательская», т. е. текучая, безвидная, — с потенцией принять тот или другой вид.

П. — Но не случайность ли эта, как вы ее называете, «обывательская» эмиграция? Что ее толкнуло сюда? Стечение обстоятельств, разор русской жизни... Обыватель — эмигрант не осмысленный...

О. — Да, именно не осмысленный. А все же, в большинстве случаев, настоящий эмигрант. Он внеполитичен; ему бы теперь, после семи лет здешних бедствий (а для среднего обывателя и для молодежи они неописуемы) всеми правдами и неправдами, скопом, тянуться домой... Однако этого не происходит. Не голый, видно, разор, и не голая «политика», — теперешняя Россия. Обывательство инстинктом чувствует то, что интеллигенция более или менее *знает*. И не находите ли вы, что у этой последней, у серединного слоя эмиграции, есть по отношению к «обывательству» свои прямые обязанности?

П. — Я нахожу, прежде всего, что вы слишком обобщаете ваш «серединный слой».

О. — Интеллигенцию? Нет, русская интеллигенция очень может быть взята как некое целое. Недаром ее называли то русской «совестью», то «разумом», а иные даже видели в ней особый «орден». У нее общие качества и недостатки, общие за-

дачи и, конечно, есть общие обязанности. Насущные, по времени и месту, дела. У интеллигенции нашей за границей такое обязательное дело имеется — в отношении эмиграции обывательской.

П. — Но позвольте, если так — мне кажется, что в общей борьбе за Россию интеллигенция исполняет, по возможности, и эту свою обязанность. Когда здесь она борется с *ancien régime* нашим, этими ядовитыми «большевиками наизнанку», за кого же она борется? Разве не за эмиграцию «не осмысленную», не за молодежь? Можно как угодно оценивать результаты этой борьбы, но отрицать ее нельзя.

О. — Я и не отрицаю. Замечу только, что для успешных результатов нужно, чтобы интеллигенция выполнила некую обязанность и по отношению самой себя.

П. — Ах, вы опять насчет внутренних несогласий и розни? Нужно, мол, «сплотиться»...

О. — Нисколько. Я уж говорил вам, что известная «сплоченность», или связанность, всегда присутствует. Интеллигенции надо *реализоваться*.

П. — Как это — реализоваться?

О. — У русского интеллигента не было чувства действительности, и считаться с данным он не умел. Причин тому сколько угодно: хотя бы привычка жить общественными мечтами, а не общественной жизнью. Полное отсутствие *школы*. Недаром один умный англичанин писал (задолго до войны), что у русских даже понятие «свободы» — не реальное. Они не понимают, удивлялся он, что свобода предполагает свободное самоограничение, и кто сам себя ограничивать не умеет, тот и не будет свободен. Это верно; секрет общественности — в самоограничении. Русская интеллигенция не знала реализма общественности.

П. — А партии? Уж там ограничений было довольно...

О. — Теперь принято бранить партийность. Я, напротив, приветствую ее и приветствовал бы наши партии, если бы... они были, действительно, партиями. Но и они страдали тем же не-

достатком: отсутствием реализма. При большой узости — настоящей дисциплины они не имели. Увы, наша ареалистичная интеллигенция фатально придавала своим партиям — *церковный* характер, менее всего пригодный для жизни партии. Основа партии — общее утверждение ценностей, хотя и высоких, но относительных, а не абсолютных. Когда же относительное бессознательно подменяется абсолютным, это извращает принцип партийности, и партии делаются не партиями, а *сектами*. Отсюда их сдавленность, догматизм, отсюда бесконечное дробление и взаимная нетерпимость. Отсюда, наконец, и теперешняя позиция многих партийцев: жизнь разбила партии, просто расшибла, как формы, данному часу несоответствующие; фактически прежних партий нет; но партийцы ни с фактом, ни с жизнью не считаются, верят «в невидимое как бы в видимое», и каждый втайне думает, что уж его-то партию «и врата адовы не одолеют».

П. — Что ж, не у всех вера обманута. Есть партия, которую вот до сих пор никакие «врата» одолеть не могут.

О. — Какая? Уж не с.-д. — большевиков ли? Коммунистическая? Да кто же не видит, что ее, *как партии*, давным-давно нет? Самая утопическая и сектантская — она первая погибла в катастрофе, которую сама вызвала. Погибла своеобразно, не спорю, но погибла вдвойне: и как *партия*, и как партия *интеллигентская.*

П. — Допустим... Но, знаете, вывод из всего этого получается печальный...

О. — О, вовсе нет! Вы забываете первое положение: русская интеллигенция есть непререкаемая, бесспорная ценность. Она была нужна России, нужна ей теперь и нужна в будущем. Ей не доставало школы; но посмотрите, какие суровые уроки она уже получила. Внутренние раздоры, рознь... не будем их преувеличивать. Я утверждаю, что интеллигенция — на пути к самособиранью, к самоопределению, к некоторой организованности.

П. — Какому самоопределению? Политическому?

О. — Если угодно, и политическому тоже. Ведь понятие «политичности» очень широко в наше время. Даже обыватель аполитичен только умом; сердцем же политичен каждый. А увидите интеллигента, который жмется к стенке, вертится, «политикой, мол, не занимаюсь, моя хата с краю», — знайте: это он либо уж наметил себе какую-нибудь «крайнюю» хату, левую или правую, либо, если не наметил, все равно в которой-нибудь автоматически окажется; и это без различия, будь он раз — художник... Такое время.

П. — Уж не представляете ли вы себе какую-нибудь единую интеллигентскую «партию»?

О. — А вы не хотите ли поймать меня на таких мечтах? Нет, я говорю лишь об определенных возможностях. Просто о неизбежной *реформации*, которая в интеллигенции почти назрела. Что касается «политики», то я предполагаю, что эта сторона будет иметь одну и ту же окраску: *центра*. Фигурально говоря — интеллигенция все с большей силой чувствует, что сердце ее лежит теперь именно в центре, что жизнь и свобода России находятся *между* двумя смертями, двумя лжами: крайней «правостью» и крайней «левостью».

П. — Объединенный центр?

О. — Да, и я предвижу — заметьте, только скромно предвижу! — образование даже не одного, а *двух* центров. Вопреки математике, но зато в соответствии с требованиями жизни. Только *два центра*, если они будут расти органически, изнутри, способны, потенциально, захватить и обывательство, медленно его в себя вбирая. Лозунг же центральности сам по себе есть наилучшее ограждение с концов левого и правого. Он кажется слишком широким, но, при надлежащей и умелой формулировке, он делается тем главным, к чему детали уже прилагаются сами. Вряд ли центр более правый будет состоять из одних умеренных монархистов; я даже допускаю в нем социалиста, — известной складки. Но и в левом центре возможен кто-либо, предпочитающий английский строй — республике Платона

что ли. Зато, наверно, очень многие не войдут *ни в какое* центральное объединение: этим и они определятся.

П. — И вы думаете, что ваши центры не начнут борьбу друг с другом?

О. — Спор, может быть... Но для борьбы — перед ними будут одни и те же враги. Я скорее предполагаю возможность, при случае, блока между ними... Говоря совсем откровенно — я иногда думаю, что такие «центры» уже существуют, и образование их будет, в сущности, только оформлением данного. Посмотрите: целые группы деятелей, фактически давно *центральные*, лишь по интеллигентской традиционности и застарелой робости перед открытым шагом, именуют себя по-прежнему и «делают вид», что объединены с теми, с кем вовсе уже и не соединены. Это связывает им руки, но долго так не может продолжаться. Однако... не слишком ли далеко зашли мы в предвиденьях и гаданьях? «Сложим крылья наших грез», как сказал один поэт, поступая на службу.

П. — Позвольте, но вот одно, что мне показалось странным. Вы, говоря об интеллигенции, все время подчеркивали ее здешние обязанности, ее чисто эмиграционные дела. Вы забыли, что все взоры наши обращены, главным образом, на Россию. Важно не то, что делается здесь, а что делается там.

О. — У нас были бы глаза мертвецов, если бы мы не смотрели «все в ту же сторону...». Но, откровенно говоря, как мы туда смотрим? Каждая группа и группка хочет уловить *свой* тон в совершающемся на родине, каждая надеется, в данном своем виде, вдруг, оказаться нужной — там. А как раз они-то, в эмиграционном анабиозе ждущие мановения «оттуда», его не дождутся. Они-то России и не понадобятся, ибо в своем месте, в свой час, не делали *своих* дел, побеждая *свои* препятствия. Бездомность, безродность, эмиграция — жернов на шее; ну, а кто весил, сколько пудов в жернове российском? Там, под жерновом, творится же свое, а мы, под нашим, и шевельнуться не хотим? Вот оно, интеллигентское пренебрежение к своему сегодняшнему дню, к «малым» делам, к постоянному усилию,

ожидание, что обновишься сразу, «по благодати», и все как-то само устроится...

П. — Признаться, ваши обличения звучат убедительнее проектов чудесного устройства чудесной эмигрантской интеллигенции. Я, конечно, не политик, но что сказал бы политический «спец», вас послушав? Пожалуй, и возражений бы не удостоил ваши «центры».

О. — Это меня не смущает. Я смею думать, что не всегда глаза «спеца» видят дальше, чем глаза простого смертного, который не останавливается на сложностях. И наконец — посмотрим. Что и здесь, и в России, — русская интеллигенция нужна, что от России обновленной она, обновленная, неотделима и что вымереть ей не суждено, — в этом ведь никто не сомневается... Кроме тех, впрочем, кто ни в какой «центр» не пойдет и кому, действительно, суждено только вымереть: двум концам, справа и слева.

П. — Тут я совершенно согласен. Этим придется вымереть. Русскому нашему «*ancien régime*» и... ну, вы сами знаете кому.

ГОЛУБИНЫЕ КРЫЛЬЯ

Еп. Сергий, ректор Духовной Академии в Александро-Невской Лавре, предложил членам Рел.-Философских Собраний встретить праздник в академической церкви, на хорах.

Сергий (впоследствии Финляндский) — председатель наших собраний. Председатель не номинальный, а настоящий, на каждом собрании присутствующий, и нередко своею кротостью смиряющий страсти споров. Вице-председатель — другой Сергий, архимандрит, ректор семинарии.

Чудны дела! Мы до сих пор не можем опомниться: и как это нам с Собраниями, — удалось? Как это позволил Победоносцев иерархам председательствовать — на полутайных, правда, — но все же на «светских», да еще интеллигентских, Собраниях? И даже приват-доцентам и профессорам Академии разрешил

на них бывать? Откуда это благостное попустительство? Неужели сурового властелина обошел хитрый мужичонка Скворцов (его чиновник особ. пор., миссионер)? Этого обошли, в свою очередь, мы, внушив, что тут лишь «миссия среди интеллигенции», и ему, Скворцову, предлежит легкое, но громкое, дело массового возвращения интеллигенции в лоно Православия. Как бы то ни было, мы, члены Собраний (публика не допускается), пока в фаворе, хотя нас много и становится все больше; и мы не так уже безгласны, позволяем себе спорить с самим Скворцовым и даже то и дело забиваем его в угол. Но он, к счастью, не пришел еще в уныние.

Еп. Сергий — прелестный, скромный, тихий русский человек. У него красноватое, широкое, добродушное лицо; блестят очки; русые волосы — вялыми прядками по плечам. Он так молод, что юные приват-доценты, «наши мальчики», как мы их зовем, все боятся, по ошибке, окликнуть его «Ваней»: он их однокашник.

Сергий-архимандрит — другого сорта. Тоже молод, но красив, строен, бледен (в Собраниях уж назревают его психопатки), с выхоленными руками в кольцах... У монаха? Да разве это им позволено? Не знаю, думаю, что нет, однако перстни его всеми замечены и всем запомнились.

Говорят, что он сух и зол. В семинарии его ненавидят, хотя и не до такой степени, как ненавидели архимандрита Антонина в одной провинциальной семинарии, где он еще совсем недавно был ректором. Этому — устроили там какую-то совсем неприятную историю, — чуть ли не наложили ему углей в нарочно закрытую печку, — и пришлось Антонина убрать. С тех пор он «покоится» в Лавре, рыскает по Петербургу в поношенной, узкой рясе, в поярковой шляпе. Собрания его «занозили»; не пропускает ни одного, познакомился с «интеллигентами», ходит в гости, без церемонии, хотя и без важности. Длинный-длинный, костлявый, худой, черный, с довольно страшными толстыми губами, с тяжелой нижней челюстью... Хвастается, что ни во что не верит, даже в самое существование Христа, и

уверяет, что «саранча» в Апокалипсисе должна обозначать «мелкую прессу»...

Все это, конечно, «в гостях у еретиков»... Думаю, есть и другие, столь же «крепкие в неверии», но другие не развязывают языки, подобно Антонину. А есть, конечно, искренние, — как должно верующие: еписк. Сергий, наш председатель, очевидно, из них.

Не помню, кто дал ему мысль пригласить членов Собраний на церковные хоры в ночь Светлого Воскресенья. Но мысль понравилась, и мы (не все, конечно, а большинство первых членов) с удовольствием откликнулись на приглашение.

Странная это была ночь. Впрочем, пасхальная ночь в большом городе, когда «пустынны улицы и храмы многолюдны» — всегда странная. Даже тогда, когда не заходишь в церковь, когда лишь из холодной, безлунно-весенней темноты глядишь на извивающиеся факелы на углах Исаакиевского собора, на эти огненные языки громадных небесных змей; или когда просто смотришь в узкие окна маленького храма где-нибудь в переулочке и видишь курчавое золото бесчисленных звезд-свечей, что трепещут внутри. И там внутри, и на темных улицах — везде одна притихшая странность — ожидания; точно воздух замолк, от неба до земли, точно ждет и он, ждет сама тишина... чего? Какой небывалой, какой невыносимой радости?

Много мне помнится этих зеленовато-темных петербургских ночей. Но та, о которой говорю, была по-другому странна и, пожалуй, вначале, особенно торжественного настроения не имела.

Академическая церковь примыкает к самому зданию академии, внутри лаврской ограды, в саду. На хоры, — небольшие и темноватые, — дверь прямо из широкого коридора, во втором этаже. По другую сторону коридора — двери в громадные, словно залы, жилые комнаты академистов. В одну из них дверь стояла настежь: там «хозяева» приготовили нам «разговенье». Мы туда прошли еще до начала службы.

Комната пустоватая, несмотря на два больших накрытых стола. Стульев мало, — их откуда-то все приносили по одному. Вверху — довольно тусклая лампочка.

Хозяева, — из участников Собраний, — когда не были заняты внизу, в церкви, приходили, уходили, возвращались снова. Но пора было и нам, и мы все отправились, через коридор, на наши церковные хоры.

Хоры — как раз против алтаря. Вся церковь нежно и длинно круглится под нами, с узкими окнами по бокам. В окнах еще поблескивает небесная зелень, ибо церковь почти темна, только тают, истаивают крупные свечи у плащаницы, да недвижным рдением разноцветятся в углах лампады. Полутемень — густее внизу: церковь полна народом. Гулко прокатывается голос чтеца, но звук лишь стены облетает, а в середке — шелестящая, живая, людская тишина.

Вот вспыхивают один за другим огни. Еще, еще... светлее, но не светло. Загораются точками золота ризы, и тяжело колеблют хоругви негнущимися полотнищами...

Служба началась. Вновь, сразу, потемнело в церкви, — ушел крестный ход. Огни роятся теперь за окнами, бегут, мелькают, мерцают. Пенье едва слышится глухо: двери заперты. Вот оно у самых запертых дверей, — громче, настойчивее, но все еще глухо.

И вдруг — сразу вскинулось, потоком вхлынуло с огнями, золотыми сверканьями, с людским дыханием и теплым восковым дыханьем свечей:

«Христос воскресе из мертвых...»

Заутреня не долга, даже и в «сослужении». После нее в нашу академическую комнату набралось множество народу («светского», конечно). Однако на светское разговенье было не похоже: ведь в нескольких шагах опять шла служба, и эта — на всю ночь.

Многие из нас уехали. Осталось всего человек пять. Мы остались.

В пасхальную ночь ранняя обедня особенно длинна: еп. Сергий читал Евангелие, по уставу, на различных языках. Трудно было выстоять всю, и мы часто возвращались в нашу «разговельную» отдохнуть, шепотным словом перекинуться. Теперь служба и особенное, пасхальное, пенье, как бы все время нетерпеливо-радостно ее прерывающее, — слышны были не только у нас, а по всему, верно, дому, с его толстыми каменными стенами.

«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес!»

Но кончилась и обедня. Опять люди, люди, рясы, кресты; помню, кажется, и утомленное, доброе лицо Сергия...

Все прошло, затихают голоса, даже шаги. Мы почти одни, мы одеваемся, надо уходить. Двери в потемневший коридор все так же раскрыты настежь, а против них другие раскрытые двери, совсем темные, — на хоры, в церковь.

Почему не спускаемся мы сразу к выходу? Я не знаю. Но мы не спускаемся, мы еще раз идем в темную дверь, туда, на хоры. В церковь.

Церковь внизу, перед нами. Церковь этой краткой минуты запомнилась мне навсегда. Что было в ней? Разве это не та же самая церковь, которую видели мы только что в ее торжестве из торжеств, в ликовании и сиянии? Да, та же самая. И странно, и страшно, — другая.

Она была пуста. Сумеречна, но не темна. Весенне-рассветными, холодными полосами зеленели узкие окна. Но там, за окнами, у стен церковных, еще догорали костры, и дрожащими багровыми пятнами отливала зелень стекол.

Церковь была пуста — вся полна, вся полна тяжко плавающим кадильным дымом. Вот это, должно быть, и было ее странное, и было ее страшное: пустота — и прозрачная, призрачная наполненность. Колебался длинными колебаниями душный и душистый дым: он сизый, зелено-сизый, ало-сизый, — и совсем алый, как крылья летящих в зарю голубей. Но его алость — не от зари: алость темная, от пламени костров за окнами.

И пустота – не пустота: опустенье. И тишина другая: не ждущая, не притиханье перед радостью, но тишина медленно падающая, как медленно ниспадала дымная завеса фимиама.

Почему так запомнилась эта минута, эта жуткая и торжественная красота опустелого храма, и сизый дым в отсветах неба и крови?

«ПО АРЦЫБАШЕВУ»

В дальние времена, когда все мы, критики со смыслом, пытались бороться с повальным сумасшествием, – обожанием Горького и Андреева, – появился молодой Арцыбашев.

Одна из его первых вещей, обративших на себя внимание, была «Смерть Ланде» в «Журнале для всех» (Миролюбова). Этот журнал в те годы очень «современничал», претендовал, с одной стороны, на демократизм (был вовсе не «толстый журнал», выходил синенькими тетрадками), а с другой – щеголял самой «последней» беллетристикой, там Л. Андреев напечатал даже свой знаменитый рассказ «В тумане», столь же знаменитый, сколько противный: о гимназисте, всадившем кухонный нож в живот проститутки.

«Смерть Ланде» Арцыбашева – был рассказ «современный», т. е. по-современному написанный, но выделявшийся на фоне тогдашней современности прелестной своей свежестью, нежностью (да, вот это очень помню, именно – нежностью) и какой-то, уже ставшей для нас непривычной, – *осмысленностью.*

В литературной среде поднимались споры об этом рассказе и об Арцыбашеве. В нем находили отдаленно-родственные черты с Достоевским: Ланде мог бы быть, как сказал кто-то, внучатным племянником князя Мышкина.

Что молодой новый писатель талантлив – не сомневался никто. Мы радовались: не поможет ли нам он косвенным путем, поставить Л. Андреева на свое место. Горький уже был

тогда на ущербе, и давненько не заявляли мне разные студенты, что идут жить «по Горькому», поступают в «босяки».

Во время этих разговоров о новом писателе, кто-то начал строить пессимистические предположения: вот увидите, пройдет несколько лет, — и Арцыбашева, тоже, насмерть заласкают; он талантлив? — Тем больше его жаль. От «успеха», вроде Горько-Андреевского, обязательно теряется голова; а не будете ли вы спорить, что голову потерять — всей птичке пропасть...

Да подождите, посмотрим. Конечно, не дай Бог никакому молодому таланту очутиться в обезьяних лапах «публики». Но будем надеяться, что Арцыбашеву не грозит потеря головы и не обрушится на него горьковский успех. Пусть пройдет несколько лет...

Несколько лет прошло.

Случайно (эти годы прошли для меня вне России), за расцветом молодого таланта мне следить не довелось. Арцыбашев сразу предстал предо мной автором «Санина» и... в сиянии успеха, который далеко превосходил горьковский (о Горьком в это время решительно никто уж не говорил, все забыли).

Сначала мы ничего не понимали, когда потянулись к нам, в Петербург, новые студенты и молодые люди просто, за советом: «Жить им или не жить "по Санину"?»

Затем, осведомившись о современном положении дел и нового романа — мы сразу, без всякого колебания, на подобные вопросы стали отвечать: нет, нет, не живите по Санину; сделайте милость, очень вам не советуем.

Если же кто-нибудь начинал дуться или недоумевать: «Вы отрицаете Арцыбашева?»... мы ему тихонько старались пояснить, что, быть может, «не жить» по Санину еще не значит отрицать Арцыбашева. Что, быть может, жить «по Санину» — вовсе не окажется жить «по Арцыбашеву...».

У меня был в то время лит. критический отдел в «Русской Мысли». Я — критик строгий, «не смотрящий ни на чье ли-

цо...». И, однако, мне не хотелось трогать ни «Санина» (который был для многих соблазнительным, не скрываю), ни Арцыбашева: пусть «переборщил» он, по-русски, а все же чувствовалась в этом писателе коренная добротность, тот упругий стержень, с которым никакие грехи не страшны. У Горького, ни в нем самом, ни в таланте его, с самого начала и до конца, такого стержня не было; оттого, должно быть, и не ощущался он никогда как «человек» (не говоря о писателе).

И я решаю ждать снова, ждать следующих шагов писателя (кстати сказать, виделись мы с Арцыбашевым всего единственный раз в жизни, мельком, задолго до «Санина»).

Пусть пройдет еще несколько лет...

И опять прошло несколько... но не лет, впрочем, а несколько *сот* лет. Считать нам, русским, десятые годы XX века за годы, а не за столетия — просто невозможно. Ведь это — время, когда неоформленное — оформилось, неопределенное — определилось, все тайное стало явным, и каждый пошел к своему месту. Как будто самый страшный суд уже был и только что кончился, приговор не для всех еще приводится в исполнение...

На этом судилище я не знаю писателя, — ни одного! — лицо которого осталось бы столь неомраченным, ответы которого были бы столь ясны, тверды и чисты. Его человеческая и писательская *«добротность»* не обманула, сказалась в самое нужное время и так, как нужно.

Да, Арцыбашев «единственный» из писателей; если и есть у других такая же беспримесная, чистая ненависть к убийцам России, такая же готовность на всякую борьбу, на всякую жертву ради воскресения родины, — эти чувства — увы — слишком часто соединяются с тоской о России прошлой, невозвратимой и ненужной; но Арцыбашев, при всей кристальной непримиримости своей к большевикам, хочет России не старой, а новой, не рабской — но свободной. Большевики для него не только убийцы тела: они повинны в грехе, какой «не прощается ни

в сем веке, ни в будущем»: они – хулители и гонители Духа Божьего, в человеке проявляющегося; Духа свободы, красоты, творчества, истины и любви...

Это понял Арцыбашев, и дело, которое он делает здесь с момента оставления России, – действительно первое дело; к нему все остальные дела должны сами «приложиться». Кто из нас, чье оружие – слово, поднял это оружие с арцыбашевской смелостью и до сих пор – до сих пор! – не устал от постоянной борьбы? Кто из нас день за днем *живет* в этой борьбе?

Вот когда хочется мне дать совет всем студентам и здешним молодым людям (старым тоже), хотя бы они и не спрашивали как им жить. Не спрашивают, а жить-то, однако, не умеют. Им и следует дать совет, добрый, хороший совет: живите не по Санину и, Боже сохрани, не по Горькому: живите *по Арцыбашеву!*

О ЛЮБВИ

I. Любовь и мысль

1

«Первый шаг к успешному разрешению всякой задачи есть сознательная и верная ее постановка: но задача любви никогда сознательно не ставилась, а потому никогда и не решалась, как следует».

К этим словам Вл. Соловьева нужно внести поправку: задача любви не только не ставилась *правильно*, а вообще не ставилась и не ставится; на любовь не смотрят как на задачу, а лишь как на данный факт, на состояние (нормальное для одних, болезненное для других), которое человек переживает, но которое ни к чему его не обязывает... тем более, что состояние это всегда временное.

Вопрос общественности – очень существует, как проблема. Принимается, что к ней «следует относиться сознательно и самодеятельно направлять этот процесс к высшим целям». Даже вопрос о человеческой личности часто мыслится в виде про-

блемы. Есть, таким образом, дело общественное, дело личное, но нет «дела любви».

Вот тут мне приходится провести первую черту разделения: между теми, кто, хотя бы бессознательно, чувствует, что любовь — мировая проблема, вопрос, не менее других актуальный и процессуальный, что в любви есть *смысл*, который нам должно разгадать, — и людьми иного склада, не видящими в любви ничего, кроме весьма обычного житейского факта.

Для этих последних нет, конечно, интереса рассматривать несуществующий «вопрос»; да и к чему забираться на «фантастические высоты по поводу такой просто вещи, как любовь?». Но этих я и не приглашаю следовать за Вл. Соловьевым и за нами на эти «высоты» (кстати сказать, совсем не «фантастические»). К тому же вопрос (чего и Вл. Соловьев не скрывает) — сложен, затемнен, труден. Кто не чувствует особенной нужды осмыслить любовь — тем нет и нужды им заниматься.

2

Любовь может стать проблемой лишь в связи с другими проблемами и требует, для первой постановки своей, некоторых общих предпосылок. Прежде всего — взгляда на мировой процесс как на процесс *восхождения*, сопровождаемый, во времени, борьбой двух начал: Бытия и Небытия. Отсюда вытекает и поставленная перед человечеством тройная — или триединая — задача, три, нераздельно связанных между собою вопроса: 1) о «*я*» (личность), 2) о «*ты*» (личная любовь) и 3) о «*мы*» (общество).

Лишь с этой, кратко мною формулированной, точки зрения Вл. Соловьева и других — проблема любви может рассматриваться как проблема; *вне* этих первых предпосылок она, действительно, не существует, и ни ставиться, ни разрешаться не может.

В тройственной мировой задаче — задача любви занимает серединное место, она как бы мост, соединяющий 1 и 3, Личность и Общество. Единичный человек, говорит Вл. Соловьев,

не может спастись, т. е. реализовать себя в Бытии, иначе как сообща, или вместе со *всеми*, со всем миром. Но путь человека к миру — есть личная (истинная) любовь, и Эрос должен быть взят как «pontifex», то есть священный строитель мостов.

Мы увидим дальше, на каких основаниях дает Эросу эту роль Влад. Соловьев.

Из всех, кто когда-либо, имея те же предпосылки, тот же взгляд на триединство мировой проблемы, встречался с Соловьевым в мыслях о любви, Соловьев — наиболее определенен, ибо он природный синтетик (или «сигизист», по его выражению), сочетатель, с особенно ярко выраженной волей к «всеединству». Это всеединство он как бы носит в себе. Поэтому и вопрос о любви поставлен им с такой смелой отчетливостью. Но, повторяю, он — не один; в вопросе о любви встречается он со многими; и со столь, на первый взгляд, далекими людьми, что встреча кажется неожиданной.

Я буду здесь пользоваться некоторыми помощниками и сообщниками Соловьева и Соловьевым, главным образом. Но сначала несколько слов о «встречах».

3

Есть ли, действительно, существует ли «учительство» и «ученичество»? Я в это не верю. Пожалуй, больше: я знаю, что «учеников» не бывает; никто никого и ничему «научить» не может. А если «как будто» научает, то в конце концов оказывается, что это лишь бесполезная видимость.

Действительно происходят лишь *встречи* между людьми, удивительные тем, что совершенно независимые от времени. Можно встретиться и с современником, и с человеком, жившим несколько столетий тому назад; были, как мы знаем, и встречавшиеся с теми, кто в их времена еще не родился.

Сущность встречи одна: это *узнавание* своих же мыслей в мысли другого. Как не только свои, но ставшие с кем-то общими, эти мысли зажигаются новым огнем. Встреченный уже помог мне. Но далее — и я ему помогаю, даже если уста его уже

сомкнулись. К его словам (нашим общим) я прибавляю свои (тоже общие), договариваю то, что он не успел договорить.

Встречаются ли сильный и слабый — это ничего не меняет. Именно потому, что никто никому не может *дать*, а каждый берет у другого сам, по своей мере, — сильный не поглощает слабого.

Лишь в учительстве и ученичестве происходит такое поглощение. Л. Толстой часто жаловался, что в толстовстве он менее всего любит «толстовцев». И он был прав. Не сравнивая никак Соловьева с Толстым (я вообще говорю вне сравнений), могу сказать, что и те, кто называл себя «учениками» Соловьева, себя в этом звании не оправдали.

Бывает еще: люди так и умирают, не узнав, что их мысли скрестились. Тогда следующие за ними соединяют их, и сами соединяются в одном общем.

Такая встреча, в вопросе о Любви (даже не в одном этом вопросе!) произошла у Вл. Соловьева... с Отто Вейнингером.

Я не знаю, ставил ли кто-нибудь эти два имени рядом. Да и что, казалось бы, между ними общего: ясный русский поэт-философ, глубочайший христианин, светло и пламенно прошедший не очень долгую жизнь свою, светло умерший; оставивший после себя дело, которому предстоит будущее; и — неврастенический юноша, венский еврей, способный *почти* до гениальности, эрудит, и чувственник, написавший две книги (из которых одна уже несла в себе отраву, а другая никому неизвестна) и, наконец, в 23 года столь бесславно погибший. «Бесславной» гибель свою он назвал сам, и *для него* самоубийство именно такой гибелью и было.

Вейнингер на три года пережил Соловьева. Конечно, они ничего не знали друг о друге. Ничего не знали о своей встрече. А она все-таки была. И даже погибший, (по времени позднейший), прибавил кое-что к словам спасенного, договорил недосказанное им.

О гибели же и о спасении — нам ли решать? Вейнингер погиб, да, но разве не пришлось ему нечеловеческими усилиями

завоевывать многое из того, что Соловьеву было дано сразу, как дар? Не будем же судить никого, будем только исследовать.

4

Итак — Любовь есть серединная из *трех* коренных мировых проблем. Эрос — pontifex, строитель мостов между 1 и 3 (выход в мир), а также и между двумя Личностями.

«1 и 3 — родственны, — говорит Вейнингер. — Число 3 имеет монистический характер. Через него снова утверждается 1, единство».

Личность (к ней и Соловьев, и Вейнингер относятся одинаково) — самостоятельный центр живых сил и потенция бесконечного совершенствования, — есть абсолютная ценность. Человеческий субъект прав, сознавая и ощущая свое безусловное значение и бесконечное достоинство. Но признать и за другими людьми такое же значение и достоинство он может только разумом, а не ощущением. В *ощущении* он видит, изнутри, лишь одного себя, и всегда как бы центром мира. Это — та обособленность, отъединенность, которую Соловьев называет «эгоизмом личности».

Именно потому, что преграда между моим «я» и другими конкретна, реальна, — в самоощущении, — разумом ее победить нельзя. Есть только одна сила, которая изнутри, прямо, фактически, упраздняет преграду, заставляет нас не в отвлеченном сознании, а во внутреннем чувстве и жизненной воле, признать для себя безусловное значение другого, другой личности. Сила эта — *любовь*, и главным образом любовь половая. В ней мы действительно познаем истину другого, как свою, и тем самым осуществляем и свою истину, и свое безусловное значение; ведь оно именно и состоит в «способности переходить за границы своего фактического, феноменального бытия, в способности жить не только в себе, но и в другом».

Дар любви есть, таким образом, ниспосланная нам возможность выхода из замкнутого круга самости. Перекидывается

мост от одного единственного, через другого единственного, к опытному пониманию единственности каждого. Если человек по этому мосту не идет, или на нем засыпает, или его разрушает и вместе с ним проваливается, тут уж вина не Эроса, а несознательной или злой человеческой воли.

«Но кто же думал когда-нибудь о чем-нибудь подобном по поводу любви?» — спрашивает Вл. Соловьев. Да, пожалуй, никто... кроме попутчиков, сообщников, «встречников». Вейнингер — думал. Он знал о «личности», знал и о «любви»: «...только обладание "Я" в высшем смысле этого слова — ведет к признанию "Ты" в другом...»

И далее: «Человек, всякий человек, — и в этом загадка любви, — никогда не бывает до такой степени *самим собою*, как когда он любит» *.

Соловьев говорит то же самое: «И ад, и земля, и небо с особым участием следят за человеком в ту пору, когда вселяется в него Эрос. Каждой стороне желательно для своего дела взять тот избыток сил, духовных и физических, который открывается тем временем в человеке. Без сомнения, это есть самый важный серединный пункт нашей жизни».

Как же пользуется этим чудесным даром человек? И как он должен им пользоваться?

5

Соловьев различает *пять* путей любви. Первый он называет «глубинами сатанинскими» и предлагает обойти его молчанием. Впрочем, в одной из своих статей он немного касается этого «адского пути», говоря о так называемых «аномалиях»,

* Все цитаты Вейнингера я беру из посмертной книги его «*О последних вещах*», книги воистину почти гениальной и, к сожалению, малоизвестной. Русский перевод ее — ужасен. Озаглавлена она «Последние слова», совершенно извращенно. По смыслу следовало бы ее назвать: «*О самом важном*» или «*О самом главном*»...

к которым причисляет и «естественный» разврат. Покупку тела он сравнивает с некрофильством, не делая различия между этими «любителями мертвечины».

Второй путь — «менее ужасный», хотя так же недостойный человека, обычный путь животных, т. е. покорность первому физическому влечению.

Третий — добрый человеческий путь, — брак. И «если б человек по существу мог быть только человеком...», то это и был бы его высший путь. Но человек тем и отличается между тварями, что хочет и может становиться выше себя самого; это его «благородная неустойчивость», стремление к росту и возвышению.

Четвертый путь — старание заменить человеческий путь брака — путем «как бы» высшим — чистой духовностью.

Духовную любовь («платоническую») Соловьев не может признать «истинной», так как не допускает противоположения духа телу: человек, в целостности, *духовно-телесен.* Любовь духовная не имеет и не может иметь за собою никакого реального дела; она вне воли и движения. Что касается полного отречения от Эроса, аскетизма, то Соловьев рассматривает этот путь христианского монашества как «ангельский», подчеркивая, что и он не соответствует человеческому достоинству в полноте, ибо «человек» — выше ангела (потенциально).

Все эти пути, и сатанинский, и животный, и человеческий, и ангельский, — ведут к смерти. К смерти любви, во всяком случае, а иногда и к смерти личности в человеке. На всех этих путях человек пассивно переживает состояние любви, не берет любовь в сознательную волю, не исполняет «дела» любви, и любовь, предоставленная самой себе, исчезает, как мираж. Эрос отлетает. Крылатый бог, всегда несущий «веянье нездешней радости», одинаково отлетает и от счастливого отца семейства, и от страстного чувственника, или — от падающего прямо из его божественных объятий в объятия смерти — безвольного юноши. Но если так, где же, в чем же, чем определяется путь любви истинной?

6

Пятый, последний, волевой путь любви — уже не человеческий только, но богочеловеческий, т. е. путь *восхождения.*

Соловьев подчеркивает, что с ясностью можно указать лишь «основные условия, определяющие *начало* и *цель* этого высшего пути».

Цель — конечно, та же для любви, как и для личности, и для человечества, — победа над смертью. И дело любви — опять триединое дело волевого, свободного, участия в борьбе за бытие против небытия. Что же касается условий начала высшего пути любви, то они лежат в понимании и принятии, как реальностей, трех основ: *андрогинизма, духовно-телесности* и *богочеловечности.*

Эти незыблемые основы любви уже есть и у Платона, хотя еще в смутном виде. У Соловьева два последние понятия даны, как мы видели, в законченной ясности. Однако в отношении первого, — андрогинизма, — и Соловьев еще соскальзывает как будто в примитивную и смутную теорию Платона.

По этой теории, андрогинизм, во-первых, присущ божеству. Соловьев, утверждая, что в Боге находятся оба Начала, мужское и женское, приводит даже цитату из Библии: «В день, когда Бог сотворил человека, по образу Божию сотворил *его,* мужа и жену сотворил их». Но из дальнейших положений Соловьева выходит как будто, что для него, как и для Платона, один человек еще не личность, он лишь некая половинка; «личность» же может составиться только из *двух,* из реального мужчины и реальной женщины. Это чрезвычайно путает общее построение, и я удивляюсь, как с таким понятием мог мириться сам Соловьев. Две половинки, из которых лишь при исполнении *должной* любви, т. е. в самом счастливом случае, может получиться единое?.. Шар, по Платону, т. е. нечто само в себе законченное и безвыходное...

Но тут нам на помощь приходит Вейнингер.

Да, говорит он, существуют два Начала или две чистые субстанции: чистая Мужественность (М) и чистая Женственность

(Ж). Оба они соприсутствуют в Божестве. Но и в реальном человеке, несовершенном, но по образу Божию созданном, в духовно-телесном субъекте, тоже всегда присутствуют *оба* начала, хотя даны они в нем неравномерно, а с преобладанием какого-нибудь одного. Никогда, подчеркивает Вейнингер, живой мужчина не бывает *только* мужчиной: он *и* женщина. И живая женщина *не только* женщина: в ней присутствует, в какой-то мере, и мужское начало...

Несчастный Вейнингер, сказав с особой ясностью слова, которые оставались недоговоренными у Соловьева, не сделал из них логических выводов; он даже как будто с этого момента и оставил всякую логику, оправдав собственный афоризм: «Кто покидает логику, того она сама раньше покинула, тот на пути к безумию...» Во-первых, он, указав на два Начала, как на две чистые субстанции, – лишил их *равноценности*, что совершенно недопустимо. Во-вторых, он свои же утверждения, что нет живого субъекта с одним сплошным мужским или женским началом, тут же и *забыл*, до неестественности мгновенно, и вся его первая книга («Пол и характер») ставит откровенный знак равенства между реальной женщиной и чистой Женственностью (которую он и уничтожает, хотя она находится в Боге). Не было ли это первым шагом его к гибели, опять по его же слову: «Человек может погибнуть только от недостатка религии»? Недаром, когда вышел «Пол и характер», Вейнингер сказал: эта книга несет смерть: или себе – или ее автору.

Но личное несчастие этого удивительного юноши не может лишить значительности его глубоких слов об андрогинизме. Они так просты и ясны, что, как это всегда бывает, кажется, будто их уже давно слышал, давно знал. Пожалуй, оно и так: ведь все дело в нашем внимании и в моменте, когда слова произносятся. Вот их суть.

Таинственный узел, соединяющий два начала, каждый человек *уже* носит в себе, в своей личности. Как сплетен этот узел? В какой, всегда неравной, мере присутствует – в живом челове-

ческом существе — Мужское и Женское? Эту меру, или неведомую гармонию, нам определять и разгадывать не дано.

Но мы должны признать ее единственной и неповторяющейся, как самую личность. Нет живого субъекта без преобладания в нем того или другого начала; и в ней, — в этой неравномерности, — потенция «перехода за границы своего феноменального бытия» — к другой личности, потенция *любви*. Не половинка ищет свою половинку, но Муже-женское существо стремится к соединению с другими в *соответственно-обратной мере* двойным, Жено-мужским. Вот эта соответственно-обратная мера, ее находимость, и создает возможность истинной любви, непременно и всегда *единственной* (этого Соловьев тоже не договорил). Эрос не ранит одной стрелой — обоих. У Эроса две стрелы. И он строит двойной мост между двумя: от мужественности одного человеческого существа к женственности другого, и от его женственности — к мужественности второго.

Таковы основы андрогинизма. Таково одно из условий идеального соединения, которое в полноте недостижимо, но которого мы всегда ищем и к которому можем, если в воле нашей осмыслим Любовь, — постоянно приближаться.

Соловьев совершенно прав: взятая как факт, как состоянье человека, бывающее и проходящее, любовь-влюбленность — нелепа; она не имеет для себя никаких оснований и ни для чего не нужна. Соображенье, что любовь служит целям рода, с достаточной убедительностью опровергнуто Соловьевым; да и без Соловьева, при малейшем усилии мысли, становится ясно, что для размножения любовь, — та, о которой мы говорим, с непременным «веяньем нездешней радости», — излишняя роскошь, в лучшем случае. Род человеческий не только продолжался бы без нее, но продолжался бы гораздо успешнее. Резюмируем же: любовь или имеет тот смысл и ту цель, о которых мы говорим вместе с Соловьевым, или не имеет решительно ни смысла, ни цели.

II. Любовь и красота

1

Метафизиков и философов, говоривших о любви, можно бы перечесть по пальцам, даже если включить касавшихся этой темы вскользь, между прочим. Зато в области искусства любовь — подлинная царица. Обратимся же к искусству, посмотрим, нет ли среди художников таких, для которых Любовь — приблизительно то же, что для Соловьева, Вейнингера, Платона, Аристотеля и т. д.

Мы, однако, ничего не увидим, если сразу не разделим всех художников несколько необычным разделением.

Общего взгляда Вл. Соловьева на искусство и красоту я пока не буду касаться (хотя очень интересно было бы и тут провести его параллелизм с Вейнингером). Скажу лишь, что для Соловьева, в строгой связи со всем его миросозерцанием, «Красота — лишь ощутительная форма Добра и Истины», и «эстетически прекрасным» он называл «всякое ощутительное изображение предмета или явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира». Иначе говоря — прекрасно то художественное произведение, которое «ведет к реальному улучшению действительности».

И я предлагаю, хотя бы только в отношении исследуемого вопроса, принять мерку Соловьева об «улучшении» или не улучшении реальной действительности. Другими словами — установить, вне оценки таланта художника, — что такое для него любовь? Какой он ее изображает? Где лежит его *воля*, какой любви он хочет, в какую верит? Смотрит ли данный художник на любовь «с точки зрения окончательного ее состояния», по-соловьевски, вейнингеровски, т. е. видит ли ее смысл, или же любовь для него смысла не имеет, и он берет ее просто как факт, повторяющееся обычное явление?

В конце концов — говорит ли художник о той любви, которая *бывает*, или о той, которая *должна быть*?

Тут важно еще и отношение к «должному»: *не* как к фантастике, а к потенциальной реальности. «Если бы я считал такую любовь фантастикой, – подчеркивает Вл. Соловьев, – я бы ее, конечно, и не предлагал».

В трактовке любовной темы не все художники резко определенны. Есть смешанные, а, главное, есть эволюционирующие: от любви почти без смысла, почти той, какая «бывает», они доходят постепенно до образов величайшей глубины и совершенства.

Но обычно линия разделения проходит с достаточной ясностью. Иногда совсем маленький, неизвестный писатель вдруг дает нам изображение чудесной, бессмертной любви; а другой, художник и мастер, не желая или не умея вырваться из круга «бывающего», фатально возвращает любовь в смерть.

Да, вот это следует запомнить: везде, где любовь изображается как простой факт и состояние, без смысла, она очень быстро побеждается смертью. Мы так и не привыкли думать, по поводу любви, о смысле, что даже повторяя слова: «Любовь сильнее смерти», мы стали понимать их в обратном значении, приблизительно так: любовь столь сильна, что доводит даже до смерти, т. е., что смерть всегда сильнее самой сильной любви и даже сильную-то вернее побеждает.

Художник, изображающий «простую» любовь (как «бывает»), по-своему прав: «простое» отношение к любви завершается тем окончательным упрощением, которое называют «смертью». Смерть непременно сильнее такой любви и даже, при ней, становится желанной:

Разбей этот кубок,
В нем злая отрава таится!..

2

Неудивительно, что люди и художники, наиболее близкие к понятию «личности», наиболее близки и к понятию истинной любви. Ведь «только обладание "Я" в высшем смысле ведет и к признанию "Ты" в другом», как повторяет Вейнингер.

Поэтому Ибсен, с его исключительно острым пониманием «личности», и не мог не дать особенно яркие образы любви в ее совершении, Эроса *pontifex*'а, строителя мостов.

В Пере Гюнте, однако, лишь начало пути любви. Сольвейг – не дантовская Беатриче, конечно, которая еще вполне объект, символ женской субстанции, лицо без живого лица. Данте сотворил Бог; но не Бог, а Данте творит Беатриче, творит исключительно для себя, чтобы *ею*, т. е. своей любовью к ней, спастись как личность. Беатриче не действует, и нет нужды в ее действиях; Сольвейг *есть* гораздо больше, она «есть» уже почти в полноте: это *она* любит Пера Гюнта, и это *ее* любовь (истинная, ибо ведущая к бессмертию) – спасает любимого. Сольвейг еще не вполне «живая женщина», в ней еще слишком сквозит облик вечной Женственности, «Жены, облеченной в солнце» Вл. Соловьева; она Дева-Мать не случайно: в чистом, божественном женском начале девственность-материнство соединены.

Ибсен пойдет и дальше: через «Женщину с Моря» – к Ревекке из Росмерсхольма, к любви между нею и Росмером, где уже происходит возрождение обоих, взаимное спасение.

«– Я ли иду за тобою, или ты за мною?» – спрашивает один.

«– На этот вопрос мы и в вечности не найдем ответа...» – да он и не нужен, они идут *вместе*.

И вот, наконец, последняя вещь Ибсена, последний образ Любви, ее истинный путь – «сквозь тьму ночи и бурю в горах» к солнечному восходу высшей, вечной жизни. Ибсен говорит о совместной жизни мужчины и женщины как о *новом* таинственном браке, мистической унии, лишенной всякого «эгоизма», – отъединенности от мира, – и всякого неравенства: оба, и муж, и жена, равноценные «личности» в высшем смысле.

Я не знаю, как относился Соловьев к Ибсену: он нигде об Ибсене не упоминает. Но это не важно: «встреча» между двумя мыслителями-поэтами, несомненно, произошла. Вейнингер «встретился» с Ибсеном лицом к лицу. Статьи Вейнингера –

самое блестящее, самое проникновенное, что когда-либо писалось о Ибсене. И можно, пожалуй, сказать, что на проблеме любви они «встретились» все трое. Во всяком случае, из художников Ибсен — самый *сознательный* попутчик Вл. Соловьева.

О любви очень много знал (не по-ибсеновски «сознательно», но чуть ли не глубже) — Гоголь. Знал, не зная; ведь он не догадывался, когда писал «Старосветских помещиков», что за ним, склонясь к его плечу, стоит сам Эрос, что он тихо отнял перо и вложил ему в руку стрелу, выдернутую из колчана. Только стрелой Эроса мог быть начертан образ любви Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, любви, над которой бессильно «всемогущее время».

Достоевский? Толстой? Гете?

Достоевский обладал слишком большим запасом всего, что требует реализации; и, в процессе реализирования, он находился еще в той стадии всеразделения, которая необходима для последующего, подлинного, всесобирания. Он еще разорван и в разорванности обострен. Слишком много знает о смысле реальности, больше, чем о самой реальности, — и сознает свою дисгармоничность. Отсюда его крик: «Любите жизнь раньше смысла ее!» У Достоевского начатки истинной любви не там, где он думает, не в возвышенных девицах и дамах, а в другой стороне, в Грушенькиной «инфернальности», в Грушенькином «мизинчике»; тут он начинает нащупывать *«духовно-телесность»* любви. Из трех основных понятий, обусловливающих подлинную любовь, Достоевский до последней глубины ощутил и проник в «богочеловечность»; «духовно-телесность» лишь нащупывал, а об «андрогинизме» почти не знал ничего. Только в одном романе Достоевского ясное указание на любовь истинную, полную, должную: любовь Раскольникова и Сони. Но... любовь эта осталась не изображенной, роман — не написанным: он лишь *обещан* в «Прест. и нак.».

Во всяком случае, Достоевский менее всего изобразитель «данного», «как бывает». Он и реальность-то хочет полюбить

для того, чтобы полнее взять ее «с точки зрения окончательного ее состояния и в свете будущего мира», о котором он уже знает, как никто. К изображению просто данного человек масштаба Достоевского не мог иметь и природной склонности.

Ее не имел и Лев Толстой. Но он, «полюбив жизнь раньше смысла ее», слишком долго любил ее вне смысла; оттого с таким страданьем вырывался он, на склоне лет, из кольца обычного, бывающего, данного. Оттого возненавидел, до несправедливости, свои романы и с такой беспорядочной поспешностью бросился искать «смысл жизни». Любовь для него остро *стала* как проблема; но он не пошел дальше отрицания ее реализма, т. е. дальше «ангельского», по Соловьеву, пути. Других путей, кроме этих двух: дьявольского и ангельского Толстой не признавал.

3

Мне хочется остановиться немного дольше на трех авторах, трех вещах, никакого как будто отношения друг к другу не имеющих. Не потому беру я эти три любовных романа, что нельзя было бы взять другие, но, во-первых, потому, что на общее исследование любви в мировой литературе все равно не хватило бы ничьей жизни, а во-вторых — для моего беглого очерка достаточно характерны и эти три.

Три автора, разной национальности: русский, немец и француз. Три романа, разных времен: один 1925 года, другой 1774-го, а третий... право, не знаю, и не интересуюсь; кажется, современный. Заглавия романов: «Митина любовь», «Страдания молодого Вертера» и «Габи, любовь моя...» Имена авторов: Бунин, Гете и Деренн.

Ну, скажут мне, русского Митю и немецкого Вертера еще кое-как можно сблизить, а французский-то Жак причем? Кто этот Деренн? Почему его надо сравнивать с Гете?

Но я никого не сравниваю! Я не сужу, не разбираю их в плоскости «искусства», чисто художественных достоинств, литературного мастерства, эстетики как эстетики. Я не хочу и не

могу «сравнивать» мирового гения с совершенно неизвестным (мне, по крайней мере) французом, книжка которого, попавшаяся мне случайно, ни малейшим мастерством не блещет. Я смотрю не на мастерство, даже не на романы как на таковые, — а на *любовь*, в них изображенную, на *волю* художника в этой области.

По ранее принятому делению, в романе Бунина «любовь» берется какой она *бывает*, в романе Деренна какой *должна* быть; роман Гете — *смешанный*.

Sainte-Beuve, в статье о Вертере, очень близко подходит к правде. Он, прежде всего, не берет Вертера исключительно как художественное произведение; он рассматривает его в связи с временем и биографией автора. Оценивает все сразу, правду и выдумку, дань, которую 23-летний Гете отдал толпе своего времени, и верную «волю к жизни» молодого гения. *Sainte-Beuve* правильно указывает, что конец Вертера вульгарен и фальшив, портит произведение и до такой степени не вяжется с ярким, сознательно-волевым характером Гете-Вертера и его любви, что почти похож на мистификацию.

Поэтому мы, с нашей точки зрения, и должны назвать Вертера «смешанным». Любовь к Шарлотте — не совсем, не вполне то, что «бывает»; в ней очень сквозит «должное». Но у юного автора это должное лишь в ощущениях; поэтому самоубийство Вертера, конец, соответствующий другой любви и другому герою, *мог* соблазнить неокрепший гений Гете. К Гете же особенно приложимы слова Вейнингера о Личности как «становящемся»: «Человек медленно и постепенно, в течение всей жизни, приобретает ее...». Лишь через многие десятилетия Гете дошел до той удивительной (первой или последней?) встречи Фауста и Маргариты, когда Маргарита ждет, чтобы Фауст *узнал* ее, и они *вместе* идут наверх...

Но и в годы Вертера воля Гете не лежала к «данному»; он пламенно любил действительный мир, но не за то, что он «такой», а за то, что из него, такого, *«может выйти»* (по его выражению).

Именно в несоответствии, в несгармонированности конца Вертера с материей его любви и лежит фальшь романа. Ведь не упрекаем же мы в фальши несчастного Азру (несколько надоевшего), который с самого начала верен себе, и так и заявляет: «Я из рода бедных Азров: полюбив (любовью, смысла не имеющей и смысла не ищущей), мы умираем...», что, как мы видели, чрезвычайно естественно.

Бунинский Митя — прежде всего сам полная противоположность Вертеру. Живой до иллюзии: именно такие «бывают» русские (помещичьего оскуденья), мальчики, полудеревенские птенцы, полоротые, неуклюжие, хорошие. Установим сразу: Бунин — король изобразительности, король «данного»; я не знаю в современности равного ему мастера, такого — не рассказывающего нам о природе, вещах и людях, а прямо показывающего их. Это сила очень серьезного таланта. Соловьев не признает «художественными» произведения, где изображается только «данное», в том виде, в каком оно «есть». Но... для большого творческого таланта это и *невозможно*. Конечно, талант изобразительный по преимуществу, художник, не склонный к обобщениям и не ищущий смысла явлений, не будет изображать предметы «в свете нового мира» или с точки зрения их окончательного состояния. Он этой точки зрения не имеет, он будет стараться рисовать их просто, какими видит. Но именно большой талант *не сможет* остановиться на этом, ограничиться этим: какую-то волю свою он проявит, отразит в творческом образе. И я подчеркиваю: если он не желает или не умеет видеть *улучшенной* действительности, он рискует дать ее *ухудшенной*.

Такой художник легко соскальзывает с действительности — вниз; его герой, в любовном состоянии, действует еще ужаснее, погибает еще скорее, чем это бывает в жизни, а сама любовь кажется еще безысходнее и обманнее.

Мы увидим далее, что в романе Бунина такое соскальзывание и происходит.

4

Не легко бороться с прелестью изобразительного таланта, с волшебством живой природы, с окружением Митиной любви. Шумят весенние деревья, пахнет земля, плывут облака; и как не поддаться чарам, как отодвинуть завесу тумана, за которой полускрыт Митя со своей любовью? Однако лишь он, а главное она, — Любовь, — предмет нашего исследования.

Заглавие романа очень точно: в нем говорится именно о *Митиной* любви. Повесть любви — есть повесть о *двух*, но Бунин дает нам одного — в состоянии любви. Вертеровская Шарлотта в большой мере еще объект; но сильная и широкая личность Вертера почти подымает ее, любовью, до субъекта. Митина любовь ничего не могла бы сделать с Катей. Митя и сам почти не субъект. Он едва сознательнее той весенней природы, белых вишневых деревьев, ночных птиц, вздыхающих недр земли, с которыми живет. Любовь его — воистину что-то на него навалившееся, неизвестно откуда и почему. Случилось, что она — к Кате, но могла бы быть и не к Кате, к Лизе, к Соне. Недаром Катя (очерченная несколькими до наглядности яркими и живыми штрихами) в романе почти не действует, появляется только в первых главах.

Надо признать, что из форм «бывающей» любви, художник выбрал наименее подлежащую осмысливанию, заведомо обреченную на гибель. Вопрос ведь о *личной* любви, у Мити же и у Кати так мало «личности», что Эросу не на ком укрепить концы своего моста. Если правда, что каждый раз, когда в человеческом сердце зажигается священная искра влюбленности, «вся стенающая и мучающаяся тварь ждет первого откровения сынов славы», — вряд ли с особенной надеждой смотрела на Митю эта тварь и была особенно обманута, когда в нем искра погасла. Митя так мало подозревает о своем «славном сыновстве», что сам смешивает любовь свою с безумием. Катя, «она», то и дело превращается для него в «оно», в «женское». И это «страшное, дивное, женское», где бы Митя его ни учуял, ни заподозрил (вон там, в избах, спят теперь молодые девки и

бабы), — «жадно влечет его». Митю закручивает в воронку стихийного космоса... откуда он, впрочем, недавно и освободился. Не странно ли было бы представить себе Вертера мечтающим, в разлуке с Шарлоттой, о фермершах Вальгейма?

В Мите личность проявляется лишь самостью, т. е. как раз тем, что человек, при истинной любви, должен терять. Митя же, со своей любовью, для себя, вполне центр мира. Он твердо ощущает, что физическое соединение Кати с ним, с Митей, есть благо, акт чистый и целомудренный. Но такое же физическое соединение Кати с *другим* — разврат, гибель, мерзость. И этого, именно этого, он, Митя, выдержать не может.

Заметим, что Вертер свободен от такой наивно-грубой, чисто мужской ревности. А у героя французского романа, о котором нам пора вспомнить, подобная психология казалась бы чудовищной. Ведь Деренн, этот заурядный француз-писатель, дал нам, в своей книге «Gaby, mon amour...» (сам того, конечно, не подозревая) истинный образ любви.

Не такой, какой она «бывает», а какой должна быть.

Вот эта повесть, в кратких словах.

Жак, 18-летний юноша, встретил Габи в первый раз на товарищеской пирушке, в день получения бакалаврского диплома, в Бордо. Габи, как и он, уроженка Бордо, — молоденькая танцовщица, подруга одного из его старших товарищей. Утром Жак должен уехать в Париж, совсем. Полюбила Габи Жака? Полюбил он ее? Об этом не говорится. Случилось, что Габи взяла Жака к себе ночевать. И... они остались как брат и сестра, хотя нежно спали в одной постели. В течение 10 следующих лет — они свиделись только раз: Жак вдруг услышал, что Габи — накануне отъезда в Америку. Он написал ей, она тотчас пришла. И целый день они провели вместе. Любила она его? Любил он ее? Об этом опять не говорилось, это просто было. И опять им точно *рано* было сделаться любовниками... «Физическое соединение, — говорит Соловьев, — необходимо для любви не как ее непременное условие, а только как ее окончательная реализация. Если эта реализация ставится как цель сама по

себе и *прежде* идеального дела любви – она губит любовь». Жак и Габи не погубили свою любовь. Они снова расстались – на годы; жили каждый своей жизнью... и жили непрерывно друг в друге.

Но вот, Жак едет... к своей невесте. В родном городе Бордо ему нужно ждать поезда. Устраивается на вокзале... и вдруг берет автомобиль, велит везти себя в то кафе, где видел Габи в первый раз.

Знает ли Жак, что он делает? Полузнает. Но ему известно, что Габи – в родном городе. Вызванный в кафе старый товарищ рассказывает: да, Габи здесь, она отдыхает после своих турне. У нее нет «покровителя», но есть любовник; не «друг сердца» – а молодой больной и капризный мальчик, отчаянный игрок, – Габи его «жалеет».

По зову Жака Габи, конечно, сейчас же приходит, не особенно скрываясь от взбалмошного своего возлюбленного, который и сам больше думает об игре, нежели о ревности.

Эта ночь – редкая поэма любви. Начинается она полуфантастической прогулкой на автомобиле в лес, где Жак ищет какой-то в детстве зарытый белый камушек и находит его. В фантастику, в нежность, в почти сентиментальность – все время ввивается – улыбка.

Их соединение как будто даже ничего нового не вносит в любовь, так она уже полна и совершенна. Поэма этой ночи, откровенная – и целомудренная, написана без единого срыва. Вся она пронизана и покрыта двумя словами: «*moi – toi*», «ты – я, я – ты». И уже естественным кажется, что она – говорит то, что он начал думать, он – произносит слова, которые она сейчас захочет услышать. Он *забыл* сказать ей, что ехал к невесте, он сам забыл это, а когда, вспомнив, говорит – они улыбаются оба... разве это так важно?

Взбалмошный и больной возлюбленный Габи, проигравшись, ранним утром застреливается под окнами Габи. Это – жизнь *около* их любви. Трагедия? Должны ли они расстаться?

Должны ли они переступить через эту смерть, поглощенные двойным эгоизмом?

Ни то ни другое. Смерть может лишь тенью печали пройти по Любви, не разрушив ее. Так же, как разлука: она может быть... и все-таки ее не может быть. Странное впечатление: Любовь инкрустирована в реальность мира, не отделима от жизни, текущей в трех измерениях, но сама Любовь, кроме этих трех измерений, имеет еще и четвертое. И она не делает жизнь «фантастичной», оставляет на своих местах ее мелочи, ее обыденность, но окрашивает и нежно одухотворяет материю мелочей, освещает ее улыбкой «нездешней радости».

Деренн только засмеялся бы, заговори с ним о трех понятиях любви, о богочеловечестве, о духовно-телесности и андрогинизме. Между тем любовь этих двух, — танцовщицы-полукокотки и среднего француза, — человеческая ли она только? И не дана ли в ней духовно-телесность почти совершенная? И разве нет в Габи черт стойких, характерно мужских, тогда как герой подчас нежен и тонок девически? Сам себе удивляясь, он плачет в саду... В этой смерти и никто не виноват в этой смерти, ни никто не виноват: «Я ведь не жалею его; о чем же я плачу?».

Габи не плачет; но она действует так, чтобы вдвинувшаяся в их любовь смерть, все равно бессильная, не была оскорблена торжеством любви. Тень упала — пусть тень пройдет. Любящие опять как бы расстаются. О, конечно, не расстаются и не расстанутся.

Вертер, насильственно погибший от руки Гете, носил в себе все данные для такой любви, и даже с более сознательным к ней отношением. У бунинского Мити возможностей для этого нет; но ведь они и не входили в задания автора. Задания его иные. Бунин хотел показать нам данное: любовь, какой она *бывает* в мире, каков мир *есть.* Соответственно задуман и Митя. Правда, он взят подчеркнуто бессознательным, но такие бывают. Не станем же требовать от Мити сверх положенного. Попробуем войти в волю художника. Посмотрим, везде ли

Митя верен себе и такому, каким задуман, своей любви, именно своей, вне смысла, но какой она в подобных случаях бывает? Действительно ли таков мир в *данном* (просто в данном), каким его рисует Бунин?

5

Митя не только чужд сознания, всякого разумного рассуждения и воли, но примитивен до непонимания обычных слов, даже тех, которые сам произносит. Митя весь — *впечатление* и *физиология.* Почти нельзя сказать, что он «чувствует»: он — «чует». Так, он не думает о смерти, не понимает ее; но помнит «впечатления» смерти и «чует» смерть. Эрос коснулся его своим крылом; кого бы он ни касался — он-то подлинный, всегда тот же Эрос, с его «веяньем нездешней радости». Митя воспринял его впечатлением и физиологией. И Митя, в любви своей, в ощущении «мира, как рая», понятен. Понятны и мечты его, вначале о браке с Катей, как исход любви. И влечение его, через Катю, ко всякому «женскому», и оно, пожалуй, объяснимо для той любви, на которую он способен. Даже в наивной, физиологической ревности своей к какому-то «другому», с которым Катя должна обязательно «утонуть в разврате», — он еще последователен. Так еще «бывает»... Неестественность Мити, «перебой» в Мите, начинается с появлением на сцене старосты (или чуть-чуть раньше, может быть, когда Митя кладет голову на колени девке, в саду, и с упоением чувствует под головой ее живот).

Дело в том, что влюбленный юноша, именно юноша, впервые ощутивший «веянье нездешней радости», непременно делается целомудрен до дикости, страстно-целомудрен. И даже страсть эта тем сильнее, чем он примитивнее, ибо и она — физиологична. Она — от того же Эроса, который ею, как щитом, защищает Любовь в человеке. Эрос ведь прямая, фактическая, цельная, сила, он входит не в разум, а во всего человека, и весь человек, с его физиологией, проникается личной любовью. Поэтому и должна быть ей защита в самой физиологии, поэто-

му и ограждается она *страстным* целомудрием. Вполне возможно пробуждение общей, бесформенной, чувственности под влиянием весны, природы, одиночества; но невозможна победа этой стихийной чувственности над любовью, пока не погасла священная искра: страсть целомудрия ее ограждает. Естественно падение в толстовском «Дьяволе»: там речь идет о человеке зрелом и не в состоянии острой влюбленности. Но *не* естественно, что Митя сразу не отскочил от старосты, соблазняющего его покупкой «девки» вообще. Чем более огрубляет автор рисунок, с какой-то странной нарочитостью, тем непонятнее делается поведение Мити. В муках любви и неизвестности, но вовсе еще не уверенный, что Катя изменила, «погрязла в разврате», потеряна, — он, однако, едет со старостой высматривать себе «женское», определенную «бабу». И там, у лесника, в обстановке, которая должна бы резать его по живому месту, Митя все-таки не взвыл, не убежал, закрыв руками уши. Он терпеливо продолжает вожделеть, и хоть с неловкостью — но говорит о деньгах, уславливается насчет определенного свиданья и возвращается домой с тем же пьяным старостой.

Этого «свиданья» Митя ждет в состоянии вожделения, окончательно несовместимого с малейшей тенью *юношеской* влюбленности. «Порою, думая об Аленке и представляя себе ее тело, весь начинал дрожать от всерастущей дрожи в животе...»

Но попробуем признать на минуту и это. Митя обезумел, обезволел, его понесло — и донесло до шалаша. Он ждет, «ему кажется, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка». Аленка пришла. Что же должно было случиться с *естественным* Митей (если мы уж допустили, что он, естественный, докатился до шалаша)? А вот что. Или влюбленность его в Катю, — в «одну», — неправда, и все это, с начала до конца, было у него чувственным возбуждением, игрой крови, для которой Эроса не требуется, или неправда, что в последний момент ему не изменила *физиологическая* воля, что любовь тут не защитила себя и что *мог* совершиться обнаженно-тварный акт с чужой «бабой» за «пятерку» (которую он ей и вручил). Живой

Эрос просто не позволил бы этого естественному Мите. Лишь неестественный мог подняться *потом*, хотя бы и «пораженный разочарованием».

Для чего Бунин подчеркивает даже не животную, а какую-то *зловонно-мерзкую* грубость этого соития, тоже почти не естественную? Для чего унижает своего Митю до «заживо умирающих любителей мертвечины?» Мы не поверили бы Митиному «паденью» с Аленкой все равно, и без ударений на «пятерках», на «поросятах», о которых Аленка заговорила, чуть они «поднялись». При большей, как и при меньшей грубости «шалаш» остается не реальностью, изображением не того, что «бывает»... но и не того, что *должно* быть.

О нескольких днях, отделяющих для Мити «шалаш» от Катиного прощального письма (она ушла к другому!), Бунин нам ничего не говорит. Да часы Митиной предсмертной агонии, — дождь, ночь, слезы, невыносимая мука (любви ли?), сон с образами Катиного разврата (не своего ли?), все это, пожалуй, не предсмертная, а посмертная агония. Митя уже мертвец, и «чудовищный мир, где все так безнадежно и мрачно», мир «с такой чудовищной противоестественностью человеческого соития» — конечно, не наш, реальный, мир действительности. На полмгновения в Мите как будто просыпается жизнь, он как будто хочет «простить» Кате (себе, конечно), но тотчас понимает, что «спасения уже нет», *«не может быть»*... Автоматическое движение руки за револьвером, автоматический выстрел в рот, просто от нестерпимой муки — да, это все уже посмертное. Митю убила не Катина измена, и не сам он убил себя от любовной муки, и не убивает его ужас «чудовищного, безвыходного мира», — Митю убил раньше выстрела Бунин, убил в шалаше. Правда, Митина любовь и Митя себе верный, т. е. без «шалаша», все равно были обречены на смерть. Мы видели, что всякая «простая» любовь, любовь как она «бывает», кончается тем последним упрощением, которому имя Смерть. Но вспомним: если художник задается целью изобразить только данное, только любовь «как она бывает», — герой его, в любовном со-

стоянии, действует еще ужаснее, погибает еще быстрее, чем это бывает в действительности, а любовь кажется еще безвыходнее и обманнее.

Попытка изобразить мир в статике, в его настоящем моменте, никогда не удается истинному художнику. Отрицает ли он мировой процесс «восхождения», движения вперед, или просто не хочет смотреть в сторону «всей этой метафизики», — результат один: воля, не направленная *вперед*, оказывается направленной *назад** и *вниз*. Не желая «улучшать» действительность, такой художник ее роковым образом ухудшает. И мир в его изображении становится воистину ужасным вечной победой вожделения над любовью, смерти над жизнью. Ужасным — и *не* реальным, *не* действительным.

Таким образом, разрушение идеи мира восходящего влечет за собою разрушение, — помимо добра, — и правды, и красоты. Ведь красота, по слову Вл. Соловьева, лишь «ощутительная форма добра и истины».

6

Все растрояется, не теряя единства, и не поняв этого, мы никогда не поймем реальности. Реальность же в том, что три задачи, поставленные перед нами, — о человеке, о любви, и о мире, — действительно задачи и действительно соединены неразделимо одним общим смыслом. К которой бы ни подходили мы, но если мы берем ее не как задачу, нам заданную, и с нашим участием, нашей волей разрешаемую, — мы искажаем реальность. И притом искажаем не только реальность любви (когда к этой серединной проблеме подходим), но с нею иска-

* Я очень жалею, что место не позволяет мне сослаться на одну из замечательнейших статей Вейнингера, где он, подчеркивая «односторонность Времени» (т. е. его течение в *одну* сторону, — *вперед*), называет всякое желание «обратности», стремление «назад» — «*не этичным*», исключающим смысл жизни.

жаем реальность и человека, и мира, ибо разъединить три задачи, отделить Любовь от Человека и Мира — нельзя.

Соловьев, говоря о любви, как даре, человеку в жизни ниспосылаемом, говорит, что дар этот «не напрасный, не случайный», что человек обязан принять его в свою волю и *может* разжечь божественную искру в высокое богочеловеческое пламя. Соловьев настаивает, что «дело» любви — не мечтание, не фантастика. Оно такое же реальное и волевое, как дело общественное; как общественного дела нельзя делать, если не видишь в нем задачи и не понимаешь его смысла, так нельзя делать и дела любви. И оба дела ведут к тому же: «к улучшению действительности».

Осуществима ли истинная любовь? А истинное общее человеческое устройство, — осуществимо ли? То и другое — *осуществляемо*, и этого знания для нас достаточно, чтобы мы приняли на себя дело любви как дело, даже если оно является, по Вл. Соловьеву, «нравственным подвигом».

На художнике, в искусстве, лежат подобные же обязанности. Отчуждение искусства от общего движения мировой жизни должно быть отвергнуто. Сепаратизм искусства есть обычно условная ложь, художественная деятельность не имеет в себе самой какого-то высшего предмета, а лишь служит общей жизненной цели человечества. Поэтому художник, который «вносит *новую* действительность, производит *новые* предметы и состояния», ответствен за них и оправдан в творческой воле своей, только если она ведет к правде, т. е. к тому же улучшению реальности.

Искусство — великая сила. Дар художественный — страшный дар. В слове произнесенном всегда есть что-то от заклинания. Зови смерть, побеждающую любовь, и она явится к тебе сонным призраком. Скажи о мире чудовищном, бессмысленном, где Эрос, с его веянием нездешней радости, только злой обман... и не выступит ли тотчас из тьмы гримасничающее Вожделение с его белыми глазами?

Но праведная воля человеческая не хочет такого мира. Пускай еще не сознательно, но ищет, не уставая, человечество смысла своей любви и своей жизни в вечной борьбе с небытием — за бытие.

А чего нельзя найти — того и нельзя искать, сказал Вл. Соловьев. Он же сказал слова, которые не могут остаться непонятыми, если они могли быть произнесены:

«Торжество вечной жизни — вот окончательный смысл вселенной. Содержание этой жизни есть внутреннее единство всего, или — *Любовь*; ее форма — *Красота*, ее условие — *Свобода*».

«ПРАВОСЛАВНЫЙ» СТРУВЕ

Я не считаю особенно продуктивной полемику посредством напоминания П. Б. Струве, что в таком-то году он держался таких-то политических взглядов, а теперь высказывает противоположные. Поворот Струве начался давно, и об изменениях своих политических позиций Струве всегда открыто заявлял. Но о перемене взглядов своих на религию, в частности на Церковь и Православие, мы таких открытых его заявлений не слышали. Поэтому мы вправе напомнить о совсем недавней его позиции в данной области, чтобы сравнить ее с той, которую он ныне занял в своей газете «Возрождение».

Существа вопроса, поднятого в связи с докладом Ильина, — вопроса о «религиозном насилии», о «кресте и мече», — я намеренно не касаюсь. По существу я буду говорить лишь тогда, когда приду к полному убеждению, что мой собеседник тоже берет вопрос по существу, хочет решать его безотносительно, вне зависимости от своих решений в другой области. И я ограничиваюсь пока изложением тех взглядов Струве на православие, религиозную политику и т. д., которые он много раз высказывал и от которых ни разу не отрекался.

В течение нескольких лет, перед самой войной, между П. Б. Струве и группой участников СПБ-ского Рел. Философ-

ского О-ва велся оживленный спор, мало-помалу перешедший в борьбу. Группа отстаивала связь религии с общественностью (и непременно с ее освободительной линией), крайне отрицательно смотрела на подчинение Церкви автократическому государственному строю, одной из причин этого подчинения считая внутреннюю неподвижность Церкви. П. Б. Струве держался взглядов определенно противоположных. Он, во-первых, отрицал в принципе связь христианства, даже какой бы то ни было религии, с общественностью: религия — «приват захе». Во-вторых, что касается Церкви, он не придавал важности ее связи с автократией: на православную, «седовласую», по его выражению, Церковь он смотрел просто как на некую добрую необходимость «для народа», — хотя бы в моральном отношении.

Эти взгляды, с большой четкостью высказываемые Струве и на собраниях, и печатно, привели его к действенному столкновению с группой противников по поводу исключения Розанова из Р. Ф. Общества. Это было во время дела Бейлиса. Струве признавал, что поведение Розанова — непозволительно с общественной, политической, даже моральной точки зрения. Но *религиозное* общество не может будто бы его за это исключать, так как, по Струве, религия не имеет к этому никакого касанья. Розанова все-таки исключили. Тогда Струве, — очень последовательно, — вышел из Совета О-ва.

Спор, — или борьба, — однако, продолжались. Я не могу восстановить сейчас всей линии. Да это и не нужно. Помню, что всякую работу религиозно-общественную Струве называл «демагогией». Именно это было темой моего «открытого письма П. Б. Струве», напечатанного в последней, перед войной, книжке «Русской Мысли», вместе с его ответом. (Приемы полемики в то время были такие, что мы могли спорить рядом.)

Итак — все ясно. Взгляды Струве определены были им самим, с присущей ему четкостью. Что же случилось? Как объяснить, что он стал ныне во главе газеты не просто политической, но православно-политической? Что он грудью защищает «ис-

тинное христианство», Ильина с «православным мечом» и крайне подозрительно и насмешливо относится к религиозному «аполитизму»?

Только два объяснения возможны. Не изменился ли Струве коренным образом? Быть может, религия для него уже не приват захе, «седовласая» Православная Церковь не полезный институт для народных масс, а христианская политика не демагогия? Но если Струве «обрел истину» для себя, то как могло случиться, что об этом — уж не повороте, — а перевороте — он умолчал? Вспомним, что именно *религиозный* переворот, даже в человеке менее прямом и открытом, чем Струве, никогда не происходит тайно. Он по природе, по существу таков, что кладет явный отпечаток на дела человека, он требует доказательства. Еще в политике, на худой конец, можно втихомолку сжечь то, чему поклонялся, и обратно; а Струве даже это делал всегда открыто. Как не покаялся бы он в прошлых «грехах», если б пережил своего рода путь в Дамаск?

Нет, мы вынуждены отказаться от первого предположения. И вот как приходится объяснить неожиданное «православие» Струве: он коренных своих взглядов ни на христианство, ни на Православную Церковь *не изменил*. Он изменил только свою политику. Эта новая политика (новая для него, сама же по себе — наиболее «седовласая» из политик) требует своих аксессуаров, а главное — известных, испытанных, *подпорок*. Одна из таких подпорок — Православие. Что удивительного, кстати, что многие верующие, не мирясь с этой ролью Церкви, пытаются утвердить ее хотя бы аполитизм? Но для Струве иерархия ценностей начинается с политики. Общий же рисунок его религиозных взглядов таков, что никак не может воспрепятствовать использованию Православия; а приспособить эти взгляды, внешним образом, к данной политике совсем не трудно. У многих сегодняшних политических единомышленников Струве — подобная же иерархия ценностей и подобные же религиозные взгляды: приспособление происходит успешно и даже искренно. В искренности Струве я нисколько не сомневаюсь.

Почему, в самом деле, при том взгляде на Церковь, о котором говорилось, не использовать ему, для защиты политики Ильина, Шульгина, Ольденбурга и т. д., — то Сергия Радонежского, то Серафима Саровского, от которого, при случае, можно перескочить к Константину Великому? Не все ли равно, кого потревожить, лишь бы «забились белые сердца» (по выражению Ильина) и годилось бы имя для поддержки «седовласой» политики?

Об этой политике, — политике Возрождения, — я не буду сейчас говорить. Установим только одно: как ее ни звать,— национальной, самобытнической, консервативно-либеральной, либерально-консервативной, — все это словесные узоры. Самое точное, строго точное ей название — *реставрация*, восстановление. А самое краткое и несомненное, что можно в данный час истории сказать о политике реставрационной, это что она — гиблое дело.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Книга XXIV

Когда выходит номер «Современных Записок», критика отмечает: «Книжка составлена блестяще». И это, большею частью, правда. Книжка на книжку не приходится, одна более удачна, другая менее, но каждая несомненно интересна. Журнал имеет свою душу, имеет свое не «направление», а гораздо больше — свое устремление воли. И это хорошо, потому что на его руководителях лежит громадная ответственность: ведь «Совр. Записки» сейчас единственный толстый журнал... во всей подлунной. Единственный «орган независимой мысли», как называли прежде, и впервые действительно не зависимой — ни от какой внешней цензуры. А русская трагедия, вследствие которой журнал выходит не в Москве, не в Петербурге, но в Париже, усилив свободолюбие руководителей, заставила их раздвинуть и внутренние рамки, по сравнению,

хотя бы, с недавним журналом «Заветы» (его редактировала почти та же группа лиц). Можно сказать, что «С. З.» — первый русский журнал, свободный и внешне, и внутренно.

Свобода не исключает единства воли, и, конечно, предполагает свою меру самоограничения. Мы далее увидим, куда устремлена эта воля и как соблюдается эта мера.

В художественном отделе XXIV книжки только две цельных вещи: трагедия «Самсон» Л. Андреева и незначительный рассказ Иванова. Бунин оканчивает свою повесть, Зайцев — свой длинный роман.

Прелестную, душистую повесть Бунина «Митина любовь» — не следовало делить: читатель выиграл бы, прочтя ее залпом. Окончание, взятое отдельно (перерыв ведь почти трехмесячный), может оставить впечатление некоторой грубости; нет первых глав, пронизанных волшебным, всепреображающим, нежным светом. Впрочем, Бунин — художник, образы которого не скоро бледнеют в памяти: магическое действие их длительно.

Роман Зайцева — окончен в тех же прозрачных, благостных тонах, в которых был начат. Благостность — вот главная отличительная черта этого художника. Все равно, какую бы тему ни взял он, — тема «Золотого Узора» трагична — трагедии у него нет. Связывается узел, — но не туго, тотчас сам расходится, от легкого, *благостного*, прикосновения руки. Быть может, это не настоящая, не последняя благость; не от силы, а от покорности. Но и в ней есть свое очарование. «Золотой Узор» — именно узор, нежное плетенье из тончайших нитей.

О рассказе Иванова мне сказать нечего, да почти нечего и о «библейской трагедии» Л. Андреева. Она мало отличается от других его пьес. Пожалуй, эта — одна из менее удачных: безвкусие, от которого никогда не мог освободиться Л. Андреев, здесь очень заметно, особенно в ремарках; а условность языка, — в нее почти все впадают, принимаясь за пьесу из «древней» жизни, — порядком раздражает. Когда прекрасная Далила упорно изъясняется слишком высоким стилем: «Как побледне-

ло твое дорогое лицо, о возлюбленный!», то уж перестаешь верить и в Далилу, и в возлюбленного, думаешь только о своем утомлении.

Ну, а все-таки это Л. Андреев, цветок, достойный находиться в букете «Совр. Записок».

Ходасевич, после своей талантливо-злой, яркой статьи о Брюсове, странно погас, в этой книжке, с Гершензоном. Кто виноват, Ходасевич или Гершензон, — не знаю; но рисунок вышел из фона. Должно быть, оба виноваты; в Гершензоне была эта «бесфонность», какая-то отщепленность от реальности и от смысла ее (да, и от смысла!). Ходасевич сам не чужд подобной же отщепленности — это его провалы, — и он бросился радостно навстречу Гершензону.

Тотчас они оказались вместе... где? о, конечно, в литературе, с Пушкиным, с его русалкой, с самыми высокими ценностями, но — вне России, вне трагедии, даже вне времени. В какой-то горькой легкости.

Шестов о том же Гершензоне написал тяжелее и глубже. Но Шестов всегда глубок, — глубок и страшен; к легкости он неспособен по природе.

Я не буду перечислять всех статей, вошедших в книжку; меня интересует она в целом, и даже лик журнала в целом, — его задания и достижения. Отмечу прекрасно написанные очерки Талина. Его «Шкраб» (в 23 книжке) производит такое же потрясающее впечатление, как и рассказ Шмелева «Об одной старухе» (тоже в 23 книжке). Хотя Шмелев — «беллетристика», а Талин — только «правда», оба произведения мне кажутся «художественными». Должно быть, в наши дни все больше стирается грань между искусством и жизнью, или куда-то перемещается...

«Совр. Зап.» допускают самую широкую свободу в своем художественном отделе. Этим выполняется первое задание, — сберечь для России цвет ее культуры. И заметим, — к чести журнала, — что он старательно блюдет *меру* этой свободы и широты...

Но и широта, и ее мера, — очень волнуют пражскую «Волю России». Если искусство аполитично, то почему не открывают «С. З.» своих страниц советским «молодым росткам»? Что за подозрительное предпочтение «эмигрантщины»?

Не одно, впрочем, «искусство» беспокоит «Волю России», этот наш консервативнейший (в прямом смысле слова) журнал. Как охранитель традиций он не может допустить, чтобы и мысль двигалась не по традиционной колее. Так, определенно тревожит его внимание «Совр. Записок» к вопросам философии и религии (которое он даже называет «вступлением в брак с метафизикой...»).

Тревога, пожалуй, не напрасная: это внимание не обещает ничего доброго охранителям традиций. Оно свидетельствует, что «Совр. Зап.» не хотят ограничить своей задачи одним культурным делом, но стремятся расширить задачу — быть может, вплоть до попытки *создания новой идеологии.* А при этих условиях нельзя, конечно, оставлять в стороне указанные вопросы.

XXIV книжка заканчивает полемику с Бердяевым о религиозном понимании свободы. Согласно культурному обычаю, редакция поместила ответ Бердяева на тех же страницах, где были напечатаны статьи его противников. К сожалению, ответ, слишком отвлеченный, а местами слишком взволнованный, мало внес нового. Степуну ничего не стоило, в остроумной своей отповеди, доказать, что спор ведется в разных плоскостях и что у Бердяева как бы не имеется настоящего времени, есть только прошедшее и будущее. Вишняк, со своей стороны, справедливо отметил неисцелимость бердяевского максимализма.

Политический отдел книг составлен, большею частью, интересно и разнообразно. В нем обращают на себя внимание, — крепостью тона, — статьи С. Ивановича; несколько односторонние — они всегда тверды и отчетливы.

Можно сказать, что «С. З.» везде, где только могут, стараются выдержать свою линию, несмотря на предостерегающие голоса традиционистов. Книжка на книжку не приходится, конечно, как час на час; всегда возможны ошибки, минутные пе-

ребои, как бы истончение избранной линии... Но нужно ли говорить об этом? Без перебоев и задержек не обойтись. Слишком трудно положение этого первого русского свободного журнала, и слишком широки обе его прекрасные задачи: сохранить наши подлинные культурные ценности и найти новые идеологические обоснования для борьбы за свободу новой России.

О ЖЕНАХ

«Две жены» («Толстая и Достоевская», комментарий Ю. Айхенвальда) – книжка скромная, нужная, очень интересная. Жаль, конечно, что она отрывочна, что дневник Достоевской приведен не целиком... Новый богатый материал еще остается не собранным и большинству неизвестным. Но это впереди, а пока – хорошо, что выходят и такие, многим доступные, издания.

Помимо своей интересности, книга наводит на общие размышления. Жены великих людей? Какой должна быть, *в идеале*, жена замечательного человека, гениального писателя? Как представили бы мы себе идеал жены для такого писателя? Беззаветно преданное женское существо, нянька, любящая кухарка, словом – самоотверженная «служительница гения»? Многие думают так, прибавляя служительнице украшающие названия «подруги», «опоры», «утешения» и т. д., что дела не меняет. Служительница – еще лучшая жена, это бесспорно. Идеала, однако, тут нет. Говоря откровенно, я и в воображении не могу себе представить ни идеальной жены для выдающегося, большого писателя, ни идеального для него брака.

Другое дело – брак удачный, брак «счастливый»... более или менее. Среди русских писателей мы немало найдем таких *сравнительных* счастливцев. Я говорю о браке «счастливом» для писателя в его цельности, т. е. для него – человека и для него – художника.

Два имени вспоминаются; самого несчастливого и самого, на мой взгляд, счастливого... Это не Толстой, и не Достоевский. Я назову имена ниже, а пока вернемся к Софье Андреевне и Анне Григорьевне.

Мне довелось видеть обеих.

Анну Григорьевну мы в 90-х годах встречали у Полонского. Она была уже расплывшаяся пожилая женщина, в наколке, молчаливая, с добрым и настойчивым выражением глаз. Дочь ее говорила много, подчас остроумно, всегда зло. В ней чувствовалось то, что французы называют «aigreur» *. Ее бледное, некрасивое лицо напоминало, вероятно, лицо Федора Михайловича.

Анна Григорьевна со скромным достоинством несла свое звание «вдовы Достоевского», никогда как будто о нем не забывая. И это в ней было хорошо. (Мы встречали, у Полонских же, и другую «знаменитую вдову» — гр. А. К. Толстого. Не похожа она была на Анну Григорьевну: так царственно проста, и так царственно некрасива. Вот брак, — наряду с браком Баратынского, — тоже достойный глубокого внимания... Но это в скобках.)

Прошло несколько лет. А. Г., в большой свой квартире, на Кирочной или на Фурштадтской, не помню, — уже одна: дочь ее оставила, поселилась отдельно, сын тоже: его поглотила страсть к лошадям (страсть — с младенческого возраста, как упоминается в дневнике матери). Но... мне казалось, что А. Г. не чувствовала себя ни особенно несчастной, ни особенно одинокой. Дети не были для нее тем, чем были для С. А. Толстой, носившей в душе какой-то монолит, что-то громадное, где в неразрывном единстве пребывали и муж, и дети. У Анны Григорьевны — другая душа. Достоевский спрашивал: если жениться — взять ли «умную», или «добрую»? И выбрал — добрую. Добрая и положила всю душу, без остатка, на него — одного.

* язвительность (*фр.*).

К нему, человеку, — она подошла через «великого человека»; притом — не случайно! — через *физическое*, конкретное касанье к его дару: знакомство началось с «Игрока», написанного под его диктовку. И физическое, плотское отношение к созданному Достоевским осталось у жены его на всю жизнь. Одна, без детей, в пустой своей квартире, она продолжала жить той же благоговейной, любовной заботой о *плоти* произведений своего великого мужа: вся была в его письмах, в хранении каждой бумажки и в деле *издания* его книг. Начала издавать еще при нем, толчок дало, конечно, бедственное положение Достоевского и практическая сметка жены; но главной оставалась любовь к его книгам, которую она соответственно и выражала. После смерти Достоевского издания стали приносить большой доход. Насколько радовало это Анну Григорьевну — не знаю; во всяком случае жила она внутренно, в меру своего духа, не этим, а именно делом любви к тому, во что проникнуть, быть может, не могла, но что *осязала* как великое.

Да, жизнь Анны Григорьевны, при человеке с характером Достоевского, была не жизнью, а «житием». Достоевский любил ее; но «влюблен» в нее, конечно, не был никогда. Влюблен мог он быть, скорее, в такое страшное — и низменное — существо, как Аполлинария Суслова (приукрашенная Полина в «Игроке»). Совсем ли он был свободен от этой едкой влюбленности, диктуя «Игрока» молоденькой стенографистке? Не думаю. И уж если где видеть руку Божью, то, конечно, в своевременном ниспослании Достоевскому этой милой девушки. От Сусловой, уже сорокалетней, не спасся юный В. Розанов. Но Розанову, пожалуй, и следовало пройти годы испытания, когда ежедневно смешивал он, умываясь, теплые слезы с холодной водой. В свое время послано было избавление и Розанову.

Я не могу удлинять моего очерка еще этой «женой». Скажу лишь, что стоит раз взглянуть в глаза Сусловой, даже старческие, чтобы поверить и в каждодневные слезы розановские, и в утопившуюся воспитанницу старухи, и во многое другое... вплоть до возможной влюбленности Достоевского. Не между

«умной» и «доброй» пришлось ему выбирать, а между «злой» и «доброй». Благо нам, что он выбрал «добрую».

Анна Григорьевна — из тех, «лучших» жен, «служительниц гения», в браке с которыми великие люди находят возможное для них «счастье».

Брак Толстых — того же типа, только совершеннее. Он и был, в течение многих лет, счастливейшим. Толстой не только любил Софью Андреевну, он был и «влюблен» в нее, до старческого возраста, притом в нее — одну. А С. А. — из «лучших» — лучшая жена, подруга, — и «нянька таланта». Цитирую: «Не только жена, но и *поклонница гения*».

Трагический конец этого брака обусловлен самим его совершенством, в связи с исключительными личными свойствами и мужа, и жены. Толстой не был, сам, *в меру* своего писательского дарования. Оно росло, но и он рос; рос — и перерос его. Вверх или в сторону пошел этот рост «человека» — не будем сейчас разбирать. Факт тот, что человек-Толстой и писатель-Толстой перестали совпадать, как совпадали раньше. Этого постигнуть С. А. не могла. Она-то была уже на последней, высшей точке *своего* развития, очень гармонического. Развивалась рядом с мужем, шла вместе с ним, но — путь ее кончался там, где еще не кончался путь Толстого. Идти все-таки дальше, за ним? Без своего пути, — идти чужим? Слабая женщина так, вероятно, и поступила бы. Но С. А. женщина не слабая. И она бросилась в борьбу.

Святая борьба: ведь С. А. ведет ее за свои высшие, последние ценности, за мужа — гениального писателя, которому жизнь отдала на служение, который сам же возрастил ее душу, ее силу и дал ей детей, пребывающих в ее сердце нераздельно с ним. Но не могла борьба не кончиться трагически, так как боролась С. А. *вслепую*, не только не понимая нового Толстого, но даже не постигая факта его появления.

Она в борьбе не победила; но — не победил и он. Вернее же всего сказать, — и это поймут когда-нибудь, — что оба они вышли из борьбы победителями.

Когда Айхенвальд, комментируя «Записки» С. А-ны, становится на ее сторону, особенно в усилиях ее вернуть Толстого к чисто художественной работе («для нее ты создан!»), жалеет, что Толстой «подавлял в себе художника и холодными дуновениями морали тушил свою поэтическую, свою божью искру», — Айхенвальд не видит Толстого во весь рост. Софью Андреевну он видит; и прав, утверждая, что она не могла и не должна была «стать толстовкой».

Он прав и в определении личности Черткова. Чертков — несчастная и печальная деталь этой великой трагедии.

Я помню, как Чертков пришел к нам, в 15 году, во время войны, со своей знаменитой рукописью «Уход Л. Толстого». Чертков всегда производил на меня исключительно неприятное впечатление; особенно раздражала его какая-то «подколодная» смиренность. Тут они оба (его сопровождал маленький толстовец Шохор-Троцкий) сидели, как водится, поникши, пили бесконечный чай, — но отнюдь не с сахаром! с леденцами, — и Чертков тихим голосом говорил о рукописи: он намеревался ее печатать теперь же (хотя С. А. была еще жива) в Англии. Рукопись он оставил на два дня нам, для прочтения (сам вызвался), с бестактной просьбой «ничего из нее не переписывать». Как будто стали бы мы делать выписки из чужого текста!

Содержание «Ухода» в самом деле отвратительно по неприкрытой злобе к С. А. Чертков хуже, чем лжет: невиннейший факт он умеет преподнести как преступленье. Думаю, например, что С. А. действительно сказала (в ответ на упреки, что она «убивает Льва Николаевича»): «Ну что ж, я тогда поеду за границу: я там никогда не была!» Она сказала мне, в 1904-м году, на яснополянском балконе, чуть не слово в слово ту же фразу, — только не в раздражении и отчаянии, а весело-шутливо: «Вы едете в Италию? Вот, оставайтесь с Л. Н., а я поеду за границу — я там никогда не была!» Чертков вывел бы из этой фразы, что С. А. собиралась бросить Толстого и бежать, на старости лет, за границу с «другим»; ведь вывел же, из подобных слов, что С. А. «желала смерти Л. Н-ча»!

Много мне пришлось перевидать толстовцев; но Чертков — стоит особняком. Его можно, впрочем, разгадать: это фанатик особенного подвига. Он не выходил из тайного перед ним восхищения, он преклонялся перед его величием и громадностью жертв, которые принес «идее». Жертва не могла не казаться ему громадной, так как он продолжал высоко оценивать все, от чего отказывался: положение, состояние и т. д., и т. д. Не естественна ли, поэтому, и злоба к «непонимающим», и подколодность смирения, и жестокость в борьбе с «врагами», вроде С. А., и беспощадная требовательность к другим, без разбора, вплоть до самого создателя «идеи» — Льва Толстого?

Софью Андреевну вряд ли и теперь уже нужно от кого-либо защищать, а тем менее от Черткова. Облик этой цельной женщины, все, в меру данного, исполнившей, — нам достаточно ясен. Не «идеальная» жена гения, конечно, — мы видели, что «идеальной» и вообразить нельзя, — но та из «лучших», к типу которой принадлежит и А. Г. Достоевская (в бледном отпечатке). Эти лучшие жены и создают наиболее счастливые, — или наименее несчастные, — браки замечательных людей, великих писателей.

Кто будет спорить, что самым несчастным в прямом смысле — окажется брак Пушкина? В погибельном конце этого брака бессмысленно было бы винить жену. Это брак равно несчастный для обоих. Она не годилась для гения, а он не годился для нее, что доказал ее вполне счастливый второй брак. В трагическом конце или виноваты оба, или не виноват никто, хотя конец этот — не случайность...

Есть большой писатель, на мой взгляд — «счастливейший»... Но я едва решаюсь назвать имя, так спорно его «счастье» в глазах большинства. Однако нет сомнения, что никто не переживал любовь-влюбленность к женщине так полно, остро, длительно, и ничье дарованье не отразило любовь так особенно, с такой своей глубиной и сияньем. А женщина не была из «лучших» жен: она совсем не была женой, потому что и брака, в обыкновенном смысле, не было.

Я говорю о Тургеневе. Для него в цельности, т. е. для него с его дарованием, такая любовь была воистину счастливейшей. И, пожалуй, его судьба — есть лучшее, что можно пожелать большому писателю.

Но ведь «брака» не было? Ни брака, ни семьи, ни заботливой «няньки таланта», лучшей из жен? Или замечательному человеку, большому писателю, гению, для которого жены «идеальной» и придумать невозможно, — лучше оставаться без всякой, даже самой лучшей?

Этого я не знаю. Это вопрос неразрешимый для нас, он сам как-то решается, самой жизнью.

А мы, в жизни, только можем преклониться перед женами лучшими, перед Софьей Андреевной Толстой, Анной Григорьевной Достоевской и многими другими, им подобными, перед женами-хранительницами избранных сосудов — великих людей.

ЧЕРТА НЕПЕРЕСТУПИМАЯ

(Из современных разговоров)

П е с с и м и с т. — Как вы пережили ваше недавнее разочарование?

О п т и м и с т. — Я разочаровался? В чем?

П. — Да в новой газете Струве, конечно. Помните ваши надежды на собирание эмиграции к «центру», на образование даже двух центров, правого и левого? Разве вы не думали, когда появилась газета, что она образует правый центр? С какой быстротой должны были разрушиться ваши надежды!

О. — Но вы ошибаетесь, я их не имел с самого начала. Между прочим, потому, что уже знал — (воспользуюсь выражением самого П. Б. Струве) — о его «личной негодности» для центра. Несколько лет тому назад, П. Б., при мне, со свойственным ему тяжелым блеском, доказывал: нет ни одного, наиправейшего левого, который не был бы связан — крючочек за петельку — с

большевиками и с их идеей. В одну цепь. Ну, а кто так думает, тот сам уже соединен, — тем же методом крючочков и петелек — с Марковым 2-м и... его идеей. Причем здесь центры?

П. — Хорошо, центры оставим. Во всяком случае, что касается вот этой, последней, марковской идеи... «Возрождение» ее нигде не называет.

О. — Называть ее вообще сейчас не принято. Тактика, для «Возрождения» сугубо обязательная. Но если в газете, изо дня в день, даются все аксессуары определенной идеи, — до мелочей! — если проводятся неуклонно именно ее линии, так, чтобы и сомнений быть не могло, — важна ли, для нас, ее неназванность?

П. — И вы утверждаете, что «Возрождение» — газета не просто правая, но реставрационная?

О. — Скажем еще прямее: стоящая за восстановление русского *самодержавия*. Излишне добавлять: «во всей его полноте»: ведь оттенков не имеется. Или речь идет о самодержавии в полноте, или вовсе не о самодержавии.

П. — Я боюсь, что вы слишком резко упрощаете идею возрожденцев. Даже если допустить, что вы правы, — они, благодаря обходной тактике «неназыванья», от такой упрощенности легко могут увернуться. А кроме того, насчет Струве: имей он, действительно, идею, о которой вы говорите, разве он так бы и не сказал, с обычной своей прямотой: вот, мол, в чем единственное спасение?

О. — Вы забываете: Струве — книжный, кабинетный человек. Он знает идею, а чуть дело доходит до ее воплощения, до действий, до тактики, — он доверяется другим. Тактика сегодняшняя — зазывать в лагерь с именем «неначертываемым»; и Струве старается не начертывать... поскольку может. Что же до моих «упрощений», то, согласитесь, если упрощение только «*уточнение*», и если это можно доказать, — кроме добра ничего из этого не будет. А доказать не трудно.

П. — Пожалуй. Да, приемы «Возрождения», обходные пути, как вы говорите, и вообще очень грубы.

О. — Не на нас же с вами они рассчитаны. Не мы нужны. Кто нужен — тот не разберется в невежественной статье Шульгина (Ежов еще примитивнее). А на всякий случай Шульгина в передовой смягчат, выдав его за *«enfant terrible»* *, а его апломб за «блеск». Однако тотчас усиливают тон Ильиным (которого не смягчают). Ведутся хлопоты по выдвижению вперед православия, причем «полнейший консерватизм церкви» уже безбоязненно устанавливается, как необходимость, и Карташевым, и передовиком.

П. — Кстати, об Ильине. Последняя статья даже меня поразила. Во-первых — самый тон полемики...

О. — Ну, это у всех «благочестивых», словно из «Потока-Богатыря» А. К. Толстого: «...И когда бы не этот мой девичий стыд... я б тебя, прощелыгу, нахала, и не так бы еще обругала».

П. — Во-вторых — поучения от Писаний апостольских, с явным расчетом, что никто «текстов» не знает...

О. — Тоже обычный прием спора, безрезультатного даже между начетчиками.

П. — Но здесь прием до смешного грубый. Какие начетчики! Ребенок может обличить Ильина: выписки о «начальнике, не напрасно носящем меч», он начал с 3-го стиха послания к Римл. А 1-й почему опущен? В нем (та же 13-я глава) сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Ильину придется, таким образом, объявить, вопреки рассудку, что в России сейчас не *существует* большевицкой власти, или признать, что он, «противящийся» этой власти, *«противится Божию установлению»* (стих 2-й, тоже опущенный). Вот как опасны тексты! Но подождите, это не все: рекомендуется, наконец, самая отвратительная, самая кощунственная из всех статей о смертной казни, — Жуковского: проект — казнить при звоне колоколов, при церковном пении, при благоговейно безмолвствующем народе, чтобы зрелище казни «воспитывало его

* «ужасный ребенок» (*фр.*).

в христианском духе взаимной любви и совместной молитвы» (по Ильину). Дальше идти некуда!

О. — Вы забыли, что завершая разгром противника, благочестивый автор отсылает его, между прочим, к сочинениям и «катехизису»... Антония Волынского. Так вот где «правда»! Эта черточка отлично дополняет картину. Конечно, все это переливается в демагогию чистейшей воды. Демагогия — смешение, подмена одного понятия другим. И христианство открыто подменяется «православием», принимаемым как второй член уваровской триады. Так же, далее, либерализм подменяется консерватизмом, патриотизм умышленно смешивается с национализмом. Вы свободолюбивый, верующий патриот? Да, да, говорят вам, это и нужно, ибо вы, в сущности, консервативный, православный националист. А у православного националиста — какое у него может быть «во имя», какая единая русская мечта? Конечно, только «безпрограммное» (зачем программы, когда действует благодать?), веками освященное имя *теократической*, самодержавной Руси.

П. — Вы подчеркиваете теократичность самодержавия?

О. — В этом его суть. Это и отделяет его от всех других форм государственности, не исключая монархических. До такой степени, что самодержавие вряд ли может быть названо государственной формой. Покоясь на абсолюте, на Божьем установлении, оно по существу неподвижно. С религиозной, с христианской точки зрения, самодержавие есть величайшая ложь, а с православной, благодаря тому, что Православная Церковь не признает наместничества, должно было бы признаваться кощунством. Церковь, отвергнувшая папизм, не может, религиозно, не отвергать царизма, как еще худшую лжетеократию.

П. — Мы видели, однако, и видим, как раз обратное...

О. — Т. е. мы видели самодержцев, возглавлявших Церковь. Мы видим, что и теперь идейные самодержавцы берут своим главным орудием Церковь... «Возрождение» — газета самодержавная и... нарочито православная. Я говорю: нарочито, ибо в этом забирании в руки православия, в делании из него служеб-

ного орудия, — такое непонимающее неуважение к Церкви, что ни о какой действительной религии и не приходится говорить. Пользоваться Церковью как средством (пусть необходимым) для восстановления абсолютизма, да еще пользоваться, благодаря ее внешней, привычной слабости, — могут или невежды, — в лучшем случае! — или чистые политики, чистые позитивисты, неверующие до неуважения и непонимания чужой веры. Струве, как мы знаем, принадлежит к последним. Но он, приняв идею самодержавия, не мог не принять его теократического устоя. Отсюда и «православие» «Возрождения».

П. — Знаете, до этих устоев и «глубин» самодержавия обыкновенно не добираются.

О. — К сожалению. Ведь находятся наивные люди, которые еще спрашивают, может или не может самодержавие «эволюционировать»? Это почти то же, что сомнение: а не может ли эволюционировать большевизм? Между самодержавием и большевизмом тут полная аналогия: оба, покоясь на абсолюте, — неподвижны. Оба или есть — или их совсем нет.

П. — Уж не считаете ли вы, что и теократичны они оба?

О. — Конечно, считаю. Ведь содержание абсолюта, на котором они одинаково покоятся, не играет в данном случае роли. Знаете, почему в левых кругах порою неотчетливо понимают большевизм? Потому что не понимают по-настоящему самодержавия.

П. — А самодержавцы понимают?

О. — Да, хотя зато ничего другого не понимают. Ведь они Россию мыслят *только в углу*, своем или противоположном, никогда в свободном пространстве между углами. Самодержавие победимо лишь революционным путем, — и посмотрите, как они ненавидят революцию, всякую, даже самое слово «революция». Неабсолютист, не признающий «углов», тем самым уже признает и революцию (добольшевицкую). Отсюда только и можно говорить о «центрах».

П. — Нет, знаете, если так — пожалуй, и вовсе о них не стоит говорить, о «правом», по крайней мере. Видали ли вы —

даже не политика с правым уклоном, но «никакого» обывателя, антибольшевика, который не посылал бы «революции проклятья, и Октябрю, и Февралю»? Он вам и самодержавие отвергнет сто раз, и монархизм; он, пожалуй, и демократию «примет», а попробуйте заикнуться насчет революции...

О. — Эти непосредственные чувства плохо разобравшихся людей логику не уничтожают. Дело времени. Но сознаюсь, до центров им далеко. Работа Струве и иже с ним, разделив эмиграцию, как никогда дискредитировала самые идеи центра.

П. — Положим, и до Струве, в мысли о двух центрах многие видели какой-то сто первый призыв к «единому фронту»... во имя свержения большевиков.

О. — И резонно против него возражали. Еще бы! Какой «единый фронт!». И как будто можно кого-нибудь свергнуть «во имя» свержения! Как будто есть отрицательное «во имя»! Уверяю вас, причина этих недоразумений — опять в недостаточном понимании самодержавия, его обособленного положения.

П. — Еще недавно вас это непонимание мало беспокоило.

О. — Пока яма была открыта, и туда звали Марковы, Суворины, Антонии и Кириллы — особенно беспокоиться было не о чем. Теперь другое. Теперь Струве прикрывает яму хворостом и сухими листьями: правительством с царскими полномочиями — но под видом «сильной, в случае нужды, власти»; Романовым, — но называя его «Вождем»; тем же Антонием, — но под именем православия и даже христианства... Не бороться с этим, теперь, — было бы безбожно.

П. — И борьбу они сумеют использовать для своей выгоды. Мы, мол, хотим спасти Россию, а вот эмигранты-революционеры предпочитают большевиков, только бы не мы ее спасли! Назовите их самодержавцами — отрекутся, ведь имя «не начертано»! Только объявят, что вы запугиваете «призраком царизма»...

О. — Это легко предвидеть. Но ведь дело не в том, что они будут говорить, не в них самих, и уж, конечно, не в «призраках

царизма». Я, по крайней мере, не очень боюсь, что этот призрак готов облечься плотью и кровью. Дело в обмане, и думать надо о честном среднем слое эмиграции, о «малых сих», для которых фанфары и замаскированные призывы возрожденцев-абсолютистов приобретают силу соблазна. Таких «малых сил» много... Одной бывшей военной молодежи сколько!

П. — На нее-то и направлены главные усилия. Все ведь около «армии» вертится. Зовут к «сплачиванью армии вокруг Вождя»...

О. — Видите! Для нас с вами преступная бессмыслица такого призыва очевидна, ибо совершись завтра, чудом, сплоченье, — сплотившимся нечего было бы далее делать. Но зовущие, хотя никаких обещаний дальнейших не «начертывают», дают широкий простор надеждам: сплотиться — не для сплачиванья же? Не для стояния же на месте вокруг Вождя? Здесь соблазн умолчаний. И соблазн немалый.

П. — Конечно, поскольку это призыв, для реальной борьбы, к поспешному приведению «армии в боевую готовность», — вы правы: обман. Но я заметил, что Струве старается, кое-где, его замазать, умерить интервенционные рвения своих сообщников: до этого, мол, еще далеко... А что касается вообще забот о русской армии — тут еще нет худого.

О. — О русской армии? Да разве кто-нибудь, в кругах «Возрождения», думает о *русской* армии? Там думают и говорят о *белой* армии, которую хотят реставрировать, и даже в более соответственном духе. Корнилов им теперь в «Вожди» бы, пожалуй, не подошел... Но подождите, послушайте: вам известно отношение к белой армии и мое, и многих из нас, в ней когда-то работавших. Я не хочу судить ее ошибок. Я храню благоговейную память о том высоком, что там было, и знаю: если б, *в свое время*, не существовало этой борьбы, мы, пожалуй, не смели бы смотреть в глаза чужим и своим, как теперь смотрим. Но — белая армия *прошлое*. Она невоскресима. Большевиков, если их победит армия, то не белая, не зеленая, не желтая, не красная, а только *русская* армия.

П. — Многие ли это поймут?

О. — Реставраторы — никогда, но соблазняемые ими — поймут. У кого в душе жива Россия, кто органически связан с ней, тот и сейчас, чутьем, это понимает. Для самодержавцев Россия — то, что в России умерло. Естественно, что они хотят восстановить, возродить эту ихнюю Россию, и себя в ней. Но не о них забота. Забота о тех, кого они могут обмануть призывами на святую борьбу под не святым знаменем. Соблазняемые должны увидеть, что такое это знамя, — которое соблазнители даже не осмеливаются открыто развернуть. Они говорят, что на нем Божье имя написано, — но Божье ли? С ним нет победы, а если б и была, на мгновенье, то для горшего возврата родины в те же *красные* тиски, в тот же угол, в котором она задыхается сегодня. Борьба с реставраторами — в раскрытии обмана. Я знаю, борьба внутренняя, здесь — всегда на радость врагам России. Но Струве и его сообщники сделали ее неизбежной.

П. — И не легкой, если иметь в виду их тактику, обходные пути умалчивания. Кроме того — в их руках Православная Церковь, орудие серьезное, особенно с вашей точки зрения: вы подчеркиваете «теократизм» самодержавия, как сторону важную, хотя и наиболее религиозно уязвимую. Насколько я вас понял — вы отрицаете возможность поддержки самодержавия христианством. Не отыщет ли Церковь в себе силу быть не *белой*, а просто христианской Церковью? И, наконец, если именно религиозный соблазн абсолютизма так велик, — много ли найдется борющихся с ним в той же плоскости?

О. — Не беспокойтесь, борьба нужна во всех плоскостях. Все понимаете, все голоса нужны. Внутренняя, религиозная, ложь самодержавия окрашивает и другие его стороны в такой наглядно-ложный цвет, что и политическая, и всяческая, его несостоятельность становится весьма легко доказуемой. Обходная тактика «Возрождения» тут даже полезна: слишком выпукло бессмысленными делаются некоторые положения, когда их выдвигают самостоятельно, умалчивая о первой предпосылке, безымянно. Нет, «Возрождение» и его кампания —

лишь тяжелый эпизод в жизни эмиграции. Тяжелый, поучительный, обязывающий; но ведь верю в разум и добрую волю интеллигенции здешней: она с ним справится.

П. — Посмотрим. Меня, по правде сказать, утешает и то, что возрожденцы взяли слишком высокий тон, повели работу слишком ускоренным темпом: надолго их и самих, пожалуй, не хватит. Вы не думаете?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В предвоенные и военные годы у нас все больше издавалось интересных книг: историко-литературные материалы, собрания писем, старые записки, семейные хроники... Во время войны к таким книгам особенно влекло, и мы, в Петербурге, ничего почти другого и не читали.

Понемногу стал вырабатываться тип книги, который я и считаю «самым интересным». Это не голые исторические материалы и не сухое исследование какой-нибудь эпохи; это, конечно, и не «исторический роман». Книга данного типа соединяет в себе все: она дает и материалы, и вдвигает нас в известную эпоху; и в ней, как в историческом романе, есть непременно «герой», т. е. одно центральное лицо. Только герой этот рисуется в строго подлинных обстоятельствах его подлинной жизни.

От автора такой книги, которую всего вернее назвать «*живым романом*», требуются самые разносторонние способности. Он должен быть историком, точным исследователем, архивным ученым, — и в то же время психологом, угадчиком, настоящим беллетристом. Ему приходится соединять величайшую объективность с творческим субъективизмом, *не быть* самому в книге — но и *быть*, связывать собою ее единство.

Не знаю, какому гению был бы по плечу настоящий «живой роман». Но и приближения к нему, попытки создать его,

дают, — при малейшей удаче, конечно, — книгу *«самую интересную»*.

Я знаю несколько таких попыток, о них стоило бы упомянуть. Но вот последняя по времени: труд Е. А. Ляцкого «Роман и жизнь» (Развитие творческой личности Гончарова, Изд. «Пламя», Прага).

Е. Ляцкий, как влюбленный в российскую литературную историю, известен давно. И в этой книге (я подчеркиваю, это не «биография» Гончарова, это попытка создать «живой роман» с живым «героем») он не изменяет себе — историку: большой том (первый) составлен по тщательно собранным, новым, материалам, снабжен подробными примечаниями. Документальная сторона представлена, насколько я могу судить, с исчерпывающей полнотой. Это основы, а также строгие рамки, в которых течет повествование.

Герой «живого романа» — сам писал романы. И Ляцкий часто пользуется, для рассказа о нем, рассказами о себе его героев. Можно спорить, всегда ли верно попадает Ляцкий; но порою, кажется, действительно: и Обломов, и Райский, говоря о себе, рассказывают нам что-то о жизни и душе их творца.

Вот Симбирск — родина Гончарова, — знакомый нам, как милый сон, по Илюше Обломову, по Вере из «Обрыва». Захолустный приволжский городок начала прошлого столетия... Ляцкий-рассказчик удивительно умеет вводить читателя в *атмосферу* времени и места. А вот и живые люди, семья героя... Тайна двойного к ним интереса в том, что в них не только веришь, но знаешь, что они доподлинно жили и доподлинно — так.

Мальчик Ваня — какой он? Балованный, в пуховиках распаренный, нежно-душный Илюша? Да, конечно, но и не совсем Илюша. В нем, кроме детской скорости и пытливости, уже есть и затаенность, и тяжесть природного старика. Он недаром родился от 58-летнего меланхолика. Развертывается неторопливая повесть и, словно в романе Диккенса, заставляет нас все больше сживаться с героем, привыкать к нему особой, любовно-родственной, привычкой.

Детство с его патриархальной «учебой», отрочество и, наконец, — Ваня студент.

Роман развертывается. Не покидая своего героя, автор, *через него*, показывает нам картину Московского университета 30-х годов, лица всем памятных профессоров, некоторых студентов... Что увидели в этой блестящей эпохе глаза сосредоточенного, немножко равнодушного, Вани Гончарова? Здесь я улавливаю первый недостаток «романа»: автор чрезмерно влюблен в своего героя. Благодаря этой влюбленности Ляцкий не всегда видит в ярко выпуклом образе Гончарова, им же самим нарисованного, то, что видим мы... Несомненная «безвечная веселость» юноши, как и его ранняя любовь к литературе, его обожание Пушкина, его зоркость и наблюдательность... Но несомненно также и присутствие какого-то старчества уже в Гончарове-студенте. Он не открыто весел, он всегда отдельно, в сторонке, на отлете... И он *не почувствовал*, где бьется пульс жизни современного ему Московского университета.

Но университет кончен. Ваня опять дома. Семья смотрит ему в глаза, он франтит и танцует на симбирских балах. Конечно, он не весь в этом, его тянет в Петербург, но... через год он поступает на службу к местному губернатору Загряжскому. Это важный момент в жизни Гончарова. С этой «службы», какова она ни была, начинается нудная лямка долгих-долгих лет. Да, тягота, скука; вечная помеха делу душевному — литературе; чины и повышения, медленные, Гончарова не занимают; а все-таки.... «служба» в его природе. «Он одного дня не мог бы представить себе вне службы», — заключает даже Ляцкий.

Лишь тогда, когда Загряжского выкинули из Симбирска, осуществилась мечта Гончарова попасть в Петербург. Он едет туда «для души», конечно... хотя, разумеется, и служить. Очень скоро удалось ему пристроиться в Мин. Финансов, где он и остался на долгие годы. «Департамент» — тоже какая-то сторона его души.

Другая сторона ее нашла, для возрастания, счастливую почву в семье Майковых. Здесь Ляцкий вводит нас в атмосферу

одного из типичных уголков тогдашнего Петербурга. Прелестный «эстетизм» этого уголка не был в главном течении интеллектуальной жизни, а чуть-чуть «в сторонке», что как нельзя более подходило Гончарову. В приятно разреженном воздухе этого изящного салона он и возрастил свой талант.

Первые литературные опыты его читаются и перечитываются в дружеском кружке. Медленно обдумываются они, медленно пишутся, — все медленно у Гончарова. Наконец готов и много раз прочитан вслух первый роман — «Обыкновенная история». После долгих колебаний, — Гончаров мнителен и самолюбив, мягкотел и настойчив, — он уступает друзьям и решается напечатать роман. Ему нужно для этого выйти из «уголка», соприкоснуться с кругом литераторов, чуждым ему по духу и по темпераменту. Ляцкий дает нам живую историю этого первого соприкосновения своего героя с Белинским, Некрасовым, Языковым, Панаевым... «Неистовый Виссарион», конечно, увлекся произведением нового (если и немолодого) романиста. Это неудивительно: Белинский часто ошибался, но часто и прозревал, сквозь настоящее, будущее... Что удивительнее на первый взгляд — это шумный успех, «фурор», который произвела «Об. история» (напечатанная в «Современнике» 47 г.). Этот роман недаром кажется нам таким устаревшим. Сколько ни защищай его влюбленный в автора Ляцкий, надо признать, что это первая проза Гончарова, хотя бы по искусственности и многословию, не очень далеко стоит от романов Панаева. Успех можно, впрочем, объяснить: настоящая оценка неувядаемой прозы Лермонтова, Гоголя, Пушкина была тогдашнему среднелитературному читателю еще не под силу. «Обыкнов. история» давала новое, но *в меру*, не отрывая резко от привычных форм. Гончаров вообще не «новатор»; он типичный эволюционист. Двигается вперед неуклонно — и медлительно, а потому чуть-чуть с запозданием. Даже в романах, сделавших его писателем первоклассным, заметны следы этого запаздывания. От многословия не свободны ни «Обломов», ни «Обрыв».

Сделавшись «известностью» – Гончаров не изменил ни себе, ни своим симпатиям. Он остается верен и «уголку» Майковых с его «чистой эстетикой» и, с другой стороны, остается верен и... «департаменту». Такова его природа.

Но хоть и лежала эта двойная, половинчатая, жизнь в его природе – она, с годами, все усиливала его мрачное душевное состояние. Его влекло к неподвижному покою – и к широкому миру, к новым впечатлениям. Когда друзья поймали его на полушутливом слове и выхлопотали ему служебную командировку на «Фрегате Паллада» – он пришел в неподдельный ужас. Как? Ехать? Да куда? Да зачем? В два месяца, до отъезда, измучил себя колебаниями и сомнениями. Из Лондона чуть не вернулся назад... да махнул рукой и поехал.

Очень русский человек – герой Ляцкого. Но не русский «интеллигент», а полубарич-получиновник, с мнительностью и – что скрывать! – невыносимостью старого холостяка. Умный и зрячий – он сам прекрасно в себе это видел.

По уверению Ляцкого – Гончаров вернулся из плавания «уже не тот». Но мы особенной перемены не видим. Художник в нем, правда, созрел: «Фрегат Паллада» – книга уже мастерских описаний. И все-таки, оправдание его тогдашней «славы» было еще впереди.

Не столько изменился сам Гончаров, сколько, за время его отсутствия, изменился Петербург. Конец Крымской войны, новое царствование, новые веяния – все меняло атмосферу. Даже «уголок» Майковых был неуловимо не прежний, хотя для вернувшегося друга и нашлись старые, ласковые кресла, принявшие его в объятия. Но вместо покоя – тут-то и ждала Гончарова самая беспокойная встреча – с молодой красавицей Е. В. Толстой, и самая беспокойная (для художника – самая благодетельная) любовь: несчастная. Ляцкий посвящает много интересных страниц этой любви – страсти старого холостяка, глубокого человека, большого писателя к ничтожной, наивно-ничтожной, полупетербургской-полудеревенской барышне. Гончаров пишет «очаровательной Лизе» длинные письма: они

умны, горды, зорки и — слепы, как письма истинно влюбленного.

Она кокетливо принимала некоторое время его любовь. Но... «она его не любила». Что ей этот тяжелый человек под 50 лет? Писательством, даже славой его, она не интересовалась. Другими делами, службой, — тоже, хотя он с трогательной откровенностью посвящал ее в свои дела. Это было время, когда он задумал службу — не бросить, бросить он не мог, — а переменить на... цензорскую... Он чувствовал тогда особенное тяготенье к творчеству, объясняет нам Ляцкий. «Если невозможно жить литературой, то хотя бы жить *около* литературы стало его мечтой».

Мысль странная; была или нет у Гончарова мечта, посредством цензорства, «жить около литературы» — во всяком случае его скоро разочаровало такое искусственное сближение двух половин его жизни, служебной и творческой.

Да никакого сближения и не произошло. Обе жизни продолжают течь раздельно. И настоящая жизнь его — в любви и в творчестве. Пережитая драма любви преобразилась и высветлилась в душе художника. Долгие годы вынашивал Гончаров образ Обломова; но Обломову не хватало Ольги. Лиза стала Ольгой, и насколько более реальной для Гончарова, нежели Елизавета Васильевна, уже успевшая выйти за кого-то замуж! Ведь любил-то он, своей действительной любовью, именно Ольгу, именно ее видел сквозь Лизины черты. Лиза растаяла — Ольга живет.

Повествование Ляцкого прерывается на путешествии писателя за границу (в 1857 г.), где он, наконец, окончил так давно задуманного «Обломова». Автору было тогда около 46-ти лет.

Нам остается с нетерпением ждать второго тома этого «живого романа». На его недостатки — неизбежные! — не хочется обращать внимания. Если автор сам, от чрезмерной влюбленности в героя, не всегда видит образ, который рисует, — его видим мы, потому что нарисован он с прекрасной точностью. Эта же влюбленность, вероятно, и заставляет Ляцкого вдавать-

ся порою в лирический пафос, тоже чрезмерный и многословный, особенно когда он подходит к недостаткам героя: «...Изобразительности, вовлекающей, как музыка, в один клубящийся космический поток самозабвенья, поэзии и чувства и читателя, и художника, и его героев, нет в творчестве Гончарова...».

Таких уязвимых, со стороны стиля, мест в книге, впрочем, не много. И сколько их ни будь, не им умалить ценность книги: она остается одной из *самых интересных* книг последнего времени.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Книга XXV

Не легкое дело — дать газетную рецензию о последней, XXV, книге «Современных Записок». Наш единственный «толстый» журнал — действительно толстый: он дает сразу громадное количество материала, и, главное, такого интересного, что о каждой статье можно бы написать целый фельетон... Мне придется поневоле, если я не хочу ограничиться кратким их перечнем, оставить некоторые без упоминания, а по некоторым только скользнуть.

Не будет, пожалуй, грехом скользнуть по отделу беллетристики. Не он, в данной книге, самое интересное. Повесть И. Шмелева «Каменный век» — сугубо шмелевская: чрезмерно ужасные приключения безрукого слесаря, путешествующего по крымским горам за хлебом к трактирщику, которого он застанет убитым и борется ночью с его трупом, и т. д. — постепенно переходят из рассказа в какой-то сплошной получеловеческий вой, — на многих страницах. Впечатление притупляется, и начинаешь досадовать, что художник не решился сократить муки своего героя. В недавней «Старухе» того же Шмелева было (кроме конечного эпизода) много простоты, и эта-то простота и делала повесть сильной. Не в первый раз приходится мне со-

жалеть, что талантливому писателю нашему не всегда свойственно чувство меры.

Коротенький рассказ Ремизова «Сережа» – трагический анекдот из петербургской жизни 1920 года. У Ремизова были из этих времен рассказы лучше (вообще его лучшие), где он почти освобождался даже от нарочитой, подчеркнутой, ремизовщины, впадающей в юродство, которая может раздражать.

На романе Алданова «Чертов мост» (к сожалению, он печатается в отрывках) хотелось бы остановиться дольше, но я сделаю это при более удобном случае. Пока же отмечу, что написан он в обычной писателю манере, с приятно элегантной сухостью, которая имеет и свои недостатки, и свои достоинства. В данном отрывке описываемые события (восстание в Неаполе, эпоха французской революции) – поражают своей «современностью»: читая, какие разговоры ведут между собою герои, – приходишь к убеждению, что нет новых мыслей, новых тем: всегда все было. Хотел или не хотел автор эту «современность» подчеркнуть – не знаю; может быть, и не хотел, но беды из этого не вышло: художественная мера не нарушена, и, повторяю, верится: были и тогда эти же, наши же, темы и вопросы, и так же были они неразрешимы, как теперь.

Тут «чистую» беллетристику 25-й книги можно и оставить. Через конец степуновского «Переслегина» (никто не ожидал, что этот длиннейший счастливый роман вдруг закончится печально!) – я прямо перейду к другим отделам, отнюдь не забывая библиографического.

Вот две критические заметки о советской литературе – М. Алданова и М. Цетлина. Режущая ирония Алданова – убийственна. Выводы – бесповоротны. Но не менее решительна и статья Цетлина, критика всегда осторожного, подчас слишком мягкого, и со всей доброй открытостью готового подойти к любому, действительно литературному, явлению. Но вот и он «с ужасом» вглядывается в эту новую «литературу на заказ», иногда «прямо продиктованную», и вглядывается еще глубже: в какой-то «свой кодекс морали» новейших пролетар-

ских писателей, у которых людей режут так, что — «страшнее простого убийства». И Цетлин, и Алданов — оба слишком любят литературу, чтобы не чувствовать, какими нерасторжимыми, подземными нитями связана она с внешней и внутренней жизнью ее творцов. Молодая советская литература... нам показывают ее настоящее. О будущем — мы можем делать предположения, исходя из необыкновенно яркой статьи В. И. Талина о советских детях, о страшной лаборатории, где «перегоняется» целое поколение в «ленинизм». Из этих перегнанных младенцев, — откуда же еще? — выйдут и будущие писатели. Статья Талина появилась сокращенно в «Посл. Нов.»; но ее нужно прочесть целиком: картина убийства детей, телесного и духовного, так ярка, что не всякое «беллетристическое» описание убийства с ней сравнится.

Рядом с Талиным, Алдановым и Цетлиным странно видеть безмятежные, какие-то «нездешние», рецензии Святополка-Мирского. Критика — даже не «à vol d'oiseau» *, а с совершенно невидимой и неуловимой точки зрения. Можно со вниманием прочесть эти рецензии: мы все равно не поймем, что, собственно, нравится г. Мирскому в советских писателях, почему Федин похож на Гоголя, а Пастернак на Пруста. Это личная тайна рецензента. В отзывах г. Мирского есть своего рода замечательность: *смутное безволие* делает их критикой типично нерусской. Чего-чего, а уж *воли* в нашей критике всегда было — хоть отбавляй. И на мой взгляд — в этом ее ценность.

Я чувствую большую волю в живо написанных сценках Е. Д. Кусковой — «Открытки». Это, преимущественно, столкновения с «народом» в первые времена большевистского царствования. Сценки интересные и, повторяю, явно связанные какой-то единой волей. Но, — должно признаться, — эта воля мне не неясна. Что хочет доказать нам г-жа Кускова? Что народ в свое время поддержал большевистский переворот? И что поддержал его по своей темноте, слепоте и «наивности?». Пожа-

* «с птичьего полета» (*фр.*).

луй, сценки могут служить хорошей иллюстрацией для такого положения, но оно не ново, особых доказательств не требует и, с некоторыми усложняющими оговорками, всеми принято. Мы достаточно знаем о темноте народной и о том, что нет, не произносится, в народе слова «нация» (что особенно подчеркивает Е. Д. Кускова).

Но, может быть, автор сценок, которые все «из прошлого», имеет данные предполагать, что теперь — уже не то; ощущение своей национальности постепенно доходит до сознания народа, и слово, недавно чуждое, теперь уже ему не чуждо? Однако новыми сведениями на этот счет г-жа Кускова с нами не делится, о чем можно пожалеть.

Еще одно маленькое замечание: рисунок «открыток» очень жив, так жив, что мы судим их непосредственно и — не всегда совпадаем с автором в его взгляде на действующих лиц. Например, мужик, приехавший к Ленину с жалобой на «коммунистов», себя зовущий «большевиком» и с благоговейным восторгом рассказывающий о свидании с «самим им, батюшкой кругленьким», — этот мужик вовсе не кажется нам столь «наивным», как Е. Д. Кусковой. Вообще, *наивность* — черта, не свойственная нашему народу. У настоящего мужика, даже совсем темного, непременно есть, позади всех его слов, какая-то «своя думка». Мудрая ли, хитрая ли, идиотская ли (это уж в зависимости от человека), — но всегда есть, всегда своя. Достоевский даже находил, что отсутствие ребячливой наивности — знак глубины и крепости народа, а что «наивны» чаще бываем «мы» (т. е. интеллигентные люди).

Совсем особенной, не современной, старинно-интеллигентской и прелестной наивностью дышит очерк Е. Ельцовой — воспоминания о кн. Львове («Сын Отчизны»). Написан он полноводным, русским, московским, языком. Это полноводие уже слегка непривычно, но забудем наш «телеграфизм», вглядимся, не мудрствуя лукаво, в спокойную, старую Москву, когда жилось просторно, времени было много, когда нарождалась «интеллигентская» молодежь, когда и в арбатских особняках

велись пылкие разговоры... Образ покойного Львова дан не ярко, мягко, но к нему идет эта беспритязательная русская мягкость. Воспоминания Б. Зайцева о Блоке («Побежденный») нельзя сравнивать с очерком Ельцовой: это вещи, разные и по языку, и по времени, и по заданиям. Б. Зайцев, на этот раз, приятно удивляет своей твердостью: любя поэта, он строго судит его опустошенную душу; в опустошенности ее и видит причину гибели Блока.

Как всегда – «страшную» и глубокую статью Шестова о Спинозе я могу только отметить: о ней ничего не скажешь в двух словах. Впрочем, вот главный вопрос: если Спиноза, покорный «Духу времени», или, иначе, «Божию повелению», действительно «убил Бога (любя Его превыше всего)» – то *какого* Бога убил он? *Какой* Бог повелел ему совершить это дело, «чтобы они не обратились и Я не исцелил их?» Не Адонаи, конечно, Бог «Мы», чье имя не произносилось, но Ягве, Бог крови. Не Его ли Спиноза одного и видел, не Его ли и «любил превыше всего?» Шестов ответа не дает. Может быть, намеренно, чтобы не усложнять журнальной статьи. Но он знает, конечно, как важен вопрос о Ягве-Адонаи и сам по себе, и по отношению к Спинозе.

Возвращаясь от вопросов «вечных» к более злободневным – вот две статьи о «евразийцах», проф. Бицилли и С. Гессена. Обе с тщательной внимательностью разбирают и в полноте освещают это наше «неомессианское» идейное течение. Евразийство расцвело в эмиграции, – если называть расцветом махровое и спутанное разрастание, – но зародилось оно еще в России. Я помню его первые побеги до революции, во время войны. К сожалению, ни назвать имен известных мне «родоначальников» евразийской «идеи», ни рассказать о первых попытках ее оформить – я не могу: пришлось бы коснуться лиц, оставшихся в России. Скажу только, что идея уже была, и подчеркнулась в споре о России между *«мессианистами»* и *«миссионистами»*. Последние брали Россию с точки зрения «вселенской» и давали ей и ее народу свою «миссию» среди других

народов; первые, евразийцы (еще без «слова», но с точными определениями) отстаивали ее исключительное, «мессианское», призвание. Обе стороны стояли на религиозной почве; неомессианисты, будущие евразийцы, — на строго православной, конечно; как и теперь, они давали православию громадную роль.

Идея, в общем, осталась той же. События, большевизм, эмиграция — лишь сначала выбили ее из колеи; но постепенно не то идею начали приспособлять к событиям, не то обратно, и евразийство стало расцветать. Идеологическая путаница, на которую указывают оба критика «Совр. Зап», пока, до времени, еще не мешает евразийцам занимать некоторые умы и соблазнять кажущейся новизной: но, конечно, дать жизнь серьезному движению короткая и путаная идеология не может. В лучшем (для него) случае, евразийство сольется с православно-националистическим течением. А вернее — медленно истощит себя в повторениях: первые признаки этого процесса уже налицо.

Я упомяну только еще о двух, последних, статьях, — М. Вишняка и Ст. Ивановича, — для того, чтобы стала ясной некая *цельность* и этой, 25-й, книги журнала. Как ни различен материал, в его подборе чувствуется скрытое *единоволие.* Говоря именно о единоволии, а не о каком-нибудь узком направленчестве: оно исключается самым разнообразием тем и вопросов. Но в каждой статье и заметке (если мы забудем случайные, вроде рецензий г. Мирского) каждый автор дает ноту, гармонирующую с прочими, и каждой статьей проводится, — в зависимости от темы, направо или налево, — заградительная черта. М. Вишняк, со свойственной ему сдержанной деловитостью, пишет о «Возрождении» и намечает черту — направо; Алданов и Талин, острым ножом отрезающие себя от советских лабораторий и гомункулов, проводят черту — налево. Но чувствуется, что если б авторы вздумали поменяться темами, — обе отделяющие черты, и правая, и левая, остались бы на тех же местах.

Конечно, такое единоволие еще только отрицательное. Тем, кто спросит меня, есть ли в «Совр. Зап.» и положительное, действительно очень важное, единоволие внутреннее, — я скажу, что оно всегда и везде «искомое», но там, где присутствует первое, внешнее, — непременно существует, хотя бы в потенции, и второе. По нашим временам две отделяющие линии особенно важны, нужны прежде всего; и если они зыбки и туманны — ни о чем более серьезном не приходится и говорить.

Заканчиваю мой беглый обзор любопытнейшей рецензией Ст. Ивановича, которой, кстати, заканчивается и вся толстая книга вашего толстого журнала.

Ст. Иванович — ценный сотрудник-союзник «Совр. Записок». Он работает над проведением демаркационной линии *налево* — с настойчивостью и талантом, не уступающими Талину; а утешительной резкостью превосходит, пожалуй, М. Цетлина и других. Конечно, и в рецензии на «Zum Kongress in Marseille» он остается верен себе. Но любопытно, что он берет на этот раз, своей опорой... старика Каутского. Слова и суждения последнего о большевиках и большевицкой России так глубоки и так «убедительны в своей простоте», что можно пожалеть среднюю русскую публику, для которой одно имя Каутского — пугало. Как удивились бы многие либеральные и нелиберальные консерваторы, услышав, что Каутский, ничтоже сумняшеся, называет большевиков «мошенниками» и предлагает их — «свергнуть!». Столь прямо не во всякий час скажет и либерально-консервативная газета. Но Каутский не боится даже своих «товарищей»: и эти, не смея заткнуть ему рот, «в величайшем смущении перед странными, просто страшными его словами и предложениями», только лепечут какие-то банальные сомнительности, над которыми Ст. Иванович остроумно издевается.

Суждения Каутского относительно ближайшего будущего большевицкой России также поражают своей трезвостью и остротой: слишком привыкли мы к наивно-безучастному непониманию «иностранцев». И, действительно, жаль, что Ст. Ива-

нович, по недостатку места, не сказал подробнее о прогнозах этого крупного антибольшевика-социалиста.

Содержание 25-й книги «Совр. Записок» в полноте мною не исчерпано. Статьи, которые я прохожу молчанием, не меняют, однако, того общего облика книжки, который мне хотелось подчеркнуть. Я не называю данный номер самым удачным из всех, ранее вышедших. Его перегрузка, может быть, чрезмерна, а с художественной стороны, — он слабее предыдущего и, особенно, 23-го. Но одно несомненно: каждая новая книжка нашего единственного «толстого» журнала, — и более удачная, и менее, — в высшей степени интересна; так интересна, как не были, пожалуй, русские журналы начала века — в России.

СПОСОБНЫМ К РАССУЖДЕНИЮ

Толстой: «Если б люди поняли...»
Достоевский: «Никогда люди ничего не поймут...»
Ап. Павел: «Не будьте слепы, не зрячи».

В среднем слое эмиграции много не политиков, не журналистов, а «просто людей»; в газетах они не пишут и возражать или задавать мне вопросы могут только частным образом. Но как раз к этим «просто людям» я всегда и обращаюсь, и было бы несправедливо оставлять их недоумения без ответа. Он и не труден: примитивные до наивности, вопросы эти очень сходствуют, повторяются, сводятся почти к одному и тому же. Но по существу они не лишены значительности.

При внимании, из самой повторяемости можно сделать интересный вывод. Можно проследить, например, каким путем человек, ни малейшего политического credo не имеющий, подходит к «правым» эмигрантским группировкам. Мне ясно, что первый соблазн, первое, что его к ним влечет — это громкие слова о «непримиримости», на которые в правой стороне не скупятся. Человека с простыми чувствами, и тоже к большеви-

кам непримиримого, это, прежде всего, *успокаивает.* Потом является доверие, потом, мало-помалу, вера в исключительный патриотизм таких явно непримиримых... С патриотической же точки зрения (незаметно перешедшей в националистическую, но кто разбирает?) уже легко принимается и все остальное: любящий Россию должен ненавидеть революцию (ибо она — большевики), ненавидеть все «левое» (ибо из левых — большевики), бороться за Россию, все равно какую, лучше за старую (тогда, наверно, не было большевиков) и т. д., и т. д.

Вот, в грубом виде, психологический примитив, из которого исходят наивно-недоуменные, ко мне обращенные, вопросы. Их все можно свести в одно и формулировать следующим образом: как я, при моей непримиримости (в ней спрашивающие, слава Богу, не сомневаются), говорю то, что говорю о *демократии,* о *революции,* иду против союза «Возрождения» с его Вождем и Съездом, «критикую» белую армию и т. д.? *Как это может быть?*

Отвечаю совершенно прямо: это не только может быть, но иначе и не может быть. Только так можно говорить, так думать — при действительной непримиримости; и только из таких мыслей и убеждений она, действительная, и вытекает.

Недоумевающим искренно, — и способным к рассуждению (верю, что они есть), — я попытаюсь объяснить это как можно проще.

В любви к отечеству и своему народу — мы не отделяем себя от них. Я не могу себе представить, чтобы жизненно-ценное для меня — не было ценностью и для моего народа. Я не могу не считать благом для него то, что считаю насущным благом для себя. Свобода — одна из ценностей наиболее бесспорных. Но будем осторожны и точны: я говорю не об отвлеченном понятии, а о том реальном maximum'е общественной и личной свободы, который находится в соответствии с данным моментом истории и есть необходимое *условие жизни* всякой страны. Как я могу не желать и для моей страны современного maximum'а свободы, если я желаю ей жизни? И могу ли я «прими-

риться» с теми, кто осуществляет для нее maximum рабства, т. е. определенно ставит ее в условия смерти?

Царский режим не был maximum'ом рабства. Но он не имел в себе, — и не мог иметь, — той высшей, во времени, меры свободы, которая необходима для жизни, для движения вперед. Уже поэтому самое желание вернуть царя России — знак неподлинной, или незрячей, любви к России. А практически это желание — неисполнимо. Я не говорю, что в России отныне и довека не будет монархии: я этого не знаю. Но знаю твердо, что усилия сегодняшних монархистов, «остатков» старого самодержавия, успеха иметь не могут. Ни свергнуть большевиков, ни даже бороться с ними под самодержавным знаменем нельзя: борьба есть «противопоставление»; а как противопоставить — подобное? Великому угнетению — угнетение, только меньшее? Неограниченной власти — подобную же, только менее бесчеловечную? Из такой борьбы заранее вынимается пафос, вдохновение, как, впрочем, из всякой борьбы за старое, — испытанное, отошедшее и еще не забытое. А большевики *новее* самодержавия. Они — сегодняшний день, самодержавие, монархия, — вчерашний.

Российский коммунизм не будет сменен ничем старым, и никакими своими приближениями и подобиями. Есть, конечно, большевистские «подобия» и не правые; в других формах, есть они и «налево»... Но там или здесь — бледные подобия одинаково бессильны: все, что они могли бы принести, Россией уже пережито, и пережито в пределе, в максимуме — в большевиках.

Но если принимается только новое, не пережитое, — в чем оно для России? Конечно, новое — та человеческая жизнь, которой живут европейские, да и другие, не дикие, народы. Именно этой жизни Россия никогда не имела; именно в ней ее запоздавший завтрашний день. Эта жизнь, с ее высшей, по времени, мерой свободы, осуществима только в условиях правового и *демократического* государственного устройства. Поэтому выбора нет: реально противопоставить большевизму мы можем

лишь триаду: *право – свобода – всенародность.* Под всяким другим знаменем борьба бессмысленна. Вы не хотите завтрашнего дня для вашей родины? Тогда примиряйтесь с сегодняшним: больше ничего не остается.

Не моя вина, что нужно повторять такие примитивные, такие, казалось бы, общеизвестные вещи. Примитивная психология непримиримых эмигрантских «масс» меня к тому вынуждает. На «непримиримости» все вертится; и если она голофизиологична, она переходит в просто ненависть и расширяется до незаконных, здравому смыслу противных, пределов.

Законно ли покрывать этим серым плащом ненависти – революцию? Пусть способные отдавать себе отчет скажут, что, собственно, они ненавидят, какую революцию? Говорят «всякую», – но подразумевают, чувством, большевиков. Говорят о муках, крови, убийствах, – и опять подразумевают российских большевиков. Против чувств, так направленных, трудно спорить. Но не о них сейчас речь, а о революции.

Она – такой же закон истории, как эволюция, и нет народа, который не прошел бы, так или иначе, революционного момента. Бывают революции более счастливые и менее счастливые. Несчастье русской революции заключалось в том, что произошла она в очень неблагоприятную минуту и произошла *сама,* никто ее не «сделал». Если бы кто-нибудь ее сделал, то и защищал бы, во всю меру сил, свое дело; а мы помним же, с какой беспрепятственностью совершали большевики, приехавшие «на готовенькое», первую работу по «использованию» революции: им нужно было, для овладения революцией – и через нее страной, – прежде всего *переродить революцию в бунт.*

Элементы бунта есть во всякой революции. Дело революционное – доводить эти элементы до минимума: дело антиреволюционное – довести их до максимума. Дело людей революции – *закончить* революцию, введя в жизнь, вкрепив в нее то, что можно и нужно вкрепить, из вынесенного волной. Жизнь страны, закончившей революцию, непременно оказывается

раздвинутой. Но антиреволюционеры *приканчивают* революцию; превращенную в бунт, ее нетрудно, затем, подавить голой силой, — террором; террора, однако, ослаблять уже нельзя: и он делается перманентным, охватывает, как обручем, стиснутую и замершую страну.

Без крови и убийств революций не бывает. Но люди вообще склонны убивать, при всех случаях, не революционных тоже. Достаточно вспомнить 16-й век и его «религиозные» убийства. Революция дает не больше, а то и меньше, жертв, чем любая война. И я утверждаю: 1 526 197 человек, убитые Ч. К. — по ее собственному скромному подсчету — (*только в Ч. К.*, без погибших в гражданской войне) — они жертвы *не* революции. Они истреблены убийцами революции, при подавлении уже использованного бунта. Французская газета, недавно перепечатавшая цифры, наивно называет это ужасами «классовой борьбы». Но где, спрашивается, тут «борьба», да еще «классовая?». В отмеченном полуторамиллионе — 815 000 «мирных» крестьян, ни в какую, значит, борьбу ни с каким классом не лезших, запросто приведенных в Ч. К., там убитых, и убитых-то не «классом», а опять запросто — чекистами. На французов действуют цифры. На нас они уже не действуют, да не в цифрах и дело: убийство в борьбе — это одно; из-за угла — другое; но убийство открытое, безнаказанное и даже приказанное, длительное истребление безоружных вооруженными — есть максимум убийства. Оно разлагает внутренний человеческий облик исполнителей.

Так убивают в Ч. К., и будут, и нельзя не истреблять людей, если параллельно вести насильственное втискиванье страны в формы, в которых жить она не может.

Все это я говорю не для лишнего обвинения большевиков. Занятие бесполезное: прибавить к «мере полной, утрясенной», ничего нельзя. Я лишь показываю и доказываю, что большевики действовали всегда как настоящие, ярко выраженные, *антиреволюционеры*. Если говорить о винах, то лучше вспомнить о нашей: мы-то ведь не действовали никак, ничего не делали,

глядя на работу большевиков. Деланье пришло, но тогда, когда подготовительная их работа уже закончилась. Этим деланьем была святая белая борьба. Да, святая; да, не будь и ее — мы теперь глаз друг на друга не смели бы поднять; но я не боюсь прибавить, что это была слепая святость: боролись — и *не видели,* с кем борются, за что умирают. Чувство верное, за Россию, но — смутный образ. Чувство верное, против большевиков, — и опять смутный образ. А всего смутнее — революция; память, ощущения сливают ее с большевиками. И шли против большевиков... и против революции, вместе. За Россию? Но революция-то была русская, от России неотделимая; если б не так — большевики, овладев ею, не могли бы овладеть Россией.

Нельзя «любить» революцию во имя революции: в ней всегда мука, боль, кровь. Но рождение тоже мука, боль, кровь. Как при рождении могут умереть и мать, и ребенок, так и при революции может быть страх гибели. Должны ли мы, смеем ли проклинать рожденье? Не будут ли такие проклятья примиреньем — со смертью?

Нет, думать о борьбе с большевиками и быть действительно непримиримым может лишь тот, кто, во-1-х: любит свой народ, *уважая* его, и не хочет быть ни его рабом, ни властелином; кто, во-2-х: смотрит на революцию не как на грязь и кровь, а как на страшный и ответственный момент в жизни всякого народа, и утверждает неизбежность революции русской на пути России к свободе; и, в 3-х, наконец, тот, кто с последней отчетливостью понял сущность интернационализма большевиков, его несовместимость с духом личной и общественной свободы.

Как бы громко ни говорили «правые» о непримиримости, о борьбе, — они безоружны и — беззащитны: они все время «примиряются» с большевизмом; если не прямо, то косвенно, путем *уподобления* большевикам, когда стремятся также «покорить» Россию, только под другим, своим, знаменем. Они — не уважают своего народа. Но беззащитны и безоружны и «левые», те из них, кто, казалось бы, и русскую революцию, и дух свободы в ней приняли, — однако говорят о ней без всякой

четкости, власть в России то и дело называют «русской» (национальной — интернациональную!), а большевиков «революционерами». Эти — не понимают сущности большевизма.

Никогда не была нам так нужна чистота и четкость. Увы, никогда так не владела нами психофизиология. А чувства самые верные — ничего не стоят, если не отдавать себе в них отчета. Слепая любовь бесплодна, слепая ненависть — бессильна.

Мы хотим бороться? Узнаем сначала, против чего, а, главное, за что, во имя чего, надо бороться. Ведь борьбу ведут не для борьбы, а для победы. Но лишь в честном свете разума и совести могут открыться пути к победе.

«ТЕЧЕНИЕ» «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»

(Книга XXVI)

«...Мы отчетливо сознаем, что "Совр. Зап." сделали немного — во всяком случае — недостаточно. Но что мы считаем себя в праве сказать, это — что "Совр. Зап." не отступили от данных ими обещаний и не нарушили их...»

Так говорит один из руководителей журнала, М. Вишняк, в «юбилейной», 26-й, книжке; это не только верно, это, пожалуй, чересчур скромно. Ведь недаром же, по словам самого Вишняка, журнал создал, за годы своего существования, так называемое *«течение "Современных Записок"»*. Создать «течение» не всякому журналу удавалось, а создать его при данных, небывалых и неслыханных условиях русской жизни — вещь, почти чудесная. Правда, срок для работы немалый: как раз эти исключительные условия заставляют нас считать каждый год жизни журнала, если не за десять, то, по крайней мере, за пять лет. И пятилетний «юбилей» «Совр. Записок» не следует даже ставить в кавычках: он действительно юбилей: Вишняк с полным правом мог бы сказать вместо: «вступая в *шестой* год...» — «вступая в двадцать шестой год нашего существования».

Об этом юбилее, о заданиях и достижениях «Совр. Записок» на протяжении данного срока, об интереснейшей статье Вишняка («Пятилетние итоги») и хочу я, главным образом, поговорить.

Статья на редкость отчетливая во всех отношениях, очень многое освежающая и закрепляющая; она, конечно, есть центр данной, 26-й книжки журнала. Со всем беспристрастием, не впадая в тон «юбилейных речей» (как нам не нужен и даже вреден сейчас этот тон!), я хочу тоже подойти к этим «итогам»; ведь иное со стороны виднее, виднее даже и приуменьшение своих заслуг («Совр. Зап.» «сделали немного»)... Впрочем, скромность всегда — ценность; только тот, кто думает, что он сделал мало, может сделать и сделает больше.

А собственно этой новой, только что вышедшей книге как таковой, — я могу посвятить лишь несколько беглых строк. Юбилейная фактически (об этом, конечно, нигде, кроме статьи Вишняка, и не упоминается) — она мало чем отличается от двух предыдущих, и в художественном, и в других отделах. Особенно в художественном: до такой степени, что вздумай я обстоятельно останавливаться на каждой статье — мне пришлось бы повторяться. Это зависит, конечно, от круга, от все тех же, повторяющихся, имен. Зайцев, Ремизов, Бунин, Шмелев, Ходасевич, Зайцев, Бунин, Ремизов... Там новая драма из архива Андреева, здесь новые (очень ценные) варианты к «Казакам» Л. Толстого. Все, как мы видим, самые настоящие «имена», однако, повторяясь, они не могут не давать впечатления однообразия. Я не только не ставлю это в упрек руководителям журнала, напротив, — ставлю в заслугу: цвет нашей литературы, с корнями вырванный из родной земли, находит в журнале необходимую для дальнейшей жизни почву. Этим исполняется одно из важных заданий журнала. Но это не изменяет факта — впечатления однообразия. И я думаю, нет особого смысла и нужды отмечать: в 24-й книжке Шмелев («Старуха») был совсем недурен, так что даже его, шмелевские, недостатки обертывались достоинствами, в 25-й — хуже, а в этой, рассказ «На

пеньках» — куда как слаб, скучен и небрежно написан; благоуханная бунинская «Митина любовь», со всеми ее срывами, наводила на размышления, требовала возражений, а новейший его рассказ «Цикады», достойный всяческих похвал за неувядаемо-прекрасный, бунинский, язык, — сам есть передача размышлений поэта, далеко не блещущих новизной и с которыми, в сущности, нечего делать. Недавняя, наивно-восторженная, статья Н. Кульмана по поводу этих «Цикад», до земли преклонившегося перед таким мироощущением «поэтического пантеизма», меня, впрочем, не удивляет: всякий ищет Бога и находит его там, где ему свойственно. Переходя к Ремизову — стоит ли отмечать, что вот этот его отрывок — лучше, этот грубее, а относительно Зайцева — говорить, что и в данной книге Зайцев так же нежен, прост, прозрачно тих, как в предыдущих?

Ведь мы не сомневаемся, что «Пеньки» Шмелева — не этап его творчества, а преходящая случайность; что «Цикады» — не лебединая песнь бунинского творчества, а жажда бессмертия «в памяти чужой» — не последнее его достижение в мыслях о бессмертии. Ни один цветок нашей литературы здесь еще не увял. Будем этому радоваться, проходя мимо случайностей.

Я думаю, все-таки: почему бы журналу, не забывая своей единственности и первой, прямой задачи — служить дальнейшему цветению родной литературы, — не взглянуть и в сторону молодежи? Ее тут немало. Это все та же русская молодежь, родина их — тот же край,

> Что выводит из народа
> Столько славных, то и знай.

Они на чужбине? В условиях оторванности — все бездарны? Пустое! И лучше не будем говорить об «условиях». Нет более возможных условий для развития таланта и человека чем те, в которых живут сейчас *не* оторванные. Видели ли вы когда-нибудь растение в погребе? Вынесите его на свет: из горшка ползут длинные белые черви с белыми горошинками, вместо лис-

тьев. Не узнаешь даже, какое это растение. Для него нужен свет, так же, как для человеческого растения — свобода.

Тут есть другое затруднение, — конкретная новая задача для журнала. Узкая, но ввиду того, что журнал-то единственный и всякими «задачами» перегружен — может быть, ему и непосильная. Это — создание *живой среды* журнальной, даже редакционной. В ней естественно происходит отбор, в ней «воспитывается» и талант, и просто работник. Я это знаю по опыту. Талант исключительный, готовый, самородок, — он, конечно, проломит и запертые редакционные двери. Но на таких только — рассчитывать трудно, они редки во все времена, да и не они одни журналу нужны.

«Взглянуть в сторону молодежи» — это и значит создать, прежде всего, такую «живую среду» или хоть ее подобие. Но я понимаю трудность этого создания, а потому понимаю и неизбежность той однообразности, повторяемости, которую дает художественный отдел журнала.

В других отделах, не чисто художественных, литературно-критическом, например, эта повторяемость несколько более тревожит, особенно когда с повторением какого-нибудь имени повторяется и ошибка, опять возникают внутренние противоречия. Проскальзывает (всегда, к счастью, в мелочах) нечто противоречащее всей линии журнала, отправную точку которой с детальной ясностью определил Вишняк в своей последней статье. Впрочем, некоторые из изданий журнала, благодаря своей ширине, были естественно зыбки и не могли иметь оградительных границ. Таково, например, первое, в первой же книжке «Совр. Зап.» высказанное «От Редакции»: задание — «*культурное*». «Совр. Зап.», говорит Вишняк, решили открыть свои страницы всему, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры. Для этой области вопрос о политическом направлении авторов заранее устранялся. Но и в области общественно-политической «Совр. Зап.» «...обещали быть внепар-

тийным органом независимого и непредвзятого суждения», чуждым «всякого идеологического сектантства...».

Это «смелое», для иных положений и обстоятельств, решение было тогда как раз тем, что нужно. Самая его широкая неопределенность соответствовала неопределенности первых времен великого сдвига. «Политику» еще мыслили все-таки по-привычному, по-старому или не мыслили о ней вовсе, вертелись в какой-то не спокойной, но вихревой «аполитике». Я даже сомневаюсь, мог ли бы и сам Вишняк, в то время, высказать все, до одного, политические положения с твердостью и определенностью сегодняшнего дня. Что же говорить о художниках, о писателях? Среди тогдашней расплавленности одно оставалось незыблемо-цельным, – понятие «русской культуры»; необходимость ее сохранения праведно соединяла и тех, кто, в дальнейшем течении истории и жизни, выковыривая новые мысли и слова, уже и ныне выковал их – не одинаковые. По-прежнему идея вечной ценности русской культуры поддерживает объединение вокруг «Современных Записок»; но именно потому, что журнал не статичен, что он уже создает «течение», в нем происходят новые процессы дифференциации; понятие «культуры» определяется, оформливается, конкретизируется. Между «программностью, идеологическим, партийным сектантством» и той «психологической настроенностью», которая приводит к «безответственности» (Вишняк определенно и отрадно строг к апологетам «возвращенства»), между этими Сциллой и Харибдой, труден путь, опасен – но необходим. Его-то ищут – и находят «Совр. Зап.», он-то и есть их путь. Статья Вишняка – большой шаг по этому пути. Но, повторяю, он слишком труден, и с тем богатым багажом, с каким начинали свое шествие «Совр. Зап.», им пути не одолеть. Постоянно придется чем-то жертвовать, что-то заменять новым. А что и чем и когда – тут уж все зависит от чутья к действительности, ко времени, и от того божественного чувства *меры*, которое доселе было слишком мало свойственно русским людям.

В статье Вишняка, даже в той ее части, которой я сейчас не касаюсь, — в его общем взгляде на современное положение России, — очень много трезвости и меры. Статья цельная, — и таков же, естественно, подход его и к задачам «Сов. Записок».

«Считая бесплодным выработку детальной программы», стремясь к «истине, обретенной на путях свободного искания и творчества», «опасаясь лаконических, и потому упрощенных формул», — Вишняк (от лица, конечно, всех руководителей журнала) высказывает, однако, положения, с достаточной, для момента, резкостью определяющие «течение» «Совр. Записок». Чтобы выйти «на простор общенационального строительства», оказывается нужно, во-первых, отмежеваться от «рекомендующих духовно и физически вернуться домой, и особенно от тех, кто предлагает эмигрантам засыпать не ими вырытый ров гражданской войны...» «Они тысячу раз не правы...» Отделиться необходимо, и совершает это Вишняк без всякого колебания. Но он выставляет еще несколько положений, из которых если не все, то некоторые, неизбежно отделят его и «Совр. Зап.» от кое-кого из прежних спутников, с той и с другой стороны. Отделят конкретно, ибо духовное, внутреннее разделение уже и сейчас налицо. Такова, например, формула (все-таки формула, и это в данном случае не плохо) — *«воссоздание России несовместимо с существованием большевицкой власти»* (курсив подлинника). Одни ее отвергнут, другие примут; но те, кто примут, — никогда не примут примыкающее к ней *утверждение мартовской революции*, «которая для нас не случайность, а глубокое, органическое, неискоренимое явление русской истории, преемственный итог всего освободительного движения от декабристов до наших дней». Далеко не для всех будет приемлемо и твердо-*революционное* отношение к советской власти: «Эта деспотическая власть может быть преодолена только силою...»

Примеры можно приводить без конца, я останавливаюсь лишь на первых. Но не ясно ли, что путь «Совр. Записок» уже намечается и что это — трудный средний, серединный, путь

между Сциллой и Харибдой? Не ясно ли, что журналу придется, в процессе своего дальнейшего «становления», менять и плоть свою, соответственно росту определенного духа?

Процесс медленный и особенно медленный в области так называемого чистого искусства, в области художественной. Единство жизни как единство человеческой личности, то, что так проникновенно понял Вл. Соловьев, — до сих пор еще не понимается и не воспринимается. Мы, как дети, берем явления отрывочно, и эту отрывочность любим узаконять. Искусство для нас отделено от жизни и человека, политик от художника, мысль от действия, религия от общественности, и так до бесконечности. Даже к последним событиям, — мировым, — мы еще нередко подходим со старыми, частичными, мерками, политическими и другими. Вишняк-то понимает, что его «формулы», суждения, определения, его «специальное знание природы и духа Р. К. П.», — все это не остается в области только политики и не относится лишь к политическому «течению» «Совр. Записок». Но кто не понимает, кто думает, что в области художественной, критической, научной и т. д. течение так и будет идти по тому же широкому руслу под общим знаком культуры, тому рано или поздно сама действительность покажет иллюзорность подобных надежд. Да уж и сейчас показывает, в виде мелких перебоев в движении, завитков, внутренних противоречий. Журнал тоже есть в какой-то мере — *единство*, а тем более «течение», которое он создает. В известный момент, когда широта переходит в эклектизм, все равно в какой стороне журнала, — этот эклектизм, после борьбы, или подчинит себе все другие стороны, или сам будет побежден общим течением.

Так как первый случай маловероятен — я и полагаю, что «Современные Записки», не изменяя свободе «искания истины» в области художественной, найдут и в ней линию, соответствующую единой, общей.

Это будет — хотя, повторяю, до этого далеко. Теперь лишь изредка, в мелочах, о которых почти упоминать не хочется, заметных лишь для пристально следящего за поступательным

движением «Совр. Записок», выражается несовпадение линий, повторяющееся их несоответствие. Чисто «культурная» область не во всех своих частях поспевает за идейной. Вот пример, немножко внешний и грубый, правда: среди блестящих, глубоких и очень «одновольных» статей и рецензий о советской литературе (и быте) Алданова, Цетлина, Ходасевича, Талина, очень красящих все последние книжки, неизменно появляется, как пятно, рецензия Святополк-Мирского, неизменно восхваляющая того или тех, кого уже давно по справедливости, — и в обратном смысле, — оценил или Алданов, или Ходасевич. То Пастернак сравнивается с Гоголем, то объявляется, что «гармония Бабеля» такова, что и пересказать ее невозможно: «*все* важно» в ней. Этот «подлинный мастер» достигает «высшей напряженности»... и т. д. Производят рецензии-пятна странное впечатление: как будто писатель глухой, притом никого, кроме себя, не читающий человек, или ни с чем не считающийся, потому что ни над чем еще не задумался.

По правде сказать, даже вспомнив самое первое заявление редакции «Совр. Зап.», я не понимаю, какую «объективную ценность с точки зрения русской культуры» видит она в рецензиях Святополка-Мирского. Может быть, все-таки, видит, а может быть, это просто остаток традиционности и случайная небрежность. Факт ведь очень мелок.

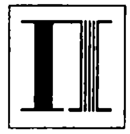
Небрежность уж совершенно внешняя, механическая (трудно, впрочем, винить в ней кого-нибудь при современных обстоятельствах) — это обилие опечаток в каждой книге. В последней — очень пострадала коротенькая статья Мережковского. Почему-то несчастие всегда обрушивается на стихи. И тут — строчки Тютчева перепутаны, другие совсем выпали. Впрочем, и в некоторых местах текста трудно добиться смысла.

Отставив эти мелочи, вернемся еще раз к началу, — к статье Вишняка, так много, по существу, уяснившей и раз навсегда определившей. Она отнюдь не «догматична», она в движении,

и с этой стороны, конечно, не закончена; не все в ней договорено. Я только хочу подчеркнуть, что двигаться от нее можно лишь вперед, а не назад, и притом на кое-что уже не оглядываясь. Наши требования к журналу, может быть, повысятся, но они будут определеннее теперь, когда мы видим, какие задачи ставят перед собою сами его руководители. Даже о борьбе с дроблением жизни, с нашей отрывочностью в восприятии явлений, упоминается в статье Вишняка: «Срастить культуру с политикой, — говорит он, — передвинуть культуру из мира чистых идей в мир реальных вещей — таково одно из главных заданий "Совр. Записок"».

На пути всякого течения неизбежны затоны, омуты, пороги. При надежном русле они не опасны. И чем вернее будет своему верному руслу «*течение*» «Современных Записок», — тем более будет возрастать его значительность как для эмиграции, так и для идущей свободной России.

КОММЕНТАРИИ

роза З. Н. Гиппиус эмигрантского периода ее жизни и творчества (1920–1945) – рассказы, очерки, статьи – впервые собраны в настоящем издании максимально полно. Тексты, кроме особо оговоренных случаев, печатаются по первой газетной или журнальной (книжной) публикации и по современной орфографии (в эмиграции Гиппиус продолжала писать и печататься по старой орфографии). Сохраняются особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов при современной орфографии. Собственные имена и географические названия даются в авторском написании и не унифицируются. Переводы иноязычного текста даны под строкой, русские транслитерации французских слов, нередко встречающиеся у Гиппиус, поясняются в комментариях. В настоящее издание не включены печатавшиеся в периодике части книги Гиппиус «Живые лица» и отрывки из ее дневников, изданные в полном виде в двухтомнике «Дневники» З. Гиппиус (М., 1999).

Составитель благодарит Отдел русского зарубежья Российской государственной библиотеки (зав. Н. В. Рыжак), Франко-российский центр общественных и гуманитарных наук в Москве (директор Ф. Доссе), Ю. И. Абызова (Рига, Латвия), С. Г. Исакова (Тарту, Эстония), Л. Н. Белошевскую (Прага, Чехия) за помощь в подборе материалов.

РАССКАЗЫ

ПЕСТРЫЙ ПЛАТОЧЕК (с. 31)

Впервые: Звено. Париж, 1923. 23 апреля. № 12. С. 2. Перепечатано в газете «Сегодня». Рига, 1931. 28 июня. № 176 и 1937. 14 февраля. № 45 под названием «Кольцо любви. Из пережитого».

ВАНЯ И МАРИ (с. 36)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1924. № 2 (без даты). С. 1–4. Перепечатано в газете «Сегодня». 1937. 3 января. № 3.

КОЛЬЦО МОЛЧАНИЯ (с. 44)

Впервые: Сегодня. Рига, 1924. 9 марта. № 58. С. 7. Перепечатано в варшавской газете «За свободу!». 1924. 17 марта. № 74 (1129).

Преображение, яблочный Спас – христианский праздник, отмечаемый 19 августа нового стиля.

МАЛЬЧИК В ПЕЛЕРИНКЕ *(Встреча)* (с. 47)

Впервые: Сегодня. Рига, 1924. 23 марта. № 69. С. 7.

...трех старых литераторов... – с начала апреля по 4 августа 1917 г. Мережковские с Д. В. Философовым жили в Кисловодске.

«Грядущее. Газета молодежи» – выходила в 1917 г. в Кисловодске; в № 1 и 2 (август, сентябрь) под псевдонимом Антон Крайний напечатаны очерки Гиппиус «Соколов, Керенский, Приказ № 1», «Чья Россия», «Лики главных газет».

«Петроград» – стихотворение Гиппиус, написанное 14 декабря 1914 г. и опубликованное в газете «Речь» 17 марта 1917 г.

Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич, 1887–1941) – поэт. С 1918 г. постоянно жил в Эстонии. См. статью Гиппиус «Страничка о прошлом (Ф. К. Сологубу для И. Северянина)» (1931) в следующем томе настоящего издания.

Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) — писатель, участник Религиозно-Философских Собраний. Гиппиус посвятила ему главу в своей книге «Живые лица» (Прага, 1925). Его жена, писательница А. Н. Чеботаревская (1876—1921) покончила жизнь самоубийством.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — писатель. Гиппиус писала о нем в статье «Проза поэта» (1907) в своем «Литературном дневнике» (1908), в статье «Свой. Валерий Брюсов, человек и поэт» (Русская Мысль. 1910. № 2), в очерке «Одержимый» (1923) в книге «Живые лица» (1925).

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, критик.

Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

...седеющий критик... — Д. С. Мережковский.

Письма Белинского — изданы в трех томах под редакцией Е. А. Ляцкого (СПб., 1914).

...холодное, снежное бегство... — 24 декабря 1919 г. Мережковские, Д. В. Философов и В. А. Злобин покинули Петроград и бежали в Польшу.

«Одни погибли, другие изменили...» — перифраз строк из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840): «Иные погибли в бою, / Другие ему изменили».

МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ *(Н. М. Д.)* (с. 59)

Впервые: Звено. Париж, 1924. 9 июня. № 71. С. 2—3.

...куда переехали после смерти отца... — отец писательницы Николай Романович Гиппиус умер 9 марта 1881 г.

Монтекки и Капулетти — два враждебных рода в Вероне в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595).

Верн Жюль (1828—1905) — французский писатель, автор научно-фантастических романов.

«Нечаянная Радость» — икона Божьей Матери.

«Из равнодушных уст я слышу смерти весть...» — А. С. Пушкин. «Под небом голубым страны своей родной...» (1826).

НАДЯ *(Записки младенца)* (с. 69)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 14 января. № 1448. С. 2–3.

Успенский пост – в честь Пресвятой Богородицы с 1 по 15 августа.

СЕРЕЖА ПОДРОС *(Наталья Павловна)* (с. 79)

Впервые: Звено. Париж, 1925. 16 марта. № 111. С. 2–3.

Симеон Столпник (356–459) – христианский аскет, проводивший в течение 40 лет бóльшую часть времени на столбе, имевшем на вершине площадку для стояния и сидения в любую погоду.

Жил на свете рыцарь бедный... – одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1829).

ЦАРСКИЙ ПУТЬ (с. 90)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 12 апреля. № 1524. С. 2. Перепечатано в «Иллюстрированной России» (1933. 15 апреля. № 16. С. 4–5) под названием «Светлое утро. Рассказ».

СОСЕД № 1 (с. 94)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 28 мая. № 1562. С. 2–3.

Мы пьем в любви отраву сладкую... – одноименное стихотворение Е. А. Баратынского (1824).

Приказ № 1 – первый после победы Февральской революции приказ по гарнизону Петроградского военного округа от 1 марта 1917 г., наделявший солдат гражданскими правами и отменявший титулование офицеров. Автором Приказа № 1 был Н. Д. Соколов, о котором написана статья Гиппиус «Глаза лани» (1928; см. следующий том настоящего издания).

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ЛЕКЦИЯ В МИНСКЕ (с. 105)

Лекция прочитана Гиппиус в январе 1920 г. в Минске, куда Мережковские попали после бегства из Петрограда. Печатается по журналу «Вестник русского христианского движения». Париж; Мюнхен; Нью-Йорк, 1986. № 147. С. 241–247.

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (Овсей-Гершен Аронович) (1883–1936) – в 1917–1926 гг. председатель Петроградского (Ленинградского) совета. Репрессирован в 1936 г.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – один из организаторов большевистского переворота в октябре 1917 г. В 1918–1925 гг. нарком по военным и морским делам.

Дворец Урицкого – осенью 1918 г. после убийства М. С. Урицкого Таврический дворец в Петрограде был переименован в Дворец Урицкого, однако название не прижилось.

Колчак Александр Васильевич (1873–1920) – адмирал, в 1918–1920 гг. верховный главнокомандующий России. Расстрелян 7 февраля 1920 г. в Иркутске по телеграмме В. И. Ленина.

Жена Горького – Мария Федоровна Андреева (Юрковская) (1868–1953) – актриса и общественный деятель, гражданская жена М. Горького с 1903 г. После 1917 г. – комиссар отдела театров и зрелищ в Петрограде.

Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – в 1919 г. главнокомандующий Северо-Западной армией, безуспешно наступавшей в октябре 1919 г. на Петроград. Эмигрировал в 1920 г.

Горький – о взаимоотношениях А. М. Горького и В. И. Ленина см. в кн.: *Горький М.* Несвоевременные мысли / Вступ. статья и коммент. И. Вайнберга. М., 1990.

Она не погибнет – знайте! – З. Н. Гиппиус. Знайте! (1918).

С ТОГО СВЕТА (с. 112)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 17 июля. № 1. С. 2.

МИР С БОЛЬШЕВИКАМИ (с. 115)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 18 июля. № 2. С. 1.

Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) – в 1918 г. полпред в Берлине, в 1920 г. член делегации по переговорам о мире с Эстонией, Латвией и Литвой, потом – с Польшей.

ГЕРОИ В РОССИИ (с. 117)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 20 июля. № 3. С. 1. Экземпляр газеты дефектный.

...в красной армии служить не хотел... – см.: *Гиппиус З.* Дневники: В 2 кн. М.: Интелвак, 1999. Кн. 2. С. 220–221.

ГЕНИЙ ПОБЕДЫ (с. 119)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 22 июля. № 5. С. 1 под псевдонимом Лев Пущин.

ЕЩЕ О МИРЕ С БОЛЬШЕВИКАМИ (с. 121)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 23 июля. № 6. С. 1.

...Вскоре Ленин <...> этот договор и подписал. – 2 февраля 1920 г. Эстония подписала мирный договор с РСФСР.

«клочок бумажки» – выражение германского рейхсканцлера Т. Бетман-Гольвега (1856–1921), произнесенное 4 августа 1914 г. в ответ на напоминание ему английским послом в Германии о гарантиях нейтралитета Бельгии, после чего Англия объявила войну Германии. Выражение получило тогда широкую огласку.

«Не знаю я, где святость, где порок...» – З. Н. Гиппиус. Три формы сонета (1907).

МЕЧТЫ И КОШМАР (с. 124)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 24 июля. № 7. С. 1 под псевдонимом Лев Пущин.

От боли мы безглазы... – З. Н. Гиппиус. Дверь (март 1918).

ДВЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (с. 126)

Впервые: Свобода. Варшава, 1920. 17 сентября. № 53. С. 3 под псевдонимом Лев Пущин.

ТАМ, В РОССИИ (с. 129)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 12 января. № 181. С. 2; 13 января. № 182. С. 2; 23 января. № 192. С. 2; 30 января. № 199. С. 2 (под номером V. Интервенция); 16 февраля. № 216. С. 2. Эпиграф взят из кн.: *Минский Н.* Из мрака к свету: Избранные стихотворения. Берлин, 1921.

Деникин Антон Иванович (1872–1947) – в 1918 г. командующий Добровольческой армией, с января 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. Эмигрировал в 1920 г.

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – барон, в 1920 г. главком Русской армии. Эмигрировал в 1920 г.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – один из организаторов партии кадетов, министр иностранных дел во Временном правительстве (март–апрель 1917 г.). В эмиграции с 1918 г. 1 марта 1921 г. парижская газета «Последние Новости» стала выходить под его редакцией.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – в марте 1917 г. вступил в партию эсеров. Во Временном правительстве министр юстиции (март–май 1917 г.), с 8 июля министр-председатель, с 30 августа Верховный главнокомандующий. В эмиграции с 1918 г.

...Как скользки улицы отвратные! – З. Гиппиус. Сейчас (9 ноября 1917).

Угредительное собрание – парламентское учреждение в России, заседание которого проходило 5 (18) января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде и было разогнано большевиками. Декрет о роспуске Учредительного собрания был подписан В. И. Лениным.

...мои дневники будут вырыты из Совдепской земли... – одна из частей дневника Гиппиус была вывезена из России в Париж и опубликована ею в 1929 г. в Белграде под названием «Синяя книга».

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – один из основателей партии эсеров, 5 января 1918 г. избран председателем Учредительного собрания. В эмиграции с 1920 г.

Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) – одна из лидеров партии эсеров. Расстреляна в Орловской тюрьме.

...в кошмарные дни путешествия до Гомеля... – имеется в виду бегство Мережковских в конце декабря 1919 г. из Петрограда.

III Интернационал (Коммунистический Интернационал, Коминтерн) – в 1919–1943 гг. международная организация, объединявшая компартии разных стран под руководством Москвы.

25 окт. 17 года – то есть большевистский переворот.

«*Три поля на знамени нашем...*» – З. Н. Гиппиус. Молодое знамя (1915).

«*Воля России*» – газета, выходившая в Праге с сентября 1920 г. и ставшая в 1922 г. журналом пражской эмиграции.

«*Последние Новости*» – ежедневная газета, выходившая в Париже в 1920–1940 гг., один из главных органов русской эмиграции.

...статья Ю. Делевского – Делевский Ю. Десница и шуйца // Последние Новости. 1921. 3 февраля. № 242.

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) – историк, издатель, журналист. Эмигрировал в 1918 г. и возобновил издававшуюся им ранее в Петрограде газету «Общее Дело» (1918–1922, 1928–1934), которая нередко полемизировала с «Последними Новостями» и «Волей России».

...гто думают 33 русских эмигранта? – В январе 1921 г. в Париже проходило совещание членов Учредительного собрания в эмиграции (Последние Новости. 1921. 9–23 января).

«*Воля Народа*» – еэедневная литературно-политическая газета в Петрограде в 1917–1918 гг.

ЗДЕСЬ, В ЕВРОПЕ

Дьявольская триада (с. 150)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 20 марта. № 248. С. 2.

...руку помощи Ленину и Троцкому. – В 1921 г. В. И. Ленин – председатель Совета народных комиссаров РСФСР, Л. Д. Троцкий – председатель Реввоенсовета РСФСР.

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) – премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг.

...*«обнажились, заголились»*. – («заголимся и обнажимся») – см.: *Достоевский Ф. М.* Бобок (из «Дневника писателя», 1873).

Ибсен Генрик (1828–1906) – норвежский драматург. В «Литературном дневнике» (глава «Что и как», 1904) Гиппиус писала: «Многие пьесы Ибсена – воистину пьесы "настоящего". Не вплетает ли он надежды в воспоминания и нереальное в реальное?».

ТАМ И ЗДЕСЬ (с. 153)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 4 апреля. № 263. С. 2. Эпиграф – одноименное стихотворение Гиппиус, написанное в 1920 г. Очевидно, здесь первая публикация стихотворения (кроме двух заключительных строк: «Будет последний глоток: / Смерть мне бросит платок»).

Кронштадтское восстание – Восставшие против коммунистической тирании 1 марта 1921 г., 27 тысяч матросов и солдат гарнизона Кронштадта и экипажей кораблей Балтийского флота были 18 марта разгромлены и зверски истреблены за исключением 8 тысяч бежавших в Финляндию. 21 марта был введен НЭП (замена продразверстки натуральным продналогом) как прямое следствие Кронштадтского восстания.

«Речь» – кадетская газета, выходившая в Петербурге в 1906–1917 годах. Редакторами были П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, И. В. Гессен и др.

...*«канун да ладан»*... – Канун – поминальное кушанье и заупокойный церковный молебствий; ладан – ароматическая смола, употребляемая при богослужении для курений.

«Руль» – ежедневная газета, выходившая в Берлине в 1920–1931 гг. Основана И. В. Гессеном, А. И. Каминской и В. Д. Набоковым, имя которого сохранялось в титрах газеты и после его гибели от рук убийцы в марте 1922 г.

«Общее дело» – см. выше Бурцев В. Л.

БЫЛО НЕ ТО

Письмо в редакцию (с. 157)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1921. 9 апреля. № 298. С. 2. Подписи: З. Гиппиус, Д. Мережковский.

Статья г. Тандефельда – статья «То, что было. Катастрофа русского фронта в Польше» появилась в «Последних Новостях» 30 марта 1921 г. (№ 289).

Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) – политический деятель. В эмиграции с 1920 г., когда участвовал в переговорах с руководителем Польши Ю. Пилсудским о привлечении Польши к борьбе с большевиками.

Савинков Борис Викторович (1879–1925) – один из руководителей «Боевой организации» эсеров. Гиппиус познакомилась с ним в 1906 г. 20 мая 1920 г. она опубликовала в газете «Свобода» (Варшава) стихи «Борису Савинкову» (ранее напечатаны в 1914 г. под названием «Не будем как солнце»). В 1931 г. в Париже вышло посмертное издание – «Книга стихов» В. Ропшина (Б. Савинкова) с предисловием Гиппиус; ей также принадлежит название и редактура романа Савинкова «Конь бледный» (1909, под псевдонимом В. Ропшин), а также выбор этого псевдонима.

...несправедливость, совершенную в 1772 году... – имеется в виду первый частичный раздел Польши между Россией, Австрией и Пруссией.

Генерал Глазенап С. П. – командир в Добровольческой армии А. И. Деникина. О нем Гиппиус подробнее пишет в «Варшавском дневнике» (*Гиппиус З.* Дневники. М., 1999. Т. 2).

Балахович (Булак-Балахович) Станислав Никодимович (1883–1939) – штаб-ротмистр русской армии, присвоивший себе звание генерала. В 1920 г. командовал полком красноармейцев, перешедших на сторону белых, и способствовал их победам в Польше.

...августовской борьбы под Варшавой. – Речь идет о поражении советских войск во время Варшавского сражения 13–25 августа 1920 г. в ходе советско-польской войны 1920 г.

Пермикин – В «Варшавском дневнике» Гиппиус писала 26 марта 1921 г.: «Глазенап уже исчез, да и вообще какие-то генералы, почти

все, прежние исчезли, появились какие-то новые (вроде молодого Пермикина)».

Махров Петр Семенович (1876–1964) – генерал-лейтенант. 16 июня 1920 г. генерал Врангель назначил его своим военным представителем в Польше, и он оставался таковым до декабря 1924 г.

Рижский мир – договор РСФСР и УССР с Польшей о прекращении войны и нормализации отношений был подписан 18 марта 1921 г.

ТАЙНА ЗЕРКАЛА

(Иван Бунин) (с. 162)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 16 мая. № 304. С. 2–3.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – писатель. Эмигрировал в январе 1920 г. В 1933 г. получил Нобелевскую премию. В «Варшавском дневнике» 11 марта 1921 г. Гиппиус писала: «Бунин – во-первых, слишком чистый "художник", а во-вторых – не без черносотенства».

...Строился картонный трон Л. Андрееву. – Литературной известности Л. Н. Андреева (1871–1919) способствовал М. Горький, знакомство с которым состоялось в марте 1900 г. В 1901 г. издательство «Знание» на средства Горького выпустило первую книгу Андреева «Рассказы», имевшую успех у читателей и критиков.

...Он был близок с Чеховым. – 12 декабря 1895 г. Бунин познакомился в Петербурге с А. П. Чеховым, у которого с 1899 г. подолгу гостил в Ялте. В парижской газете «Последние Новости» 7 июня 1928 г. и 14 июля 1929 г. он напечатал статьи-воспоминания о Чехове, вошедшие в его книгу «Воспоминания» (Париж, 1950). В последний год своей жизни Бунин приступил к работе над книгой «О Чехове», оставшейся неоконченной.

...Он знал Льва Толстого. – Бунин познакомился с Л. Н. Толстым в январе 1894 г. в Москве в его доме в Хамовниках. Статьи о Толстом Бунин печатал в газете «Последние Новости» (9 сентября 1928 и 9 августа 1931), в журнале «Иллюстрированная Россия» (1936. № 32) и в своей книге «Воспоминания» (Париж, 1950).

«У истока дней» – рассказ Бунина был напечатан в альманахе «Шиповник» (1907. Кн. 2). В переработанном виде и под названием

«Зеркало» рассказ появился в газете «Последние Новости» 29 декабря 1929 г.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТАЙНЫ (с. 172)

Впервые: Сегодня. Рига, 1921. 31 мая. № 120. С. 4.

Статья перекликается с дневником Гиппиус «Серый блокнот (1919)», опубликованном в «Русской Мысли» (София, 1921. № 3–4) и в сборнике: *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д., Злобин В.* Царство Антихриста. Мюнхен, 1921.

БАРЫШНИ-СОДЕРЖАНКИ
Совдепский негатив Зинаиды Гиппиус (с. 175)

Впервые: Сегодня. Рига, 1921. 5 июня. № 125. С. 2.

Володарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович; 1891–1918) – после 1917 г. комиссар по делам печати, обвинитель на процессах против независимой печати. 20 июня 1918 г. убит в Петрограде по дороге на митинг. С 1918 по 1944 г. Литейный проспект назывался проспектом Володарского.

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) – с марта 1918 г. председатель петроградского ЧК. Убит 30 августа 1918 г. поэтом Леонидом Иоакимовичем Каннегисером (р. 1890), зверски замученным чекистами. Убийство Урицкого повлекло за собой первый массовый расстрел советской властью заложников (521 человек по сообщению газеты «Северная коммуна», 1918. 18 октября. Вечернее приложение). Глава советской власти в Петрограде Зиновьев после убийства Урицкого предложил разрешить рабочим устраивать самосуд на улицах над интеллигенцией. Дворцовая площадь с 1918 по 1944 г. называлась площадью Урицкого.

АНТИСЕМИТИЗМ? (с. 180)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 24 июня. № 343. С. 2–3.

Петерс Яков Христофорович (1886–1938) – заместитель председателя ВЧК, один из самых кровавых чекистов, которого Гиппиус называла «кровавым латышом».

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – с 1917 г. председатель ВЧК (с 1922 г. ГПУ, ОГПУ) и нарком внутренних дел. В дневнике (8 июня 1918) Гиппиус называет его «буквальный палач».

КУБОК СМЕРТИ (с. 186)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 27 июля. № 375. С. 2.

Страданьями была упитана она... – М. Ю. Лермонтов. Еврейская мелодия. Из Байрона (1836).

«Юдоль» – мемуарная повесть Н. С. Лескова (1892).

Сказать – не поверят... – четверостишие Гиппиус, опубликованное в «Русской Мысли» (1921. № 3/4. С. 96) в составе «Серого блокнота» (23 декабря 1919 г.).

ЕДИНЫЙ ПОГРОМЩИК (с. 191)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 2 августа. № 381. С. 2.

...ни эллина, ни иудея... – Кол. 3, 11.

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) – командир 1-й Конной армии (1919–1923).

ДИНАМИТ (с. 195)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 13 августа. № 392. С. 2.

...мою статью, написанную недели две тому назад. – Имеется в виду статья «Кубок смерти» (см. выше, 27 июля 1921 г.).

...«да свершится правосудие, хотя бы погиб мир»... – девиз немецкого императора Франциска I (1503–1564).

«в армяке с открытым воротом» – Н. А. Некрасов. Влас (1854).

...под досками, на которых сидят татары... – образ из истории: в битве при Калке (1223) русские потерпели поражение от татар; пленных татары задавили, положив под доски, на которые сели обедать.

ЖИРНЫЕ КУСКИ (с. 201)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 28 августа. № 407. С. 2.

Возможно, название статьи навеяно образом «жирные говяда» в сатирическом стихотворении А. К. Толстого «Порой веселой мая...» (1871).

Идсамим – то самое (*искаж. лат.*).

Вальера Хуан (1824–1905) – испанский писатель, автор известного романа «Иллюзии доктора Фаустино» (1875), переведенного в 1894 г. на русский язык.

Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – в 1918–1930 гг. нарком иностранных дел РСФСР, СССР.

Рорбах Пауль (р. 1869) – немецкий публицист и экономист. Имеется в виду статья «Рорбах о России» в петроградской газете «День» 6 (19) декабря 1917 г.

«Спой, светик, не стыдись!» – И. А. Крылов. Ворона и лисица (1808).

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869–1958) – в 1921 г. одна из организаторов Комитета помощи голодающим, который был разогнан, а его руководители (Кускова, Н. М. Кишкин, С. Н. Прокопович) приговорены к смертной казни, замененной высылкой Кусковой и Прокоповича за границу и ссылкой Кишкина в Вятку.

Кишкин Николай Михайлович (1864–1930) – один из сподвижников Кусковой по Всероспомгоду. Несмотря на советы эмигрировать, остался в России, служил в Наркомздраве.

...в милюковской газете «Чего изволите?»... – имеется в виду парижская газета «Последние Новости».

ТАЙНА П. Н. МИЛЮКОВА (с. 204)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 30 августа. № 409. С. 2.

«Путь» – литературно-художественные и научно-популярные сборники, выходившие в Москве в 1918–1920 гг.

крымская катастрофа – речь идет о разгроме генерала П. Н. Врангеля в октябре–ноябре 1920 г. в Крыму.

ИЛИ – ИЛИ (с. 209)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 1 октября. № 441. С. 2.

Сарынь на кичку! – возглас волжских разбойников, которые, захватив корабль, так приказывали экипажу (сарынь – толпа, сброд) отправляться на кичку (нос корабля), чтобы не мешали грабить.

Нансен Фритьоф (1861–1930) – норвежский путешественник. В 1921 г. один из организаторов помощи голодающей России.

«Задушевное Слово» – издававшийся в Петербурге в 1877–1918 гг. журнал, пользовавшийся большой популярностью (Чтения для детей, юношества и для взрослых).

«Зеленая Палочка» – иллюстрированный журнал для детей, созданный писателем Дон-Аминадо и выходивший в Париже в 1920–1921 гг.

...расстреляли Гумилева... – поэт Н. С. Гумилев был расстрелян в Петрограде 25 августа 1921 г. Сообщение об этом (на основании «Петроградской правды» от 1 сентября) появилось в «Последних Новостях» 9 сентября 1921 г., подробнее 11 сентября на полосе под названием «Кровавая тризна».

«Голос России» – берлинская газета, выходившая в 1919–1922 гг. под редакцией кн. Д. А. Шаховского.

БЕССТРАШНАЯ ЛЮБОВЬ

(Русский народ и Ив. Бунин) (с. 214)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 23 октября. № 463. С. 2–3. Гиппиус цитирует повесть И. А. Бунина «Деревня» (1910).

...Максима Горького, только что заявившего на всю Европу... – 16 октября 1921 г. М. Горький выехал из Петрограда в Гельсингфорс, где давал интервью корреспондентам, что и имеет в виду Гиппиус.

...верили «богоносцу» Достоевского... – слова Шатова в «Бесах» Ф. М. Достоевского: «единый народ – “богоносец” – это русский народ» (Ч. II. Гл. 1. VII).

Платон Каратаев – солдат из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», встретившийся Пьеру Безухову в плену и научивший его видеть жизнь в духе патриархального крестьянства.

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – в 1920 г. после овладения Крымом как член Реввоенсовета был одним из руководите-

лей массовых расстрелов офицеров, затем зам. председателя Госплана. Репрессирован в 1937 г.

ОПЯТЬ О НЕЙ (с. 225)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 20 ноября. № 490. С. 2.

... в «Последних Новостях» была такая статья <...> по поводу смерти Блока... — 13 августа 1921 г. «Последние Новости» напечатали статью И. Василевского (Не Буква) «Последние стихи (Памяти Александра Блока)».

«Всемирная литература» — издательство, основанное в 1918 г. М. Горьким, А. Н. Тихоновым и И. П. Ладыжниковым с целью перевода и изданий зарубежной литературы.

МЫ БОЛЬНЫ... (с. 229)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1921. 18 декабря. № 518. С. 2. Эпиграф из стихотворения З. Гиппиус «Дверь» (март 1918), опубликованного в журнале «Воля Народа» (1918. № 6). В статье Гиппиус цитирует строки из того же стихотворения.

«Ere Nouvelle» — ежедневная парижская газета союза левых сил, издававшаяся с 1917 г. Луи Паске.

РОМАН О МИСТЕРЕ УЭЛЛЬСЕ (с. 233)

Впервые: Грани. Франкфурт-на-Майне, 1972. № 83. С. 117—128. Публикация Т. Пахмусс. В конце сентября — начале октября 1920 г. английский писатель Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) посетил во второй раз Россию (впервые в 1914 г.), результатом чего стала его книга «Россия во мгле» (1920), русский перевод которой вышел в Софии в 1921 г. с предисловием Н. С. Трубецкого. Тогда же, очевидно, была написана статья Гиппиус. В предисловии к публикации Т. Пахмусс отмечает: «Гиппиус, возмутившись заявлением английского публициста, написала против его книги и против содержащейся в ней интерпретации русского народа и якобы гуманного советского правительства целый ряд статей. Русская пресса во Франции, однако,

считала в те годы более благоразумным не печатать патриотических произведений знаменитой поэтессы. Ее "Роман о мистере Уэлльсе" поэтому остался ненапечатанным».

Черчилль Уинстон (1874–1965) – в 1919–1921 гг. был военным министром Великобритании, один из организаторов интервенции против большевистской России, выступил с осуждением книги Уэллса.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) – писатель. В речи на банкете по случаю приезда Уэллса изложил свои взгляды на происходящее в стране, после чего был арестован ЧК, в третий раз при большевиках. Опасаясь нового ареста, вместе с семьей бежал в 1921 г. на лодке в Финляндию.

...Это было 4 ноября 1917 года. – Запись 6 ноября 1917 г. в дневнике Гиппиус: «Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким» (*Гиппиус З.* Дневники. М., 1999. Т. 1. С. 608).

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – художник, историк искусства. В эмиграции с 1926 г.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920) – историк литературы, журналист, критик. Под его редакцией вышла «История западной литературы. 1800–1910» (1912–1917. Т. 1–4).

Пошехонов (Пешехонов) Алексей Васильевич (1867–1933) – экономист, публицист, министр продовольствия Временного правительства. В 1922 г. выслан из страны.

Иверская – часовня с иконой Божьей Матери находилась при входе на Красную площадь Москвы. Уничтожена большевиками в 1929 г. Ныне восстановлена.

Вандерлип Франк (1864–1937) – американский банкир, экономист, приехавший в Москву для обсуждения экономического развития страны.

...свидание с папой-Лениным состоялось... – беседа В. И. Ленина с Г. Уэллсом проходила 6 октября 1920 г.

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1869–1916) – фаворит Николая II и его жены императрицы Александры Федоровны. Убит монархистами.

Нольде Борис Эммануилович (1876–1948) – историк, адвокат. В эмиграции с 1918 г., сотрудничал в газете «Последние Новости».

О ВЕРНОСТИ (с. 244)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1922. 1 января. № 531. С. 2.

Башня Силоамская – в Евангелии от Луки: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» (13, 4).

ГДЕ РЕВОЛЮЦИЯ? (*Записки поэта*) (с. 249)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1922. 13 января. № 539. С. 2–3.

Ландау Григорий Адольфович (1877–1941) – философ, публицист, критик. Эмигрировал в 1920 г. Сотрудник берлинской газеты «Руль». В 1938 г. переехал в Ригу. В 1941 г. арестован в советской Латвии, погиб в заключении. Статья «Происхождение смуты» напечатана в газете «Руль» 20 и 21 декабря 1921 г. (№ 332 и 333).

Щегловатов Иван Григорьевич (1861–1918) – министр юстиции в 1906–1912 гг. Речь идет об инциденте с Д. С. Мережковским на русской границе 25 марта 1912 г., когда у него отобрали часть рукописи романа «Александр I». Гиппиус пишет об этом в дневнике «О бывшем (1899–1914)» (*Гиппиус З.* Дневники. М., 1999. С. 157).

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – политический деятель, писатель. В эмиграции с 1920 г., жил в Белграде. Статья Шульгина «От "14 декабря" до "Царства Антихриста"» – в газете «Грядущая Россия» 29 декабря 1921 г. № 18.

«14 декабря» – роман Д. С. Мережковского, изданный в Петрограде в 1918 г. и в 1921 г. переизданный в Париже.

ЧАШКА ЧАЮ (с. 257)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1922. 26 января. № 549. С. 2–3.

...«Баллада» о Деларю... – юмористическое стихотворение А. К. Толстого «Вонзил кинжал убийца нечестивый...» было впервые напечата-



но в 1900 г. в составе статьи В. С. Соловьева «Три разговора». Михаил Данилович Деларю (1811–1868) – поэт, ближайший участник кружка А. А. Дельвига и А. С. Пушкина.

Генуэзская конференция (10 апреля–19 мая 1922) – Международная конференция по экономическим и финансовым вопросам. Официальным представителем делегации РСФСР был В. И. Ленин, не выезжавший в Геную (правами председателя пользовался нарком иностранных дел Г. В. Чичерин). 8 марта 1922 г. США отказались от участия в конференции.

Станислав – один из младших орденов в царской России, до 1855 г. давал право на потомственное дворянство.

...Я дать совет властям имею право... – в рукописном списке стихотворения было: «Я дать совет царю имею право».

Камергер – придворный чин старшего ранга.

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК (с. 264)

Впервые: Общее Дело. Париж, 1922. 7 апреля. № 563. С. 2.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), отец писателя В. В. Набокова, эмигрировал в 1919 г. Вместе с И. В. Гессеном с ноября 1920 г. издавал газету «Руль». Погиб 28 марта 1922 г. при покушении на П. Н. Милюкова, бросившись на террориста и пытаясь его обезоружить.

...убийцы уже едут на свидание... – имеется в виду Генуэзская конференция (см. коммент. к статье «Чашка чаю»).

ЛУНДБЕРГ, АНТОНИН, ЕСЕНИН (с. 266)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1922. 6 июля. № 680. С. 2–3 под псевдонимом Антон Крайний.

Лундберг Евгений Германович (1883–1965) – прозаик, критик. В 1903 г. познакомился с Мережковскими и начал печататься в журнале «Новый Путь» (рассказ «Под липами». 1903. № 12). Осенью 1920 г. основал в Берлине издательство «Скифы».

...у нас впервые стали печататься Блок, Пяст, Сергеев-Ценский... – А. А. Блок познакомился с Мережковскими в марте 1902 г. и начал

печататься в руководимом ими журнале «Новый Путь» (1903. № 3), опубликовав цикл из десяти стихотворений. Владимир Алексеевич Пяст (Пястовский; 1886–1940), поэт и переводчик, в январе 1905 г. познакомился с А. Блоком. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958) – прозаик, драматург, поэт, критик. Журнал Мережковских «Вопросы Жизни» был закрыт цензурой в 1905 г. за публикацию повести Сергеева-Ценского «Сад». В дальнейшем Сергеев-Ценский получил известность исторической эпопеей «Преображенная Россия» (1914–1958), в том числе романом о Крымской войне 1853–1856 гг. «Севастопольская страда» (1937–1939).

...Из Киева, куда он уехал... – в 1905 г. Лундберг сблизился с «Христианским братством борьбы», в октябре 1905 г. вместе со своим учителем философом Львом Шестовым (Шварцман; 1866–1938), был в Киеве во время еврейского погрома. Оставался в Киеве до 1909 г., когда был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость в Петербурге, откуда вышел через полгода в результате хлопот Л. Шестова и выехал за границу. В начале 1914 г. вернулся в Петербург и возглавил литературный отдел журнала «Современник».

...злостные против нас статьи. – Статьи Лундберга о поэзии и прозе Гиппиус печатались в журналах «Русская Мысль» (1912. № 12), «Заветы» (1913. № 1). В 1914 г. он выпустил книгу «Мережковский и его новое христианство».

Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич; 1878–1946) – критик, журналист. В 1917 и 1918 гг. был в Петрограде главным инициатором издания двух альманахов «Скифы».

...«потерянное дитя»... – часовой на передовом посту в армии времен французской революции 1789 г. – Гиппиус так называет А. Блока в записи «Черной тетради» 11 января 1918 г.

...уничтожил книгу. Сжег, кажется. – В конце 1921 г. Берлин потряс слух о сожжении всего тиража брошюры Л. Шестова «Что такое русский большевизм?» ее издателем – Е. Г. Лундбергом. Издатель и автор были связаны долголетней дружбой. Уничтожение книги явилось следствием сближения Лундберга с советскими представителями в Берлине.

Антонин (Грановский Александр Андреевич; 1860 или 1865–1927) – Гиппиус пишет о нем в своем дневнике «О Бывшем» 29 мар-

та 1903 г.: «Этот архиерей Антонин, ныне епископ Нарвский (недавно), летом даже сходил с ума. Теперь поправился». В 1908 г. получил степень магистра богословия и был уволен по болезни на покой.

«Религ. Фил. Собрания» — с 29 ноября 1901 г. по 19 апреля 1903 г. в Петербурге в зале Географического общества прошло 22 заседания «Религиозно-Философских Собраний», созданных Д. С. Мережковским, В. В. Розановым, Д. В. Философовым, В. С. Миролюбовым, В. А. Тернавцевым для встреч Церкви с представителями «нового религиозного сознания». Секретарем Собраний был Ефим Александрович Егоров, ставший и секретарем журнала «Новый Путь» (1903—1904).

Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — богослов, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода (с 1907 г.). Гиппиус пишет о нем в неоконченной книге «Дмитрий Мережковский».

Алавастровый сосуд — сделанный из алавастра, твердого известняка, из которого в древности изготовляли сосуды.

Архимандрит Сергий (Страгородский Иван Николаевич; 1867—1944) — духовный писатель, епископ Финляндский и Выборгский, ректор Петербургской Духовной академии (1901—1905), председатель «Религиозно-Философских Собраний». С 1943 г. патриарх Московский и всея Руси.

Антоний (Вадковский Александр Васильевич; 1846—1912) — духовный писатель, митрополит Петербургский и Ладожский. 8 октября 1901 г. благословил инициаторов «Религиозно-Философских Собраний».

Скворцов Василий Михайлович (1859—1932) — редактор журнала «Миссионерское обозрение», выходившего в Петербурге в 1896—1917 гг., чиновник по особым поручениям при обер-прокуроре Синода К. П. Победоносцеве (1827—1907).

...после октябрьского манифеста... — имеется в виду манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», которым в России был создан двухпалатный представительный орган (Гос. совет и Гос. дума), отменена предварительная цензура, объявлена амнистия лицам, осужденным за государственные преступления.

Есенин <...> чуть ли не за день до того, явился в Петербург. – С. А. Есенин (1895–1925) приехал в Петербург 9 марта 1915 г. и, вероятно, посетил салон Гиппиус в воскресенье 14 марта (см.: Русское зарубежье о Есенине: В 2 т. / Сост. Н. И. Шубникова-Гусева. М., 1993. Т. 1. С. 273).

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) – поэт. Осенью 1907 г. завязал переписку с А. Блоком, который способствовал появлению стихов Клюева в журналах «Золотое Руно», «Бодрое Слово» и др. Первый сборник стихов «Сосен перезвон» (1912) Клюев посвятил Блоку. В октябре 1915 г. познакомился в Петрограде с Есениным, с которым выступал в столичных салонах. Вокруг Клюева и Есенина группировались писатели «новокрестьянского» направления. В октябре 1937 г. Клюев был расстрелян в Томске.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – писатель. В 1915 г. вместе с Есениным и Клюевым пытался организовать кружок «народных писателей», которых Гиппиус называет «пейзанистами» (от французского «крестьянин»).

Рел.-Фил. Общество – «Религиозно-Философское Общество» возникло в начале 1907 г. в Петербурге и было более широким по составу, чем «Религиозно-Философские Собрания» (1901–1903). Значительная часть докладов была посвящена осмыслению философской значимости русской литературы.

...его недавно поймали с вагоном соли... – очевидно, Гиппиус использовала слухи о лекционной поездке летом 1920 г. Есенина на Кавказ в отдельном вагоне с Г. Р. Колобовым, имевшим дружеское прозвище «Почем-соль» (С. А. Есенин в воспоминаниях современников. М., 1986. Т. 1. С. 319–320).

Введенский Александр – ему посвящена статья Гиппиус «Советский батюшка» (1923) в настоящем издании.

Ключников Юрий Вениаминович (1888–1938) – правовед, кадет. С 1919 г. жил в Париже, редактор журнала «Смена Вех» (1921–1922), соредактор берлинской газеты «Накануне» (1922–1925). В 1923 г. вернулся в Россию, позднее арестован и погиб в заключении.

Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) – писательница, вместе с отцом Михаилом Андреевичем Рейснером (1868–1928), профессо-

ром права, издавала журнал «Рудин» (1915–1916). 11 января 1918 г. Гиппиус записала в «Черной тетради»: «Проф. Рейснер – подозрительная личность, при царе писал доносы; на службе у большевиков. Лариса Рейснер – его дочь, поэтизирующая с претензиями, слабо; на службе».

БАЛЬМОНТ (с. 274)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1922. 11 августа. № 710. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт, критик, переводчик. Эмигрировал в июне 1920 г.

...Отчего же никогда о Бальмонте? – Гиппиус писала о Бальмонте в «Литературном дневнике» (статья «Два зверя», 1903).

Я – размеренность русской медлительной речи... – К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз (1901): «Я – изысканность русской медлительной речи...». Далее неточно цитируется из того же стихотворения.

Если любишь – возьми... – Гиппиус по памяти цитирует стихотворение Бальмонта «Русалка» (1902).

...Блок в предисловии к Ап. Григорьеву... – имеется в виду статья А. Блока «Судьба Аполлона Григорьева», опубликованная в книге «Стихотворения Аполлона Григорьева. Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок». М., 1916. С резкой критикой статьи Блока выступила Гиппиус (альманах «Огни», 1916).

«Новое Время» – ежедневная газета, выходившая в Петербурге в 1868–1917 гг. и считавшаяся среди либеральной и марксистской критики «реакционной».

«Марево» – сборник стихов 1917–1921 гг. К. Д. Бальмонта, вышедший в Париже в 1922 г., из которого Гиппиус и приводит стихи.

ВОПРОСЫ ИЗ ПУБЛИКИ
(Письмо в редакцию) (с. 279)

Впервые: Руль. Берлин, 1922. 10 сентября. № 542. С. 2–3.

Познер Соломон Владимирович (1876–1946), журналист, историк. Эмигрировал в 1921 г., секретарь Парижского союза писателей и журналистов,

...как недавно сказал г. Иванович в «Совр. Зап.»... – имеется в виду статья Ст. Ивановича «О диктатуре» в № 10 «Современных Записок» за 1922 г.

Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) – министр Временного правительства. В 1921 г. вместе с Е. Д. Кусковой и Н. М. Кишкиным возглавлял «Всероссийский комитет помощи голодающим Поволжья» (Помгол), в 1922 г. выслан из России. Муж Е. Д. Кусковой.

«Истыкал тут злодей ему...» – А. К. Толстой. «Вонзил кинжал убийца нечестивый» (1860).

СОВЕТСКИЙ БАТЮШКА
(А. Введенский) (с. 285)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1923. 18 февраля. № 869. С. 2; 20 февраля. № 870. С. 2–3.

Введенский Александр Иванович (1856–1925) – философ и психолог, профессор Петербургского университета (с 1890 г.), председатель С.-Петербургского философского общества (с 1899 г.), представитель русского неокантианства.

Вырубова Анна Александровна (1884–1964) – фрейлина императрицы Александры Федоровны (с 1904 г.), посредница между царской семьей и Григорием Распутиным. В эмиграции с 1920 г.

Смердяков – один из центральных персонажей романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880).

Конопницкая Мария (1842–1910) – польская писательница.

«Накануне» – берлинская ежедневная газета, выходившая в 1922–1925 гг.; продолжение парижского журнала «Смена Вех» (1921–1922).

...Маяковский в Париже... – В. В. Маяковский (1893–1930) – поэт, пробыл в Париже семь дней (18–25 ноября 1922 г.). 24 ноября Союзом русских художников во Франции и французскими художниками в честь поэта был устроен банкет.

Жеманфишисты – наплеватели (*фр.*), ниспровергатели.

Лукьянов Сергей Сергеевич (ок. 1888–1938) – журналист, филолог. Эмигрировал в 1920 г. С 1921 г. член парижской политической группы «Смена Вех», в 1923–1924 гг. соредактор берлинской газеты «Накануне». Вернулся в СССР, погиб в заключении.

Толстой Алексей Николаевич (1882/83–1945) – писатель. Эмигрировал в 1919 г., в 1922–1923 гг. соредактор «Литературного приложения» к берлинской газете «Накануне». Летом 1923 г. вернулся в СССР, где стал депутатом Верховного Совета, четырежды лауреатом Сталинской премии.

ЧТО ДУМАЮТ В РОССИИ (с. 298)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1923. 5 мая. № 932. С. 2.

Антоний Волынский (Храповицкий Алексей Павлович; 1864–1936) – церковный деятель и писатель. С 1902 г. архиепископ Волынский.

О ЖЕНСКОМ ПОЛЕ (с. 302)

Впервые: Звено. Париж, 1923. 7 мая. № 14. С. 3 под псевдонимом Лев Пущин.

...статьи о «поэтессах»... Могульского... – имеются в виду статьи К. Мочульского «Русские поэтессы»: I. М. Цветаева и А. Ахматова. (Звено. 1923. 5 марта); II. З. Гиппиус (Звено. 1923. 19 марта); III. М. Шагинян и И. Одоевцева (Звено. 1923. 16 апреля).

Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) – поэт. О его жене см. статью В. В. Розанова «Из житейских встреч. К. М. Фофанов» (1911) в томе «Собрания сочинений. О писательстве и писателях» В. В. Розанова (М., 1995).

Шкапская (Андреевская) Мария Михайловна (1891–1952) – поэтесса и журналистка. В 1922 г. вышло три ее поэтических сборника.

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – писательница, автор ряда сборников стихов и книги «О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус» (1912).

МЕШОК С КИСЛОРОДОМ (с. 305)

Впервые: За свободу! Варшава, 1924. 29 января. № 27 (1032). С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

Эррио Эдуард (1872–1957) – в 1924–1925 гг. премьер-министр и министр иностранных дел Франции, председатель партии радикал-социалистов.

Бенеш Эдуард (1884–1948) – в 1918–1935 гг. министр иностранных дел, в 1921–1922 – премьер-министр, в 1935–1938 – президент Чехословакии.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ

Полет в Европу (с. 309)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1924. № 18. С. 123–138 под псевдонимом Антон Крайний.

Ааронов жезл – согласно Библии (Числа, 17), в скинии (культовом шатре) на ночь были оставлены посохи (жезлы) 12 старейшин Израиля, и наутро лишь посох Аарона, брата первого пророка Моисея, был найден чудесно расцветшим.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) – писатель, перешедший после большевистского переворота на сторону новой власти, участвовал в работе Пролеткульта.

...Фауста своего написал... – речь идет о пьесе А. В. Луначарского (1875–1933) «Фауст и город» (1918).

...Последние стихи... – имеются в виду сборники стихов В. Я. Брюсова «Последние мечты» (1920), «В такие дни: Стихи 1919–1920» (1921), «Миг: Стихи 1920–1921» (1922), «Дали» (1922), в которых воспевается большевистская революция и новое государство.

...трагически погибла его жена. – Жена Ф. Сологуба Анастасия Николаевна Чеботаревская в сентябре 1921 г. накануне отъезда из России бросилась в реку Ждановку с Тучкова моста.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – писатель. В эмиграции с 1923 г., печатался в варшавской газете «За Свободу!».

«Смерть Ланде» – повесть М. П. Арцыбашева, опубликованная в «Журнале для Всех» (1904. № 12).

...в списке г-жи Крупской... – имеется в виду «Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек и изъятия контрреволюционной

литературы» (М., 1923), подписанная Н. Ульяновой (Крупской), женой В. И. Ленина, председателем с 1920 г. Главполитпросвета (орган советской цензуры). Этот первоначальный список сочли недостаточным, и в 1924 г. за подписью Н. Крупской, П. Лебедева-Полянского (зав. Главлитом) и М. Смушкиной появился новый «Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка» (перепечатан в «Российском литературоведческом журнале». 1994. № 4). Увидев этот список, живший за границей М. Горький был глубоко возмущен и хотел выйти из советского подданства, но затем «одумался».

Финстерархорн (Финстераархорн) – в «Разговоре» (1878) из «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева горная вершина Финстераархорн, когда всю землю покрыл снег и лед, говорит: «Застыло все. Хорошо теперь, спокойно».

...как определял и много лет тому назад. – Рецензия Гиппиус на повесть И. Бунина «Суходол» (Солнце России. 1912. № 141).

Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886–1957) – писатель. В эмиграции с 1919 г. «Термидор» – первая часть тетралогии «Мыслитель», печатавшаяся в «Современных Записках» (1921–1922). Вышла отдельным изданием в Берлине в 1923 г. под названием «Девятое Термидора». «Елена, маленький остров» («Святая Елена, маленький Остров» // Современные Записки. 1921. № 3, 4; отдельное издание: Берлин, 1923) – повесть о последних днях Наполеона на острове Св. Елены, заключительная часть тетралогии «Мыслитель».

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – писатель. В эмиграции с 1922 г. Повесть «Человек из ресторана» (1911) принесла ему всероссийскую известность. «Суровые дни» (1916) – сборник очерков о бедствиях и тяготах войны. Книга «Это было: Рассказ странного человека» (Париж, 1923) впервые была издана в Москве в 1919 г.

Флобер Гюстав (1821–1880) – французский писатель, автор романа «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» (1857), вызвавшего судебное преследование за «оскорбление общественной морали, религии и добрых нравов».

...«его же не прейдеши»... – предел; из церковно-славянского текста Библии (Дан. 6, 8).

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – писатель. В 1907 г. в журнале «Весы» (№ 3) Гиппиус в статье «Тварное» (вошла в «Литературный дневник») писала о книге рассказов Зайцева то, что она цитирует в данной статье. Рассказ «Тихие зори» был напечатан в журнале «Новый Путь». 1904. № 11.

...из моей статьи 1904 года... – имеется в виду статья Гиппиус «Выбор мешка» (Новый Путь. 1904. № 1), вошедшая в «Литературный дневник» Антона Крайнего.

...почему Горький потянулся в Европу? – В октябре 1921 г. Горький выехал через Финляндию в Берлин, заявив, что больше с большевиками дела иметь не хочет (после провокационного Таганского дела, по которому без суда было расстреляно 63 человека, в том числе поэт Н. С. Гумилев, а также после расправы Кремля над Всероссийским комитетом помощи голодающим).

Он был титулярный советник... – начало одноименного стихотворения (1859) П. И. Вейнберга.

Нитше (Ницше) Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, один из основателей «философии жизни», как и французский философ Анри Бергсон, упоминаемый Гиппиус наряду с Ницше.

...позорил Америку и «плевал в лицо прекрасной Франции». – Речь идет об очерках М. Горького «В Америке» (1906) и «Мои интервью» (1906), где он писал, что «прекрасная Франция стала сводней царя с банкирами».

...Горький уедет домой <...> но опять приедет в Европу... – весной 1928 г. Горький начал поездки в СССР, а 17 мая 1933 г. переехал окончательно.

«Деревня» (1910) – повесть И. А. Бунина, принесшая ему широкую известность и вызвавшая ожесточенные споры.

...Гребенщикова о «сибирских» мужиках. – Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1882–1964) – писатель, выпустивший два тома рассказов «В просторах Сибири» (1913–1914). Эмигрировал в 1920 г. В 1922–1923 гг. в Париже вышло его Собрание сочинений в 6 томах. В 1924 г. переехал в США и с 1925 г. начал печатать там многотомную эпопею о Сибири и ее людях «Чураевы».

«Суламифь» (1908) – повесть И. А. Куприна, переизданная в Париже в 1921 г.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ

О молодых и средних (с. 323)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1924. № 19. С. 234–249 под псевдонимом Антон Крайний.

Стоит на подоконнике... – неточная цитата из «Исповеди хулигана» (1920) С. А. Есенина.

Кусиков Александр Борисович (1896–1977) – поэт. В эмиграции с 1922 г. В Берлине печатался в «Литературном приложении» к газете «Накануне» и выпустил в 1922 г. три сборника стихов: «Аль-Баррак», «В никуда», «Птица безымянная».

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – писатель. В 1922 г. вышла первая его книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», затем сборники рассказов «Разнотык» (1923), «Аристократка» и «Веселая жизнь» (оба 1924).

Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894–1938) – писатель, получивший известность после выхода его романа «Голодный год» (1922). Расстрелян 24 апреля 1938 г.

«Серапионы» (Серапионовы братья) – литературная группа в Петрограде/Ленинграде в 1921–1929 гг., в которую входили И. Груздев, М. Зощенко, В. Каверин, Л. Лунц, М. Слонимский, Н. Тихонов, К. Федин и др. Название взято из одноименного цикла новелл (1819–1821) Э. Т. А. Гофмана, повествующих о кружке молодых писателей.

Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972) – писатель. С 1919 г. работал в издательстве «Всемирная литература». Первая книга – сборник рассказов «Шестой стрелковый» (1922).

Маширов-Самобытник (псевд.: Самобытник) Алексей Иванович (1884–1943) – поэт, один из организаторов Пролеткульта, автор сборников стихов «Под красным знаменем» (1918), «На перевале» (1921), «Первое мая!» (1923).

Садофьев Илья Иванович (1869–1965) – поэт. Первый сборник стихов «Динамо – стихи» (1918).

Аннибалова клятва – твердая решимость бороться с кем или с чем-либо. Отец карфагенского полководца Аннибала (или Ганнибала, 247–183 до н. э.) заставил его в детстве дать клятву всю жизнь бороться с Римом, превратившим Карфаген в свою колонию. И клятву свою Аннибал сдержал.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) – писатель. В 1923 г. выпустил сборник «Сопки: Партизанские повести», куда вошла повесть «Бронепоезд 14-69» (1922), на основе которой в 1927 г. написал пьесу того же названия.

...од Брюсова на смерть Ленина... – В однодневной газете «Ленин» (январь 1924) В. Я. Брюсов напечатал стихотворение «Эра», написанное 25 января 1924 г. и печатавшееся затем под названием «Ленин».

«Племя незнакомое» – А. С. Пушкин. «Вновь я посетил...» (1835).

...последние его стихи в «Беседе»... – в горьковском журнале «Беседа» (Берлин, 1923–1925) в № 3 за 1923 г. напечатано четыре стихотворения Ф. Сологуба: «Душа, судьбы необычайной...», «Под легкою мглою тумана...», «Мой ангел будущее знает...» и «На пастушьей дудке...».

Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) – поэт. В 1921 и 1922 гг. вышли два сборника ее стихов: «Подорожник» и «Anno Domini».

Замятин Евгений Иванович (1884–1937) – прозаик. В эмиграции с 1931 г. Автор романа-антиутопии «Мы» (1924).

Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) – прозаик. В произведениях начала 1920-х годов противопоставлял насилию сострадание невинным жертвам.

«Памва смиренный» – «безгневный старец» в повести Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» (1873).

...последняя книга М. Волошина – «Стихи». – Книга стихов М. А. Волошина вышла в Москве в 1922 г. В Берлине в 1923 г. вышли его «Стихи о терроре».

«Улица Св. Николая» – книга Б. Зайцева вышла в Берлине в 1923 г. под названием «Улица Св. Николая: Рассказы 1918–1922».

«Конь Вороной» — повесть Б. В. Савинкова, вышедшая в Париже в 1923 г. под псевдонимом В. Ропшин и написанная в форме дневника полковника Юрия Николаевича (Жоржа).

«Конь Блед» («Конь Бледный») — роман Б. В. Савинкова, вышедший в Петербурге в 1909 г. под псевдонимом В. Ропшин.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОПРАВКИ (с. 339)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1924. 6 февраля. № 1162. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний. Это пояснение к предыдущей статье Гиппиус «Литературная запись. О молодых и средних». Перед статьей «Необходимая поправка» напечатано письмо М. Вишняка к редактору «Последних Новостей» (написанное по поручению редакции «Современных Записок») о праве свободы суждений в вопросах литературной критики, которую редакция «Современных Записок» предоставляет всем авторам, в том числе Антону Крайнему, не считая себя связанной всеми взглядами автора.

Юшкевич Семен Соломонович (1869—1927) — писатель. В эмиграции с 1920 г.

Иванович Ст. — один из псевдонимов журналиста Семена Осиповича (Иосифовича) Португейса (1880—1944); другой известный псевдоним его — В. И. Талин. В эмиграции с 1920 г.

Руднев Вадим Викторович (1879—1940) — политический деятель, эсер. В эмиграции с 1919 г. Член редакции журнала «Современные Записки», а с 1936 г. единоличный редактор журнала.

«День» — газета, выходившая в Петербурге/Петрограде с 1912 г. по 2 апреля 1918 г.

«Воля Народа» — газета выходила в Петрограде в начале 1918 г. В 1917 г. называлась «Воля Земли».

РЕЛИГИЯ И АПОЛИТИЗМ (с. 342)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1924. 19 марта. № 1198. С. 2.

«Миссия русской эмиграции» — собрание писателей проходило в Париже 16 февраля 1924 г. Выступили: *И. А. Бунин.* Миссия русской

эмиграции; *А. В. Карташев.* Смысл непримиримости; *И. С. Шмелев.* Душа родины; *Д. С. Мережковский.* Слова немых; *И. Я. Савич.* Вестники возрождения; *Н. К Кульман.* Культурная роль эмиграции; *И. И. Манухин.* Русский Дом; священник русской Церкви на рю Дарю *о. Г. Спасский.* Вокруг Креста. Как сообщил П. Н. Милюков в письме к Гиппиус 18 марта 1924 г. (Новый Журнал. 1987. № 168/169. С. 319 – публикации Т. Пахмусс «Из архива З. Н. Гиппиус»), он выкинул из этой статьи Гиппиус место о выступлении И. И. Манухина.

«Голоса из гроба» – передовая статья в «Последних Новостях» 20 февраля 1924 г. с осуждением собрания «Миссия русской эмиграции» с эсеровских позиций.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) – богослов, публицист, член ЦК партии кадетов. Эмигрировал в 1919 г. С 1924 г. председатель Русского национального комитета.

...предсказание ап. Петру... – имеются в виду слова в «Деяниях апостолов» (21, 11): «Взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: ...мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников».

ОПРАВДАНИЕ СВОБОДЫ (с. 347)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1924. № 22. С. 293–315. Вариант статьи напечатан в газете «За Свободу!» (Варшава, 1925. 3 января. № 2 (1406) и 4 января. № 3 (1407), где сообщается, что «статья З. Н. Гиппиус представляет собой доклад, предназначенный для прочтения на одном из декабрьских собраний Республиканско-демократического объединения в Париже. По длительной болезни автора чтение доклада не состоялось». Речь шла о собрании 14 декабря 1924 г., на котором был заслушан доклад М. В. Вишняка «Оправдание равенства». Статья в газете «За Свободу!» посвящена И. И. Бунакову (псевдоним И. И. Фондаминского, соредактора «Современных Записок»).

«Философия неравенства» – книга Н. А. Бердяева вышла в Берлине в 1923 г. с подзаголовком «Письма к недругам по социальной фи-

лософии». В книге показана губительность для человеческого духа марксистско-ленинского мировоззрения.

Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни; рассматривал сознание, память, дух как различные аспекты длительности.

...У Джерома К. Джерома есть рассказ-утопия... – имеется в виду рассказ «Современная утопия» в сборнике английского писателя Джерома Клапки Джерома (1859–1927) «Дневник одного паломника и шесть очерков» (1891).

...большевики могли обещать русским кухаркам, что оне все будут править государством... – выражение возникло из статьи В. И. Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?» (1917). Лозунг подхватил в 1924 г. В. В. Маяковский в поэме о Ленине («Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!»).

...не вливают нового вина... – Мф. 9, 17; Мк. 2, 22.

Жорес Жан (1859–1914) – руководитель Французской социалистической партии. Убит накануне первой мировой войны.

«слишком ранние предтечи слишком медленной весны...» – Д. С. Мережковский. Дети ночи (1894).

«Каким ты хочешь быть востоком...» – из стихотворения В. С. Соловьева «Ex oriente lux» (1890).

...детям на забаву / Дадут клочки ее знамен? – В. С. Соловьев. Панмонголизм (1894).

А. РЕМИЗОВ. *Николины притчи* (с. 371)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1924. № 22. С. 447–449 под псевдонимом А. Крайний. Гиппиус пишет о книге Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957) «Звенигород окликанный: Николины притчи» (Нью-Йорк; Париж; Рига; Харбин: Алатас, 1924).

...«необщим выраженьем»... – (лица необщим выраженьем) – Е. А. Баратынский. Муза (1829).

Жерлица – рыболовная снасть для ловли хищной рыбы.

Рерих Николай Константинович (1874–1947) – живописец, писатель, археолог. С 1918 г. жил за границей.

«НОВЬ» (с. 374)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1925. № 23. С. 421–431.

...молодой Кирсанов... – герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862) Аркадий Николаевич Кирсанов, сын Николая Петровича.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) – экономист, историк, кадет.

Маслов Георгий Владимирович (1895–1920) – поэт и литературовед, один из основателей Пушкинского историко-литературного общества при Петроградском университете (1915–1918). Его стихи Гиппиус включила в книгу «Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус» (Пг., 1917).

...«кающийся дворянин»... – выражение критика и публициста Н. К. Михайловского, впервые употребившего его в очерках «Вперемежку», печатавшихся в «Отечественных Записках» в 1876–1877 гг. Тип русского дворянина 40–60-х годов XIX в., страдавшего от сознания, что он и его предки – крепостники, угнетавшие народ.

Сарты – оседлая часть узбеков.

«Своими Путями» – иллюстрированный журнал, выходивший в Праге в 1924–1926 гг. Гиппиус цитирует статью Е. Недзельского «О маятнике мод, Млечном Пути и беспощадном крыле», где говорится о наркоманах и наркотиках.

«Скит поэтов» («Скит») – литературное объединение молодых русских поэтов (позднее и прозаиков), существовавшее в Праге в 1922–1940 гг.

«Эос» – выходивший в 1924 г. в Самокове (Болгария) «двухмесячник юной русской мысли».

«Скучная история» (1889) – рассказ А. П. Чехова, вошедший в его сборник «Хмурые люди» (1890).

Склоняется солнце, кончается путь, /Ночлег недалеко, пора отдохнуть... – Д. С. Мережковский. Вечерняя песня. Опубликована в «Современных Записках». 1923. № 17. С. 115.

УМНАЯ ДУША *(О Баксте)* (с. 387)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 11 января. № 1446. С. 2.

Бакст Лев Самойлович (Розенберг; 1866–1924. 23 декабря) – русский живописец и театральный художник, один из организаторов кружка «Мир искусства» (1898–1904), где часто встречался с Мережковскими. Известны написанные им портреты З. Гиппиус, В. Розанова, А. Белого. В 1907 г. путешествовал с В. А. Серовым по Греции и создал декоративное панно «Древний ужас», анализ которого дал Вяч. Иванов в книге «По звездам» (1919). В 1903 г. женился на Л. П. Гриценко (дочери П. М. Третьякова и вдове художника Н. Н. Гриценко), для чего принял лютеранство. В 1910 г. оформлял многие русские балеты С. П. Дягилева в Париже. После разрыва с Дягилевым работал для парижских театров.

БОРИС ЗАЙЦЕВ
Преподобный Сергий Радонежский (с. 393)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1925. № 25. С. 545–547.

Писатель Б. К. Зайцев выехал за границу в 1922 г. Летом 1925 г. на юге Франции завершил работу над беллетризированным житием «Преподобный Сергий Радонежский» (Париж, 1925) об основателе и игумене Троице-Сергиева монастыря в 70 км к северу от Москвы. Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; ок. 1321–1391) был тесно связан с семьей великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389) и благословил его перед Куликовской битвой (1380). Канонизирован в 1452 г.

...лесному «батюшке» Серафиму... – Серафим Саровский (Мошнин Прохор Сидоров, 1759–1833) – старец-пустынножитель и затворник. Канонизирован в 1903 г.

«Видение отрока Варфоломея» – картина М. В. Нестерова (1862–1942) «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890) в Третьяковской галерее.

Франциск Ассизский (1181/82–1226) – итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.

осквернение Троицко-Сергиевской Лавры – Троице-Сергиев монастырь в 1744 г. как один из крупнейших монастырей был преобразован в Лавру. 20 апреля 1920 г. закрыт по указу В. И. Ленина, на его месте стал создаваться историко-художественный музей.

СОВРЕМЕННОЕ (с. 396)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 1 февраля. № 1464. С. 2.

Агафья Тихоновна – невеста в комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842), известная своей фразой: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича».

ПЕЧАЛЬНОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ
(О новых «романистах») (с. 399)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 5 февраля. № 1467. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

Юрьевская – Вторым (морганатическим) браком император Александр II (1818–1881) женился в 1880 г. на княгине Е. М. Долгорукой (кн. Юрьевская).

Краснов Петр Николаевич (1869–1947) – генерал от кавалерии, командующий белоказачьей армией, писатель, автор книг «От Двуглавого Орла к красному знамени» (1921), «За чертополохом» (1922), «Понять – простить» (1924), «Единая-неделимая» (1925) и др.

Лаппо-Данилевская Надежда Александровна (1876–1951) – писательница. Эмигрировала в 1920 г., автор тетралогии «Развал» (1921–1922), «Екатерина Никитишна: Роман из эмигрантской жизни» (1921) и др.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874–1943) – прозаик, журналист. В 1910-е его имя стало нарицательным для обозначения бульварного чтива. С 1921 г. в эмиграции, где выпустил романы «Белые и красные» (1921), «Царские бриллианты» (1921), «На белом коне» (1922) и др.

Волконский Сергей Михайлович (1880–1937) – театральный деятель, писатель, мемуарист. Автор книги «Мои воспоминания» (Берлин, 1922–1924. Т. 1–2). В 1925 г. в Берлине вышел его документальный роман «Последний день», который критика восприняла как третий том его воспоминаний.

Хвостов Иван – автор книг «Мщение. Рассказы» (Берлин, 1923), «Русло жизни. Роман» (Берлин, 1923), «Перед грозой. Роман» (Берлин, 1924).

Ренников (Селитренников) Андрей Митрофанович (1882–1957) – писатель. Эмигрировал в 1920 г. Автор пьес «Тамо далеко» (1922) о жизни русских эмигрантов в Белграде, «Галлиполи» «Беженцы всех стран» (обе – 1925).

ЧРЕВО (с. 403)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1925. 15 февраля. № 44 (1448). С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

Осоргин Михаил Андреевич (1878–1972) – писатель. Выслан из России в 1922 г., когда он уже был известен как автор нескольких книг.

...*«необыкновенная легкость в мыслях»*... – слова расхваставшегося Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836; д. 3, явл. 6).

«Дни» – берлинская газета (1922–1925), затем переехавшая в Париж и ставшая с сентября 1928 г. журналом под редакцией А. Ф. Керенского. Редактором литературного отдела был М. А. Осоргин (до перехода в 1925 г. в «Последние Новости»).

Новиков Николай Иванович (1744–1818) – писатель просветитель, издатель сатирических журналов.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744) – князь, поэт, дипломат.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – писатель.

ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ (с. 408)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 22 февраля. № 1482. С. 2–3 под псевдонимом Антон Крайний.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) – поэт. Гиппиус цитирует его стихотворение «Только детские книги читать» (1908) из сборника «Камень» (1923).

Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936) – поэт, прозаик.

Оцуп Николай Андреевич (1894–1958) – поэт, критик, мемуарист. В эмиграции с 1922 г. В 1921 г. в Петрограде вышел первый сборник его стихов «Град» (второе издание – Берлин, 1922).

Фастович В. – автор книги стихов «Голубой пурпур» (Париж, 1923).

Дукельский Бенедикт – поэт. Первый эмигрантский сборник «Сонеты» выпустил в Париже в 1924 г.

Сирин (Набоков) Владимир Владимирович (1899–1977) – писатель, эмигрировал в 1919 г. В 1923 г. в Берлине вышли его сборники стихов «Горный путь» и «Гвоздь».

Шаховской Дмитрий Алексеевич (Иоанн, архиепископ Сан-Францисский, князь; 1902–1989) – поэт, философ и богослов. В эмиграции с 1920 г. Автор поэтических сборников «Sic transit gloria mundi» (Париж, 1923), «Песни без слов» (Брюссель, 1924) и др.

Диксон Владимир Вальтерович (1900–1929) – поэт и прозаик. В 1917 г. уехал в Америку. В 1924 г. в Париже вышла первая книга его стихов «Ступени».

Холчев Алексей Л. – поэт, автор сборника стихов «Гонг» (Париж, 1924).

Перцов Владимир А. – автор книг «Новое в современной русской поэзии» (Рига, 1921), «Стихотворения» (Париж, 1924).

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт. В 1924 г. приезжал в Париж.

«Такой язык может быть дан только великому народу...» – неточная цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» (1882).

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – писатель. Летом 1921 г. приезжал в Париж. В Риге в 1921 г. вышел сборник его стихов «Раздумья», который имеет в виду Гиппиус.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – писатель. Эмигрировал в 1922 г. Гиппиус цитирует его стихотворение «Не мате-

рью, но тульскою крестьянкой...» (1922) из его сборника «Тяжелая лира: Четвертая книга стихов» (Берлин, 1923).

«ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ» (с. 419)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 8 апреля. № 1520. С. 2–3.

ГОЛУБИНЫЕ КРЫЛЬЯ (с. 425)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 19 апреля. С. 3.

«ПО АРЦЫБАШЕВУ» (с. 430)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1925. 25 апреля. № 108 (1512). С. 2.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – прозаик и драматург. См. комментарий к статье «Полет в Европу» (1924).

«*В тумане*» – рассказ Л. Н. Андреева, опубликованный в «Журнале для Всех» (1902. № 12).

Князь Мышкин – герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868).

«*Санин*» – роман М. П. Арцыбашева, печатавшийся в 1907 г. в журнале «Современный Мир» (отд. издание 1908) и объявленный марксистской и либеральной критикой – «порнографическим».

О ЛЮБВИ (с. 433)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 18 июня. № 1579. С. 2–3; 25 июня. № 1585. С. 2–3; 2 июля. № 1591. С. 2–3. Вариант статьи опубликован под названием «Искусство и любовь» в журнале «Опыты» (Нью-Йорк, 1953. № 1).

Вейнингер Отто (1880–1903) – австрийский философ и писатель, автор книги «Пол и характер» (1903; рус. перевод 1909).

Пер Гюнт – герой одноименной философско-символической драмы (1867) норвежского драматурга Г. Ибсена. Сольвейг – деревенская девушка, ушедшая из семьи за всеми отвергнутым Пер Гюнтом.

«Женщина с Моря» (1888) – пьеса Г. Ибсена, известная в России также под названием «Дочь моря».

Ревекка, Росмер – персонажи из драмы Г. Ибсена «Росмерсхольм» (1866). В 1905 г. поставлена петербургским театром В. Ф. Комиссаржевской, а в 1908 г. Московским художественным театром.

...«Любите жизнь раньше смысла ее»... – слова Ивана Карамазова в главе «Братья знакомятся» романа «Братья Карамазовы» (1878–1880): «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее».

Грушенька – героиня романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.

Раскольников и Соня – герои романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

«Митина любовь» – повесть И. А. Бунина была опубликована в «Современных Записках» (1925. № 23, 24).

Деренн Шарль (1882–1930) – французский писатель. Роман «Габи, любовь моя» вышел в Париже в 1914 г.

Sainte-Beuve (Сент-Бёв) Шарль Огюстен (1804–1869) – французский критик и поэт. О романе И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774) Сент-Бёв писал в своем сборнике «Литературно-критические портреты» (1832).

...«не напрасный, не случайный»... – слова митрополита Филарета по поводу стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828).

«ПРАВОСЛАВНЫЙ» СТРУВЕ (с. 459)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 5 июля. № 1594. С. 2.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – философ, историк, политический деятель. В 1925–1927 гг. в Париже под его редакцией выходила газета «Возрождение».

доклад Ильина – религиозный мыслитель Иван Александрович Ильин (1883–1954) в книге «О сопротивлении злу силой» (Берлин, 1925) выступил против теории Л. Н. Толстого о непротивлении злу силой.

«приват захе» – личное дело (*нем.*).

...исключение Розанова из Р. Ф. Общества... – 26 января 1914 г. Религиозно-Философское Общество вынесло резолюцию о «невозможности совместной работы» с В. В. Розановым. 15 февраля 1914 г. он подал заявление о выходе из Общества.

Бейлис Мендель Тевье (1874–1934) – приказчик кирпичного завода в Киеве, обвиненный в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского и на судебном процессе (1913) признанный невиновным; после процесса уехал за границу.

Открытое письмо П. Б. Струве – опубликовано в «Русской Мысли» (1914. № 5. С. 133–135) под названием «Открытое письмо редактору».

путь в Дамаск – на пути в город Дамаск произошло обращение в христианство апостола Павла.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) – политический деятель, монархист, писатель. С 1920 в эмиграции, в 1944 г. депортирован в СССР.

Ольденбург Сергей Сергеевич (1888–1940) – историк, журналист, сын академика С. Ф. Ольденбурга. В эмиграции с 1920 г., работал в редакции газеты «Возрождение».

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». *Книга XXIV* (с. 462)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 25 июля. № 1608. С. 2 под псевдонимом Антон Крайний.

В 1925 г. Гиппиус несколько раз рецензировала журнал «Современные Записки» под псевдонимом Антон Крайний. Краткую заметку о книге 22 журнала (под псевдонимом Кр.) она поместила 12 января 1925 г. в газете «Звено» (№ 102), в которой отметила наряду с рассказами Бунина и главами из романов Мережковского, Зайцева и Ф. А. Степуна, статьями П. П. Муратова, С. И. Гессена, М. В. Вишняка также «блестящий очерк» «Оправдание Свободы» З. Н. Гиппиус.

«Заветы» – литературно-политический журнал, выходивший в Петербурге в 1912–1914 гг.

«Самсон» – трагедия «Самсон в оковах» Л. Н. Андреева, напечатанная в № 24 «Современных Записок».

...рассказ Иванова. – «La dame de Paris» Петра Константиновича Иванова.

...Бунин оканчивает свою повесть... — т. е. «Митину любовь», печатавшуюся в № 23 и 24 «Современных Записок».

Роман Зайцева – «Золотой узор» печатался в «Современных Записках» в 1923 (№ 15–17), 1924 (№ 18, 19, 22) и 1925 г. (№ 23, 24).

...статьи о Брюсове... – статья В. Ф. Ходасевича «Брюсов» появилась в № 23 и 24 «Современных Записок».

Гершензон – статья В. Ф. Ходасевича «Гершензон» в № 24 «Современных Записок» посвящена историку русской литературы Михаилу Осиповичу Гершензону (1869–1925).

...Шестов о том же Гершензоне... – статья Л. Шестова «О вечной книге (Памяти М. О. Гершензона)» в том же номере журнала.

«*Шкраб*» (Школьный работник) – статья В. Талина (С. О. Португейс), писавшего также под псевдонимом С. Иванович.

...ответ Бердяева... – статья «В защиту христианской свободы (Письмо в редакцию)».

...Вишняк <...> *отметил...* – статья «Две свободы» в том же журнале.

О ЖЕНАХ (с. 466)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 30 июля. № 1614. С. 2.

«*Две жены: Толстая и Достоевская*» – книга критика Ю. И. Айхенвальда (1872–1928), вышедшая в Берлине в 1925 г.

Анна Григорьевна Достоевская (урожд. Сниткина; 1846–1918) – жена Достоевского с 1867 г. После его смерти выпустила семь собраний его сочинений.

Полонский Яков Петрович (1820–1898) – поэт. В 1880–1890-е годы по пятницам у него собирался кружок литераторов, который посещали Мережковские.

...«знаменитую вдову»... – Софья Андреевна (урожд. Бахметьева, в первом браке Миллер), жена поэта А. К. Толстого, с которой он венчался в 1863 г.

...с браком Баратынского... – в 1826 г. поэт Е. А. Баратынский женился на Анастасии Львовне Энгельгардт (1804–1860), дочери генерал-майора Л. Н. Энгельгардта.

«Игрок» (1866) – роман Ф. М. Достоевского, который он продиктовал стенографистке А. Г. Сниткиной, ставшей после этого его женой.

Суслова Аполлинария Прокофьевна (1893–1918) – возлюбленная Ф. М. Достоевского в 1863–1865 гг. С 1880 г. жена В. В. Розанова.

Софья Андреевна (урожд. Берс; 1844–1919) – жена Л. Н. Толстого с 1862 г., дочь врача придворного ведомства.

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) – друг и издатель Л. Н. Толстого. В 1922 г. в Москве вышла его книга «Уход Толстого».

...«брака» не было... – речь идет об отношениях И. С. Тургенева с французской певицей Полиной Виардо-Гарсиа (1821–1910), с которой он познакомился в 1847 г.

ЧЕРТА НЕПЕРЕСТУПИМАЯ

(Из современных разговоров) (с. 472)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 13 августа. № 1626. С. 2–3.

Марков 2-й Николай Евгеньевич (1866–1945) – один из лидеров «Союза русского народа». Эмигрировал в 1920 г., в 1921–1927 гг. председатель Высшего монархического совета.

«Возрождение» – ежедневная парижская газета (1925–1940, с 1936 еженедельная), монархический орган, основанный на идеях Белого движения и противостоящий либеральному крылу эмиграции. Главный редактор в 1925–1927 гг. П. Б. Струве.

Ежов А. (Шульгин Е. Г.) – публицист, печатался в журнале «Студенческие Годы» (Прага, 1923–1925).

Последняя статья – «Отрицателям меча» И. А. Ильина в «Возрождении» (1925. 27 июля. № 57).

«И когда бы не этот мой девичий стыд...» – неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Поток-Богатырь» (1871).

уваровская триада – тезис Сергея Семеновича Уварова (1786–1855), министра просвещения (1833–1849): «Православие, самодержавие, народность».

Суворин Борис Алексеевич (1879–1940) – издатель парижской газеты «Русское Время» (1925–1929), сын издателя А. С. Суворина.

Кирилл – великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II; 31 августа 1924 г. в Кобурге (Германия) провозгласил себя «императором всероссийским». Ориентировался на Германию.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (с. 480)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 27 августа № 1638. С. 2 под псевдонимом А. Крайний.

Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942) – историк литературы, этнограф, издатель. Первая монография его о И. А. Гончарове (1812–1891) вышла в 1904 г. Эмигрировал в конце 1917 г., выпустил книги: «Гончаров: Жизнь, личность, творчество» (Стокгольм, 1920), «Гончаров в кругосветном плавании: Критико-биографический очерк» (Прага, 1922), «Роман и жизнь: Развитие творческой личности И. А. Гончарова. Жизнь и быт. 1812–1857» (Прага, 1925).

Райский Борис Павлович – один из главных героев романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869).

...в семье Майковых. – Летом 1835 г. Гончаров познакомился с семьей академика живописи Н. А. Майкова и преподавал его детям А. Н. и В. Н. Майковым русскую словесность и латинский язык; здесь позднее завязались его литературные знакомства с В. Г. Белинским, Н. А. Некрасовым, Н. М. Языковым, И. И. Панаевым и др.

...романы Панаева. – Иван Иванович Панаев (1812–1862), автор романов «Маменькин сынок» (1845), «Львы в провинции» (1852).

...служебную командировку на «Фрегате Паллада»... – 7 октября 1852 г. Гончаров отправился в кругосветное путешествие из Кронштадта на фрегате «Паллада» в качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина. Крымская война 1853–1856 гг. прервала плавание, и в июле 1854 г. Гончаров был откомандирован через Сибирь в Петербург.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ».
Книга XXV (с. 486)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 8 октября. № 1674. С. 2–3 под псевдонимом Антон Крайний.

«Старуха» – рассказ И. С. Шмелева «Про одну старуху» в книге № 23 «Современных Записок» за 1925 г.

...две критические заметки о советской литературе... – «Великие годы. Октябрь в художественной литературе» М. А. Алданова и «Красная новь» (1925, январь–май)» М. О. Цетлина.

...яркой статьи В. И. Талина... – «Дело, ума не требующее» В. И. Талина.

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, глава Временного правительства в марте–июле 1917 г. В эмиграции с 1918 г. Смерть Львова 6 марта 1925 г. в Париже вызвала публикацию «Памяти кн. Г. Е. Львова» в книжке № 24 «Современных Записок».

...статью Шестова о Спинозе... – «Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы)» Л. Шестова.

...две статьи о «евразийцах» проф. Бицилли и С. Гессена. – «Народное и человеческое» П. М. Бицилли и «Евразийство» С. И. Гессена.

Каутский Карл (1854–1938) – один из теоретиков немецкой социал-демократии.

СПОСОБНЫМ К РАССУЖДЕНИЮ (с. 493)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 23 октября. № 1687. С. 2.

...16-й век и его «религиозные» убийства... – религиозные или гугенотские войны во Франции (1562–1598). В ночь на 24 августа 1572 г. (праздник св. Варфоломея) произошла массовая резня гугенотов католиками, организованная королевой Екатериной Медичи, так называемая Варфоломеевская ночь.

«ТЕЧЕНИЕ» «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»
(Книга XXVI) (с. 499)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1925. 24 декабря. № 1740. С. 2–3 под псевдонимом Ант. Крайний.

Вишняк Марк Вениаминович (1882–1975) – политический деятель, публицист. Эмигрировал в 1919 г. Соредактор и секретарь редакции (1920–1936) журнала «Современные Записки». Автор книг «Современные Записки»: Воспоминания редактора» (1957) и «Годы эмиграции 1919–1969: Париж–Нью-Йорк» (1970).

...драма из архива Андреева... – «Самсон в оковах (Трагедия)» в № 24 «Современных Записок».

...статья Н. Кульмана по поводу этих «Цикад»... – напечатана в газете «Возрождение» 17 декабря 1925 г.

Что выводит из народа... – Н. А. Некрасов. Школьник (1856).

...мартовской революции... – имеется в виду Февральская революция, начавшаяся 27–28 февраля (по новому стилю 12–13 марта) 1917 г.

...в рецензиях Святополка-Мирского. – В 24-й книжке «Современных Записок» рецензия Д. П. Святополка-Мирского (1890–1939) на «Города и годы» К. Федина, в 25-й – на «Рассказы» Б. Пастернака и «Шум времени» О. Мандельштама, в 26-й – на «Рассказы» И. Бабеля.

...коротенькая статья Мережковского. – Статья «1925–1825», в которой цитируется стихотворение Ф. И. Тютчева «14-е декабря 1825».

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

З. Н. Гиппиус

МЕЧТЫ И КОШМАР (1920—1925)

Корректор: *А. А. Виноградова*
Верстка: *С. Б. Трофимов*
Художественное оформление: *С. А. Гаврилова*
Компьютерный набор: *М. В. Толмачева*

Лицензия ИД № 02417
от 20.07.2000 г.

Сдано в набор 12.01.02. Подписано в печать 10.05.02. Формат 60 × 88 1/16. Бум. офсетная. Гарнитура Optima. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,00. Тираж 3000 экз. Зак. № 3300
Издательство ООО «Росток»
197755, Санкт-Петербург, а/я 25

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.